

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ
МИР

1998

8

1998

НОВОВЪИ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 8(880)

Август, 1998 г.

СОДЕРЖАНИЕ

АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ — Вавилонские реки, стихи	3
АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ — Лопушок, роман	8
АЛЕКСЕЙ АЛЕХИН — Женщины, дети, мужчины, стихи	108
ЕВГЕНИЙ ЕЛИЗАРОВ — Реквием. Предисловие Ренаты Гальцевой	114
МИХАИЛ СИНЕЛЬНИКОВ — Из благодатной темноты, стихи	137
АРМЕН АСРИЯН — Поход эпигонов, хроника	144

ИЗ НАСЛЕДИЯ

Священник ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ — Изречения Дарьи. Публикация В. П. и П. В. Флоренских	148
---	-----

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

МАРК КОСТРОВ — Житие на Кармянной	164
-----------------------------------	-----

ПОЛЕМИКА

В. ПОПОВ — 1941: тайна поражения. Послесловие Юрия Кублановского	172
С. ЛОМИНАДЗЕ — Вольными мазками	188

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

АЛЛА МАРЧЕНКО — «С ней уходил я в море...». Анна Ахматова и Александр Блок: опыт расследования	201
--	-----

ОПЫТЫ

МИХАИЛ ГОРЕЛИК — История одного грехопадения	215
НИКИТА ЕЛИСЕЕВ — Олеша и наследник	217

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ТАТЬЯНА КАСАТКИНА — Сверстники Ноя	220
------------------------------------	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Андрей Василевский. Почтальон, или Пессимизм	229
Павел Басинский. Белый Гайдар	231
Елизавета Руднева. «И смерть, и жизнь, и правда без покрова...»	234
Елена Ознобкина. Порыв к трансцендентному	236

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

АЛЕКСАНДР РУБАШКИН — Глеб Шульпяков против Ильи Эренбурга	239
---	-----

БИБЛИОГРАФИЯ

Книжная полка (составитель Сергей Костырко)	240
Периодика (составитель Андрей Василевский)	243
SUMMARY	256

**Поздравляем нашего автора,
члена общественного совета журнала
БОРИСА ПЕТРОВИЧА ЕКИМОВА
с присуждением ему
Государственной премии Российской Федерации!**

**Поздравляем нашего автора
МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА КУРАЕВА
с присуждением ему
Государственной премии Российской Федерации!**

**Поздравляем нашего автора,
члена общественного совета журнала
ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА ЛИХАЧЕВА
с присуждением ему
премии Президента Российской Федерации!**

**Поздравляем нашего автора
НОВЕЛЛУ НИКОЛАЕВНУ МАТВЕЕВУ
с присуждением ей
Государственной Пушкинской премии!**

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3331 экземпляр журнала «Новый мир».

АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ



БАВИЛОНСКИЕ РЕКИ

* *
*

Подай, Господи, на братию
Из империи былой.
Не забудь, конечно, Балтию
С ненавистью под полой.

Длится мост всего полмига,
Это Лейлупе-река,
Это Даугава и Рига —
Над рекой недалеко.

Может быть, расслышу скоро
Звуки Домского собора,
Обещающие рай.
Многотрубного органа
Голоса перебирай.

.....
Незалеченная рана,
Аннексированный край.

Неужели навсегда
Позабудется так много —
Свечка в маяке, вода
Серая, почти седа,
В дюнах влажная дорога.

Что же там в далеком дне,
Что же все-таки на дне
В памяти осталось тесной?

.....
Теплый тон коры древесной.

* *
*

Как трудно выкарабкиваются из памяти слова.
Человек еще жив, а память мертва.
Вот вспоминается имя, а дальше заклинило что-то,
Это, быть может, самая каторжная работа.

В игорный бизнес твой, Невада,
Уже освоенный Москвой,
Катале беглому не надо
Входить, рискуя головой.

Но в Рино нет домов. А только
В нем казино высотных взлет.
Выходит, в жизни мало толка —
Игра великая идет.

Перед рассветами — пустынно,
Песок заснеженный — белес.
В жар казино с мороза Рино
Проваливается беглец.

* *
*

Если бы Зоя и Анна
В Портленде знобком могли
Жить возле нас постоянно,
А не в далекой дали,
Жил бы и жил, умирая,
И не желал ничего —
Ни заповедного рая,
Ни вертограда его.

* *
*

За то, что на чужбине
Жил, а не выживал,
Противен был общине,
Но не претендовал
На дружбы и участия.
Избегнуть жизнь смогла
Смертельной скуки счастья —
Ее добра и зла.

Не обращал вниманья
И перышком скрипел,
Зане всепониманья
Лишиться не успел.

А жил, как жил, — безбытно:
Ни ад, ни благодать, —
И было любопытно
Все это наблюдать.

* *
*

В. К.

Чтобы закончить путь
Русский, равнинный, плоский,
Надо мне дотянуть
Старых стихов наброски.

Надобно мне... А я
После последнего края
Звуки сшиваю в края,
Новое сочиняя.

Я сочинять устал
И утомил семейство.

Это мне нашептал
Сосед по Красноармейской.

* *
*

Редко путь выпадает прямой
(Впрочем, ты ведь о нем и не молишь) —
Много чаще с тюрьмой и сумой, —
Потому и известно одно лишь:
Ты умрешь по дороге домой...

* *
*

Был больше всех греховен и порочен
И перед всеми виноват кругом,
И щеки не остыли от пощечин, —
Но не об этом речь, а о другом.

О том, что жизнь прошла — и сплю в могиле,
И вижу сон который раз подряд —
О том, как не за то меня судили,
В чем был на самом деле виноват.

* *
*

Позднему стону вонми,
Даждь упование ми, —
Сквозь Вавилонские реки, —
Блудного сына прими
Или отвергни навеки.

Нью-Йорк.



АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ

*

ЛОПУШОК

Роман

1

Детство как детство, военным его не назовешь, хотя Андрюше Сургееву пять годочков исполнилось к роковому 41-му. Линия фронта, погрохотав далеко на западе, так и не дошла до городка со странным названием Гороховей. Немцы побоялись пускать танки по бездорожью, пересеченному оврагами; после войны столь удачное местоположение сказалось на благополучии гороховейских граждан: до них с опозданием — все из-за того же бездорожья — доходили из области некоторые запретительные циркуляры. «На оккупированной территории не проживал...» — беспрепятно выводила впоследствии рука Андрея Николаевича. Спроси его, как жил он на неоккупированной территории, — не ответил бы: какие-то провалы в памяти, часто болел, «головкой страдает» — так сказал кто-то над кроватью его в детской больнице. Мать однажды привела из госпиталя седенького врача, тот долго ощупывал его твердыми пальцами, сказал: «Впечатлительный какой. Жить будет...» В интонационном многоточии повисла некая условность: отроку даровалась жизнь при соблюдении жестких норм поведения, исключавших детские и взрослые раздумья о смысле гороховейского бытия. Тогда же мать и предредила будущее малахольного чада: да будет сын педагогом, прямой дорожкой пойдет по стопам родителей! С чем согласился и отец, наконец-то представший перед Андрюшей — в кителе и скрипучих сапогах, с планшеткой на боку, набитой просветительскими замыслами.

Война кончилась, но дети в школе прозябали без тепла и пищи, без учительских нагоняев. По первопутку привезли березовые поленья, в классах загомонила ребятня. Родительский дом — невдалеке от школы; четыре комнаты, две печки, кухня, сени, крыльцо. Самая большая комната — общая, с длинным столом, тот умещал на себе и тетради, что проверяла мать-учительница, и бумаги из роно и облоно, изучаемые отцом, директором школы, и две скромненькие тетрадочки о двенадцати листиках каждая, над ними-то и пыхтел он, тупой и упрямый Андрюша Сургеев, сущее бедствие дома, злокозненный отрок, давно расшифровавший таинственные пометки рядом с фамилиями школяров, и когда кого будут вызывать к доске и что спрашивать — эти тайны сыночек директора доносил до одноклассников, которые его тем не менее не любили, ибо полагали, абсолютно ошибочно, что Андрюша и родителям наушничает.

Ненавидя школу и желая напакоstitь ей, не раз копался он в бумагах отца, но ничего не мог понять в них, да и слово «ОБЛОНО» внушало страх, и все учреждения, повелевавшие отцом, матерью и детьми, пред-

ставлялись ему стаей хищных зверей: разинутые пасти, острые когти, сплошной вой.

Длинный стол освещала яркая лампочка, заключенная в зеленое стекло абажура. Хилая городская ТЭЦ, выбиваясь из последних сил, так и не насыщала дома светом, и в комнатке семиклассника выкручена электролампочка; честные, умные и добрые родители собственным примером воспитывали единственного ребенка, экономией преследуя еще и такую цель: за одним столом поневоле станешь готовить уроки, а не собирать мотоцикл из велосипеда и керосинки, на что горазд был всегда грязноватый оголец, тусклый взгляд которого ярче лампочки загорался при виде железяк. С блажью этой родители смирились, благоразумно полагая, что сбор металлолома на городских помойках уберезет мозги мальчика от гибельных для него умственных трудов.

Тишина царила за столом, лишь раздавался временами скрип стула под грузным телом отца да шелесты тетрадных листиков, когда мать проверяла сочинения и диктанты. Иногда в печке что-то взрывалось — либо лопались томящиеся в жаре крупички пшеничной каши, либо стреляла перекалившаяся сковородка. Неумёха мать вскакивала, летела к печи, гремела ухватами. Подозрений на то, что нерадивый и неисправимый сын бросил в угли крупную соль, не возникало и возникнуть не могло: столь мизерные шумовые эффекты тот презирал, иное дело — собрать из ружья-ди мотор, чтобы оглушить им всю улицу, всю школу.

Была ли в детстве картошка, та самая, что много лет спустя вторглась в его жизнь ураганом, болезнью, умопомрачением? Была, конечно, но всего лишь необходимым и достаточным продуктом питания. Гороховецки жили картошкой и, объясняя тайну деторождения, ссылались не на капусту, где пищал принесенный аистом младенец, а на картофельную ботву. Горсовет прирезал к дому участок в двадцать пять соток, три яблони и две буйно плодоносящие груши прикрывали от взоров с улицы грядки с картофелем, Андрюшу впрягли в работу ранней весной, вскапывал землю и отец, гордившийся вековой связью с деревней, в связь эту входили дед его и бабка, уже наученные ублажать огород торфом и навозом. Окучивал же Андрей, торопливо пригребал землю к основанию ботвы и спешил к помпе, украденной в пожарном депо. Во второй половине сентября дружно, троим, подгоняемые такой же дружной работой всей улицы, выкапывали кусты; ботва отдельно, в кучи, клубни по мешкам, задетые лопатой или вилами картофелины сбрасывали в ведра и тут же отваривали. Все шло в ход, в дело, первую гнилую картофелину увидел Андрюша в Москве, когда запоздал гороховецкий мешок картошки, родительский приварок, существенное дополнение к тощей студенческой стипендии: он, оголодав, принес из магазина нечто остропахнущее, разжиженное и в корм скоту не годящееся. Родительский огород питал семью и подкармливал учителей, собственных соток не имевших. Что стояло за сотками и количеством мешков — это не для Андрюши, картошка не замечалась, не оценивалась и не процентовалась, она была как воздух, которого полно, который чист и не подлежал разложению на составляющие его газы, поскольку он, воздух, полностью соответствовал легким, крови и частоте дыхания.

Не замечал картошки, питаясь ею, и весь город. Полусотня каменных домов архитектуры прошлого века и несколько сот деревянных жилищ, расположенных в своевольном порядке мещанских пригородов и промысловых слобод. Речушка виляла, разливаясь по весне так, что подмывала все мосты, и каждую осень стучали топоры, налаживая связь с областным центром. До железной дороги — шестьдесят километров, жарким летом путь к ней пролегал по толще несдуваемой пыли, в мокрые же недели превращался в непроходимую топь. Какая-то почти карликовая порода яблонь, град мелких груш сыпался с ветвей на проходящую часть улицы, зато

смородина крупная, черная, сладкая, ее-то и везли к железной дороге, она-то и давала горожанам кое-какие деньги, хотя что можно купить на деньги? Столовая при горисполкоме пустовала, одни щи на комбижире да винегрет из картофеля и свеклы, огурцы в городе почему-то не водились.

Свет зелено-абажурной лампы падает на тетрадки Андрея, оставляя в тени его самого, решающего сложную задачу: как сделать урок по алгебре так, чтоб возрадовался отец и вознегодовала мать? И как написать сочинение таким хитроумным манером, чтоб восхитилась мать и разразился бранью отец? Только так, сталкивая лбами благородных педагогов, и мог он существовать, мстя им неизвестно за что. За то, наверное, что был, по недомолвкам судя, не очень-то желанным ребенком. За то, что стало однажды так страшно, дурно, тяжело, что — бросился к матери, заплакал, и так хотелось схватить ее тело, прижаться к этому телу, в теплоте его найти спасение, так хотелось... А мать отстранила его от себя, повела речь о Рахметове, о снах Веры Павловны. К отцу же вообще не подступиться, отец выгнал из школы любимейшего учителя, физика; две недели прятался в сарае Андрюша, строя планы мести: так жалел он вытуренного наставника. Электроскоп и термометр — вот и все, чем располагал кабинет физики; насос и стеклянный цилиндр, откуда можно выкачивать воздух, Андрюша приволок со свалки. Однажды учитель поместил в цилиндр завязанный ниткой презерватив и включил насос. К великому удивлению детворы, предмет, подвергнутый лабораторному испытанию, стал надуваться — так просто и ясно продемонстрировано было атмосферное давление. Из любви к выгнанному кумиру и решил Андрей учить только физику, никакой другой предмет, разве что математику, но так, чтоб отец не догадался. Учитель, вышибленный из рядов советских педагогов, убрался из Гороховая, след его простыл, имя забылось, но необычный лабораторный опыт остался в памяти Андрюши навсегда, и, будучи заслуженным ученым и преподавателем, самые наисложнейшие разделы квантовой механики он представлял студентам как бытовые происшествия в гороховейской бане, к примеру. Так, объясняя суть нестационарной теории возмущений, он вовремя вспомнил, что случилось, когда в бане рухнула стена, отделявшая голых женщин от голых же мужчин.

С некоторыми диковинными ошибками и описками мать знакомила отца, протягивая ему тетрадку, не называя — в педагогических целях — имен, чтоб не по годам резвый на пакости сын фамилией не воспользовался, но сладостное желание стать обладателем чужой тайны обостряет слух и зрение, автор несусветного ляпа или развеселой нелепицы почти сразу угадывается. Однажды стол пересекло — от матери к отцу — раскрытое сочинение с красными вопросительными значками. Отец полистал его, крикнул, вздохнул: «По количеству пота он превзошел всех гениев, это ты отрицать не можешь...» Карандаш матери, порхавший над очередным сочинением, застыл, мать выпрямилась на стуле, выгнула спину, затекшую от сидения. Сказала презрительно: «Не по́том надо бахвалиться, а умом, что к поту приложен...» Отец возражал: «За ним — власть, власть земли, вековой опыт земледельца». Карандаш вновь навис над сочинением, мать завершила ею же начатый спор: «Подавляет он всех...»

Не шевельнувшийся Андрюша понимал, однако, что речь шла о будущем медалисте, о десятикласснике, которому прочили великий и славный путь, о Ване Шишли́не, который рожден был начальником, который мог стать и секретарем, и директором, и председателем, и заведующим, кем угодно, но обязательно — руководителем.

Неисповедимы пути, но познаваемы истоки... Человек, ставший заместителем министра, Иван Васильевич Шишлин то есть, учился в той же школе, что и будущий академик, орденоносец и лауреат Андрей Николаевич Сургеев. Один и тот же звонок отбрасывал крышки их парт, из одних и тех же уст слышали они слова малограмотных и пылких учителей, без-

божно перевиравших отточенные формулировки учебников, одни и те же мальчишеские и девчоночьи физиономии блуждали и мелькали перед глазами обоих. В учительскую Ваня Шишлин заходил как в свою родную хату: был председателем учкома, ученического комитета, вхож был и в кабинет директора, в дом его тоже, девятиклассники еще удостаивались его внимания, но существа классами ниже им не замечались, да и не местный был он, из Починок, что в тридцати километрах от Гороховей, там он закончил семилетку, там в колхозе председательствовала его мать, туда он отправлялся каждую субботу — зимой просился в сани, осенью и весной цеплялся за борт грузовика. В городе снимал он угол, но большую часть дня проводил в школе, надзирал за всеми, наставлял, бывало, и молоденьких учительниц. Ни с кем в школе не сходясь, он не мог не сблизиться с Андреем: сынок директора все же! И сынка Ваня раскусил сразу, пакостника в нем учуял мгновенно, но и догадался, что тот папаше лишнего словечка не скажет, и более того — нужного тоже не вымолвит. К тому же — не соперник ему в жизни Андрей Сургеев, потому что азов жизненной науки не знает, то есть не ведает различий между горисполкомом и райкомом, совхоз путает с райсобесом, директора МТС почитает выше начальника областного управления МВД, не подозревая, впрочем, о существовании последнего, и вообще невообразимо туп, когда речь заходит о том, кто какую должность, в стране или районе, занимает, и какие блага проистекают от какой должности. «Сидит в Кремле...» — неуверенно выдавливал из себя Андрюша, когда председатель учкома Ваня Шишлин спрашивал его, кто такой Молотов. «Может — лежит?...» — издевался Шишлин. Но семиклассник упорствовал: сидит! Сидели же, вспоминал он, бояре в думе. В наказание за тупость Ваня шелкал по лбу незнайку. Знаком особой милости стало прозвище Лопушок, коим Ваня провидчески наградил непутевого директорского сыночка, и «Лопушок» на всю оставшуюся жизнь приклеился к Андрею Сургееву. Шишлин же умел произносить без передыху красивые длинные фразы, кое-где разрывая их тягучими междометиями — свидетельством того, что не вызубрены фразы, а только что народились. Тупицу Андрюшу он приспособил под свои нужды, изошренно издевался над ним. Подарил ему ствол немецкого пулемета — и Андрей, жадный до всего железного, бегал по городу в поисках приклада и патронов, пока не был изловлен милицией. У Шишлина рано закрутились романы с курьершами горисполкома и студентками медучилища, Андрея он возвел в сан письмоносца, и тот месил осеннюю грязь, разнося записочки или устно передавая просьбы. Не раз поколачивали его незнакомые парни, не раз попадал он впросак, суя послания не в те руки, но, видимо, шкодливость была второй натурой Андрея Сургеева, потому что стал он намеренно путать адреса, наслаждаясь тычками и проклятиями, которыми награждал его сбитый с толку Ваня, а однажды так все переврал и запутал, что председателя учкома избил студенты медучилища.

Золотую медаль и аттестат с круглыми пятерками вручили Ивану торжественно. В Москву, в Тимирязевку, в сельхозакадемию — так решено было всем районом, городом и самим Ванею. Туда он и отбыл, и вместо подорожной вручили ему характеристики, ходатайства и прошения. Гороховей и Починки уверены были, что вернется Ваня через пять лет — и очастливит народ.

Под зеленым абажуром, в текущих разговорах, от одного конца стола к другому часто пролетала фамилия будущего агронома. Мать недолюбливала Ваню Шишлина, намеренно в фамилии его ставила ударение на первом слоге, приуменившая этим достоинства медалиста («Шиш тебе, Ваня!»). Отец же — гордился им, не понимая, как унижает похвалами сидящего за тем же столом сына. Однажды тот, после очередного панегирика, вдруг спросил: «А кто такой Гёдель?» И отец, сразу умолкнув, долго смотрел на

конопатые руки сына. Изрек наконец: «Тебе надо приналечь на тригонометрические функции...» А мать, встрепенувшись, начала вслух гадать — что еще такое придумать, чтоб отвадить троечника от пустопорожних мечтаний, от дурного.

Они, родители, предотвратили уже не одно несчастье. После пулемета и допросов в милиции, где упрямый сын не вымолвил ни слова, из дома выкинуто было все железное, мотоцикл же, найденный в сарае, отдан кружку юных техников при доме пионеров. Все соблазны, кажется, удалены, ничто не мешало теперь сыну директора являть собою пример ученического послушания. Год всего в запасе, и если вчитаться во все учебники, то к аттестату зрелости подвесится серебряная медаль.

Но выкинуть самого Андрея из дома — воображения не хватило. Дом же был набит техническими сюрпризами. Переплетенный шнур электропроводки кончается розеткой, куда вилкой включается плитка. Спирали ее, шурша и потрескивая, постепенно накаляются, меняя цвет от сероватого до розово-желтого, отдавая тепло комнатному пространству. Вилку выдернешь — плитка темнеет и медленно остывает. Вопрос первый: находится ли розетка под напряжением, когда плитка не подсоединена к ней? Если да, то цепь тока как бы замкнута бесконечно большим сопротивлением или диэлектриком, что, конечно, глупо. Если же напряжения нет, если оно возникает только при включении плитки, то причину появления тока является плитка, а это явный вздор. Что же тогда причина, а что следствие и почему то и другое связано с последовательностью бытовых приемов? Вопрос второй: до каких пределов возможно выравнивание температур сообщающихся сред? То есть что произойдет, когда комната нагреется до температуры плитки? А что будет с температурой пространства вне комнаты? И так далее. Странно, очень странно. Тем более странно, что нагревание одного тела связано с охлаждением другого. Так что же охлаждается?

Часами просиживал Андрюша в стареньком кресле, располагаясь так, чтоб перед глазами чернела таинственная розетка. Две дырочки в ней угрожающе поглядывали на косноязычного троечника. В доме — ни одной книги, уводящей за границы школьных учебников, все унесены в кабинет директора школы. Аристотель и Гегель, по неразумию забытые отцом в шкафу, о розетке не слыхивали, в Малой Советской Энциклопедии вырвана уйма страниц, удалось все же узнать (после обыска в городской библиотеке), что о процессах взаимообмена думал и некто Гёдель. Девятые классы учились во вторую смену, родители же утром уходили в школу, и предоставленный самому себе Андрей стал обходить город, искать нужные книги. Он верил в их существование, он знал, что их прячут где-то под амбарными замками, в окованных железом сундуках. Воображение видело их, нос обонял их бумажно-пыльный дух, уши слышали хруст страниц, содержащих мудрость. И он нашел их — в сухом подвале, где обитал полусумасшедший инвалид, за чекушку допустивший Андрея к старинным фолиантам. Сюда и бегал он теперь, здесь узнал, десятиклассником уже, что и Аристотель думал о проблеме розетки и плитки, когда размышлял о лошадях и повозке. Отсюда, из подвала, поиски еще более нужных книг привели его на чердак другого жилища.

В тот вечер, когда в родительский дом пришла девочка Галя, будущая Галина Леонидовна, он как раз думал о женщине, которая разрешала ему забираться на чердак и сидеть там часами — до ее приглашения сойти вниз, на чай.

А исполнилось ему восемнадцать лет уже. Пространственная геометрия женских форм осязается на расстоянии, кровь шумно отливает от головы, устремляясь вниз, к ногам, а затем некий насос подает ее вверх, нарушая ритм сердечных сокращений. Экзамены на носу, десятилетка кончается, родители поняли, что никакой медали не получить, воспитательная работа

с единственным чадом желаемого результата не принесла — к немалому удовлетворению самого Андрея. Все лучшие книги города прочитаны, давно уже выяснен смысл теоремы Гёделя: что ни узнаешь — все будет далеко от истины, но в том-то и дело, что мысль эта подпадает под саму теорему и, следовательно, не истинна. И все равно узнавать новое хочется. Конец апреля, только что вскопана земля и обработана граблями под картошку (опять — картошка!). Клонит ко сну, завтра выходной, потом праздники, три дня безделья и сладостного труда в сарае, где за поленицею дров оборудована тайная мастерская по ремонту велосипедов и мотоциклов. Или — к женщине? Она зовет на чай, а ты — чекушку на стол! После чекушки, объяснял инвалид, все получится. Совсем уж кстати: родители по каким-то делам отправляются в область.

Так идти к женщине или не идти?

Глаза слипаются, спать хочется. Мать бубнит о щах в кастрюле, он слышит тем не менее скрип двери и писклявенький голосок, оповещающий о том, что... Так и не разобрал Андрей, какая нужда пригнала ученицу 6-го класса в дом директора школы и что было в записке, отцу врученной и чуть позднее, после повторного скрипа, прокомментированной: «Две недели, я знаю, девочка торговала на рынке, а теперь пишут, что — болела... И приходится верить». Молчание, прерванное матерью, которая тоже прочитала записку: «Вернейший признак невежественности — это не орфографические ошибки, а обилие деепричастных оборотов...» Глаза совсем закрылись, Андрей ошупью добирается до кровати и погружается в сон.

Утренние сновидения таковы, что к сараю с мотоциклом былой охоты нет. Куда приятнее развалиться в кресле и вновь обсудить наедине с собой этот проклятый половой вопрос в его практическом осуществлении. С кем, короче, разрешить эту проблему? И кого, грубо говоря? Влюбление в Юлию Колчину с соседней парты шло полным ходом, та отвечала взаимностью, но на таких полутонах, что первый поцелуй обещался через месяц, не раньше, и всего лишь поцелуй. Подавала надежды старшая пионервожатая, намекавшая на совместный поход по окрестным лесам с ночевкой у озера. Но, однако же, к каким методам и приемам прибегнуть, склоняя старшую пионервожатую к тому, о чем сухо и рационалистически повествовал профессор Форель в своем двухтомном труде?

Непреодолимые преграды! Неразрешаемые сложности! Выпавшие, кстати, на ответственной период: по лицу пошли прыщики, с математикой полный провал, «Молодая гвардия» так и не прочитана, а по ней, без сомнения, будет вопрос в каждом билете.

Восемнадцатилетний Андрей Сургеев грыз ногти, сучил ногами, ерзал в кресле, хмыкал, вполголоса шептал проклятья, обвиняя себя в трусости, потому что понимал: для практикума по Форелю не подходят ни Колчина, ни старшая пионервожатая. Только женщина, которую зовут обольстительно: Таисия! Только она! Та, у которой он читает книги. Которой помогает в огороде. Которая позавчера пришила ему пуговицу к рубашке и, надкусывая нитку зубами, прислонила голову к его груди, а потом губами коснулась подбородка. Но — старше его на пять лет! Двадцать три года! И — замужем. Правда, муж в длительной командировке — так сказала она. И не двадцать три года ей, а только пошел двадцать третий, но все же, все же... Старше и замужем — значит, есть опыт, и перед опытом этим он — шенок, сопляк, неумелый мальчишка.

И еще что-то останавливало, еще что-то сковывало руки и ноги. Подозрение, что изведываться будет то, что не должно вообще познаваться в восемнадцать лет. В тридцать, в тридцать пять, но не сейчас, потому что в нем то, что выше всех жутко-сладостных актов познания. В нем — любовь, та самая, что бывает раз, всего один раз в жизни. Трепет тела, желающего быть нужным другому телу даже в самой малости. Он страдает, когда Таи-

сия делает то, что обязан делать мужчина. Он наслаждается, выгребая в ее доме золу из печки. Вскопал ей грядки — и радость была полная, счастье было! Родинка над ее левой бровью дороже аттестата зрелости, мотоцикла.

Так идти к ней — или преодолеть себя, тело свое? Выдержать искусы, остаться дома?

Что-то скрипнуло, потом пискнуло, и по писклявинке в голосе девчонки, проникшей в дом, Андрей понял, что это — та, вчерашняя. Подобрал ноги, глянул на девчонку, ничего не говорил, надеясь упорным молчанием вышибить ее из дома. Та же — осваивалась. Обувь она оставила в сенях, легко передвигалась по очень интересной и малознакомой комнате, на ногах — вязаные носки, одета в домашнее платьице, не ученическое, волосенки редкие и короткие, в косу не собранные, ростом в шестиклассницу не вышла, под мышкой — тетрадки. Занудливо поведала: умерла бабушка на прошлой неделе, мама в школу не пускала, но все упражнения, что задавали, она сделала, — так нельзя ли проверить задачки? Врала так нагло, что Андрей не выдержал.

— Отстань! — с угрозой процедил он.

Тогда она двинулась вдоль стены. Потрогала подоконник, пощупала занавеску. Дошла до шкафа и замерла перед ним. Потом потянула на себя дверцу и запустила руку, цапнула конфету в вазочке, стремительно сунула ее в рот и торопливо, как кошка, подобравшая кусочек сала, полакомилась добычей — не поворачиваясь к Андрею, который с удивлением взирал на вороватые жевания и глотания малюсенькой врушки.

По-кошачьи утершись ладошкой, она наконец-то отошла от шкафа и смело посмотрела на Андрея. «Что скажешь?» — спросили ее глаза. Ответ не последовал. Тогда девчонка приблизилась к креслу, сказала, что ее зовут Галей Костандик, и вновь попросила проверить задачки. Получила отказ.

— Тогда расскажи сказочку, — услышал Андрей просьбу, умильную и шепелявую. — Я люблю сказочки.

И вдруг, оказавшись на коленях Андрея, руками обвила его шею. «В некотором царстве, в некотором государстве...» — вымолвил пораженный Андрей, соображая, откуда девчонке стало известно о конфетах в шкафу, а потом стыд, сладкий стыд изломал его голос, потому что домашнее платьице шестиклассницы скрывало упругие и горячие бедра, платьице распиралось острыми и твердыми грудочками, от них и от рук несло жаром, жар этот передался Андрею, потек вниз, и, вымучивая из себя какую-то мешанину из читанных в детстве сказок, он осторожно высвобождался от цепких рученок и с еще большей осторожностью спихивал с себя девчонку, потому что бедрами своими она могла обнаружить рельефные признаки того жара, от которого все тела, не только физические, расширяются. Поймав же случайно взгляд порочной девчонки, он еще раз устыдился, горько устыдился: сплошная сосредоточенность на перипетиях сказки, полное внимание и доверие — ничего более не выражали невинные глаза ребенка... «Пшла вон!» — заорал в бешенстве Андрей, выскочил из дому и помчался прочь, подальше от шестиклассницы, и ноги принесли его к дому Таисии. Он упал на нее, перегорев тут же, и возгорелся после того, как был обцелован, обласкан и обглажен.

Три праздничных дня, слитых с ночами, превратили полуслеплого котенка в мужчину. Слезы навертывались на глаза — такое было счастье, так все ликовало в теле.

Весь город знал, куда идет Андрей Сургеев после школы. И родители знали. Но они молчали, понимая, что слова уже не спасут сына. Сварливость вибрировала в голосе матери, по ее педагогике был нанесен смертельный удар. У нее хватило ума приостановить супруга: отец уже стучал в двери милиции, требуя выселить растлительницу из города. С сыном же было решено так: с глаз долой, подальше, в Москву, конкурс в Энергети-

ческий институт невелик, авось примут отпетого троечника, ничего, кроме женщин и мотоциклов, знать не желавшего. Списались со столицей, двоюродная тетка согласилась приютить гороховейского мальчика.

Два билета куплены на московский поезд, отец держал сына за руку, чтоб тот не вырвался и не сиганул под юбку развратницы. Когда загромыхали вагоны, когда поезд потянулся к Москве, Андрей Сургеев прислонил пылающий лоб к оконному стеклу, и слезы покатались по его впавшим щекам. Но ни столица, ни разлука с Таисией не пугали его. Он вернется в Гороховей через месяц! Зачем институт, зачем высшее образование, он всегда зарабатывает на Таисию, себя и будущих детей. Он, родившийся в семье, где не признавали даже авторучку, починит любую техническую диковину. Он уже знаменитость, с ним уважительно беседуют шоферы и механики горисполкомовского гаража, велосипеды он чинит на ходу. Впереди настоящая жизнь, а не зубрежка формул, сомнительность которых доказана бессмертными книгами. Экзамены, следовательно, надо завалить! Но не сразу, не оглушительной двойкой по сочинению, а еле-еле натянутыми троечками по всем предметам, кроме последнего: на нем надо проявить дремучее невежество. А за экзаменационные недели Таисия разойдется в Гороховее с мужем, который не в командировке, а в тюрьме, и закон дает Таисии право получить развод почти немедленно. Он же, отвергнутый столичным институтом, поступит в Автодорожный техникум, что в областном центре.

В хитроумно разработанном плане абитуриент из Гороховей предусмотрел все детали. Сочинение писалось на вольную тему и сплошь состояло из деепричастных оборотов, выпутаться из которых экзаменаторы так и не смогли, влепив тройку. На правах заслуженного педагога отец прорвался в приемную комиссию и добыл произведение сына, испытав то же недоумение, что и от приказов облоно: по сути, все правильно — и тем не менее мерзость окаянная. Воодушевленный первой победой, Андрей отстукал Таисии ликующую телеграмму. После математики и химии — другую, с боем добыв тройку. На физике решено было провалиться, молчать гордо и неприступно. Замшелый старикашка битый час наседа на дурня и невежду и, сломленный, громогласно обозвал гороховейца лопухом и тупицею. На следующий день Андрей пришел за документами и был ошарашен новостью: он принят! Он — студент! Он попал в некую квоту, только что установленную для выпускников сельской глубинки!

Заплетающиеся ноги привели Андрея в уборную на третьем этаже. Он сел на пол и уткнул голову в колени. Кто-то из курящих и гомонящих принял его за своего, такого же провалившегося на экзаменах бедолагу, присел, посочувствовал, дал верный совет: срочно подать документы в Тимирязевку, там — недобор! Не все еще потеряно, друг!

Вспугнутый Андрей поплелся на другой этаж. На факультете, рекомендованном ему только что, учился Иван Шишлин, предрекавший Андрею второгодничество, исключение из школы и метлу на заводе.

Отец нашел его в скверике. Сигарета, первая в жизни, торчала в зубах Андрея. Обрадованный педагог постарался ее не заметить, однако утвердился в решении: никаких общежитий, ослабить до минимума тлетворное влияние столицы, сына — к тетке, на все пять студенческих лет.

2

Не все еще было потеряно, еще можно было спасти себя для Таисии, для настоящей жизни: сбежать из Москвы глухой темной ночью, добрать-ся до Гороховей, чтоб и оттуда сбежать, вместе с Таисией.

Но не сбежал. Дух знаний уже проникал во все поры, уже туманилась голова в предчувствии того, что будет познано только им, лопухом и тупи-

цею, и Таисия все отдалялась и отдалялась от него, шли недели и месяцы студенческой жизни, а вестей от нее не прибавлялось, и вдруг стороной Андрей узнает, что его любовь — первая и последняя (это он уже понимал), ранняя и поздняя сразу, — продала дом, уехала из Гороховая, пропала в неизвестности. Вот когда сказалась разница в возрасте!

(Академик Сургеев А. Н. прославился книгами по теплу и электричеству, по физике твердого тела и кибернетике, но в нередкие минуты самокопания он честно признавался себе, что до сих пор не знает, почему катится колесо и от какой прихоти скользит по цилиндру поршень. Как только он заглядывал в самую сокровенную глубину явлений, связанных с расширением и сжатием, как только вдумывался он в существо покоя и движения, так сразу же обнаруживал неимоверную ложность всех теорий. Призрак абсолютной непознаваемости миропорядка будил Андрея Николаевича по ночам, и, в кромешной тьме добравшись до письменного стола, рвал он в тихой ярости попадавшиеся под руку бумаги и вышепывал проклятья. Все лучшее осталось в прошлом! Как правильно рассчитал и продумал восемнадцатилетний мозг все варианты будущего! Как точно мыслил он, как верно угадывал! Да, надо было закупорить себя там, в родном городке, запереться в сарайчике, полном металлического хлама. И Таисия рядом, стареющая быстрее его, вся обратившаяся на детей, позволявшая ему существовать в комфорте жизненных неудобств, потому что все великое прозревается в закутках контор, в лабораториях, где приборы уже не умещаются на столах, где запутаешься в паутине проводов, где отрешись от наглых притязаний эпохи... Да, все было продумано, все — кроме клубней растения семейства пасленовых, то есть картофеля.)

А пока — Пятницкая улица, двадцатиметровая комната двумя окнами выходит на нее, а еще двумя — на магазин в переулке, торгующий молоком и сардельками. Бурлит толпа, торопясь на Пятницкий рынок. Возле кинотеатра «Заря» девчонки, длинноногие и накрашенные, строят глазки. От рыбного магазина пахнет водоемами, тиной, зарослями камыша. В пяти минутах ходьбы — метро, чуть поближе — церквушка в переулке, на нее-то и крестится двоюродная тетка, не такая уж, оказывается, злока. Комната всегда сдавалась, но только сейчас в ней появился настоящий хозяин, переклеивший обои, натянувший продавленный диван. Прежние хозяева оставили, правда, о себе добрую память. На всю войну в комнату поселили таинственного офицера, который уезжал и приезжал по ночам, для него и поставили телефон. После офицера в комнате надолго обосновался зять тетки, строитель метрополитена, всю жизнь рывший тоннели да ямы и докопавшийся до подмосковной дачки, откуда уже носа не высовывал. Потом — артист и, наконец, администратор цирка, от которого остались три мешка засохшего, твердого как камень урюка. Иногда раздавался в двери короткий просящий звонок, на лестничную площадку выглядывала тетка, долго рассматривала мальчишек, которые молча изучали носки своих растоптанных ботинок. И звала Андрея, тот развязывал мешок с урюком, нес пацанам сладкие камешки.

Все в доме знали студента, поселившегося у тетки, на втором этаже, и на рынке тоже знали, несли к нему примусы и швейные машинки, утюги и керогазы, звали на консультации, подводили к изъезженным «опелям» и «мерседесам». Платили то скудно, то щедро. Из бокового кармана вельветовой курточки денежные купюры перекладывались в ящик письменного стола, лежали там месяцами, семестрами, пока не попадали в сберкассу. Ни копейки не просил Андрей у родителей, но плоды их огорода принимал. И деньги, нажитые ремонтом автомобилей, запрещал себе тратить. Он закрывал глаза, представляя деньги эти в доме Таисии, на них он мог бы купить одежду детям, платяя жене, позволить себе кое-какую обновочку. Тоска по жизни, еще не прожитой, но уже оконченной, была временами такой острой, что сердце переставало стучать и в ушах покалывало.

Часами, как некогда в гороховейском креслице, сидел он на табуретке у окна. Так и не научившись мыслить по-взрослому, в прежней безалаберности поигрывал он пустячными мыслишками, рассматривал морозный узор на стекле и дурашливо упрекал природу в склонности кристаллизоваться не лучшим образом. Или в теплые дни следил за ползущей мухой и в уме решал задачу невероятной сложности: с какой скоростью должна перелетать она с одного полюса электрической батареи на другой, чтоб цепь замкнулась?

Дважды, взывая к совести, ему предлагали вступить в комсомол. Обещали тут же дать Сталинскую стипендию, которая давно ждет его, лучшего студента. Угрожали. Советовали. Рекомендовали. Решительно настаивали.

Он отказывался. С детства ВЛКСМ связывался почему-то с «волком», который «съел». Менее угрожающей была аббревиатура КПСС, но, догадывался Андрей, в партию его никогда не позовут — хотя бы из-за прозвища.

Осенью и весной приезжавшие в столицу гороховейцы заглядывали на Пятницкую с непременно мешком картошки, к нему родители прикладывали пять фунтов сала в просоленной тряпице. С добрым куском его Андрей шел в общежитие к ребятам, сокурсники высоко оценивали гостинцы, сало нарезали тонкими ломтиками, клали на язык и причмокивали. На картошку смотрели с испугом и недоверием: откуда такая чистая, крупная, вкусная на глаз?

Однажды требовательно задребезжал звонок, Андрей открыл дверь и увидел мешок — с картошкой, конечно, а у мешка, в окружении сумок и корзин, стояла девица в крепдешиновом платье. На вопрос, какого черта ей здесь надо, ответила напевно, показав крупные хищные зубы:

— Галя Костандик. Аль не помнишь?

Да, да, та самая девчонка, что пришептывала и сюсюкала, вороватая и наглая. Та, что прыгнула на него, напугала, бросила к Таисии.

— Пшла вон! — заорал Андрей, как прежде, в родительском доме, когда с колен своих сбрасывал эту гадину. Дернул к себе мешок. Из окна увидел: школьница Галя Костандик впихивает в такси корзины и сумки. Повернулась к нему, сдвоила у рта ладошки и крикнула:

— А хорошие ты мне сказочки тогда рассказывал!

И — о ужас! — покачала бедрами, как потаскушка у кинотеатра «Заря».

Андрей захлопнул окно и свирепо выругался. Девчонка, оказывается, все тогда понимала и чувствовала! А это значит, что прахом пошли труды этой зимы, отведенной на осмысление философского фокуса под названием «вещь в себе». Он не разгадывался умозрительно, этот фокус, а требовал беспристрастной оценки чувственных восприятий. И объектом рассуждений была выбрана писклявая и худющая девчонка шестиклассница. Пока ходила по комнате — бедра ее можно было охватить пальцами рук, а груди, наверное, вообще не существовало. А села — и водрузила на колени не тощий зад, а чресла разбитной бабенки, о груди же и говорить нечего, такой грудью вскормлен не один младенец. Вот и спрашивается: кому принадлежало тело Гали Костандик — ей самой или распаленному воображению Андрея? «Вещь в себе» или «вещь для нас»? Возможен ли взаимный переход качеств? Если да, то ученица 6-го класса обязана чувствовать себя развратницей, елозя пышным задом по бедрам мужчины! Но ведь не чувствовала! Голубиная невинность во взоре! Так что же — разум человека не принадлежит человеку? «Вещь в себе» подвластна аффектам?

Гали Костандик уже след простыл, а Андрей все бесился, ибо трансцендентальная апперцепция Канта полного опровержения не получила. Допущена оплошность — надо было выпустить девчонку, надо было! Взять у тетки портновский сантиметр, точно замерить им охват бедер, груди и талии Галины Костандик, а потом те же замеры произвести в ситуации, когда она — на коленях его, в кресле. Кресла, правда, в наличии нет, но диван имеется, на нем и разгадалась бы вековая философская тайна. Сле-

дует, правда, учесть погрешности измерений: девчонка станет вертеть за дом, а руки экспериментатора — дрожать.

Осенью ему повезло, удалось достать несколько ценных книг и хорошо подумать над апперцепцией и аффикцией — применительно к бедрам малолетней гороховейской шлюхи. Сработали, оказывается, механизмы физиологического и биологического приспособления. Девчонка бессознательно укрупняла в объеме ляжки и расширяла мышечные ткани грудной клетки. Раздвигает же кобра позвонки хребта, когда образует капюшон, чтоб принять устрашающую или привлекающую позу!

Зимой от дурных жиров в столовке, от пирожков с гнилым мясом (с «котятками», как тогда говорили), что продавались у метро «Бауманская», замаялись животами однокурсники, и Андрей Сургеев притащил в общежитие полмешка картошки — той самой, что привезена была Костандик. Кто покашливал — тех заставлял дышать парами разваренных клубней, кого мучил понос и рези в желудке — угощал белой рассыпчатой мякотью, посыпанной солью. На сеанс лечения приперся старикашка, некогда обозвавший абитуриента Сургеева лопухом и тупицей. Он, как и все преподаватели, убежден был, что гороховейский недоросль убоится формул и сбежит из института еще до первой экзаменационной сессии, но поскольку такого не произошло, разъяренно посматривал на почти круглого пятерочника Сургеева и всякий раз норовил застучать его на незнании того, в чем сам путался. Студенческая братия так буйно готовилась к лекциям и экзаменам, что не будь рядом дежурных преподавателей — по кирпичикам разнесла бы общежитие. Старикашке выпал жребий на этот вечер, его угостили уже где-то стаканчиком, но закуску пронесли мимо рта, в комнату с картошкой приманил его запах да восторженный рев. Отведав лакомства, он возрадовался и произнес речь:

— Послушайте, вы, бестолочь окаянная, олухи непеченые... Скажу-ка я вам следующее... Это вот — что?

Он пальцами полез в кастрюлю, подбросил и поймал неочищенную картофелину.

— Картошка! — нестройным хором ответствовали студенты.

— Как бы не так... Трагедия русского народа, обреченного на жите впроголодь!.. Ну, а с точки зрения ботаники, это одно- и многолетнее растение семейства пасленовых, самозародилось оно в Южной Америке. Картофелина же эта — не плод, как многие говорят, а корневое образование. Выращенный землею питательный комок, содержащий в себе углеводы, белки с аминокислотами, ценнейшие витамины и не менее нужные человеку элементы — фосфор, железо, калий, магний, кальций. В шестнадцатом веке картофель завезли в Европу, откуда он и попал в Россию, где началась его многострадальная история. Нет более выгодной и более подходящей для России культуры, чем картофель, он как бы создан для просторов государства Российского — и все просторы того же государства со скрипом и скрежетом противились внедрению картошки, как нынешние студенты — знанию. Картофель так вошел в быт племен и наций России, что получил не только русский паспорт, но и русскую судьбу. Он стал такой же неотъемлемой частью истории и культуры, как язык, душа, как характер, определить который нельзя ничем, кроме как словом «русский». Плодовитость и выносливость его была схожа с крестьянским двором, где вся еда — котелок пустых шей, но детей где, грязных и голозадых, куча мала. А иначе и не могло быть, все напасти пережила Русь. Хлебный недород, болезни косили простой люд, мор пошел, вот и предписали: картошку сажать повсеместно. Предписали — а народ запротестовал, народ под розгами не хотел заморских плодов. Заставили все-таки, усмирили картофельные бунты, к концу века картошка с огородов пошла на поля, но не везде. Пищей был только печеный картофель, а это означает людей у ко-

стра, у печки, насыщались сообща, миром, вместе — еще один штришок... До варки клубней в горшках, кастрюлях, тазах — не догадывались...

Студенты тут же опустошили кастрюлю. Слушали внимательно. Старик — спяну, что ли, — смотрел на них со слезой.

— В следующем веке картофель распространяется вширь и вглубь. Из него делают патоку и крахмал, его скармливают скоту, наконец-то его варят в котелках, кое-где он начинает вытеснять зерновые культуры. Обычный урожай — сам-пять, сам-десять, на всех операциях — ручной труд, предварительная вспашка и посадка — под мотыгу или соху, в нее впрягают коня. Перед Первой мировой войной урожай — девяносто центнеров с гектара по нынешней системе измерения. Матушка-Россия тогда была впереди всех — не по урожаю, а по землям, на которых росла картошка...

Перочинным ножичком старик разрезал картофелину, стал сдергивать с нее кожуру. Студент-китаец конспектировал его речь.

— И ни одного трактора, конечно. Ни одного механизма, облегчавшего труд, лишь соха универсального типа. И тут — война, не эта, а та, империалистическая, германская, а потом и Гражданская. И картофель показал свою необыкновенную живучесть. Что-то впитала эта культура от народа, который так долго брезговал ею. И отблагодарила. Какие только армии не топтали землю — красные, белые, зеленые, — а лопата голодающего всегда находила в земле желанный плод, и разжигался костер, и запах еды разносился по степи. Мешок картошки, доставленный в город, спасал семьи от неминуемой гибели. Мне кажется иногда, — прошамкал старик, — что судьба послала России картошку, потому что она никогда не входила в нормы карточной системы, потому что была самой нетрудоемкой культурой... И воспевать начали картошку, и урожайность ее стала почти сто центнеров. И замерла на этой цифре.

Карандаш китаец осекся на загогулине. Китаец спросил, сколько этой картошки, что едят сейчас, взято с гектара, и Андрей, в уме пересчитав сотки огорода и мешки урожая, сообщил:

— Одна тысяча триста центнеров...

Китаец демонстративно встал и ушел. Все смеялись. Старик сунул нос в кастрюлю, убедился, что там — пусто, оскорбился и бочком, бочком — к двери. Студенты его не любили, уж очень привередливым был, но физика позади, сдана, отчего бы не покалякать с забавным хмырем.

Андрей же продолжал высчитывать и соизмерять. Старику нельзя верить. Сто центнеров — это производительность общественных полей, статистика только их и учитывает, никто ведь в Гороховее не обмерял огороды и не спрашивал, сколько в каком году уродилось. Да и мог ли он думать, что клочок земли, на котором семья педагогов выращивает овощи, входит в историю государства Российского и косвенно подтачивает устои, то есть общественный способ возделывания сельскохозяйственных культур? А это громадное, в тысячу гектаров пространство, на котором раскинулась столица, — тоже история страны. Кстати, что за страна? По утрам поют: «Союз нерушимый республик свободных...» Историю математики, физики и механики Андрей Сургеев знал, в прочих историях путался, заходил в глухие тупики, порой на экзаменах отвечал так, что преподаватели торопливо обрывали его; кое-кто из них полагал, однако, что очень эрудированный студент оскорблен примитивным вопросом и отвечает поэтому намеренно неточно и грубо.

— А где мы живем? — спросил Андрей, очумело озираясь, и студенты хмыкнули. Им это было не в диковинку, Лопушок — парень со странностями, стebанутый малость.

Следующим вопросом, так и не произнесенным, было: что за техника обработки почвы на общественных полях? На высокоурожайных огородах — лопата и мотыга, вилы и ведро. Выходит, что колхозно-совхозные угодья лишены и этого первобытного инвентаря?

Старика Андрей нашел на остановке. Если бы не тяжелая доха, колючий февральский ветер дул бы картофельщика на трамвайные рельсы. Подошел вагон, искря дугой, блистая огнями, как новогодняя елка. Андрей легко переставил старика со снега на подножку.

— И копалки есть, и сажалки, — мрачно ответил старик. — И комбайн скоро появится. Государственный. Но картошки хорошей все равно не будет. И урожаи будут падать.

— Почему?

— Тайна сия неразгаданная велика есть... На небесах она.

Все великое, таинственное, загадочное не желало, как давно уже заметил Андрей, проясняться в образах человеческого сознания, не шло в руки, а попытки заглянуть в истоки мироздания всегда связывались почему-то со злокозненностью. Мефистофели владели тайнами, но не честные бюргеры или гелертеры. С другой стороны, сказано же было немцем: «Даже преступная мысль злодея величественнее всех чудес неба». Так что же есть истина? На земле она или на небе? И что есть картошка?

— Не нужна она! — огрызнулся старик, и в дохе зябнувший. — А если истина и нужна, то для того, чтобы искать и не находить ее. Думать о ней. Но не тебе, олуху. Человек, постигший тайну общественной картошки, на эшафот пойдет. По розам.

Андрей проводил его до дома. Приехал на Пятницкую, в чуланчике при кухне склонился над остатками картошки. Включил свет, рассматривал плоды земли гороховейской. Неужели в каждом из них — тайна?

Старика схоронили той же зимой. Внуки его принесли на Пятницкую вязанку книг, завещанных Андрею. Старикашка, видимо, признал его не совсем тупым.

Книгам Андрей порадовался. Книги положили начало его библиотеке.

Еще один звонок — в жаркий июньский полдень, — и Андрей увидел перед дверью Галину Костандик, без мешка картошки, но со знакомыми уже корзинами и сумками. Протянула пропуск — письмо от родителей Андрея — и смело перекидала через порог поклажу свою, не встретив сопротивления. Появилась она весьма кстати — у Андрея засиделась однокурсница Марина, изрядно ему надоевшая: льнула к нему с пугающим бесстрашием, укромным шепотом выкладывая все свои семейные тайны, и так втерлась в доверие к тетке, что ходила с нею на рынок.

На нее он и напустил Галину Костандик, а та мгновенно оценила обстановку, надменно-суховато кивнула Марине, чтоб потом разлиться радостью: «*Мы* вам так рады, так рады... Да уж не вставайте, сидите, *мы* уж вас чайком угостим, самоварчик поставим, за калачами пошлем...» Андрей захохотал, а тоненькая Марина стала неуклюжей гусыней, саданула боком по этажерке, засмущалась, прикрыла ладошкой рот, захихикала вдруг деревенской дурочкой, ушла — и больше уже на Пятницкую не зарилась.

Родители писали, что гордятся сыном, победившим на студенческом конкурсе; что о статьях его в научных журналах знает весь Гороховей; что подательница сего письма Галочка Костандик существо удивительное: не обладая обширными знаниями, она тем не менее умна и проницательна; что для славы средней школы № 1 города Гороховей ему, Андрею, надлежит подготовить Галю к поступлению в институт; что...

Дочитывать он не стал. Одно ясно: проницательная Галочка родителей — облапошила, иначе бы не хлопотали педагоги, устраивая судьбу гадкой девчонки, которая сейчас мурлыкала и щебетала сразу, обнимая и расцеловывая тетку. Сбросила с ног туфли на непривычном высоком каблуке, вошла в комнату Андрея, согнула в локтях руки, уцепилась пальчиками за верх крепдешинового платья и по-змеиному повела спиной, бедрами, плечами, словно хотела выползти из прошлогодней выцветшей кожи. На самом деле — всего лишь провентилировала тело, окатила его воздушными

потоками. На Андрея смотрела так, будто видела его каждое утро. Заскрипела сумками и корзинами, вытаскивая гостинцы для тетки. Мигом округлила старушку, даже что-то про Бога прогнусавила. Затем принялась за Андрея. Сказала, что поступать будет в педагогический, сочинение напишет, но вот по физике ее надо поднатаскать.

— В институте общежитие есть, для иногородних... — обрадовала она Андрея. — Не у тебя буду жить...

Руки длинные, ноги длинные, жест резкий и убедительный. Стройность как-то диковинно совмещается с гибкостью. Лицо продолговатое, подбородок оттянут книзу, но овал правильный, нос точеный, крупный, глаза синие, мрачные, тонкие и прямые брови умели округляться, превращая низкий лоб неандерталки во вместилище высокоумных мыслей. Октавою ниже стал голос, но не потерял умения быть по-детски умильным. Грудь и бедра — в обычной восемнадцатилетней норме, почти не выделяются, но уж Андрей-то знал, что они могут расширяться и укрупняться, что они — как лошадиные силы в моторе, временно отключенном. Какой-то скрытый порок гнезвился в этой девчонке, оборудованной механизмами с криминогенными приводами.

На первой же натаске обнаружилось ее фантастическое невежество. Ни один репетитор не мог ей помочь — и тем не менее все экзамены сдала на «хорошо» и в институт просунулась.

И пропала на несколько лет. А он закончил институт, остался в Москве. Теткина квартира уже изживала себя, она приглянулась внучке, собиравшейся замуж, и рязанский женишок ее с нетерпением посматривал на Андрея: ну-ка, милоч, выматывайся... И Андрей перебрался в общежитие для молодых специалистов.

3

Весь подъезд ведомственного дома отдали холостякам, на каждую квартиру — два, три и более инженера, в теплые дни все окна распахнуты, радиолы мяукают и гнусавят, разнородная музыка обрушивается на обитателей еще не снесенных бараков, прекрасная половина их похаживает в гости к инженерам, чопорно покуривает, сидит, самоотверженно процеживает: «Руки-то убери, парень, а то — оженю...», однако же долго не сопротивляется.

Пятеро их было, инженеров, в трехкомнатной квартире на пятом этаже, потом один женился, но выписываться почему-то не хотел, хотя твердо обосновался у супруги; второй же постоянно жил на полигоне, в Москве появлялся только на праздники, открывал комнатенку свою, видел в ней следы недавней попойки, удрученно сплевывал, захлопывал дверь и шел к лифту. Самую большую комнату оккупировали братья Мустыгины, с этого-то ведомственного дома началось приятельство Сургеева с ними, дружба на технической основе здесь заложились, чтоб перерасти позднее в научное сотрудничество с клиринговыми расчетами, с бартерными сделками.

Ни в каком кровном родстве они, Мустыгины, не состояли, братьями их называли еще с института, Мустыгиным никто из них не был, и почему именно такой сводный псевдоним взят был ими, знали только сами мнимые братья, большие шутники и конспираторы. Оба — блондинчики, умеющие и любящие стильно одеваться, привившие себе одинаковую манеру говорить, прикуривать и накренять шляпу вперед, по-гангстерски. Им нравилось иметь деньги — сверх всяких окладов, премий и прочих официальных вознаграждений за честный труд в стенах ОКБ, зарабатывать такие деньги стало потребностью души, обоих отличала редкостная смывленность, умение перенимать чужие навыки, они могли бы — при хорошей оплате — резать мозоли, выводить новые сорта тюльпанов для продажи, делать аборт, но мозольный бизнес отвоевали татары в Сандунах, тюль-

панное дело хотя и давало норму прибыли много выше ожидаемой, казалось братьям излишне трудоемким, аборт же не так давно разрешили, и единственно приемлемым и выгодным оставалось — выжимать из диплома МАИ урожаи сам-десять. Поживу они чуяли не носом, а бледно-розовой кожей спины, лопатками, икрами ног, пушком верхней губы. К концу же 50-х годов быт столицы уснастился множеством радиоприборов, косяком пошли телевизоры всех мастей, через государственную границу просачивались портативные магнитофоны, электромузыкальные инструменты. Действовала, конечно, сеть ателье по ремонту и настройке, но государственный заповедник был так обширен и так скверно охранялся, что отстрел выгодных клиентов никакой опасности не представлял. В комнате братьев постоянно ремонтировалось не менее дюжины аппаратов, стенд для проверки блоков сделал им Андрей, и братья, посоветовавшись, преподнесли ему единовременное вознаграждение за труды. Он принял его, поняв, что отказ нарушит бесперебойный ритм полуподпольной мастерской, владельцы ее тончайшим образом улавливали колебания цен, спады и подъемы в оплате услуг, и неприятие денег умалило бы престиж братьев Мустыгиных. С того и пошло. В пустующей комнате полигонного отшельника держался ящик сухого болгарского вина, рядом с гостеприимным диванчиком. Жили весело и дружно. Андрей по вечерам пропадал в библиотеке, но в любое время готов был помочь братьям, а те, с утра до ночи зашибая деньги, тоже не забывали о нем, с разбором подтаскивали в квартиру девиц, в уме плюсуя и минусуя, деля и множа, изобретая коэффициенты для учета возраста, образования, внешности и податливости, — суммарный итог оказывал заметное влияние на расчеты с Андреем, иногда блондины извещали смущенно: «За нами кое-что...»

Нежданно-негаданно братья получили клиента, о котором и мечтать не могли — самого заместителя министра внешней торговли. У того забрахлил телевизор штучного изготовления, с особо изящной облицовкой передней панели, почему и не желал хозяин обменивать его на серийный и надежно работающий. О телевизор уже сломали зубы инженеры радиоминистерства, Андрей был в кабинете главного технолога своего ОКБ, когда там повелся разговор о строптивном аппарате. Братья, нацеленные им на квартиру заместителя министра, прибыли туда во всеоружии, с кучей ненужных измерительных приборов, скромно одетые и немногословные. И не осрамились, аппарат заработал превосходно, солидные деньги перешли из рук в руки, напыщенно-гордые Мустыгины третью часть добычи протянули Андрею. А тот нервно рассмеялся, дивясь щепетильной меркантильности сожителей. Но братья все поняли по-своему и обомлели, на них снизошло прозрение: они, хапуги, сорвали сделку, которая могла стать эпохальной, они позарились на деньги, не сообразив, что у внешторговца связи, знакомства в высших сферах, рекомендательные звонки его открыли бы им двери еще более респектабельных и перспективных квартир.

Ошеломленные собственной глупостью, таращили Мустыгины глаза на Андрея, перестав дышать. Ночь прошла в безжалостном самобичевании, утро увидело братьев обновленными и перерожденными. Голубыми пронзительными глазами смотрели *обновленцы* на стены квартиры, на бараки под окном, на расстилавшуюся столицу, на мир, который будет покорен, несмотря на допущенную ими преступную халатность. И чтоб еще раз не опростоволоситься, братья завели картотеку на перспективных клиентов, собрали в далеко идущих целях обширные сведения о тех, с кем выгодно общаться. Первым в картотеку попал Андрей, братья имели на него серьезнейшие виды, полагая, что в скоротечном мире могут возникнуть понятные только Сургееву виды коммерции. Бумаге Мустыгины не доверяли, досье хранилось на магнитофонных кассетах и зашифровано, — идею подсказал тот, кого они уже не осмеливались называть Лопушком.

Работая с прицелом на будущее, братья не забывали про день текущий. Телефон в их комнате звенькал и трещал почти круглосуточно, и однажды они получили весть о канализационной трубе, лопнувшей в радиомагазине и залившей подсобки и подвалы. Двадцать с чем-то подмоченных магнитофонов «Яуза» были, не без помощи братьев, сактированы и проданы им же за бесценно. Доставленные на дом, осмотренные, обшусленные и отремонтированные, «Яузы» разошлись за несколько часов. Ужасающая вонь стояла в квартире, но многотысячная выручка того стоила. Запах сортира решено было нейтрализовать одеколанными парами немых девок, поселенных в бараках, что поблизости; особы эти, по оргнабору доставленные в Москву, как из лейки поливали себя дешевыми духами, и если, прикинули братья, «деревенщину» подпоить да пустить в пляс — квартира проветривается быстро. Радиола, выставленная на балкон и заоравшая на всю округу, оповестила о начале представительного приема в известной всем девкам квартире на пятом этаже. Желтый дым расстилался по двору, горели первые кучки опавших листьев, и дым напоминал Андрею такие же сентябрьские вечера в Гороховее: на огородах — трудолюбивые, как муравьи, горожане, идет уборка картофеля, зеленая ботва собирается в кучи, кое-где уже тянется к небу дымок, детвора замороженно смотрит в костер, откуда выгребут сейчас обугленные картофелины, под черной коркой которых — самое духовитое лакомство земли гороховейской. И еще привиделось: весной того тяжкого на радости и страдания года они с Таисией спустились в подвал за семенной картошкой и там, в темноте, обнялись и вдруг расплакались, они предчувствовали уже, что там, наверху и на свету, не видать им счастья.

Он ушел в библиотеку, как только в квартире затопали ножищи деревенских красоток. В этот вечер читал Карла Бэра, впервые объяснившего подмыв речных берегов; у немца, кстати, нашлось много чего интересного. В домах появились уже черные сонные окна, когда возвращался к себе. Ни звука с пятого этажа, свет только на кухне, братья, видимо, угомонились, повыкидывали девок. На лестничной площадке — кислятина смешанных запахов, дешевая косметика и винегрет, покупные котлеты и тот физиологический смрад, что создается скопищем здоровых женских тел. Открыл дверь, вошел. Из комнаты своей выглянули братья, шепнули: Андрея на кухне ждет приятнейший сюрприз, то самое, чем будет частично погашен их долг. Андрей кивнул, понял. Заглянул в кухню. На стуле сидела девица — одна из тех, кого недавно завезли в общежитие текстильного комбината. Рассмотрев гостью с трех сторон, Андрей поставил на плиту чайник и спросил, как зовут. Ответа не последовало, и братья, ловившие каждое слово и движение через замочную скважину, возмущенно бабахнули кулаками по двери. Ткачиха, однако, и ухом не повела, да и глаза ее смотрели прямо, не видя Андрея. Несколько удивленный, тот начал ощупывать ее спереди и сбоку, что было адекватно пересчитыванию купюр: братья задолжали ему по меньшей мере пять окладов. И не мог не восхититься: мышечные ткани груди и бедер плотностью и упругостью превосходили вулканизированный каучук. Деваха к тому же оголила плечи и бедра, показывая этим, что ничего, кроме платья, на ней нет. Совершенство форм, мыслимое только в анатомических атласах, не могло все же погасить в Андрее интерес иного свойства. Еще в момент, когда вошел он в кухню, уши его уловили странные и непонятные звуки: в кухне работал какой-то невидимый и еле слышный механизм с хорошо смазанными трущимися деталями, причем издающий звуковые колебания тех частот, на которых человеческое ухо опознает писк мышей, слаженно грызущих кусок сахара. Когда загудел газ и зашумел чайник, звук пропал, но заинтригованный Андрей выключил плиту, чтоб ничто не мешало наблюдениям. Странный звук возобновился, механизм заработал вновь. Андрей сделал шаг назад, а затем влево, находя точку, где слышимость была максимальной, и сделал вывод:

звуки издавались не крупной мышью за плитой, а человеческим организмом на стуле. В поисках источника звука он заглянул в пространство между платьем и телом. Кончики грудей расходились под углом 135 градусов, что, конечно, было удивительно, но отчего, естественно, не могла вибрировать поверхность тела. Лишь сев на корточки перед организмом и всмотревшись в него, Андрей понял наконец, где расположен необычный генератор звуковых колебаний.

Деваха грызла подсолнух, лузгала, то есть при участии рук и рта освобождала прожаренные семечки от оболочки, шелухи. Весь цикл грызения составлялся из ряда операций, безукоризненно выполняемых органами тела, причем каждая последующая операция по отшлифованности и точности превосходила предыдущую, замыкаясь в нерасчленимое единство. Два пальца (большой и указательный) правой руки наугад выхватывали из ладошки левой подсолнух и подбрасывали его ко рту, с величайшей точностью рассчитав скорость и направление полета. Тот ловился кончиком языка или падал в ложбинку его. Чувствительное небо давало сигнал мышцам ротовой полости, гибкий язык передвигал подсолнух к коренным зубам и устанавливал его так, чтоб сжатие челюстей создало достаточное динамическое усилие, примерно равное трем килограммам на один квадратный миллиметр, и скорлупа раскалывалась. Величина давления всякий раз регулировалась, мозг любительницы примитивнейшего удовольствия решал почти мгновенно сложнейшие дифференциальные уравнения высших степеней. В определении параметров детали, поступающей на этот необычный конвейер, участвовали руки, пальцы, глаза, мозг, внутренняя поверхность щек и всего рта. Все операции были идеально взаимосогласованы и осуществлялись с учетом новейших исследований в области сетевого планирования, а выделение изо рта отходов производства шло параллельно с растиранием вкусного содержимого. Язык собирал шелуху, высовывался наружу, губы образовывали канал, формирующий воздушную струю, под напором которой шелуха выстреливалась в направлении коленок, в точно определенное место платья, своеобразного экрана.

И эта демонстрация величайших возможностей человеческого организма — сразу же после библиотеки, где именно в этот день вычитана блестящая по выразительности хвала Карла Бэра могуществу того, кого он считал творцом всего сущего, то есть Богу, и высшим проявлением гениальности творца Бэр признавал устройство жвал обыкновеннейшей вши. Ни одно творение рук человеческих не удостаивалось такого панегирика. И в «Библии природы» Яна Сваммердама не менее пылко славословятся вши: «Вы с изумлением увидите настоящее чудо и в маленькой точке ясно познаете мудрость Господа...» И то же восхищение — в исследовании Хладковского о малюсенькой вше, вонзающей ротовой кинжал свой в кровеносный сосуд жертвы, причем ротовое устройство насекомого — идеальный всасывающе-нагнетательный насос, использующий кровяное давление животного.

Но вот он — сам человек, венец, как пишут, мироздания, вот его губы, рот, зубы, десны, альвеолы ротовой полости, руки — да нет же ему подобия в системе созданных им приспособлений и механизмов! Впрочем, изобретена камнедробильная установка, там камень помещается на неподвижную плиту (она, кстати, называется щекой), на камень давит другая плита, но как все грубо, нерасчетливо, примитивно!

Пожирая лузгающего человека глазами, Андрей все более удивлялся и восхищался. Не мог не заметить, однако, что все семечки отправлялись девахой в левую часть рта. Было ли связано это с правосторонней ориентацией человеческого организма? Или всего-навсего — дефект коренных зубов правой, то есть дублирующей, части системы? Пломба в зубе?

Уловив момент, Андрей надавил на скулы подопытного экземпляра, зафиксировав рот его в открытом положении, и попытался заглянуть

внутри. К его безмерному удивлению, девка заголосила, как на похоронах, отпихнула его от себя, вырвалась из его рук и бросилась к двери. На лестничную площадку выскочили братья, оба в оранжевых трусах, но от преследования отказались. Андрей не покидал кухню, с лупой изучал шелуху, что стряхнула с платья девка. Удалось выяснить — слюна участвовала в операциях по обработке подсолнечника. Братья пристыженно молчали. Люди безукоризненной честности, они полностью признавали свою вину. Вымыть эту грязнулю они догадались, но вот семечки... Изъять их надо было, изъять!

С утра братья устремились на поиски беглянки, о которой всего-то и было известно, что прописана она временно. С величайшим трудом установили: зовут ее Марусей Кудеяровой. Таковой в картотеке не было, досье на нее не заводилось, конечно; опрос местного населения желаемого результата не дал, Маруся сгинула, по слухам — перенесла фанерный чемодан свой в общагу на другом конце Москвы. Тем не менее братья (не без колебаний, правда), уязвленные, видимо, строптивостью деревенской дурочки, завели на нее дело...

(И не ошиблись. Глаза их блуждали, а руки тряслись, когда они — несколько лет спустя — со страхом рассказывали другу Андрею, что произошло с Марусей и кто она ныне. А та поступила в МГУ на философский факультет, была — студенткою — замечена перспективным активистом, восходящей звездой комсомола, и стала Маруся женой второго секретаря райкома, а затем стремительно пошла в гору. Скрупулезно подсчитывая расходы и доходы, братья запутались с долгами Андрею, когда прикинули, что означает в финансовом смысле упущенная выгода от перманентного шантажирования возвышавшейся Маруси. Временами, правда, Маруся уходила в политическую тень, перебрасывалась с культуры на собес, акции ее падали, разница оказывалась не в пользу Андрея, и Мустыгины вытягивали из него эту разницу. Потом период политического небытия вдруг кончался, Маруся начинала курировать науку, братья с поджатыми хвостами возвращались к Андрею, неся в зубах набежавшие проценты...)

В тот воскресный день, когда Мустыгины рыскали по дворам, подъездам и баракам, у Андрея разболелась голова. Весь полный смутного ожидания, тягуче и лениво слонялся он по квартире. В библиотеку не тянуло, но и уходить из дому не хотелось, надо было обдумать происшедшее. Случилось невероятное событие, не поддающееся рациональному толкованию: книжное, библиотечное знание сомкнулось с бытовым! Жвалы насекомого спроецировались на челюсти женщины! Галилей, так сказать, оторвался от телескопа и увидел на столе горстку лунного грунта! И в мире, это несомненно, произошло нечто непредвиденное, выпадающее из строгой очередности причинно-следственных связей, и от него, Андрея Сургеева, потянется боковая ветвь происшествий.

Поэтому он ничуть не удивился, когда в квартиру влетела Галина Костандик. Как раз братья, оскорбленные и злые, забежали домой набраться новых сил для продолжения охоты, и Костандик с ходу раскусила обоих. «Почем жизнь, ребятишки?» — спросила она. И уволокла Андрея в церковь: отпевали старуху, ту самую тетку, у которой он прожил пять лет. Под речитатив священника Галина безмятежно сообщила, что на следующей неделе выходит замуж, но не надолго, года на два или три, поскольку будущий муж дважды уже сваливался в инфаркте, да она и сама-то не очень верит в свои способности быть верной и преданной... Шепотом же пригласила Андрея в загс и на свадьбу, от того и другого Андрей уклонился, сославшись на дела: насколько было ему известно, Костандик во второй раз уже выходила замуж, на первом курсе института она совратила преподавателя, чтоб с его помощью перебраться в МГУ на факультет психологии.

От церкви до могилы — сто метров, гроб несли на руках. Опустили, закрыли землей. Андрей спрятался за высоким памятником, чтоб не ехать на поминки. Долго бродил по кладбищу, жалея тетку, думая о матери, стареющей и высыхающей, об отце, который год от году молодеет, оставил школу, сидел в горисполкоме, то ли председателем, то ли еще кем. Могильные плиты на столичном погосте заросли бурьяном, кресты подкосились, все казалось поваленным или придавленным. Вспомнилось из римской классики: «Погибло все, даже руины».

Мустыгины ждали его с нетерпением. Они напали на след Маруси Кудяровой, но охотничий пыл их увял, когда Андрей решительно отказался от ткачихи. Не будет соблюдена чистота эксперимента, заявил он. Методика измерений не та, искажает существо процесса.

Несколько дней жил он в ожидании чего-то сокрушающего или созидającego. И посмеивался над собой: что сокрушать? что созидать? Нечего. Тихое житье-бытье инженера ОКБ при НИИ, скучные расчеты стальных конструкций. Изредка выпадала халтура — мотоцикл или автомобиль, и деньги, добытые несправедливо, во много раз превышали оклад и премию. Мечталось: Мустыгины закрутят какую-нибудь сногшибательную аферу — и постучатся какие-то таинственные деятели, принесут ключи от отдельных квартир, а уж он, Андрей Сургеев, искусник на все руки, сам сколотит стеллажи для книг, смастерит шкафы и полки, расставит загодя купленные книги и заживет припеваючи. Отдельное жилье, отдельный мир, галактика, тебе принадлежащая. Книги, намеренно разложенные бесцельно, чтоб в поисках нужного тома натолкнуться на открытие, на ранее не замечаемое. Свое. Отдельное. Личное. Только тебе принадлежащее. Не помеченное экслибрисами, ибо нет ничего святотатственнее этой гнусной потребности маркировать чужую мысль, всегда благородную, первозданную. И электронная сигнализация, препятствующая проникновению тая в храм мысли. Ныне же книги хранятся в ящиках под кроватью. Но и от туда уперли Плутарха. Плутарха!

В эти дни Андрея нашел владелец спрятанного в сарае «линкольна». Ударил по рукам, сговорившись на сумме, превышающей самые фантастические предположения той и другой стороны. Дать недельный отпуск за свой счет может только начальник отдела. К нему и направился Андрей, авторучка руководителя уже нависла над вымученным, но грамотным документом: «В связи с семейными обстоятельствами...», и даже первая завитушка легла на бумагу, когда звякнул телефон прямой связи с главным инженером. «А вот он, уже здесь...» — хмыкнул начальник отдела, напишущим концом авторучки отодвигая от себя заявление. И положил трубку. «Ты — в общественной комиссии, поедешь в совхоз, куда именно и за чем — все скажут...» «Никуда не поеду! — ревел Андрей в кабинете главного инженера. — Что за комиссия? Кто ее создал?» В ответ — нечто невразумительное, какой-то набор слов, не поддающийся осмыслению. Зато понималось: уплывают денюжки, первый взнос в будущий храм, и вновь прорезался иступленный крик: «Не по-е-ду!»

Тем не менее кое-какие справки дали. Совхоз «Борец» в Подмосковье, где-то за Подольском, общественная комиссия создана не главным инженером, а общемолодежной газетой «Комсомольская правда», предстоят испытания комбайнов. Каких комбайнов? А черт его знает. Может, и угольных. Какой уголь в совхозе? Да в Подмосковье ж есть бурый уголь. Так что — бегом в бухгалтерию, командировочные и прочее, десять дней, отдохнешь и так далее.

Приказы дали, упрашивали, умасливали, суля еще и премию, — и с некоторым испугом посматривали на Лопушка, чуть ли не стенавшего. Дали телефоны, чтоб тот мог дозвониться, куда надо, и прояснились контуры грядущего (в этом Андрей уже не сомневался) бедствия, предвестием чего голову стянуло обручем, хотелось кричать и плакать. Палец продолжал,

однако, накручивать номера на диске, барышни из общемолодежной газеты «Комсомольская правда» прошебетали Андрею самое главное.

Комбайн был — картофелеуборочным! Модернизированным! Предстоят сравнительные испытания двух комбайнов: этого самого модернизированного и того, за судьбой которого следит «Комсомолка», — комбайна изобретателя Ланкина. Точнее говоря, испытания уже идут. Более подробные сведения могут дать следующие товарищи: Васьянин Т. Г. из ВТП и Крохин В. В. из ВОИРа.

Андрея Сургеева пронзил страх. Свершилось! Во тьме случайностей засветилась и засверкала закономерность. Картошка, та самая, что связана с Таисией, Галиной Костандик и просветительской речью хмыря, нашла продолжение в жвалах вши, челюстях лузгающей Маруси, в совхозе «Борец» и комбайне. Нет, что-то случится, потому что комбайн этот, поганое творение Рязанского завода, Андрей видел уже, щупал год назад. Он, едучи со станции в Гороховой, сошел тогда с автобуса и по взрыхленному картофельному полю поперся к странному кособокому сооружению неизвестного назначения. Это была система мотыг, подцепленная к трактору, картофелеуборочный комбайн, около которого суетились механики, почему зря понося конструкторов... До вечера провозился с комбайном Андрей, помогая устанавливать глубину хода плугов. КУК-1 — так называлась эта бездарная конструкция.

Московский инженер Сургеев не мог разложить на составляющие элементы такие понятия, как ВЦСПС или МГК, к расшифровке ВТП и ВОИР приступить он не стал, память Андрея держала в себе только сокращения, обозначавшие системы единиц, принятых в механике и физике. Но уж о ЦК КПСС он слышал не раз, смело предположил, что кто-то там, в ЦК этом, комбайнами ведает, и одна из барышень в приемной главного инженера сказала по секрету Андрею, кто именно и адрес.

— Такси! — заорал Андрей, устремляясь к букве «Т» на дверце проезжавшей машины.

Дорогомиловка осталась позади, влившись в Кутузовский проспект. Еще немного — и дом № 26; шофер, правда, отказался подвозить к самому дому, он у таксистов пользовался дурной славой. Андрей выскочил из машины и пер по лужам. Все подъезды в этом доме — со двора, квартиру он нашел быстро. Неожиданное препятствие: у дверей квартиры маялся служивый человек, сантехник — чемоданчик в руке, в другой — разводной гаечный ключ, моток проволоки. Что привлекло его сюда — можно не спрашивать, за дверью шумела и плескалась вода, в глухой шум водопада вплетались раздраженные женские голоса. «Без хозяина не пустят!» — заплетающимся языком объяснил служивый и неимоверно грязным пальцем (чемоданчик был отдан Андрею) вдавил кнопку звонка в стену. Дверь открылась для того, чтоб просунуть в щель стакан водки с бутербродом на нем. Сантехник водку взял (дверь тут же закрылась), протянул ее Андрею, поведав о нравах обитателей этого дома, которые водкой и закуской пресекают все попытки нарушить неприкосновенность их жилищ. Отключить повсеместно воду мешает кагэбэшный чин в бойлерной, а в квартиру эту, что заливает нижние этажи, не прорваться.

С этими словами сантехник расположился на ступенях лестницы, в позе приуставшего путника. Андрей же, ранее заметивший, что дверная цепочка навешена безграмотно, добился продолжительным звонком приоткрытия двери, тычком отвертки отбросил цепочку, распахнул дверь и ворвался в квартиру под истошный вопль какой-то костлявой, да боли в ушах визгливой особы, перепрыгнул через плотину из мешков и ящиков, оказавшись по щиколотку в воде; тыкаясь в разные углы кухни, туалета и ванной, он нашел-таки вентиля, перекрыл воду, достал из чемоданчика все необходимое, поставил новый кран и стал древним способом, выкручивая намоченные тряпки, обезвоживать кухню. Когда в квартире стало

поттише, в воплях бесновавшейся хозяйки прорезался клекот хищной птицы, а затем и змеиный шип с потрескиванием, за что обозленный Андрей обозвал особу «гремучей змеей».

И все то время, что носился он от ванной к кухне и обратно, звеня тазами и шмякая тряпками, перед глазами его мелькали оголенные плечи, руки и ноги той, что помогала ему управляться с водой, что радостным смехом встретила прозвище, каким Андрей наградил особу, наконец-то убравшуюся куда-то вглубь квартиры и, видимо, свернувшуюся там в клубок. «Так ей и надо! — торжествующе воскликнула добрая помощница Андрея, замарашка в разорванном халатике, полы которого были подняты и узлом завязаны на животе. — Ужас как надоела мне эта уродина!» Андрей в ванной отжал рубашку, набросил ее на горячие трубы. Замарашка и здесь помогала; при ярком, умноженном зеркалами свете он глянул на нее — и поразился детской доверчивости взрослого все-таки существа. Личико замарашки как бы хранило в себе то выражение предплача, какое бывает у детей, только начинавших сознавать горькую обиду, им нанесенную. Совсем неожиданно для себя он подался вперед и поцеловал девчужку — во влажный висок ее, потом ниже, где-то за ухом, потом еще ниже, стал целовать плечо ее, осторожно, еле касаясь, и с каждым касанием его губ девушка вздрагивала, выпрямлялась и натягивалась, как струна, дрожа и вибрируя, тянулась на цыпочках ввысь... Когда все, что было на ней оголенного, осыпалось поцелуями и возникло опасение, что обездоленными, лишенными окажутся прикрытые тканью округлости, девушка потянулась и сомкнула лопатки, чтобы расстегнуться и высвободить то, что полно и всеохватывающе должно было принадлежать не вороватым глазам мужчины, не обезьяньим рукам его, а тому, кто мог бы зачатся сейчас... И зачался бы, не затрещи за дверью гремушка особы, не зашурши та и не запищи. «Подглядываешь?» — крикнула змее девчужка, будто камнем отгоняя гадину; включила воду, чтоб в шуме тугой струи не слышно было, что она говорит, а сказала она, что зовут ее Алевтиной (Андрей был поражен: Алевтина и Таисия — это ведь одинаково редкие имена!), что она блокадница, родилась в Ленинграде, в 42-м, мать умерла, вывезли ее на Урал в 43-м, там она потерялась и там ее нашел двоюродный дядя и удочерил, в Москве она пятый год уже, в этой квартире недавно, очень она ей не нравится; змея эта, что за дверью, заправляет здесь всем хозяйством, что-то все прячет и находит, в доме вообще много непонятного: как только кого ожидают в гости — обязательно начинают перепрятывать, переключать или перебирать вещи; нет, не лезут в шкафы и ящики, всего лишь только обсуждают, что подать на стол, но впечатление такое — перепрятывают; учится она в Инязе; ему, Андрею, надо уходить немедленно, она же будет ждать его завтра, послезавтра и все последующие дни у метро «Кропоткинская» в половине третьего; ведь отныне они не Андрей и Аля, а нечто, объединяющее эти имена; да, да, наверное — это любовь, потому что им обоим не стыдно делать при свете то, что обычно бывает ночью...

— Любовь, — согласился Андрей, сраженный ее доводом.

Сантехник спал сидя, и Андрей, взвалив на себя служивого, снес его вниз.

Дождь уже кончился. Перейдя на другую сторону проспекта, Андрей прощально глянул на дом, куда занесла его судьба, попросив ее не устраивать ему больше таких фокусов. Станный, очень странный дом! Поскорей бы забыть его, а заодно и эту Алевтину, домработницу и студентку!

(Три года спустя у Андрея Сургеева умерла жена, Аля, Алевтина, умерла в мокрый сентябрьский вечер, в однокомнатной квартирке типовой пятиэтажки, на окраине Москвы, вдалеке от магазинов; за молоком и творогом для Али приходилось ездить на далекий Черемушкинский рынок.

Умерла на кровати, которую спавший на кушетке Андрей сделал скрипучей, чтоб она звала его ночью, когда Аля немела от боли, распрямлявшей скрюченное тело ее.

Умирала она в ясном и полном сознании. Бывают в ранней осени неподвижные дни, когда воздух так чист и прозрачен, что дробит все сущее на отдельные и самостоятельные предметы. Видимо, в эти дни земля упрятывает в себе тепло, накопленное за лето, не отдает его и поэтому не искажает восходящими струями очертания листочков, пней, скамеек в парке. И Аля перед смертью своей — все видела отчетливо; быт для нее стал нематериальным, неосяцаемым, и жизнь, уже отлетавшая, представлялась в резких картинках. В великом стыду Андрей прошептал ей: «Ты должна ненавидеть меня...» Она так поразилась, что привстала даже: «За что — ненавидеть? Ты же дал мне все — свободу, любовь к мужчине, боль при родах, и эта боль сделала меня сестрой всех матерей, и если так получилось, что ребенок умер, так это из-за меня, из-за слабости моей, и не вини себя. И смерть ты мне дал, все теперь мною испытано, всегда ты был концом и началом всего, меня тоже, — да разве ж можно тебя ненавидеть?»

На втором году брака он понял вдруг (на Кузнецком мосту это произошло), что не любя женился он на Але и не любя живет с нею. В дом — не тянуло, а там не только ведь Аля, там — книги, к которым он так привязан, и эту вот, только что купленную на толкучке, в дом нести не хочется. Чего-то там не было, в доме, какого-то светила, вокруг которого вращались бы они, муж и жена. Аля (вот уж не ожидалось чего!) не наделена была свойством нужности, она всегда оказывалась не к месту и не ко времени, более чем суточное пребывание с нею в одних стенах вызывало тихое озлобление, потому что постоянно чудилось: вот сейчас грохнется тарелка на пол, посыпятся книги с полки, погаснет свет. Любовь пришла позже, ей предшествовала жалость, затопившая Андрея в тот день, когда Алю привезли из роддома, без ребенка. Она растегнула пальто, но не сняла его, прошла в кухню, зажгла все конфорки, над синим огнем дрожали синие руки ее; Аля плакала, в ней уже часовым механизмом фугаса тикал воспалявшийся легочный процесс, не охлаждаясь от вечной мерзлоты, привезенной из роддома. Вот тут и стала накатываться на Андрея *жадность*, древнейшее из чувств, порожденное общностью судеб всех живущих, образ чужого страдания, перенесенный на себя и в себе вызывающий такую же боль. Он уволился с работы, брал на дом переводы, преподавал по вечерам в техникуме, оценивал — внештатным экспертом — заявки на изобретения. Теперь его гнала в дом боль Али. Смерти она не страшилась: она потеряла ребенка, даже не увидев его; она, живородящая, дыханием своим, руками, молоком — не могла спасти отделившееся от нее дитя, так что же еще может быть страшнее?.. Все мелкие обиды ее утонули в несчастье, тревожили ее пустячки: не помириться ли ему, Андрею, с Галиной Леонидовной? И самое главное, ни в коем случае не оповещать о смерти ее никого из дома номер двадцать шесть по Кутузовскому!

Он слушал, обещал, успокаивал. Рука ее перед смертью легла ему на лоб, под глазами его набухла и спадала вена, пока кисть Али не упала на одеяло. Иссяк родничок!)

Братья Мустыгины всполошились, узнав о комиссии, совхозе и картофелеуборочном комбайне. На неопределенное время откладывался «линкольн» в сарае, а на владельца его братья уже собрали увесистые данные, «линкольн» пробивал им дорогу на рынок полупроводников.

Посвящать друзей в тайны Кутузовского проспекта Андрей не стал. Мрачно заявил, что ему позарез нужна «Комсомолка» со статьями о картофелеуборочной технике, ему надо все знать о комбайнах! И о Васьякине Т. Г.! И о Крохине В. В.! Первый связан с организацией, именующей себя так: ВТП. Второй — с ВОИРом. И где достать комплекты чертежей

на комбайн какого-то там Ланкина? Причем так достать, чтоб не видеть их вообще! Потому что не поедет он никуда! Не поедет! Но чертежи комбайна Ланкина он должен увидеть! И Васьянина Т. Г. — тоже, того, который из ВТП. «В» — это, конечно, Всесоюзный, потому что в трехбуквенных аббревиатурах должно быть указание — на какой район земного шара распространяется деятельность учреждения. Ну, а «ТП» — это трансформаторный пункт, несомненно.

Выслушав этот бред, Мустыгины полезли в свою картотеку. Крохин В. В. из Всесоюзного Общества Изобретателей и Рационализаторов был настолько бесперспективен, что в поле зрения их не попал, зато Васьянин Тимофей Гаврилович был разработан основательно. К трансформаторам он, конечно, никакого отношения не имел. Всесоюзная Торговая Палата! Кое-какие сведения для шантажа его имелись, но полного успеха не гарантировали. Братья, вырывая друг у друга телефонную трубку, стали названивать своей агентуре. К обеду завтрашнего дня они обещали Андрею предоставить более точную и убийственную информацию. Ночь братья провели в разъездах по Москве, перекрестно допрашивая свидетелей и пополняя их чистосердечными признаниями уже разбухшее досье на подследственного Васьянина. Андрей же с утра полетел в библиотеку Политического музея. Консультанты мало чего могли ему сказать, в курилке библиотеки знали много больше: конкурсные испытания двух картофелеуборочных комбайнов — КУК-2 Рязанского завода сельскохозяйственного машиностроения и ККЛ-3 свердловского инженера Ланкина В. К. Худые вести о рязанском уроде шли со всех концов страны и достигли редакций многих газет; одна из них, «Комсомолка», вспомнила о картофелеуборочном комбайне Ланкина, отвергнутом когда-то, но от этого не ставшем хуже.

Андрей слюнявил одну папиросу за другой, суетился так, будто ищет билет на через минуту отходящий поезд, и курилка, этот клуб любителей истины, сочувствовала ему, гонцы прочесали ряды читального зала и нашли свердловчанина, который и поведал ему об уральском самородке. Этот тракторист Коля Ланкин самовольно собрал в ремонтной мастерской свой первый картофелный комбайн, за что и был посажен, обвиненный в хищении социалистической собственности, и отсидел то ли три, то ли четыре года. Слеза умиления прошибла Андрея, какие-то торжественные слова, произнесенные им, вызвали одобрение курилки. Стены ее были испещрены пасквильными надписями и разрисованы рожами, более напоминающими задницы.

Ровно в два часа дня белокурые красавцы Мустыгины посадили Андрея в такси, снабдив его полными и умопомрачительными данными на Васьянина Т. Г., члена КПСС, вотяка по национальности, выпускника Института народного хозяйства им. Плеханова, 1930 года рождения, говорившего по-английски, французски, немецки, никаких родственников нигде не имевшего и к суду и следствию не привлекавшегося, не раз бывавшего в заграникомандировках, где и произошла с ним одна крайне любопытная история, после которой Васьянин Т. Г. получил неблагозвучное прозвище, на ухо сообщенное Андрею для оказания давления на представителя Торговой Палаты, если тот зартачится или заерепенится.

— Полной удачи! — Братья Мустыгины вежливо приподняли шляпы. Андрей, подавленный обилием информации и прозвищем Васьянина, надвинул кепочку на пылающий лоб. Он рвался в бой.

«Котельническая набережная! Высотный дом!» — такие координаты сказаны были шоферу такси, весьма приблизительные, как оказалось, потому что в доме этом подъездов насчитывалось много, все здание обошел Андрей по периметру, пока не нашел нужный вход. Этаж — четырнадцатый, из-за двери донеслось не остервенелое дребезжание колокола, по которому в электромагнитном экстазе лупит молоточек, а ласковое воркова-

ние заморской птицы, призывающей хозяев обратить благосклонное внимание на гостя, и хозяева вняли просьбе воркующей пташки, предварительно рассмотрев пришельца через оптическое устройство, вмонтированное в дверь, и та открылась, величаво, будто открыванию предшествовал зычный возглас мажордома: «Инженер из Москвы Андрей Сургеев!»

Благоухание обдало Андрея, едва он переступил порог комфортабельного жилища, и запах этот, вне сомнений, был, как и дверной звонок, привезен из-за границы, и оттуда же — тропические растения в кадках, похожие на пальмы; Андрею показалось даже, что растения эти шелестят и что где-то рядом набегают океанские волны; он не удивился бы, подскочи к нему гостиничный бой в ливрейной курточке, чтоб подхватить чемодан, обклеенный названиями лучших отелей Запада, в коих побывал будто бы он, Андрей; и женщина, открывшая дверь, была из райских садов и чем-то напоминала заморскую птицу, яркостью оперения, что ли; взгляд ее, правда, выражал то, что чувствует пернатое, когда у гнезда появляется хищник... «Прошу вас», — повела она гостя в хоромы, но Андрей, дойдя до книг в шкафах и на полках, дальше идти отказался, погрузившись в изучение того богатства, обладание которым мыслилось ему только после шести или семи отреставрированных «линкольнов». Бегло осмотрев сокровища, он причислил хозяев квартиры к гуманитариям с уклоном в культуру романоязычных стран, книги на испанском языке соседствовали с Аполлинером и Корнелем в подлиннике.

Пальмы отшелестели сразу, а галльский дух выветрился мгновенно, когда к Андрею подошел и назвал себя Тимофеем Гавриловичем Васьякиным мужчина лет тридцати или чуть более, ростом под метр восемьдесят. Сотворяя этого человека, природа особо не усердствовала, как бы поставив на зародыше значок — «обработка по любому классу точности», то есть уклонилась от обязанности лепить людей не похожими на медведей и гиббонов. Лицевой мускулатуре Тимофея Гавриловича можно было не напрягаться, выражая «издевательскую ухмылку» или «хамское пренебрежение», то и другое присутствовало так же неотъемлемо, как рот, глаза и уши; лицо вдобавок кто-то еще оплеснул серной кислотой. С таким человеком надо было говорить напрямую, и Андрей Сургеев смело и развязно поведал Тимофею Гавриловичу о том, что ему срочно нужны чертежи картофелеуборочных комбайнов, тех самых, на сравнительные испытания которых они оба отправятся завтра. «Давай чертежи, а то я никуда не поеду!» — к этому сводилось требование Андрея.

Васьякин (в стеганом халате и с сигаретой в зубах) выслушал его внимательно, оглядел с ног до головы и стал невозмутимо отвечать, причем так, словно изо рта его вылетали не слова, а плевки, и вся речь была серией плевков вокруг и около гостя, и смысл ее сводился к тому, что в гробу он, Васьякин, видал эти комбайны, этого советского инженера Сургеева, эту комиссию доморощенную, а уж на чертежи и схемы комбайнов ему наплевать с высокой колокольни. Отвечая, в слова свои Тимофей Гаврилович вклинивал набор звуков, невозпроизводимые на письме дифтонги, свидетельство того, что Тимоша Васьякин с молоком матери всосал неволяцкий мат. Кого другого могла обескуражить такая встреча, но не Андрея с правильным инструктажем. Плехнувшись в кресло без приглашения, он глянул на часы «Победа», служившие ему не один год уже, и тоном следователя, которому надоели увертки подозреваемого, спросил, какого мнения Васьякин о Ланкине. Видимо, к такому повороту беседы хозяин квартиры готов не был. На помощь ему бросилась супруга, спросила нежнейше, не будет ли гость так любезен, что отвечает кофе? Какой, кстати, кофе предпочитает Андрей Николаевич? Арабику или...

— Молотый! — категорический ответил Андрей. И тут же дал сугубо технологический совет: бобы кофе, именуемые зернами, ударно-вибрационным способом следует измельчить до оптимальных размеров, смешать с

водой и медленным нагреванием до температуры кипения подвести к состоянию, когда образовавшаяся пена — так называемая шапка — станет препятствием для улетучивания ароматических соединений, число которых близится к двум сотням, а химический состав до сих пор не разгадан. Столь подробный инструктаж московский инженер Сургеев объяснил тем, что в его ОКБ кое-кто имеет обыкновение по утрам грызть кофейные зерна, отшибая этим запах вчерашнего алкоголя.

Новая метода произвела на хозяев квартиры ошеломительное впечатление. Тимофей Гаврилович погнал супругу на кухню. Большеглазая и большеротая, черноокая и молчаливая жена Васьянина осваивать ударно-вибрационный метод не торопилась, накормила гостя чем-то паштетообразным, причем Васьянин посадил Андрея почему-то не за стол, а за пианино с поднятой крышкой, указав на вращающийся стульчик перед инструментом. Похваляясь набором спиртного, он же угостил Андрея напитком из бутылки с Наполеоном в треуголке; о напитке было сказано, что это — лучший самогон из подвалов Борисоглебского райпотребсоюза. Когда свекольного цвета комочек упал с тарелки на клавиши пианино, хозяин не стал изображать из себя воспитанного по Чехову интеллигента, не промолчал, а обратил внимание супруги на допущенный гостем ляпсус, и та устранила непорядок, ободряюще улыбнувшись Андрею. Доверительно понизив голос, Васьянин озабоченно посетовал на судьбу, которая заставляет его примешивать гостям в пищу чесночные ингредиенты, ибо только вонь изо рта отбивает у супруги желание вешаться на шею всем проходящим в дом мужчинам. Да, да, изменяет, — патетически воскликнул Васьянин, — ропщи не ропщи, а такова уж судьба его; к каким только ухищрениям не прибегают мужчины, прорываясь сюда, на какие подлоги не идут, картофельный комбайн, кстати, — это что-то новое...

Отпив кофе, хлопнув еще рюмочку из императорского сосуда, Андрей Сургеев принял к сердцу тревоги хозяина дома и участливо спросил, давно ли применяется естественная вакцинация тех, на кого обрушивается необузданная страсть супруги? Не обращались ли к врачам? Не идентифицирована ли страсть как разновидность сексуальной паранойи? Не мешало бы четко и грамотно произвести классификацию всех измен, составить график их, диаграмму, обобщающую продолжительность прелюбодеяний, частоту их — в зависимости от антропометрических данных мужчин; в частности, если измены носят циклический характер, то истоки заболевания следует искать в психосексуальном срезе наследственной структуры, спонтанность же порывов можно рассматривать как флуктуации, как аномалии, но именно они указывают на роль бродящих в подсознании моделей, а если вспомнить об архетипах Юнга...

Не отступая от линии поведения, начертанной Мустыгиными, разглагольствующий Андрей то и дело поглядывал на часы свои, заголяя кисть левой руки, демонстрируя циферблат «Победы» и хозяевам, что не могло остаться незамеченным, и когда Васьянины несколько озабоченно спросили, уж не спешит ли он куда, то ответил Андрей утвердительно: да, спешит, женщины, сами понимаете! И пояснил. Консерватория, как известно, насквозь поражена гомосексуализмом, диалектика пронизывает бытие противоположностями, вот почему в одном из московских театров процветает лесбиянство, туда и едет он, на ультраинтимную встречу с парой лесбиянок, чтоб отучить их от пагубной для человечества страсти...

Печальная судьба заблудших артисток не взволновала, однако, ни Тимофея Гавриловича, ни Елену, супругу его. Васьянины захохотали так, что люстра над головой Андрея стала раскачиваться; пришлось дерябнуть еще рюмашку борисоглебского самогона, чтоб люстра не превратилась в маятник Фуко. А потом и еще одну. После чего Васьянин посчитал, что пора прощаться с настырным мозгляком. Никаких чертежей у него нет, не было и не будет, заявил он решительно. Да они и не нужны, уточнил он.

Рязанский КУК-2, насколько ему известно, — дерьмо собачье, ублюдок государственных кровей, гроша ломаного не стоит, в подметки не годится ланкинскому комбайну, но комиссия для того и создана, чтоб угробить Ланкина. Понятно?

— Чертежи! — упорствовал Андрей, пытаюсь вспомнить озорное прозвище Васьянина, представителя Всесоюзной Торговой Палаты. — Схемы! — требовал он уже в прихожей, куда его выпихнул хозяин, негостеприимно открыв дверь на лестничную площадку.

Тимофей Гаврилович стоял перед ним — каменным идиолом. При великой государственной нужде он сам себя мог бы выставить в павильоне, под восхищенные взоры западных обывателей, ибо являл собою — для щепетильной Европы — «буквальное олицетворение большевизма, Лубянки и казачьих орд» (сравнение принадлежало братьям Мустыгиным). И прозвище вспомнилось!

Для смелости и лихости Андрей сдвинул кепчонку вбок и язвительно процедил:

— Так это вы — Срутник?

Ничто не дрогнуло на лице, выражавшем стоическое недомыслие хама. Лягушачий рот Васьянина медленно раскрылся. Он развернул гостя лицом к двери и отступил на шаг — для придания ноге большей амплитуды, для обретения ею нужной кинетической энергии.

— Да, это я Срутник, — промолвил он и дал ногой Андрею под зад, вышибая его из прихожей на лестничную площадку, чтоб там уже, у лифта, нанести еще один удар. — Увижу в совхозе — ноги поотрываю! — выкрикнул он.

Андрей, забыв о лифте, летел вниз, хохоча во все горло. И на улице хохотал, когда под хлещущим дождем бежал по набережной, ища такси, и в такси хохотал и хохотал, а потом не удержался и рассказал шоферу о том, как в конце сентября 1957 года прибыла в Париж делегация из Москвы, продавать французам крупную партию часов, как французы выдвинули условие: покупаем только механизмы, уж очень убого выглядят русские часы на европейских запястьях; как долго спорили о названии часов, потому что «Победа» никак не соответствовала изящно сработанному корпусу; как полет первого спутника 4 октября 1957 года решил все споры — «Спутник», только «Спутник»; как глава делегации Васьянин Т. Г. привез министру внешней торговли подарок от французов, часы, и министр, глянув, увидел то, чего не узрели в Париже русские, со всех сторон обложенные латинским алфавитом: «СРУТНИК» — вот что выведено было на часах!..

Мустыгины с нетерпением ждали его. Напоили горячим чаем с коньяком, завернули в три одеяла. Они обихаживали его, как разведчика, переползшего через линию фронта с ценными сведениями. Досье на Тимофея Гавриловича Васьянина пополнилось свежими данными, был проведен углубленный психологический анализ. (О девушке Алевтине братья не узнали ни слова, поскольку Андрей не считал это знакомство что-либо обещающим ему и Мустыгиным.)

Сон уже склеивал веки, когда недремлющие соратники поднесли к его уху телефонную трубку. Звонил какой-то Митрохин-Ерохин, и то заискивал голос, то угрожал, — так ничего и не понял Андрей, не дослушал даже, заснул.

Утром же в пронзительной ясности увидел вчерашний день: умного, образованного человека, получившего прозвище Срутник и разъяренного тем, что в квартиру его ворвался наглый и глупый юнец; девушку Алевтину, на цепь посаженную и с цепи им, юнцом, спущенную, там, в ванной; честного и робкого воировца Крохина, принятого за Митрохина-Ерохина, много раз битого за непослушание, — это его, крохинская, душа дергалась под телефонной мембраной, билась, как муха о стекло, искала выхода, помощи, взывала к разуму, а потом сложила крылышки и сникла, увяла. Во-

ировец Крохин винился: он не может ехать в совхоз, потому что его заставят там подписывать лживые бесчестные документы. Какие документы, кто заставит — вот что надо было вчера узнать у воировца! Да и весь вчерашний день — цепь ошибок и заблуждений. Трусливый негодяй (иначе назвать себя Андрей не мог) метался по горящему дому и не выскакивал из него потому, что не хотел расставаться с какими-то подпаленными огнем вещичками.

Примчался гонец от главного инженера, потребовал немедленно выезда в совхоз «Борец» для выполнения гражданского долга. Угрозам Андрей не внял. Сиднем сидел дома, ни к пище, ни к телефону не притрагивался. Его питал заколоченный ящик под кроватью — бессмертные труды и великие мысли, принадлежащие людям, которые шли на костер, но не отступали от истины. Он заряжался решимостью и энергией от саккумулированных трагедий и триумфов, сидя на кровати, в полуметре от источника энергии, в мощном поле излучения тех, кто считал бином Ньютона нравственным потому, что тот правильный и выверен практикой.

Из налета на библиотеки и рейда по знающим людям вернулись братья Мустыгины, с богатой добычей. Они хорошо поработали ножницами, искромсав не одну газетную подшивку. Угрозами и посулами разговаривали они некоторых ответственных молчунов, уворовав заодно печатные издания, не подлежащие выносу из служебных помещений. Всю ночь горел свет в комнате Андрея, который начинал постигать величие ниспосланной на него миссии, то есть командировки. Он всем докажет, что КУК-2 — средневековье, а комбайн Ланкина — заря новой эпохи.

Утром братья положили к ногам Андрея документ государственной важности, выкраденный ими из редакции журнала «Изобретатель и рационализатор», протокол совещания у главного инженера Рязанского завода. Разговор там шел без дураков, напрямую, оглашены были убийственные факты, вес комбайна КУК-2 завышен на 300 килограммов, а на прутковый транспортер подается в одну секунду такое количество земляной и картофельной массы (сто восемьдесят килограммов), что конструкция его не в состоянии эту нагрузку выдержать, и частые поломки комбайна — неизбежны.

В отчаянии Андрей схватился за голову, потом кулаком погрозил в ту сторону, где предположительно находился руководимый врагами народа Рязанский завод сельхозмашиностроения. Сколько металла загублено, сколько картошки превращено в месиво, годное лишь для корма скоту!..

4

Братья Мустыгины проводили Андрея Сургеева. Они обняли его на перроне и долго смотрели на уменьшавшийся хвостовой вагон электрички. Угнетенное состояние духа погнало их в укромный уголок вокзального ресторана. Они многозначительно приподняли рюмки и выпили за упокой души раба Божьего Андрея. Им не верилось, что когда-либо они увидят его, потому что все в картофельной командировке казалось им странным, загадочным, наводящим на мысли о скорой расправе властей с ни в чем не повинным Лопушком. Почему, спрашивали они себя, в комиссию определен человек, ни к партии, ни к комсомолу, ни к сельхозтехнике никакого отношения не имеющий? Совершенно ясно, что готовится какая-то гадость, Андрюшу вовлекают в дьявольский заговор, чтоб потом партийные и комсомольские органы ОКБ могли уйти от ответа, все свалив на беспартийного. Братья нашли информаторшу в «Комсомолке», и та поведала им о невероятном: газета, поднявшая шум вокруг непризнанного изобретателя Ланкина и в шуме этом создавшая общественную комиссию, своего представителя в совхоз «Борец» так и не послала — тот внезапно заболел. Наконец братья изучили областную газету, откуда узнали, что картофель в

Подольском районе уже весь выкопан. А раз так, то на чем испытывать комбайны? Ни одной газетной цифре Мустыгины не верили, истину показывали стрелки измерительных приборов на стенде, сработанном золотыми руками их любимого Андрюши-Лопушка, и только. Но даже если сводки с полей картофельных сражений и несколько привирали, то все равно следовало сомневаться в реальности не только испытаний, но и самого совхоза «Борец». Выщедив бутылку армянского коньяка, богатого полезными для организма дубильными веществами (братья проявляли искреннюю заботу о своем здоровье), выкуриив по сигарете («Филип Моррис», черный угольный фильтр, длинный мундштук), Мустыгины вплотную приблизились к версии об атомных испытаниях, куда подопытным кроликом отправлен беспартийный, никому, кроме них, в столице не нужный и многим в ОКБ надоевший инженер Сургеев...

(Братья Мустыгины не так уж далеки были от истины, потому что последствия того, что произошло в совхозе «Борец», были страшнее атомного взрыва.

Мустыгины, располагая они некоторым запасом времени, разворошили бы старые подшивки областных газет, по душам покаялись бы с пьющими аспирантами Тимирязевки, пораскинули бы верткими мозгами и на всякий случай завели бы тайно хранимое досье на министров, власть свою употреблявших на создание в стране голода. От него державу всегда спасала картошка, но как раз картошку и не хотели иметь в достатке руководители всех сельскохозяйственных ведомств, хотя со всех трибун клялись — абсолютно искренно — решить наконец-то продовольственную проблему, давнюю причем. Война внезапно обнаружила не только ценность картофеля, но и невозможность выкопки его: мужчины — на фронте, бабы, вооруженные мотыгой, лопатой и плугом, явно не справлялись. Тогда-то и спохватились инженеры Урала, здесь фабрично-заводской люд превосходил по численности колхозно-совхозный, но отвлекать на картошку тысячные массы квалифицированных рабочих казалось нелепостью, и картофелеуборочные комбайны быстренько спроектировались и не менее быстро выкатились на поля. В картофельной Белоруссии и после войны мужчин не прибавилось, и здесь тоже умельцы и рационализаторы начали делать устройства для механической посадки и уборки. Не дремало и государство, в Рязани пыхтели конструкторы над картофелеуборочным комбайном КУК-1, одновременно уничтожались все конкуренты его, потому что частным образом делать что-либо запрещалось, восставала конституция и понятное любому гражданину право собственности государства на металл, время и людей. Уничтожен был комбайн одного умельца в Минске, та же участь постигла другие конструкции, машина Ланкина уцелела потому, что собрана была в опытном цехе авиационного КБ. Уже подготовлен был проект постановления правительства, запрещавший разработку непрофильной техники, то есть любого приспособления, не одобренного Министерством сельхозмашиностроения.

Покопайся братья в своей картотеке, они выудили бы оттуда слабонервных свидетелей; прищучь их — и стала бы очевидной причина, по которой в подмосковную глушь направили внешторговца Васьянина. ГДР выступила с порочащей ее инициативой — создать высокопроизводительный картофелеуборочный комбайн, ни в чем не уступавший тому, который исправно выкапывал картошку на капиталистических полях ФРГ. Только Рязань, только КУК-2 — упорствовала Москва, и Васьянина объявляли подтвердить приоритеты отечественного сельхозмашиностроения. Тем более, что над внешторговцем висел топор: Васьянин отказался участвовать в переговорах по закупке зерна в Америке.

Но и не зная ничего о комбайнах и картошке, братья, будь они слепым случаем занесены в совхоз, мигом догадались бы, в какую беду ввергнуты

с членами этой с бору по сосенке собранной общественной комиссии. Два седеньких представителя Поволжской МИС, машиноиспытательной станции, грамотно пили с утра до вечера, всегда готовые подмахнуть подписи под любым актом или протоколом. Три дамы, представлявшие культуру, здравоохранение и торговлю Подмосковья, приучены были делать то, что велит начальство, и к тому же еще попались недавно на растратах. А в представителе ВОИРа Аркашке Кальцатом было нечто, от чего братья ударились бы в бега, прикинувшись заразными больными...

Ошеломил братьев и документ, читанный одним из их клиентов, и если этому документу верить, то получалось: сравнительные испытания уже проведены, непригодность ланкинского комбайна удостоверена и подтверждена подписями всех членов комиссии, включая и А. Н. Сургеева, благодаря чему рязанский комбайн КУК-2 признан хорошим и производство его будет продолжено. В наличие такого документа братья Мустыгины верили и не верили, хотя по опыту знали, что такая подтасовка возможна. И если, к примеру, в 30-х годах где-то в Подольском районе, то органы именно такое количество вредителей и находили. Но более всего удручали братьев арифметические подсчеты. Энергия и время, потраченные ими на добычу нужной Андрею информации, останутся — после безвременной гибели друга — невозмещенными...)

Андрей Сургеев как на орловском рысаке мчался в совхоз, размахивая мечом и грозя снести головы всем противникам прогресса, растоптать сомневающимся и прорвать все редуты, стоящие на пути комбайна Ланкина. С гиканьем влетел он в совхоз «Борец» и с изумлением обнаружил, что враги давно разбежались, что все в общественной комиссии нехорошими словами (и женщины тоже!) говорят о рязанском комбайне. Материнской заботой окружили Андрюшу эти женщины, принесли свежее постельное белье, повели в красный уголок совхозной гостиницы, усадили за стол, накормили остатками ужина, вкусного, мясного, пахучего. Отцовское участие проявили два инженера Поволжской МИС, затащив к себе и налив полстакана водки. Не проявлял злобности Васьянин, квартиру которого он осквернил. Срутник тыкнул пальцем в черный экран молчавшего телевизора, и Андрей вскрыл аппарат, из нутра которого полезли вскоре кадры последних известий. Спать пошел — и в комнате своей попал в объятия бравого представителя ВОИРа, Аркадия Кальцатого, парня в кожаном реглане. Припухшие веки воировца, только что прибывшего, сообщали его глазам нагловатость. Из реглана парень извлек бритвенный прибор с помазком и зеркальце в футляре. Это было все, с чем прибыл в десятидневную командировку заместитель председателя общественной комиссии. Андрей, тоже приехавший налегке, сразу почувствовал симпатию к этому бездомному скитальцу, который на одном дыхании предложил ему перекинуться в картишки, сходить к бабам и выпить. Отказом ничуть не обиделся и немедленно приступил к задуманному, полез в окно. «А испытания когда?» — в отчаянии закричал ему вслед Андрей, надеясь хоть одного врага найти в этой бестолковой общественной комиссии, и воировец радостно проорал: да завтра и начнем, с утречка, пораньше! Андрей сник было, увял, меч задвинул в ножны, но пятки зудели, в ботинки будто раскаленных угольев насыпали, и, ворвавшись в красный уголок, Андрей стал тормозить всех: где, кстати, Ланкин? где? Почему нет его в совхозной гостинице? Как глянуть на знаменитый комбайн его?

Ему хором ответили — там Ланкин, в клубе, отвели ему комнатку за сценой, а комбайн его под надежным замком в боксе на машинном дворе, никого к машине своей изобретатель не подпускает.

А время-то — всего десять вечера. Андрей рысью помчался к Ланкину, в клуб, что в километре от совхоза, но к изобретателю не был допущен, из

комнатки выглянул назвавший себя механиком детина и пригрозил любопытному московскому мозгляку набить морду, чем обратил его в бегство.

Слово свое Аркадий Кальцатый сдержал, вернулся до рассвета — энергичным, свежим, веселым, перед завтраком побрился, долго рассматривал царапинку на шее, не без гордости заметив: «Это — украшение мужчины, это — как звездочка на фюзеляже аса». Куда-то сбегал за телогрейками и сапогами, свалил их в красном уголке: «Девочки, шмотки получайте! Скоро на манеж!» Дамы нарядились в телогрейки и стали простенькими, совсем домашними. Васьянин с собой привез красные резиновые сапоги, на них пялили глаза совхозные ребятишки. Аркадий Кальцатый с регламом не расстался. На ноги, правда, все же натянул болотные сапоги. Андрей подозревал, что щегольские мокасины, сберегаемые Кальцатым, его единственная обувь — и летняя, и зимняя, и весенне-осенняя.

— За мной! — скомандовал Кальцатый, по пути к машинному двору раздавая всем «Методику испытаний». Срутник возвышался над всеми, на голове — шляпа с пером. «Методику» он скомкал и выбросил. Да я скорее, сказал, сводкам ЦСУ поверю.

Три рязанских комбайна стояли на машинном дворе под навесом. Лучший из них (так уверяли сами рязанцы) был подцеплен к трактору и вывезен в поле на отведенный участок. Здесь его еще раз проверили и обкатали в режиме малых оборотов. Остался пустяк — зачистить лемехи да правильно установить глубину их хода. Трактор пыхнул черным дымком, двухрядный комбайн дернулся, пошел, остановился. Разгребли почву, осмотрели клубни. Еще чуть-чуть углубили блиставшие на солнце лемехи. Командовал испытаниями Кальцатый. «Валяй!» — крикнул он, свистнув по-разбойничьи. Повел комиссию к флажку, им отмечалась дистанция, на которой проводился контрольный замер. Дошли, остановились, глянули — и посмеялись: не два человека обслуживали КУК-2, а шесть, о чем помалкивали рязанские конструкторы, так и не признавшись, что сепаратор комбайна разработан неверно, переборочный стол заваливался комьями земли, и то, что положено было делать машине, исполняли руки людей. До флажка комбайн не добрался: лопнула ось, державшая на себе звездочку цепной передачи, и только металлографическая экспертиза могла точно установить, виноват ли завод, пропустив на сборку бракованную деталь, или трещина в металле — неизбежность, порок, присущий конструкции, раздираемой перегрузками. Кальцатый, узнав о лопнувшей оси, округлил глаза в веселом ужасе: «Надо же, подвела проклятая...» Составили акт о поломке, отразили в нем и то, что не два, а шесть человек обслуживали комбайн, и оставлял он в земле столько картошки, что вслед за ним приходилось пускать копалку с двумя, а то и с тремя бабами. У злорадно ухмыльнувшегося Срутника подходящего мата не нашлось, он сплюнул и выругался на каком-то иноземном языке. Все, кроме Кальцатого, были несколько подавлены. Никто не предполагал, что испытания кончатся так быстро. «Фокус не удался!» — промолвил очень довольный Кальцатый. Посовещался с дамами, получил одобрение Васьянина, замахал руками рязанцам, чтоб те, в нарушение всех правил, пустили в поле другой комбайн. Пояснил комиссии: «Не извольте беспокоиться. И этот завязнет». Агроном переставил палку с флажком, первый замер все-таки произвели, цифры, после сортировки и взвешивания, могли обескуражить кого угодно. Четверть всех клубней — поврежденные, столько же осталось в земле, урожай с учетом того и другого — девяносто центнеров с гектара, директор же уверял, что должно быть не менее ста восьмидесяти. В бой бросили третий комбайн, он деловито продолжил начатый гон, уже подходил к повороту, как вдруг отчаянно заближали идущие следом бабы, призывая на помощь. Андрей примчался первым, заглянул в бункер — и все понял. Обглоданные, расцарапанные и раздавленные клубни — все правильно, иначе и быть не могло: слетело резиновое покрытие прутков элеватора,

клубни бились о металл, и не с одного, не с двух прутков сползла резина, а с половины их, в гипертрофированных размерах проявился технологический брак, он должен был показаться, сама идея сепарации не могла не вызвать конструкторских просчетов. Комиссия подошла и отошла, да и о чем вообще говорить?..

Обедали в поле: подкатил утепленный фургончик с кастрюлями и мисками, запах вкуснейшего варева щекотал ноздри. Котелок шей был уже опустошен, когда подал голос Андрей Сургеев: центр тяжести КУК-2 смещен вперед, комбайн зарывается в землю, и устранить этот дефект уже невозможно. После котлет подсчитали: пахать и то нельзя на этом комбайне, где уж тут копать картошку.

Пока обедали — с туч посыпался мелкий и обильный дождь, почва отведенных Ланкину гектаров стала *тяжелой*, и эта почва, на которую не рассчитан был рязанский комбайн, легко поддалась ланкинскому ККЛ-3. Самоходный четырехрядный комбайн шел по полю со спокойствием путника, не обремененного ношей, в хорошей обуви, не останавливаясь, и всего два человека — Ланкин и механик его — справлялись с картошкой, поднимаемой нижним элеватором. В комбайне было и приспособление для скашивания ботвы, она сбрасывалась кучками на взрыхленную землю, поверх которой горошинами лежали мелкие картофелины. В подставленный кузов автомобиля сыпалась из бункера чистая, гладкая, без порезов и царапин картошка, не обдираемая металлом. Правда, на сортировальном пункте все же обнаружилось, что полтора процента ее — с дефектами обработки, но — всего полтора процента, а не двадцать пять, как у рязанского.

Андрей восторженно бежал рядом с комбайном великого изобретателя Ланкина, человека, изменившего русскую судьбу, кормильца всех семей. Не будет отныне гниль в магазинах, с колхозных и совхозных полей развезется по домам горожан и хатам сельчан вкусная, цельная, насыщающая все население страны картошка, урожай будут такими избыточными, что и на корм скоту хватит, приусадебные участки теперь обезлюдятся, мускульная сила сельскохозяйственных рабочих употребится на другое, — революцию произвел Владимир Ланкин! Тот, о котором в свое время прокурор сказал: «Преступного прошлого своего не осудил, тяжести преступления не осознал и по-прежнему хочет механизировать уборку картофеля».

Великий Преобразователь Земли Русской прыгнул на землю, на лету поймал брошенное кем-то яблоко, вонзил в него зубы. «Браво, маэстро!» — сказал Кальцатый. В красных сапогах пересекал поле Васьянин. Из сизого леса прибежала лосиха с лосенком. Земля пахла первозданно, теми веками, когда ее не рыхлили и не вспучивали оструганным деревом и заточенным железом, когда она содержала в себе все будущие всходы, все растения от папоротников до клевера, и, вдыхая аромат раскупоренных тысячелетий, Андрей смотрел на победителя. Из-под кожного картузика Ланкина выбивался черный чуб, белые зубы кромсали яблоко, мрачно-то-синие глаза его смотрели не на людей, а на землю. Она расстилалась вокруг него, коварная и благородная. Ее задобрили весною посаженной картошкой, и она ответила благодарностью, преобразовав за лето семенную мелочь в крупные клубни, но отдавать их тем, кто сажал, не торопилась, и люди брали в руки лопату, мотыгу, вооружили себя копалками и комбайнами, чтоб отобрать у земли взбухший в чреве ее картофель. И она отдала, на радость себе, потому что отдыхала сейчас, как женщина после родов, распаханная, облегченная, освобожденная.

— Древнее благородство Земли... — сказал Андрей, перетирая в кулаке ту смесь органических, неорганических и органоминералогических веществ, которая называлась почвой и была, в сущности, пуповиной, прикреплением человека к литосфере, а от нее — и к внутреннему ядру планеты. — Кто знает... — В нем шевельнулась досада: а зря не пошел в Тимирязевку, стал бы агрономом, какое же это богатство — земля, почва,

пашня, луг и знакомство с чародеем Ланкиным. Угодливо заглядывая ему в глаза, Андрей Сургеев смиренно попросил, не соблаговолит ли Владимир Константинович принять его в своих апартаментах, то есть в комнатухе клуба, но Ланкин ответил непреклонным отказом.

Сводный акт сравнительных испытаний составлен был в красном уголке тем же вечером. Двумя пальцами Кальцатый взялся за краешек не подписанного никем еще акта, приподнял его и предъявил комиссии — так фокусник демонстрирует недоверчивым зрителям свой носовой платок за минуту до того, как в нем возникнет монета. Вкрадчивый и развязный, как конферансье, он заявил вдруг, что Москва внимательно следит за работой комиссии, в целом одобряет ее деятельность, но напоминает, что цель ее — не сравнение двух комбайнов, а дача практических рекомендаций Рязанскому заводу сельскохозяйственного машиностроения. Следовательно, подписываться еще рано. Ждем (рука его метнулась к потолку, к небу) прибытия председателя комиссии. Отдыхайте, девочки, отдыхайте!

Инженеры Поволжской МИС, перегруженные потешными трудами и водочкой, продолжили дремать, Васьянин же издал знакомые Андрею дифтонги, а затем членораздельно оповестил всех, что позорить себя не намерен, балаган сей покидает; о председателе комиссии выразился еще более резко: прибудет мерзавец высокого ранга, но более низкого пошиба, чем здесь присутствующий плут Аркашка Кальцатый. Сказал, будто всем под ноги плюнул, и выволок в коридор Андрея, приказал стоять насмерть, но КУК-2 к производству ни в коем случае не допускать! И сунул ему в карман некий документ в форме прямоугольника. Вчитавшись в него, покрутив в руках так и сяк, Андрей понял, что это — визитная карточка.

Иван Васильевич Шишлин появился в гостинице незаметно, ранним утром. Засуетившийся Кальцатый обегал после завтрака все комнаты и предупредил: председатель комиссии прибыл, начальник на месте!

Андрей не узнал его. Стал Шишлин и ростом выше, и крупнее; галстук, белая рубашка, двубортный пиджак, брюки по моде, без манжет. И было в нем что-то от сейфа с сигнализацией, от массивного стола с бумагами на подпись, от тяжелых темных штор на окнах. «А... это ты», — проговорил он равнодушно, увидев Андрея.

Все-таки учился Шишлин на факультете механизации и электрификации сельского хозяйства, технику он все-таки знал, и не к директору совхоза пошел утром, а к технике; и ланкинский комбайн руками прощупал, дав ему высочайшую оценку, и рязанский тоже. Увязавшийся за ним Андрей ждал: вот сейчас Шишлин, с крестьянской простотой выразив свое мнение о КУКе, сплунет и выругается матерно. По своим Починкам знал ведь крестьянский сын Шишлин: если б не картошка на трех приусадебных сотках, то повспухали бы односельчане от голода. Обязан Иван Шишлин полюбить уральский комбайн! Обязан!

— Хорошая машина, — сказал наконец Шишлин. — Молодцы, умеете работать.

Керосином вымыл испачканные маслом руки и пошел к центральной усадьбе. В гостинице кивнул Кальцатому — и тот созвал комиссию. Шишлин чистыми белыми пальцами стал перебирать четыре дня назад составленные протоколы и акты. И обнаружил в них то, чего там не было.

Ланкин делал комбайн исходя из уральских условий. Машина его могла работать на каменистых почвах и под уклоном до пятнадцати градусов, из чего Шишлин сделал дикий, абсолютно идиотский вывод: на обычных почвах применять комбайн Ланкина нельзя! Зато рязанский комбайн, застревавший на ровном поле, на многократно пропаханной земле, признавался годным брать картошку на почвах с фигурным рельефом!

Нагловатые глаза Кальцатого выражали преданность умного пса. А пирались-то законы логики, здравого смысла, и нельзя было понять —

шутит кандидат сельскохозяйственных наук Шишлин или говорит всерьез? Сомнения отпали, когда Шишлин сделал заключение.

— Все это, — он отодвинул от себя документы, — перепроверить. Нельзя не учитывать того факта, что Ланкин — уголовный преступник в прошлом. Доверять ему нельзя.

Это была не просто логическая ошибка, о недопустимости которой предупреждали еще римляне. Это было еще и издевательство над здравым смыслом. Последнему дураку ясно, что соревнуются комбайны, а не биографии их конструкторов!

И все в красном уголке молчат, все будто поражены болезнью, все тронуты безумием, все покорны. Все — молчат.

Говорливость напала на Андрея. Он прилип к одной из дам и стал выспрашивать, все ли у нее дома в порядке, в смысле — исправно ли работают электробытовые приборы. Я, бахвалился Андрей, что угодно почию, у меня золотые руки. «Розетку мне укрепить бы!» — бесстыдно ответила дама под смех подруг. Тогда он пристал к случайному человеку, повел разговор о племенном скоте, то есть о том, в чем ни бельмеса не понимал, и говорил, непонятно чему улыбаясь и неизвестно отчего приходя в прекрасное настроение. От болтовни и смеха уже болела голова, Андрею все казалось, что на нем чужая, тесная, кольцом сжимавшая кепочка, и он часто, в попытках сдернуть ее с себя, руками хватался за голову, вцеплялся в волосы и чесался.

Сколько часов или дней прошло в этих спазматических позывах к хохоту — он не считал, да и потом, спустя много лет, не хотел припоминать, стыдился — и поток мыслей устремлял к другим, безопасным берегам, но, прибываясь и к ним, он слышал в ушах надсадный крик свой, в красном уголке:

— Вы все, все — уголовные преступники! Все! И подписываться под вашими фальшивками я не буду!..

И вдруг он умолк, словно у него язык вырвали, и так выразительно, наверное, стало лицо его, так умны руки, что и говорить не надо было, все и так понимали его, немного. Наступила расплата за безудержную говорливость. Испуганный поначалу, он, уstraшенный собственной немотой, тужился, издавал горлом звуки, и они слагались все-таки в слова, но слова звучали лживо, незнакомо, слова были чужими, и мысли, которые вызывались этими словами, бились изнутри о черепную коробку. Он ничего не понимал. Всякой мерзости можно было ожидать от Ванюши Шишлина, но то, что творилось в совхозе, в комиссии, — было невообразимо.

Все три рязанских комбайна, наскоро отремонтированные, были вывезены в поле, пущены на картофель — и замерли, и вновь тракторы потянули их на машинный двор, а оттуда в поле. Несколько дней комиссия, уродуя комбайны и надругиваясь над землей, подгоняла корявые цифры под благополучные. Уже пошли дожди, и не было времени и терпения оттащить комбайны на машинный двор; кувалдами и зубилами врачевались их раны, комбайны ремонтировались — на час, на два, и лень было мчаться на завод за резиною для прутков транспортера, тогда-то и придумали заводские умельцы то, что не могло не войти потом в практику всех комбайнеров страны: с электродоильных установок, разукomплектованных и втихую выброшенных, были сняты резиновые трубки и насажены на прутки.

Подгонка, шлифовка и подчистка цифр шла круглосуточно. Все, что накопили три комбайна, приписано было одному, тому, который будто бы в единственном экземпляре соревновался с ланкинским комбайном. Соответственно в три раза уменьшались вредящие рязанскому комбайну цифры,

в полном согласии с логикой наглого, с каким-то присвистом и притопом, обмана. Для сравнений двухрядного рязанского комбайна с четырехрядным ланкинским Шишлин изобрел коэффициент, и сразу оказалось, что даже ломаный рязанский КУК-2 в 1,6 раза производительнее соперника.

Все эти дни Андрей Сургеев прожил как бы человеком-невидимкою, он все видел и все слышал, сам оставаясь незаметным, потому что пребывал в отстранении от всех, он был никем и ничем, а над совхозными постройками, домами и клубом, над машинным двором, над совхозной землей, отходящей к зимнему сну, над потерявшими листву деревьями — не солнце и луна, не облака, набухшие влагой, а чавканье и чмоканье сапожищ Шишлина. Они чавкали и чмокали во всех регистрах, от протяжного всхлипа, когда создается вакуум, до легкого хлопка в момент освобождения сапога из капкана грязи; они хлюпали, протяжно стонали, они взвизгивали, орали; звуки метались, взлетали, сапоги шли по пятам, дышали в затылок Андрею и били по спине его.

Три рязанских комбайна подбитыми танками стояли в поле, и никакой ремонт не смог бы сделать их живыми, ходячими и работающими, и безумная возня с цифрами, наглое изготовление фальшивок, ночные бдения в красном уголке были абсолютно никому не нужны и ничего не меняли в судьбе этих комбайнов. Разгони комиссию в первый же день ее приезда в совхоз — КУК-2 как выпускался заводом, так и продолжал бы выпускаться.

Как только Андрей начинал вдумываться в смысл комиссии, походка его сразу менялась, шаг делался осторожным, ищущим, ему все казалось, что и в темноте, и при ясном свете дня перед ним неожиданно расступится земля и он полетит в яму, и тогда занесенная для шага нога застывала, Андрей всматривался в то место, какое сейчас закроется ногой, и временами ему хотелось лететь в яму, в пропасть, в расщелину, в траншею, вырытую когда-то под силос, или споткнуться и рухнуть в овраг.

Андрей Сургеев бродил по совхозу; что-то вопрошающее было в том, как он смотрел на людей, как шел, как останавливался, и агроном, подзававший его к себе, стал почему-то рассказывать ему о внуке своем, говорил совсем непонятно, а потом повел совсем уж дикую речь о комбайне Ланкина.

— Да, — сказал Андрей и вздрогнул в испуге, услышав собственный голос, и голос будто обозначил его в пространстве. Он отшатнулся от старичка агронома и быстро зашагал по улице, он словно со стороны увидел себя: плащ грязный, волосы всклокочены, взор блуждающий. В гостинице достал из-под койки брошенную туда кепку, надвинул на голову, чтоб скрыть нечто изобличающее его. Пошел в магазин. В продовольственном отделе торговали карамельками, хлебом, портвейном, маргарином; он высмотрел, как разливает продавщица подсолнечное масло, и не раз в магазин заходил потом для того лишь, чтоб полюбоваться: черпак совался в бидон за маслом, поднимался к воронке, воткнутой в бутылку, наклонялся и опорожнял себя, выливая в воронку бесшумно падающую жидкость, вязкую, светло-желтую. Свет, отражаясь и преломляясь, создавал порою эффекты странные, будоражащие, струя масла как бы вспыхивала, и тогда Андрей счастливо дышал, потому что голова освобождалась от боли. «Подсолнечное...» — прошептал он, и в слове этом был свет, тепло, жар, и тут же вспомнился плод растения, давшего маслу имя, и в голове будто просияло: Маруся Кудеярова! Та, что лузгала семечки! Значит, все предусмотрено и все подготовлено тем миропорядком, который выразил себя всем сущим и в том числе — биномом Ньютона, правдивым, честным, безвариантным.

Что нельзя стоять перед прилавком и глазеть — это он понимал и покупал то четвертушку хлеба, то банку консервов, то бутылку лимонада.

Взял однажды бутылку водки, распил ее с механиком Ланкина, зашедшим в магазин. Новая еда выталкивала из кишечника старую, и в этом тоже было облегчение, и однажды Андрей трезво подумал, что в душе его зревает что-то опасное, тайное, оно уже шевелится, дает о себе знать внезапными приступами ненависти, уходящей куда-то вглубь его, выражающей себя одеревенелым стоянием у витрин с карамельками, у масла, животного и растительного, жадным, всасывающим вниманием, с каким он смотрит на янтарную струю...

Вдруг возникло решение: надо, надо — идти в клуб! Надо! Нацеленный на огни и музыку, крупным и твердым шагом удалялся он от совхоза, глубоко засунув руки в карманы телогрейки (плащ оставил в комнате), сам на себе видя ухмылку злодея. Две девушки обогнали его, всмотрелись, рассмеялись, предложили: «С нами, милоч?» Деревья расступились, и труба котельной, что за клубом, торчала одиноко. Парни у входа покосились на него, но цепляться не стали. Зная, что в кино он не пойдет, Андрей тем не менее внимательнейше прочитал все то, что крупными буквами было на афише. Потом служебным входом, через пристроенный к клубу флигелек, прошел он внутрь и оказался за сценой. Три двери выходили в коридорчик, одна из них распахнута, комната проветривалась от дыма папирос, от запахов дешевой закуски, напомнимших и укоривших: ведь сегодня же день рождения механика и тот — тогда, в магазине, после поллитры — приглашал! И не только от своего имени, Великий Изобретатель тоже звал!

Андрей на цыпочках вошел в святую комнату. Механик спал в парах дурной местной водки, а Ланкин читал что-то пухлое, толстое, старинное. Предложил поесть и выпить. Андрей помотал головой, отказываясь. Приготовился сказать речь — о том, что в двадцати минутах ходьбы отсюда, в красном уголке совхозной гостиницы, совершается подлог, сочиняется фальшивка, на долгие годы обрекающая комбайн Ланкина и все картофелеводство на медленное умирание, на бесцельную трату человеческой и машинной энергии.

Но так и не сказал. По-прежнему боязно было говорить, да и не в бесцельной трате и умирании была беда, а в том, что и он узрел контраст: величие исторического момента — и позорная обыденность происходящего. Будущая катастрофа всего сельского хозяйства процессуально оформлялась не под слепящими юпитерами и не под камерами телевидения, не с толпами безмолвствующего народа, а много проще — в закутке набитой тараканами гостиницы, надушенными пальчиками трех уголовных преступниц да кулаками двух тертых и битых мужиков. Жар прошел по телу, и мысль озарила: «Огонь!» Глаза зажмурились, как от слепящего жаркого пламени, в кружащем голову предчувствии увиделся стремительный росчерк молнии, на который наложился звук взрыва.

Выйдя из клуба, он долго смотрел на красный огонек, венчавший трубу котельной. Потом стал оглядываться. Качавшийся на ветру светильник то погружал в темноту пространство между тыльной стеной клуба и котельной, то набрасывал на него ломающиеся тени. Андрей изловчился и с третьей попытки разбил камнем лампу. Традиционный запрет «Посторонним вход воспрещен» не подкреплялся запорами изнутри, дверь подалась свободно, вовсе не бесшумно, однако в реве котельных установок поглощались все крики, шорохи, лязги. Тем не менее он поостерегся показывать себя, нашел еще одну дверь, обойдя котельную, проскользнул внутрь, и хотя знал, что шаги его на кирпичном настиле пола не услышит котельщик, ступал осторожно и медленно. Четыре удлиненных сфероида справа — это, наверное, фильтры, в центре — пульт управления с горящими красными лампочками, насосы же, питающие водой котлы, в подвале. Андрей спустился туда и поднялся; почти отвесный трап вел на площадки для осмотра котлов марки ДКВ — ах, какая досада, надо было бы поступать на теплотехнический факультет, теперь бы знания ой как пригоди-

лись; очень кстати болталась на веревочке какая-то инструкция, правила открытия лаза, по кое-каким данным можно определить объем котла, диаметр и количество трубок; котел поменьше — водогрейный, Андрей нашупал свинцовую заглушку с биркой, последняя проверка в мае аж 1954 года, а должна быть ежегодно, и уверенность возникла, ни на каких бирках не основанная, только на чутье, что свинец может и не расплавиться при перегреве котла. Он лег на железные листы площадки, с высоты третьего этажа глянул вниз, увидел столик, за ним сидел мужчина лет пятидесяти, оператор котельной, читал газету, на стене — инструкции и графики, глазу Андрея не доступные, но кое-какие приметы подсказывали ему, что заступила ночная смена уже, до утра. Распластанный на площадке, Андрей внимательно следил за оператором; человек этот не один год провел в котельных, ему знакомы были мягкие шлепающие удары контакторов, включивших насосы, слабые щелчки магнитных пускателей, и весь этот разноголосый звукоряд поставлял ему обширнейшую информацию; за пятнадцать минут, что отвел на изучение оператора Андрей, тот всего один раз глянул на водомерное стекло — старый, опытный, заслуженный работник, внимание которого притупится к полуночи. Андрей отполз, спустился, нога коснулась уже кирпичей пола, когда он поднял голову и выскок над собой увидел клапаны аварийного выпуска пара. Вспомнил, как они устроены. Задумался. Голова приятно шумела. Выбрался из котельной, мазут — в емкости, разогреваемой паром, чтоб вязкое горючее стекало вниз, к форсункам. Обстучал емкость. Забежал за котельную, принохался (слух, зрение, обоняние — все было обострено). Пошел по дороге к теплицам, иногда для верности беря пробы грунта: садился на корточки, подносил к носу комья земли. Да, именно этой дорогой подвозили мазут, и цистерна с ним где-то рядом, скорее всего — нефтевоз. Голубое сияние исходило от застекленных теплиц, остро пахло навозом и чем-то раздражающим, химическим, едва не заложившим нос, и тут помогли глаза, он увидел склад горюче-смазочных материалов, никем не охраняемый, и у склада — машину, нефтевоз, кабина закрыта, ключа зажигания, конечно, нет, но это уже мелочи, с этим он справится. Почти бегом вернулся он к рокочущему клубу, где уже начались танцы, подобрался к окну Ланкина, глянул: там ничего не изменилось.

Низко наклонив голову, шел он к гостинице; он доказывал себе, что ничего противозаконного нет в осмотре котельной, а страх все более проникал в него. И люди отпугивали. Но никто не попался навстречу, никого не было и у входа в гостиницу. Дверь никак не открывалась ключом, пока он не сообразил, толкнул ее, открытую, и чуть не споткнулся о вытянутые ноги Аркадия Кальцатого. Воировец сидел у стены, сунув руки в карманы реглана, без шляпы, и неподвижные глаза его смотрели как-то вбок, как у поваленной статуи. Андрей погасил свет, сел у окна за стол, по рукам его шла судорога, сводила пальцы, он прижал обе пятерни к холодным стеклам, потом стиснул их в кулаки, чтобы ударить себя в лоб. Сладострастно хотелось боли, себе причиняемой, уши ловили уже хруст костей, треск разрыва хряща у позвоночника. Ослепительный болевой шок ремнем хлестнет по мыслям, скованным и неподвижным, стронет их. Боль! Требовалась боль! Приоткрыть дверь, вложить пальцы в узкую щель и — давить, давить, давить, пыточно расплющивая фаланги? Или, еще лучше, довести до боли, до страданий другое существо, насладиться? Что-то разломать, разрушить, исковеркать. Уж не телевизор ли в красном уголке?

Знакомый и любимый с детства звук донесся до него — тарыхтел мотоцикл, приближаясь к гостинице. Заглох. Злые и решительные люди сошли с него и появились в коридоре, шаги их были не ищущими, а нацеленными, и вооруженные, одетые в шинели мужчины долбанули ногами по чьей-то двери: «Откройте! Милиция!» Отозвались инженеры, спросили, кого надо, и двое мужчин признались, что поступил сигнал, будто здесь

вовсю идет пьянка, чей-то день рождения. Еще раз грохнули по двери и потопали к выходу. Взревел мотоцикл, Андрей, ловивший каждый звук через щель приоткрытой двери, отпрянул от нее, повернул ключ и на цыпочках пошел к окну. Ему было страшно и хотелось тоненько скулить.

Ни в клуб, ни в котельную он решил этой ночью не ходить, хотя там, в котельной, его ждали великие дела. Лег на койку не раздеваясь, полный желания спать, и заснул бы, и никуда не пошел бы, не зазвени в коридоре ключи. Иван Васильевич Шишлин брэнчал ими.

Он, Шишлин, возвращался откуда-то, его шаги послышались, разлепив полусонные веки Андрея. Связка ключей гремела и звенела в руке Шишлина атрибутами неоспоримой власти; он, наверное, в детстве насмотрелся на кладовщика в родном колхозе, тому-то ничего не стоило открыть любую дверь или ворота. И в первый же свой совхозный день Шишлин потребовал себе ключи от красного уголка, гладильной, кубовой и прочих помещений.

Этими ключами он и гремел, уже остановившись перед дверью в свою комнату, искал и не находил нужный. Тут-то и подошли к нему инженеры. Они безропотно снесли отмену Шишлиным своей методики испытаний, по полю они вслед за комбайнами не ходили, ничего не пересчитывали, сколько картошки подавлено и порезано, а сколько в мешках — это их уже не касалось, и заговорили они потому лишь, что были, как всегда, малость пьяненькими, и смысл того, о чем они просили Шишлина, сводился к следующему: сколько собак ни вешай на Ланкина, а комбайн его нужен государству, нужен! Озлитесь на государство-то Владимир Константинович, перестанет изобретать, отчего пострадает само государство...

— Не озлитесь, — возразил Шишлин (Андрей замер у приоткрытой двери, смотрел и слушал). — Поймет, что к чему. — Шишлин рассматривал ключ, так и не подошедший к замку. — Я вот перед совхозом полистал его уголовное дело, и выходит по этому делу, что Ланкин всем обязан государству, всем. Как думаете, почему у него комбайн получился таким хорошим? Почему его легко разбирать и собирать? Почему он легкий, весит в два раза меньше рязанского? Да потому, что Ланкин под страхом работал и жил, потому что комбайн его конфисковывали и уничтожали не раз, потому что Ланкину надо было комбайн сделать легкоразборным, чтоб разболтить за час, пока милиция не прибыла, да попрятать в разных местах...

Другой ключ вошел в замок, но, кажется, опять не тот. Шишлин начал раздражаться.

— Да попробуй Ланкин прислать на испытания комбайн хуже рязанского! Да его бы сразу — в следственный изолятор! За разбазаривание государственного имущества! Сразу! Чтоб неповадно было! Чтоб впредь думал и думал! Вот он и старается. Почему, думаете, у него комбайн самоходный? Да потому, что привлекать к делу тракториста с трактором ему нельзя, это уже преступное сообщество, групповое деяние, за него и наказание выше. Один он, один! Поэтому и все ручные операции у него механизированы, до любого узла в комбайне легко добраться, сменить что угодно, масло набить в любой подшипник. Не то что у рязанского... Да, все хорошо продумано у Ланкина, и как ему не думать, наилучшие условия были предоставлены — тюрьма да лагерь, там жизнь на пустыжи не разменивают, там и терпению заодно Ланкина научили... Вот сколько полезного получил от государства Ланкин! И самое главное, государство будто специально для него создало рязанский комбайн, чтоб Ланкин ни в коем случае не изобрел такой же, чтоб он сконструировал вдвое, втрое лучше...

Замок наконец открылся, дверь распахнулась, и Шишлин заключил:

— Ланкин всем обязан государству, и государство поэтому надо укреплять! То есть продолжать выпуск рязанского комбайна. Понятно?

Воируец Аркадий Кальцатый, вдребезги пьяный, лежавший у двери так, что Андрею приходилось переступать через его ноги, вдруг захрипел,

перевернулся на другой бок, а затем поднялся и рухнул на койку. Поворотился и затих. Андрей, оглушенный услышанным, стоял посреди комнаты, задрал к потолку голову. Уже несколько дней он чувствовал себя больным, было такое ощущение, словно мозги стали шершавыми. Может, то, что он сейчас услышал, вовсе не прозвучало в коридоре, а было бредом исцарапанного мозга?

Сцепив за спиной руки, по-прежнему задрал голову, смотрел он на матовый кругляшок негорящей лампочки и пытался формулой выразить ошибку в чудовищных логических конструкциях Шишлина. Если A больше B , то — B больше A ? Так? Не то, не то...

Догадался: этот абсурд не может быть сформулирован, потому что находится за пределами разума.

И затаился. Остановил дыхание.

Вдруг, при закрытом окне, будто нежным ветром повеяло, и он задышал легко и свободно, он понял: надо исполнить свой инженерный долг. В мыслях — чистота и свежесть, и такое ощущение было, словно он выспался после нудной, тяжелой и многосуточной работы. Зацвикал в комнате сверчок, наполняя ее уютом и безопасностью. Андрей привстал и прислушался, предчувствуя: ЭТО произойдет сейчас, вот-вот случится ОНО. И случилось. Тело его полетело куда-то вниз, во все убыстряющемся темпе заработало сердце, а над головой будто раскрылся парашют, раздался треск шелка, туго натянутого, и падение замедлилось, ноги ощутили плоскость пола. Вновь зацвикал сверчок, внеся в душу покой, свет, блаженство перехода в иное состояние, с большим числом свобод, и в ненависти к Шишлину, непроглядно-черной, засияла светлая точка, разгораясь все ярче и ярче, и Андрей вздохнул, глубоко и обреченно: ну да конечно же, как это он раньше не догадался, не понял! Алевтина! Аля! Он любит ее! Любит!

Стремительно пошарив по ящикам стола, он нашел бумагу, чтоб написать письмо и проститься с девушкой Алевтиной, потому что знал: впереди — гибель и больше ему не с кем простаться. Но начав выводить на бумаге имя девушки, он с удивлением обнаружил, что забыл, как пишется буква «в», а когда вспомнил, то оказалось: буква эта не хочет писаться слитно с предыдущей, Андрей мог ее писать только в начале слова.

Это было непонятно и мучительно, и пришлось пойти на ухищрения, компоновать письмо из слов, не содержащих внутри себя безумной буквы. Пишущая рука утратила динамический стереотип связного писания, и рука была за эту дурь наказана — ею был нанесен удар по подоконнику, но боли она не почувствовала. Тогда он выскочил в коридор, чтоб разрушить, раздавить или расколоть что-либо, влетел в красный уголок и увидел телевизор. Минута — и приемник был изуродован. Стало приятнее, и тихая радость охватила Андрея. Войдя в комнату, он с состраданием глянул на спящего Кальцатого, с жалостью младшего брата. В клоунаде воиrowца было что-то надрывное, и сам Кальцатый казался беспризорным, странствующим фокусником, весь багаж которого — помазок да бритва.

Андрей разделся, до трусов. Зачем — не знал, но предполагал твердо, что так надо. Стал подбирать разбросанные по полу бумаги, неоконченные и скомканные письма к Алевтине, собрал их в кучу и поджег, а потом — загасил. Запах паленой бумаги зашекотал ноздри. Чихнул. Кальцатый храпел тонко, легким свистом. На чистом листе Андрей стал быстро писать, буква «в» без задержки покидала кончик пера. Он писал о любви к Алевтине, о том, что не придется, знать, быть им вместе, потому что назначенная встреча не состоится, ибо ему надо осуществить акт возмездия разума. Неожиданно для себя, — выводило перо на бумаге, — он обнаружил в совхозе «Борец» очаг мозгового заболевания; люди, пораженные этой болезнью, страдают неявно выраженной склонностью опровергать физические реалии; больные надумали себе некую систему измерения, противоположную общепринятой; абсурд всех логических конструкций сводится к под-

мене причины следствием; это, собственно, даже не абсурд, а нечто привнесенное и чуждое, бытовой канон внегалактической цивилизации; ну а носителем заразы является Иван Васильевич Шишлин, который — урод, растлитель, изувер; этот Ваня Шишлин — из наибеднейшего колхоза, того, где люди никогда не видели плодов своего труда, потому что плоды немедленно изымались государством, и Ваня Шишлин никогда поэтому не чувствовал себя хозяином на земле, обязанной давать плоды, и людей таких ни в коем случае нельзя назначать правителями сельскохозяйственных дел, для них, для дел этих, надо искать детей кулаков. Извращенством, писал далее Андрей, заражены и подобные Шишлину люди, и людей таких полно в доме на Кутузовском, потому что все они мыслят государственными, то есть нечеловеческими, категориями...

Приходилось массировать лоб, ища понятные Алевтине слова. Наконец, уже простившись, он дал ей последнее напутствие, приказал немедленно бежать без оглядки из дома на Кутузовском, подальше от заразы, сломя голову, прочь, прочь, прочь!.. Затем рука вывела обычную роспись Андрея в денежной ведомости, под авансами и получками, что показалось ему примитивным и даже кощунственным. И тогда, здраво рассудив, он дополнил огрызок фамилии уточнением, прибегнув к печатным буквам: **СПАСИТЕЛЬ РАЗУМА во ВСЕЛЕННОЙ.**

Все. Теперь надо приступить к делу. Тщательно оделся во все свое, совхозную одежду запихал в шкаф, проверил, в кармане ли логарифмическая линейка. Долгую минуту стоял абсолютно неподвижно, вспоминая, все ли взято. Зашевелился Кальцатый, посвистывание оборвалось и возобновилось. Бутылка вина лежала на полу, Андрей приподнял ее и осторожно опустил, — еще не распечатанная, полная, она приятно утяжеляла руку, показывая наличие объема и массы, что означало: Вселенная еще существует. Сам Кальцатый казался лишенным физических свойств материи и поэтому отпугивал. Показываться в коридоре было опасно, и Андрей перешагнул через подоконник, выбрался на лунный свет. Сделал несколько шагов и вспомнил про письмо на столе: хотел ведь бросить его в почтовый ящик, ничуть не сомневаясь в том, что оно — без адреса, без конверта — дойдет до Алевтины. Вспомнил — и тут же забыл. Над ним было Небо, вместило множества миров, и миры могли взорваться, потому что во взаимозависимых сгустках и разрежениях вот-вот появится смертоносная для организованной материи бактерия, физические константы претерпят необратимые изменения и Вселенная вскачь понесется к исходной точке, поменяв знаки. Андрей приветствовал Звезды, размахивая руками, уверенный в том, что Звезды помогут, они не могут не помочь ему, ибо спасается Разум.

Ни голоса, ни огонька, кроме красного светлячка на трубе котельной. Желтым пятном виделся клуб. Андрей обогнул здание, приблизился к нему с тыла. Нашел окно, за которым — Ланкин и механик, их надо предупредить: через полчаса будет взорвана котельная и подожжен клуб, взрыв будет такой, что в Подольске увидят подпирающий небо столб огня. Они, конечно, спросят — зачем взрывать и поджигать. И он ответит им, скажет, как ненавидит всех или почти всех людей. Люди эти унижают его и оскорбляют, пытаются убедить, что не надо читать ни Лейбница, ни Аристотеля, ни Монтеня, потому что, мол, все давно известно. Они его тем уже оскорбили, что сюда прислали. Реорганизация намечается в отделе, руководитель группы нужен, вот они и подумали, что Андрей Сургеев за двадцатку к окладу все здесь подпишет... Они тонуть будут вместе со страной, они гореть с нею будут, но никому не позволят спасти себя. Он был в их доме. стакан водки выставят — и не мешай им гореть и тонуть. Так пусть все взрывается, пусть! Обо всем будет сказано на суде. Не взорвать котельную — значит оставить народ без картошки! Из-за моря будем привозить ее. В этом совхозе начинается гибель картошки, на этом поле, под

этим рязанским комбайном! Все будет рассказано на суде, вся страна, весь мир будут оповещены о творимом злодействе!

Они, Ланкин и механик, поймут его. Их, конечно, удивит то лишь, что и клубу отведена участь котельной. Клуб-то — зачем поджигать?

И он ответит им, они грамотные, они поймут, что совершаемые одиночками поджоги преследуют одну и ту же цель — послать сигнал, световой и температурный, направленный Мировому Разуму. Резким изменением энергетического поля привлечь внимание к нарушенности причинно-следственных связей. Комиссия-то впустую работала с самого начала, еще две недели назад составлен фальшивый протокол, еще до приезда комиссии подписан и отправлен, о чем знал фигляр Кальцатый...

Андрей Сургеев так и не постучал в окно, так и не разбудил Ланкина. Ухо его уловило знакомый звук, и ухо же определило: мотоцикл «Ява», причем тот же, что и раньше, когда приезжала милиция. Он заматался, то порываясь бежать в котельную, то устремляясь навстречу мотоциклу. Застыл в полной нерешительности, скрытый черной темнотой ночи. Потом увидел, как вспыхнул свет у Ланкина, как милиционеры по одному выводили их, его и механика, и как безропотно шли они. Мотоциклетная фара освещала дверь. Механик был в наручниках, потому что, наверное, сопротивлялся, когда его поднимали с койки. Ланкина посадили в коляску, два милиционера забрались на мотоцикл, механика они длинной веревкой соединили с коляской, и он побежал трусцой вслед за ними, как плененный русич за татарским конем.

Нельзя было терять ни минуты. Андрей незаметно проник в котельную, в металлическом хламе нашел клинышки, молоток и полез на котлы, загнал клинышки в аварийные клапаны, теперь даже при максимальном давлении пар не прорвется и ухающий свист клапана не поднимет на ноги весь совхоз. Еще раз прощупал свинцовую заглушку. И только тогда, глянув на дремавшего котельщика, пробрался к водомерному стеклу и выкрутил лампочку... Был третий час ночи, взрыв и пожар Андрей назначил на половину четвертого, до рассвета далеко, все Подмосковье будет смотреть на зарево.

Ужом спустился он вниз, к задвижкам, через которые вода струилась на отопление домов и теплиц. Закрыв их, обе. Вылез наружу. В крошечной тьме побежал к цистерне, задрал голову, вынюхивая в воздухе пары мазута, и опять обоняние не подвело его, он едва не врезался в капот машины. Сел за руль, легко открыв кабину. Повозился с зажиганием и завел мотор. Фары не включал. Не ехал, а крался. Остановил машину в пространстве между клубом и котельной, прощупал заглушку сливного отверстия, нашел под сиденьем гаечные ключи, начал было разболчивать, но передумал; надобно было мазут вылить за минуту, за две до взрыва, удар воды и пара вышибет переднюю стенку котла, выдавит дверь котельной, разрушит стену, огонь зайчиком метнется по разлитому мазуту. Вновь полез в котельную, глянул на манометр: стрелка не двигалась, давление в котле не повышалось. Котельщик дремал все в той же позе. Андрей юркнул за котлы, к задвижкам. Они по-прежнему были закрыты, и тем не менее они пропускали воду и пар, трубы оставались горячими; не помог и ломик, когда он попытался им сделать то, на что не способны оказались руки. Бесплезно! Ни на миллиметр не сдвинулись клапаны, перекрывавшие воду и пар, и Андрей понял, что задвижки — бракованные, не изношенные, не стершиеся, а именно бракованные, не по ГОСТу сделанные, и воду, как и пар, в котлах задержать не удастся, давление не поднимется.

Он опустился на кирпичный пол и заплакал от бессилия. Жестокая реальность техники нового времени! Она спасала себя не подогнанностью безошибочно работающих механизмов, а совсем наоборот — расхлябанностью их. Система жизнеобеспечения, основанная на заведомом браке.

Так он сидел и плакал — теми слезами, что и в поезде, когда отец увозил его в Москву, от Таисии. И все еще плача, по-щенячьи поскуливая,

встал он и пошел за котлы, к фильтрам; кулаком погрозил Небу; губы его что-то выщепывали, его пошатывало. Хотелось пить; в нем самом, как в котле, по трубкам-артериям гонялась кровь, сосуды едва не лопались; вода нашлась в бачке — и тут еще одна мысль взвилась в нем: а что, если... И Андрей вновь выбрался наружу, свежий незадымленный воздух окатил его как водой из ведра, запах подступающего утра приподнял его над землей, он увидел себя, сморщенного и жалкого, но со знаменем в руках, с призывом; он поднимал бунт, он звал Разум восстать против инстинкта, и толпы, шествующие за ним, словно несли в себе тысячелетний опыт человечества, отрицавшего государственную логику. Жертвы неизбежны, кровь лилась при всех восстаниях, один человек погибнет при штурме этой Бастилии, но в великом историческом балансе нет более дешевого мероприятия, чем взрыв и пожар. Вперед, к звездам!

Он набрал полную грудь воздуха и вернулся в котельную; опять захотелось пить, и он открыл краник фильтра, подставил ладони, напился. Лесенка вела в подвал, здесь на бетонном фундаменте стояли насосы, гнавшие в котлы воду из бака с конденсатом. Пусть хлопают контакторы и шелкают пускатели, пусть котельщик обманывается звуками, — вода в котлы не пойдет. Два шкафа, набитые реле, управляют подачей воды, на дверцах наклеена схема. Если правильно рассчитать, если грамотно изменить режим — взрыв неминуем.

Когда вынимал из нагрудного кармана авторучку и логарифмическую линейку, пальцы нащупали бумажный прямоугольник, и в тусклом свете подвала Андрей увидел визитную карточку Васьянина. Хотел ее выбросить, но предосторожность взяла верх. Сунул обратно. Поднялся, лег на пол и пополз к шкафу. Отдавил дверцу. Схема на месте.

Удар по голове затмил сознание, удар бросил его на решетчатый настил и погрузил в беспмятство. Потом что-то забулькало, заплескалось рядом, полилось на грудь, на голову. Андрей открыл глаза и увидел наставленное на него дуло, оказавшееся краником фильтра; руки и ноги его были связаны; упершись во что-то ногами, он приподнялся и не удивился, когда увидел Аркадия Кальцатого, потому что ощущение, что тот где-то рядом, не покидало его всю эту ночь. Впервые видел он воиловца таким сноровистым и работающим, даже реглан сбросил Кальцатый, носясь по котельной, проверяя задвижки. Почти не касаясь поручней, взлетел он на верхнюю площадку и, очевидно, выбил клинышки из аварийных клапанов. Оказался внизу, у фильтров, схватил Андрея и поволок его, просунул в окно, сам выбрался, пропал куда-то, вернулся с регланом, оделся; движения его были быстрыми, обдуманными, он явно опасался, что обслуга котельной застучает его. Как котенка приподняв Андрея, он с ненавистью прошипел в лицо ему: «Вышку захотел получить, мальчик?.. Чистеньким хочешь быть, х-х-хороший ты мой?..» Привязал его к фонарному столбу, тому самому, который не светил, и полез в нефтевоз, поехал, осторожно обогнул котельную. Потом вернулся к Андрею, отвязал его от столба и погнал перед собою. В нем бурлила и клокотала ненависть, он вдавил в рот Андрея носовой платок и два раза наотмашь ударил его. Но и без кляпа во рту Андрей не произнес бы и слова, все силы и желания отлетели от него, он был пустым, в нем не было и мыслей, и только однажды ему подумалось — со скрипом и скрежетом, — что, пожалуй, этот рассвет не последний. Кальцатый вел его неизвестно куда, мимо спящих домов, мимо гостиницы и магазина. Воздух был прозрачным для звуков, и порыв ветра принес на себе далекое шуршание электрички. Коротко гоготнули чем-то вспугнутые гуси и тут же смолкли. Кальцатый приставил Андрея к плетню и скрылся в темноте. Где-то невдалеке мягко заработал мотор «Волги», и сама машина подкатила, черная, фары не включены, при свете приборного щитка Андрей догадался, что за рулем — Кальцатый. «Ныряй!» — сказал воиловец. Когда выехали на шоссе, зубодерным движением Кальцатый

выдернул изо рта его носовой платок, бросил на колени сигареты и спички. Был он весел, бодр, насвистывал молодежные мелодии. Заявил, что ему очень везет на шатенок с кривоватыми ножками. Перед самой Москвой ободряюще сказал, что Прометею было хуже.

Андрей молчал — и с платком во рту, и без платка. Что населенный пункт, по которому его везут, Москва — это можно догадаться, но вот что произошло совсем недавно — вспомнить не мог. Он вглядывался в дома, в людей у автобусных остановок — и недоумевал: зачем эти сборные пункты?

— Вот моя деревня, вот мой дом родной, — сказал Кальцатый, осаживая «Волгу», и вышиб из нее Андрея. Сам вылез. Толкнул его к подъезду, помог открыть дверь. Письмецо, сказал он, осклабясь, будет доставлено по адресу, в ближайший час.

Не без некоторой грусти простился он с Андреем. Не вытерпел, правда, и напоследок двинул его по шее.

Знакомые запахи взбудоражили Андрея. Что-то свое, родное было в этих перилах, в этой лестнице, заскрипевшей под его шагами, в детских каракулях на стене, в рыбе, которую вчера жарили. Он задрал голову, он увидел обитую дверь на втором этаже, оранжевый дерматин, и ноги понесли его наверх, рука полезла в карман за ключами, — он узнал вход в комнаты, где стоит его кальян, где этажерка, где сейчас тетка дребезжит кастрюлями на кухне. Ключей в кармане не оказалось, Андрей позвонил, и открывшая дверь женщина показала ему то ли из глубокого прошлого, то ли из непредвиденного будущего. Продолжая удивляться, он спустился вниз, постоял на мостовой, не раз пересекаемой, когда надо было слетать в молочный магазин. Нет, здесь что-то не так.

Его раздумья прервал человек в униформе службы общественного порядка и повел по — сомнений уже не было — Пятницкой улице. Андрею уготована была участь незавидная, и спасло его то, что никаких документов при нем не было, кроме визитной карточки некоего Васьянина. В дежурной части милиции карточку изучили и предоставили задержанному апартаменты для особо дорогих и уважаемых гостей, специально оборудованные для того, чтоб нападение извне исключалось конструкцией окон; решетка на них охраняла задержанного гостя, максимальная защита запроектирована была и со стороны коридора, в двери — небольшого диаметра дырочка, в которую никак не могли пролезть злоумышленники, покушавшиеся на жизнь ценного для милиции товарища. Безопасность гарантировалась полная — и Андрей повалился на жесткое ложе, застеснявшись просить матрац, одеяло, подушку и постельное белье, заснул и пробужден был внимательными слугами порядка, поведшими его в знакомую уже комнату с барьерами и телефонами. Прозрение пришло к Андрею, когда он увидел человека, глянувшего на него с таким пониманием, словно они вместе провели не один год в комнатухе для особо почетных и уважаемых гостей.

— Тимофей Гаврилович! — бросился к человеку Андрей. — У вас не найдется описания и чертежей на картофелеуборочный комбайн?

Васьянин долго рассматривал его.

— Найдутся, — кивнул он и повез Андрея к себе, на Котельническую.

Вновь Андрей услышал сладостное щебетание заморской птицы, дверь открыла большеглазая и большеротая женщина, которая все поняла без слов. Московский инженер Сургеев был вымыт, накурмлен и напоен отварами целебных трав. С немногими перерывами, весьма краткими, он спал трое суток, и в те мгновения, когда глаза его были раскрыты, видел он исцелительницу свою и слышал смачные проклятия спасителя. Время от времени появлялись желавшие видеть его люди в белых халатах, которые наконец признали, что больной инженер — выздоровел, что его можно теперь выпускать в мир нормальных людей. Желательно, однако, присово-

куплялось при этом, чтоб картофельная проблема не тревожила более инженерное воображение пациента. Того, правда, занимали другие мысли. В частности, откуда Кальцатый прознал о Пятницкой улице? Недоумение снято было Васьякиным, который верно высчитал: видимо, ВОИР держит в своей памяти адреса всех талантливых инженеров, но из-за обилия талантов не успевает обновлять эти самые адреса.

Решено было до самых дверей холостяцкой квартиры проводить человека, свихнувшегося на картофеле. Супруги Васьякины хотели передать Андрея с рук на руки сожителям его — под расписку или устное поручительство. Вместе с ним вошли они в лифт и сами, в два пальца, нажали на нужную кнопку.

На пятом этаже, у самой двери, их ожидал сюрприз. Поднялась сидевшая на ступеньке лестницы фигурка и подалась к Андрею, всхлипывая и подставляя себя под объятия. И тут же открылась дверь, показались перекошенные физиономии блондинов, братьев Мустыгиных, по рассказам Андрея. О девчонке в драном пальто супругам Васьякиным ничего известно не было.

А это была Алевтина, Аля, сказавшая, что она, как потребовал того сам Андрей, ушла из неродного дома, потому что любит его, Андрея, исстрадалась по нем, но вот — наконец-то! — дождалась.

Из бессвязных объяснений сожителей Андрей понял только то, что уже третьи сутки девица эта подкарауливает его; братья пытались было захватить ее в мусоропровод и спустить вниз, но та оказала бешеное сопротивление, к тому же представилась невестой, что дало им повод заподозрить ее в симуляции беременности; на контрольный вопрос о брюхатости самозванка ответила отрицательно, добавив, правда, что в скором времени надеется понести плод. Это чистосердечное признание лишило ее крова, но спасло от голода, Мустыгины кормили приبلудную тварь как собаку, выставляя на лестничную площадку тарелки с мясным, на питание ушло четыре банки болгарских голубцов, купленных — с наценкой! — в буфете, да литр молока, его они наливали в блюдечко.

Слушая стыдливые объяснения Мустыгиных, Андрей обнимал дрожащее от холода тельце Али. Редкие слезы ее были холодными и нетекучими. — Это моя невеста! — провозгласил Андрей.

Срутник погрозил кулаком расторопистым братьям, которые мгновенно прикинули все плюсы и минусы. Кормежка Алевтины не покрывала и сотой доли нанесенного Андрею ущерба, который надо было чем-то возмещать. И чем-то расплачиваться за блага от бракосочетания друга. Добродетельная семейная пара под самым боком их бизнеса — да это же охранная грамота! Да и дорогого стоит благосклонность члена коллегии Министерства внешней торговли!

Супруги Васьякины осмотрели холостяцкую берлогу, едва не зажимая носы. Тимофей Гаврилович подергал запертую дверь женатика, потребовал ключ, открыл, увидел то, чего ни в коем случае нельзя было видеть супруге, и усладил ее за покупками. Дал команду — и братья Мустыгины кликнули девиц из общежития, те примчались по первому зову и запричитали по-деревенски: «Ироды!.. Девку загубили!..» Алю отмыли в ванной, комнату, на конюшню смахивавшую, отскребли. Жена Тимофея Гавриловича вернулась вечером с ворохом белья и одежды, невесте решено было устроить последний девичий уголок в ее жизни, загс планировался в ближайшие дни, в нарушение всех сроков: девицы из снесенных барачков уже пролезли во все поры местного управления и обеспечили внеочередность. Свадьбу решено было отгрохать дома, в кулинарии купили сто котлет и три ведра винегрета. Созвали всех, кого можно пригласить, исключая родителей новобрачных. Директор школы и завуч приехать не могли: первая четверть нового учебного года! Аля же и видеть не хотела своих домочад-

цев. «Я тебя прошу: без них!..» — вцепилась она в Андрея и не разжала пальцы, пока Андрей не поклялся, что ни дядя, ни тетка в новую жизнь Али не войдут ни под каким предлогом. Он понимал ее: в том доме — извращение, там в быт внесены элементы неземной логики. Он отослал деньги, почтой пришедшие с Кутузовского. О «линкольне» пришлось забыть. Влез в долги. Самыми страшными из них были сами братья Мустыгины, помогавшие бескорыстно и щедро.

И вдруг появилась Галина Леонидовна: глаза подпухшие, плечи согбенные, походка задумчивая, ореол мученицы, пострадавшей за веру в святость семейной жизни. Муж, оказывается, изменил ей чуть ли не в день свадьбы. «К тебе. Раздавлена. Крах», — такой телеграфный стиль вошел в ее загадочную речь. Андрей насторожился: уж очень подозрительными были эти рубленные фразы. Дохнуло опасностью, вспомнился умильный голосочек школьницы, худой и жадной. Заорать «Пшла вон!»? Все решила Аля, полюбившая с одного взгляда Галину Леонидовну.

В назначенный день и час у подъезда заклаксонили нанятые и одолженные «Волги». Погода выдалась превосходной, сухой морозец бодрил и веселил, безоблачное небо казалось не утренним, а вечерним, того и гляди вспыхнут звезды. Кольхалась толпа у подъезда, ожидая выхода брачующихся. В деляческом азарте братья Мустыгины вооружили транспарантами и портретами из красного уголка всех приглашенных и незваных, что у подъезда. Распахнулась дверь, вышла Аля, из глаз ее, видимо, брызгало счастьем, потому что все мужчины сняли шляпы и кепки. Андрей замешкался, что-то случилось со шнурками, пока перевязывал-завязывал — минута прошла, выскочил, увидел Алю со спины, всю белую, и подумал: голубое сияние исходило от невесты его. Их обоих повели к самой разукрашенной машине, до нее — секунд десять хода, до загса — пять минут езды, и вот тут-то истерически, в удушье будто, закричала Галина Леонидовна:

— Да набросьте на нее что-нибудь теплое!.. Набросьте! Ей же нельзя простужаться!..

Как в здоровом, никакими порчами не тронутом теле могла она высмотреть смертоносные легочные бактерии — уму непостижимо. Но высмотрела, вычернила, в толще белейшего снега нашла одну-единственную сажинку, пальцем ткнула в змею, еще не поднявшую голову с жалом, спавшую посреди цветов голубой клумбы. И года не прошло, как стала чахнуть Аля, не помогли ни высокоэффективные антибиотики, ни Теберда. Или — бактерию эту подбросила сама Галина Леонидовна криком истошным, от которого заплакал ребенок чей-то, на самокате приткнувшийся к увитой лентами «Волге»? Или... Андрей тогда много размышлял над каверзнейшим обстоятельством этим, родственным факту непорочного зачатия. Догадываясь, к каким выводам пришел он, Галина Леонидовна спряталась в очередное замужество, на глаза ему не показывалась, но Алю навещала, не без подсказок той угадывала время, проскальзывала в квартиру, когда в ней мучилась (или наслаждалась) одиночеством тающая Аля, и всякий раз Андрей Николаевич догадывался о визите подколотной землячки — не по сохранившемуся запаху, а по каким-то пространственным изменениям в квартире, координатные оси так сдвигались, что первой мыслью было: что-то стронуту гибким, скользким и осторожным телом. Последние месяцы от Али он не отходил, приезжавшая со шприцами медсестра задерживалась на полчаса или больше, давая возможность съездить за продуктами. Девочкой вступила Аля во взрослую жизнь — и мудрой старухой покидала ее. Андрей подумал как-то, что ему было бы легче от капризов умирающей, от приступов гнева ее; мужественное терпение страдающей Али вызывало в нем такую боль, что благим матом орать хотелось. За неделю до смерти она простилась с людьми и совершенно убежденно сказала Андрею, что и там, в могиле, будет помнить только его, потому что нет для нее иных людей, все иные — это он сам, в нем — все. И

просьбу изложила дикую для уха: похоронить ее так, чтоб никто, кроме него, на погребении не присутствовал. Никто! Он обещал: «Да, да, непременно...» — так взрослый успокаивает ребенка... А когда в морге глянул на сизую и спокойную Алю — вспомнил про обещанное и о том, что по каким-то вековым канонам всегда исполняется последняя воля усопшего, еще не погребенных мертвых надо ублажать, продлевать их жизнь, что ли. Поехал смотреть могилу, выкопана ли она, и попал к моменту завершения операции, которую никто не решался механизировать, потому что сознание связывало производительность моголокопателя с процентами смертности. Андрей Николаевич присмотрелся к ребятам, углублявшим могилу, и поразился лопате бригадира. Без сомнения, специфическое орудие труда изготовлено было по особому заказу. Деревянная ручка, отполированная тысячами хватаний, приобрела цвет янтаря, была она раза в полтора длиннее обычной, саму же лопату отштамповали или отковали в форме прямоугольника, выгнув затем, и лезвие лопаты будто прошло через никелирование в гальванической ванне, стольким покойникам обеспечило оно вечный сон и защиту от посягательств извне. Не прыгивая на дно могилы, используя длину лопаты и форму ее, бригадир между тем приступил к заключительной стадии, углублял и расширял выемку в земле, какую-то нишу, и Андрей Николаевич понял, что делает бригадир. Могила короче гроба сантиметров на сорок — пятьдесят, опускать в нее покойника будут в наклонном положении, и уместится гроб в могиле потому, что изголовьем войдет в нишу. В этой незапатентованной хитрости была и забота о могильщиках, сберегавшая их труд, и желание максимально обеспечить уют покойника, зафиксировав гроб неподъемно и неперемещаемо. Андрей Николаевич избавился вдруг от ужаса смерти, который разлит в самом воздухе кладбища, и ясно представил себе, что когда-нибудь ляжет рядом с Алею, и не важно уже, есть или нет мир иной, лежать все равно будут вместе. И Аля вдруг стала понятна: существо, созданное природой, чтоб полюбить одного человека и этим исчерпать свое предназначение. И решение возникло: да, похороню один, никого не надо, свято исполню последнюю волю, справлюсь, обязательно справлюсь! Существовали, правда, непреодолимые технические трудности, но на то и человек, чтоб разрешать их. Андрей Николаевич на такси помчался искать одного разочарованного жизнью изобретателя, о нем он не только слышал, но сам видел его и сам наблюдал демонстрацию изобретенного механизма, названного длинно и нескромно: «Универсальное транспортное средство для перевозки грузов до 1,2 тонны по любой местности и по любому грунту, даже лунному», — примерно так писал в заявке изобретатель, перечисляя затем выдающиеся достоинства транспортного средства, выгодно отличавшие его от ранее изобретенных, и достоинствам этим не верил ни один человек в патентной конторе. Лишь Андрей Николаевич поверил — и нашел изобретателя. Тот отдал ему надувной матрац и потроха к нему в придачу, то есть «универсальное транспортное средство», так и не выброшенное на свалку. Когда Андрей Николаевич поинтересовался, на каком топливе работает эта тележка без колес, то получил ответ: «Вечный двигатель». Вечность, правда, питалась от аккумулятора в чемоданчике. Подогнав к моргу автобус, Андрей Николаевич забрал гроб с телом и привез его на кладбище, шофер помог переложить гроб на матрац, двигавшийся как судно на воздушной подушке, и в страхе побежал к автобусу. Сургеев шел рядом с матрацем, держа в руках выносной пульт управления. Редкие встречавшиеся крестились, сзади плелся кто-то из кладбищенской администрации, к могиле его Андрей Николаевич не подпустил, могильщики от зелененькой не отказались и благодарно отошли в сторону. Гроб то взмывал над углублением в земле, то норовил торпедою уйти вниз, пока Андрей Николаевич не освоил аппарат и вместе с ним не оказался в могиле — сидящим на гробе, мокром от слез. «Эй, хозяин, пора наверх!» — позвали с неба мо-

гильщики, и Андрей Николаевич взмыл к ним. Когда могилу закрыли землей, к ней подкрались сидевшие в засаде братья Мустыгины. В скорбном молчании, понунив головы, приложили они к холмику венок с траурной красно-черной лентой. Видимо, в своих расчетах с Андреем Николаевичем они так запутались, что от четырех правил арифметики решили перейти к высшей математике, остановившись пока на теории пределов, иначе не писано было бы на ленте о *беспредельной* скорби. Из осторожности себя на ленте не обозначили, «От младших научных сотрудников» выражалась скорбь, нацеленная на дифференциальное исчисление. Братья, бережно придерживая Андрея Николаевича, выдернули пробку из надувного матраца, скатали в рулон транспортное средство и увезли вдового теперь друга, оставили его одного в квартире.

Теперь, когда Али не стало, он признался себе, что всегда смотрел на нее глазами Таисии и женился с одобрения и согласия продолжавшей его любить женщины.

5

Года через три весной он поехал к родителям. Его встретили со слезной радостью, мать и отец горевали, успев полюбить Алю. Родительский дом стал еще прочнее: отец, доверив матери школу, перебрался в исполком, стал городским головою. Та же печь, те же стены, а потолок почему-то приспустился. Вот и старенькое кресло, в котором рождались нелепые вопросы, обращенные к мирозданию. Андрей Николаевич сел в него с некоторой опаской. Прислушался. Тишина. Родители уехали на совещание, вернутся послезавтра. Дверь скрипнула, подалась, как крышка гроба. Шаги зашуршали — песком по тому же гробу. «Прочь!» — заорал Андрей Николаевич, наугад бросая что-то в сторону шуршания. Он не ошибся, приближалась Галина Леонидовна: зеленое платье, янтарные бусы на груди, начинавшей принимать тициановские формы; умильное щебетание уже перебивалось учащенным придыханием женщины, собой не владеющей, — темная невежественная дура становилась обольстительной красавицей. «Ну, ну, успокойся...» — замурлыкала она где-то рядом. «Прочь!» — вновь хотел заорать он, но проснулась память, и старое ощущение вошло, обволокло — того дня, когда школьница Галя Костандик вползла в его жизнь. Неужели новый виток спирали, копирующий некогда завершённый? И тогда повторится Таисия, упоение душных ночей, когда они выбегали в сад, под луну? И воспрянет дух любознательности, бросающий его от одной книги к другой, погружающий его в радостную сумасбродницу мыслей?

Галина Леонидовна обошла и осмотрела дом так, будто собиралась его покупать. Ближе к ночи разобрала постель в комнате Андрея Николаевича, разделась и легла, раскрыв журнал с кроссвордом. Несколько оторопев, Андрей Николаевич соображал, к чему все это. Для чего — ясно. Однако где смысл? Никакой тяги к взрослой Гале Костандик он не испытывал, поскольку мировоззренческих экспериментов давно уже не ставил, со смешком вспоминалась попытка измерить бедра гороховейской паскудницы, сантиметром опровергнув все выводы солипсизма. Да и никакой, кажется, загадки не было в Галине Леонидовне. Обычная баба с чутьем зверька.

Долг мужчины вынудил его лечь рядом. Минут двадцать еще отгадывали вместе кроссворд, споткнувшись на слове из семи букв: «Герой национально-освободительного движения Африки против империализма», по вертикали. Так и не заполнили клеточек, потому что Галина Леонидовна со злостью сказала: «А ну его к черту, этот империализм!..»

Вернулись родители — и Андрей Николаевич облегченно вздохнул. Слава богу, с кроссвордами покончено, хорошо бы как-нибудь легко и непринужденно расстаться с самой Галиной Леонидовной, не представляв-

шей не только философского, но и сексуального интереса. Землячка, умевшая казаться женщиной на близком срыве в необузданную страсть, была холодна и неотзывчива. Чувственность ее покоилась на такой глубине, что зафонтировать могла только при особо мощном раздражителе. А какой отбойный молоток пробьет базальтовую мантию? Найдется ли геолог, способный пробурить скважину сквозь тысячевековые отложения юрского, кембрийского и прочих периодов?

В Москву решили возвращаться вместе. До станции добирались на горисполкомовской машине отца. От пыльной и тряской дороги клонило ко сну, дремавший Андрей Николаевич так и не увидел ползший по полю трактор «Беларусь», агрегатированный с картофелесажалкой.

Не увидел, не услышал, но почему-то вспомнился Владимир Ланкин. Пропал ведь человек, сгинул уральский самородок, изобретатель лучшего в мире картофелеуборочного комбайна. Одно лишь было известно: комбайн сгорел. И уничтожил его сам Ланкин. Выпущенный утром из милиции, Ланкин облил бензином творение свое. Вновь его сунули в мотоцикл, но тут проявил великодушие Иван Васильевич Шишлин, уломал милицию, и Ланкина отпустили с миром.

Поезд еще не остановился, а у окна вагона угрожающе замелькали братья Мустыгины. Предчувствие беды охватило Андрея Николаевича. «Галочка-ка...» — прошипели Мустыгины, отшвыривая попутчицу. За локотки подхватили Андрея Николаевича и вынесли его из-под крыши Павелецкого вокзала. Посадили в машину, отвезли от вокзала на добрый километр и наконец посвятили в грозящую всем им опасность: на их жизненном горизонте появилась неистовая мстительница, та самая Маруся Кудеярова, едва не ставшая жертвой сексуально-кибернетического интереса Лопушка. Она окончила философский факультет МГУ и не без протекции мужа устроилась на непильную работенку, замзавом в райкоме, отныне дает пропагандистские установки и ненавидит свое деревенское и раннемосковское прошлое. Удалось выяснить: тот эпизод на кухне ею не переосмыслен и не понят. Она, конечно, знала тогда, что ждет ее, охотно даже согласилась с предложением братьев, имея втайне от них матримониальные цели, присущие всякой деревенщине, попавшей в столицу. Но на беду свою, абсолютно невинное желание Андрея — познать работу челюстей — приняла сдур за попытку изнасилования в особо извращенной форме. Марксизму в стенах МГУ она обучена, следовательно — нетерпима, злобна и оружием классовой борьбы владеет, как д'Артаньян шпагою. Его, Андрея Николаевича Сургеева, она готова стереть с лица земли. Надо спасаться. До института, где он преподает, Маруся не дотянется. Но живет-то он — в том районе, над которым властвует ее партийный офис. Выход единственный: немедленное переселение! Бегство!

Страхи друзей показались Андрею Николаевичу чрезмерными и надуманными. Нужен он этой Марусе! Да она и забыла обо всем! А если и не забыла, то он готов исправить ошибку, причем в общепринятой форме. И вовсе она не злопамятная. По его наблюдениям, женщины, у которых угол расхождения сосков приближается к 135 градусам, добры и великодушны.

От такого легкомыслия светлые волосики Мустыгиных поднялись дыбом. Братья ором кричали на Андрея Николаевича, ибо собрали обширный материал на Марусю. Слопала парторга факультета! На семинаре по Канту обвинила философа в недооценке им работ Ленина.

Андрей Николаевич сдался и свирепо спросил, что от него требуется. Тут братья замаялись. Нужны деньги, но поскольку они и так ему должны, то все расходы по обмену квартиры берут на себя. С него же причитается следующее: две статьи по общим вопросам естествознания, но со свежинкой, с некоторым ошеломлением. И хвалебное предисловие — к еще не изданной и даже не написанной книге одного болтуна.

Статьи были обещаны, написаны, предисловие состряпано, после чего братья развернули бешеную деятельность; серия проведенных ими машина-

ций носила сугубо идеологический характер и завершилась вселением Андрея Николаевича в очень уютную двухкомнатную квартиру, в семи километрах от старой, через два района от того, где орудовала Маруся. Мустыгины лично понесли вещи, четыре ящика с наиболее ценными книгами Андрей Николаевич не доверил никому и сам погрузил их, сам внес в новую обитель. С хозяйской дотошностью осматривая каждый метр новой жилплощади, он обнаружил на кухне каморочку, глухую без окон комнатенку, без света, неизвестного предназначения. Сюда он и втащил четыре ящика, забыл о них, и однажды, когда уже всякой вещи нашлось свое место, услышал странные звуки, будто кто-то ворочался, освобождаясь от пут и тяжело дыша. Андрей Николаевич обошел всю квартиру и остановился наконец у каморки. Там определенно кто-то был и негромко стонал от неволи и темноты. Расхрабрившись, он дернул на себя дверь и увидел четыре ящика, так и не расколотенных в эти недели обустройства квартиры. Сильно пристыженный, он наказал себя лишением трех чашек кофе и бросился исправлять вопиющую ошибку. Утром сколотил полки и навесил их, ящики вскрыл и книги расположил вдоль стен в произвольном порядке, наугад, так чтоб Эмпедокл мог подружиться с рядом стоящим Ясперсом, а Ибсен — с Чебышевым. Кажется, вздох облегчения пронесся по каморке. Люди и мысли, разделенные книжными переплетами и ими же сближенные, начали знакомиться друг с другом так, как делают это первоклашки на большой перемене. Завязывались приятельские отношения, хотя кое-кто явно брезговал соседом и воротил нос. Были патриции, не желавшие замечать плебеев, и были рубахи-парни, лезущие целоваться с отнюдь не компанейскими снобами. Века давно минувшие переговаривались с веками не столь далекими, не замечая разницы во времени и месте, не подозревая, что точно такой же сумбур царит в человеческом мозге, образы которого теснятся в некотором объеме и никакие расстояния и временные интервалы им не помеха.

Наслаждаясь гомоном в каморке, Андрей Николаевич часами посиживал на кухне. Он догадался, что рядом с ним обитает Мировой Дух, находящийся пока в младенческом состоянии. Пройдет сколько-то лет — и мыслители прошлого освоятся в заточении и начнут препираться друг с другом, упрекать, звать, наставлять и плакаться.

В один из таких вечеров ему вспомнился совхозный агроном, уверявший московского инженера Андрюшу Сургеева, что хороший ланкинский комбайн (ККЛ-3) совхозу не нужен! Совхозу он вредный! Как-то так получалось — по расчетам и по всей практике совхозной жизни, — что лучше в хозяйстве держать беспрестанно ломающийся рязанский комбайн, чем безотказно действующий Ланкина! Рязанский — выгоднее! Всегда дадут другой, зная, что предыдущий — брак, допущенный и разрешенный свыше. Не дадут — так пригонят студентов на уборку картофеля. Не пригонят — зачтут условно в план неубранную картошку.

Кажется, в тот вечер особо ехидничал зловерный тип, некто Мари Франсуа Аруэ, хиливший, как сказали бы нынешние студенты, за Вольтера, и, прислушиваясь к его смешочкам, Андрей Николаевич без единой пометки за полчаса написал язвительную статью о преимуществах самого передового общества — социализма. Он, социализм, готовится к гигантскому прыжку, к прорыву в цивилизацию будущего века, для чего заблаговременно кует кадры, неумоимо изготавливая абсолютно ненадежную технику, в ремонт которой из года в год втягивается все население страны. Для любого тракториста или шофера вверенный им механизм не «черный ящик», не «вещь-в-себе», а учебное пособие, игрушка, сварганенная на трудотерапии в Кашенке. Страну ждет блестящее будущее, частые авиакатастрофы инициируют появление махолетов на мускульной силе, негодные паровозы приведут к увеличению поголовья лошадей, коневодство станет важнейшей отраслью хозяйства, истощение природных ресурсов планеты не застанет СССР врасплох, вот почему надо славить бракоделов.

Статья, без сомнения, была юмореской, Андрей Николаевич дождался одобрительного хмыканья Мари Франсуа Аруэ и упрятал озорную писанину в стол.

Прошел год или два, а может быть, и три. Андрей Николаевич почитывал студентам лекции, сочинял книги, купил — не без помощи Васьянина — «Волгу», холил и нежил ее, как кобылу, единственную в крестьянском хозяйстве. Изредка наносила ему визиты Галина Леонидовна, ошарашивая каморку политическими откровениями. Так, свой психотелесный дефект, называемый конституциональной фригидностью, она связывала почему-то с Конституцией РСФСР. Родители процветали, мать стала заслуженной учительницей, отца, прославленного областной газетой, наградили очередным орденом. Маруся не давала о себе знать, но, кажется, готовая пожертвовать семечками, склонялась к тому, от чего когда-то сбежала, потому что кандидатскую диссертацию Андрея Николаевича Сургеева ученый совет не только благосклонно принял, но даже признал ее докторской, чему не воспротивился капризный ВАК. (Узнав о сем, братья Мустыгины бурно возликовали: теперь неугомонно зудящая совесть разрешала им становиться кандидатами наук.) Раз в два месяца Андрея Николаевича привозили к себе Васьянины, на «диспансеризацию», приглашали врача, сами же провокационно заводили речь о картошке и комбайнах, и Андрей Николаевич смущенно признавался, что картошку он не любит, а про комбайны и не вспоминает. Спрашивали его, как относится он к последнему пленуму (съезду, сессии), и в ответ получали тягостное молчание. На самом деле Андрей Николаевич выборочно просматривал газеты и знал, кто первый человек в государстве, кто второй, а кто дослужился и до третьего. В притворстве порою заходил так далеко, что и впрямь путался, сам себя сбивая с толку. И досбивался до того, что сам не заметил, как Высшие Судьи, то есть обитатели каморки, озлобились и сообща решили поставить на нем эксперимент, ввергнуть хозяина квартиры в беды и горести, коими не были обделены когда-то сами.

6

Уже не один месяц сидел Андрей Николаевич без работы, с символической и смехотворно маленькой суммой накоплений в сберкассе, со все возрастающим долгом Васьяниным, и все мыслимые и возможные источники существования иссякали один за другим в пугающей очередности.

И некого винить в собственном обнищании. Сам виноват, кругом виноват! Угораздило же его написать эту книгу — «Святые лженауки». Речь там шла о заблуждениях физической мысли позднего Средневековья, но все почему-то видели, читая книгу, век текущий, проводя некорректные аналогии, а кое-кто посчитал себя смертельно оскорбленным. С работы Андрея Николаевича выгнали без всяких объяснений, то есть сообщили ему устно, что отдел, которым он руководит, ликвидируется. Вот и спрашивай себя: какая, черт возьми, связь между ньютоновским пониманием пространства и сиюминутными взглядами на роль народных масс?

Шли дни и недели, картошка из Гороховая позволяла продлевать существование. Но где достать деньги? В Атомиздате лежала третий год рукопись, аванс под нее получен, сроки выхода миновали. Андрей Николаевич осторожно навел справки, ему сказали: редакционный совет примет на днях решение.

Решение было принято, выписка из него блуждала по каналам внутригородской связи и наконец опустилась в почтовый ящик. Андрей Николаевич вскрыл конверт и с ужасом прочитал, что книга его выброшена из плана и что издательство требует возврата аванса.

Это было наглостью! Грабежом среди бела дня! Такого в жизни Сургеева еще не было! Только судебное решение по иску издательства может

лишить автора аванса! Семьсот шестнадцать рублей сорок две копейки — да откуда они у него? Все давно истрачено. Из-за неумения и нежелания варить супы и подвергать мясо термической обработке он вынужден питаться дорогостоящими продуктами. А прочие потребности? А «Волга»?

Вернуть аванс он решил в ближайшие дни, и надо было срочно перехватить на четыре — шесть месяцев эти семьсот шестнадцать рублей. В глубокой задумчивости сидел он на кухне, и сомнения раздирали его. Деньги лежали рядом, на полках каморки, но неизвестно было, как отнесутся книги к торговой операции, ведь Мировой Дух неделим, от него нельзя отщипывать кусочки. К тому же Андрей Николаевич пребывал в ссоре с аборигенами научного и нравственного олимпа. Эти высокоумные корифеи оказались в быту теми, кем они и были, то есть ничто человеческое было им не чуждо, и стоило Андрею Николаевичу увлечься Николаем Кузанским и ежедневно почитать его «Компендий», как остальные сцепились в базарной склоке, поливая грязью уроженца деревеньки Куза.

Дальнейшие терзания привели Андрея Николаевича к еретическому предположению: если Мировой Дух неделим, то все частно-конкретное утоплено во всеобщем и, следовательно, лишение Духа единичной составляющей не скажется на цельности. Среди раритетов каморки находится Дюрер 1711 года издания, продажа его позволит безбедно прожить несколько месяцев, пока не уляжется скандал со «Святыми лженауками».

Теория, однако, обязана соотноситься с практикой. Дюрера решено было изъять ночью. Воровато озираясь в темноте, Андрей Николаевич подкрался к двери хранилища, бесшумно открыл ее. Втащил стремянку внутрь, полез — и обмяк. Ему послышались рыдания, книги стонали от святотатственного изымания той, которая нашла вместе с ними здесь приют, помыкавшись по сундукам, чердакам и погребам. Взмокнув сразу от обильного пота, Андрей Николаевич обреченно сполз со стремянки, сложил ее и водрузил на прежнее место, в туалет. Покаялся. Решил было наказать себя лишением кофе, но тот кончился еще вечером. Понести же справедливую кару можно тогда лишь, когда он, кофе, ароматно сварен, когда искушение выпить его достигнет максимума. Надо, следовательно, утром купить кофе.

Полчаса, не более, ушло на поездку в магазин, но за это время произошло событие столь же значительное, как и полученное накануне письмо.

Что-то белело в черных дырочках почтового ящика, кто-то — в эти полчаса — не застал его дома и оповестил о визите частным, минуя государственную почту, отправлением. Андрей Николаевич достал конверт без адреса, уже догадываясь, от кого послание. Он малодушно ждал вскипания кофе. Налил его в чашечку, втянул аромат и выплеснул напиток в раковину. Только потом ножницами надрезал конверт и, легкомысленно посвистывая, извлек содержимое.

Писали Мустыгины, требовали срочной встречи, и первой мыслью Андрея Николаевича было: Маруся! Кончился, видимо, пологий участок ее карьеры, она либо взлетела, либо скатилась, и братья Мустыгины изменили учетные ставки, по известным только им формулам высчитали, кто кому должен. Регулярно смотреть телевизор, ежедневно читать газеты — тогда бы не пришлось гадать, тогда бы уж точно знал, что сулит встреча с Мустыгиными. Ехать или не ехать? Временами ему так жалко было Марусю, что он мечтал: выходит это он утром на улицу, а повсюду портреты Маруси — Маруся слетала в космос. Такой вариант сулил Андрею Николаевичу ни с чем не соизмеримые выгоды. Братья Мустыгины, это уж точно, отпищут от него, избавят от сочинения пошлейших статей, публикуемых под фамилиями преданных ему аяксов.

Выключив телефон, достав книгу расходов, Андрей Николаевич погрузился в расчеты. В Бауманском училище пока никого не узнавали среди тех безымянных кретинов, которые были им высмеяны; бауманцы сохра-

нили за ним четверть ставки, прожиточный минимум был много выше той суммы, что давало преподавание спецкурса, но если попрятать себя и отказаться от некоторых притязаний на комильфо, то... Но деньги все равно нужны! И значительные деньги! Не только вернуть аванс, но и расплатиться наконец с Мустыгиными, предложив им отступные. И Васьякиным он тоже должен, мало, девятьсот двадцать три рубля, долг старый, о нем они забыли, но он-то — помнит.

Подведя кропотливый итог, Андрей Николаевич твердо решил: с Мустыгиными не встречаться, по телефону, ими указанному, не звонить ни завтра в 13.05, ни послезавтра, ни в следующие дни.

Зная мертвую хватку их, он избегал появляться там, куда захаживали они, меры предосторожности принял чрезвычайные, на последние деньги перекрасил свою «Волгу» в широко распространенный черный цвет, причем красильщик, готовя пульверизатор и со снисходительной улыбкой поглядывая на него, как на автомобильного вора, сказал, что может дать телефончик одного гаишника, этот мигом оформит смену номеров.

Черная «Волга» спасла его от многих неприятностей, но притупила бдительность, и на Варшавском шоссе Андрей Николаевич подвергся нападению двух заезжих американских гангстеров. Они, в «мерседесах» с тонированными стеклами, в тиски, спереди и сзади, зажали «Волгу» и загнали ее в переулок без единого милиционера. Что в таких случаях делать — Андрей Николаевич знал, дважды в Доме кино был на просмотре американских боевиков, и, резво покинув машину, животом лег на капот, раскинул руки и раздвинул ноги, чтоб нападавшие могли на ощупь и воочию убедиться: ни «смит-вессона», ни «макарова» у него нет. Однако гангстеры заломили ему руки за спину и посадили за руль «Волги», сдернули с себя темные очки и оказались братьями Мустыгиными, злыми и решительными. Смотрели на него как на распоследнего негодяя. Сердце Андрея Николаевича упало, пот прошиб его, и с жалобной интонацией он тишайше спросил: «Маруся?..» Молчание Мустыгиных говорило о том, что идеологический фронт лишился боевитой коммунистки-руководительницы. Андрей Николаевич с замиранием сердца ждал расправы. Мустыгины огляделись и решили казнь перенести в более безопасное место. Они приконвоировали его в тихий уголок Подмосковья, к домику, нанятому для молодецких утех. Женщин, конечно, еще не было, тайна встречи соблюдалась полностью, секретность разговора вынудила братьев повести Андрея Николаевича в беседку, увитую плющом, здесь ни подслушать, ни подсмотреть. «Ну что, что с Марусей?..» — повторил мольбу Андрей Николаевич, весь в страхе от того, что мог услышать: брошена мужем, выгнана из партии, явила дурь в контактах с зарубежными марксистами.

— А, чепуха, пустяки... — пренебрежительно отмахнулись братья. — Пересадили на промышленность...

Известие о том, что Маруся еще на плаву, чрезвычайно обрадовало Андрея Николаевича. Вполне возможно, братья намеренно сгущают краски и раньше времени поют зауспокойную, набивая себе цену. Как жаль, что нельзя рассказать Васьякину о Марусе, узнать точно, чем занимается она и лужает ли семечки. Тимофей Гаврилович знал биографии обитателей кремлевского Олимпа лучше греков, у которых миф еще не отделился от реальности. «Что вы мне талдычите, — мог он порисоваться в так называемом узком кругу, — что вы мусолите мочалу... Этот ваш прогрессивный реформатор в двадцать девятом году барду для самогона добывал, тем его связь с сельским хозяйством и ограничивалась. А в идеологию он полез тоже благодаря самогонному аппарату: сдал его при поступлении в колхоз, потому что иного имущества у него на крестьянском дворе не было. Неблагодарные односельчане послали его в город, на рабфак, по невежеству своему они рабфак спутали с домзакком...»

Андрей Николаевич был посажен в плетеное кресло и сидел в нем, как на электрическом стуле. Братья Мустыгины рассматривали его с презрительным осуждением, как ядовитую гадину. Галстуки приспущены, тела расслаблены и наклонены чуть вперед, глаза шарят по подследственному в поисках наиболее уязвимого места. Андрей Николаевич поджал ноги. Взгляды братьев обжигали его. Весело щелбетила птички над головой.

На колени его упал журнал, раскрытый на статье, авторство которой принадлежало, судя по фамилиям, Мустыгиным, но, конечно, написанной Андреем Николаевичем. Он впился в нее, потом глаза заскользили по абзацам, задерживаясь на подчеркнутых, и наконец в недоумении поднялись на братьев. «Ну и что?» — молча спрашивал Андрей Николаевич, не видя никакого криминала, да и что вообще можно сказать нового или неправильного о дифракционной решетке. Правда, несколько изменен угол зрения, под которым рассматривались давно знакомые явления.

Братьев наконец прорвало, они с бранью обрушились на Андрея Николаевича, обвиняя его в недомыслии, провокаторстве и предательстве.

Не одна минута прошла, прежде чем Андрей Николаевич понял, что сотворил, какую подлянку (так выразились Мустыгины) выкинул.

О публикации этой статьи братья договорились заранее, год назад, в каждой редколлегии они содержали и подкармливали нужных людей. Работу, вышедшую из-под пера Андрея Николаевича, одобрили, не обратив внимания на скромненькое предположение, на мысль, просквозившую в пяти строчках. Прошли эти строчки и мимо отечественных глаз, но вызвали на Западе легкий шум, братьев, прибывших в Лион на конференцию, атаковали градом вопросов, раздавались голоса о том, что статьей чуть ли не открыто новое направление в науке, отчего братья и впали в негодование. Они осваивали Европу, уже четвертый год регулярно ездили на разные симпозиумы, конференции и встречи, завели досье на теоретиков из Берна, Парижа и Лондона, то есть приступили к реализации жизненных планов. На них-то и ставил крест Андрей Николаевич, подкладывая мину замедленного действия. Надо, настаивали Мустыгины, дезавуировать эти строчки! Иначе — полный провал. Не нужны им прорывы и озарения, они должны оставаться на добротном среднем уровне, не выше и не ниже. В Европе тоже не любят слишком прытких, там просто другой средний уровень.

— Но я ведь на него и рассчитывал... — пытался оправдаться Андрей Николаевич, но глянул еще раз на подчеркнутое опальное место и устыдился. Действительно, выше и того — «другого» — уровня. Так опрометчиво поступать нельзя. И оправдания нет. По собственной вине упустил из виду, текучка засосала, перестал просматривать западные журналы, да и очередной запрет на них, кажется, был. Господи, господа, что делать?

Программа действий имелась у братьев. Мировой славы им не нужно, Андрюше-Лопушку тоже. Следовательно — еще одна статья, нечто вроде реплики с намеком на курьез, но сделать это так искусно, чтоб кое-какие сомнения оставались, потому что братья, парируя в кулуарах Лионской конференции вопросы западных коллег, увертливо намекали, что высказанная ими гипотеза кое-чем подтверждается.

— Хорошо, я напишу, — согласился обрадованный Андрей Николаевич, и братья поймали его на слове, повели в дом, усадили за стол, подали перо, бумагу. Опасаясь, что вот-вот нагрянут с песнями девицы, Андрей Николаевич спешил. Сосредоточился, написал, позвал Мустыгиных. Так и сяк вертели те написанное, но возражений не высказали. Приступили к бытовому вопросу: как питается Андрей Николаевич, как у него с бензином, кого надо брать за жабры, чтоб доктора наук Сургеева двинули в членкоры. С дружеской откровенностью признались, что их диссертации (будто Андрей Николаевич не знал этого!) давно уже написаны, год назад могли они защититься, но природная щепетильность не позволяет им уравнивать себя с ним. Поэтому Андрюше надо вступить в партию — про-

демонстрировать полную лояльность, и книг вроде «Святых лженаук» больше не писать. Мало того, что она закрыла Сургееву границу. Из-за книги они, Мустыгины, не могут на людях встречаться с лучшим другом юности, с единственным другом, с тем, который...

Братья едва не пустили слезу, и растроганный Андрей Николаевич проговорился, рассказал об аннулировании договора и о возврате аванса. Мустыгины ошеломленно переглядывались, не веря ушам своим.

— Мерзавцы! — взревели они. — Ни копейки им! На испуг берут! Аванса — ни в коем случае не возвращать! Пусть сами в суд подадут!.. — И уверили: — Им огласка не нужна, они сами суда боятся.

Обо всем остальном они сами догадались. Потянулись за деньгами к пиджакам, брошенным на тахту, но Андрей Николаевич отказался, ибо так и не узнал точно, на какой ступеньке задержалась, летя вниз, Маруся. Отказ привел братьев в замешательство, возбудив подозрения, что Андрей Николаевич более их осведомлен о теперешней должности бывшего идеолога. Напрямую спросили, не нужна ли помощь в подыскании работы. Услышали согласие и продиктовали три телефона, после чего Андрей Николаевич был отпущен на свободу. Ни по одному из подаренных ему номеров он звонить не собирался: возьмут на работу — и окажешься в полной кабале у Мустыгиных.

Каково же было его изумление, когда тем же вечером позвонивший Васьянин сообщил ему эти самые три телефона, сказав еще, что звонка Сургеева ждут с нетерпением и местечко для него найдется.

Никуда поэтому он не звонил, сидел дома, питался скудно, много писал, а неделю спустя Васьянин мягко попросил его приехать, и Андрей Николаевич дал согласие.

Рядом с офисом Тимофея — магазинчик «Сувениры», здесь надобно купить секретарше подарок, и Андрей Николаевич выбрал глазастую куклу. Секретарша, как кукла пахнущая, сунула презент за стекло, в шкаф. По всей видимости, подарок переключает вечером во все тот же магазинчик «Сувениры», чтобы утром следующего дня погрузиться в портфель или дипломат очередного визитера; в движении товара по замкнутому кругу прозревалась человеческая решимость построить все-таки вечный двигатель, ибо сколько человек ни обособлялся, вырваться из Природы он не мог, и разве Природа сама по себе не есть вечный двигатель? (Андрей Николаевич бросал мысли на любой пустяк, лишь бы не чувствовать страха, предстояло пройти через очистительную брань Тимофея, нужда заставляла опалиться жаром костров, чрез которые лежал путь к стопам золотоордынца; «Мы, россияне...» — кичился Тимофей в малом подпитии, а сам хуже поганого татарина изгалялся.) Глаза Андрей Николаевич не поднимал, дышал в сторону, вел себя по протоколу XIV века и, кажется, заслужил прощение после того, как взволнованная секретарша узнала, со слов своего начальника, что втершийся в приемную мерзопакостный проситель — злейший враг человечества и трудового крестьянства, клятвопреступник и душегуб. Он не называет его имени, продолжал греметь Срутник, по той лишь причине, что ненавистная фамилия, будь она произнесена, разнесет в клочья все здание, превратит в развалины окрестные дома, ибо даже электроны слетят с орбит своих, вздрогнув от возмущения, когда услышат, кто приперся сюда с этой идиотской куклой...

— Почему без работы? — спросил наконец Васьянин, и Андрей Николаевич завершил путаное вранье храбро: должок, что за мной, будет возвращен до конца года, пишу книгу «Агностицизм как форма познания».

Он пристыженно умолк. Задрожали шторы на окнах — видимо, от сильного ветра, над Москвой разразилась гроза. От дождя, бушевавшего за стеклами окон, отделились проворные капли, упали на Андрея Николаевича, каким-то путем прорвавшись, и вошло вдруг ощущение того разне-

счастливого вечера, когда он рыдал в громящем вагоне, оторванный от Таисии, отправляемый в Москву на ненавистную учебу, и потом Андрей Николаевич понял, что он и впрямь рыдает.

Да, он плакал, он исходил слезами, и это были счастливые слезы понимания собственной беды, падения и восхождения. Он плакал, а Васьянин стоял рядом, руки положив на плечи его, и от рук пахло теплом и свободой. Он отплакался. И стыда не было. Глубоко вздохнул. Голова была чистой и ясной, Андрею Николаевичу показалось, что сам он весь — прозрачный.

— Я пойду, — сказал он виновато.

Было совсем темно, когда Андрей Николаевич подобрался к дому, привычно открыл почтовый ящик и нашел в нем письмо с грозным предложением быть завтра в редакции журнала «Наука и жизнь» — в том самом, куда он, кажется, ничего путного не посылал.

Все последние недели на него камнями с неба падали несчастья, но уж какой-либо беды от журнальчика этого не ожидалось. Тем большей неожиданностью стал жесточайший разнос, учиненный ему в кабинете заместителя главного редактора — ему, признанному специалисту по теории машин и механизмов. «Советский народ никогда не простит...», «Партия не позволит...», «Это — преступное легкомыслие...», «Посягательство на самое святое...» и еще какая-то белиберда, никакого научного значения не имеющая. Три навтыжку стоявших сотрудника тяжелым молчанием подтверждали истинность угроз. Гнусное, отвратительное зрелище... И непонятное, ибо что именно инкриминируется доктору технических наук А. Н. Сургееву — оставалось загадкой.

Когда лавина обвинений схлынула, Андрей Николаевич смиренно воспросил, чем это прогневил он редколлегию, и в ответ ему были предъявлены пять страничек юморески, которая, по мысли обвинителей, стала злостным пасквилем на весь социалистический лагерь — ни больше ни меньше. Андрей Николаевич упорно молчал. Он не мог вспомнить, когда посылал невинную статейку и отправлял ли он ее вообще. Неприступно и гордо хранил он угрюмое молчание, и в нем начинало что-то позвенькивать, к нему подступала радость. Он чувствовал: сегодня, сейчас им будет принято решение, которое изменит весь мир и, возможно, скажется на всей Вселенной. «Верните!» — рявкнул он, и пальцы его приняли пять листочков так, будто ему вручал верительные грамоты Полномочный и Чрезвычайный Посол Мирового Зла.

И удалился, ступая шагами командора.

Улица Кирова ударила по нему светом, гамом, шарканьем тысяч ног. Андрей Николаевич зорко осмотрелся. Он искал нечто величественное и культовое, некий выражающий вечность предмет, к которому можно припасть, чтоб поведать ему — как на исповеди или при явке с повинной — признание эпохального масштаба. Магазин, где продавался чай, он отверг, хотя в экстерьере его присутствовала некоторая помпезность. Гастроном — тоже. Чуть далее располагался магазин «Инструменты», и на нем остановил свой выбор Андрей Николаевич. Прекрасно понимая, что коленопреклоненный мужчина будет освистан и осмеян зеваками, он пустился на маленькую хитрость. Дошел до середины улицы, остановился прямо против «Инструментов», будто случайно рассыпал денежную мелочь и, якобы бережливый, надломил коленки и коснулся ими раскаленного асфальта, чему чрезвычайно обрадовался, коленки будто на тлеющих угольях жарились, и в клятве, обращенной к обыкновеннейшему магазину Мосхозторга, но возносимой к Небу, были и мученическая страсть грешника, и искупление вины. Собирая медяки, обжигая ладошки, Андрей Николаевич сообщил Небу, что расшифрует письма того первобытного общества, в котором живет, что узнает доподлинно, почему властители не хотят кормить своих соплеменников, и что он, слабый и ничтожный, даст своему

племени огонь, воду и картошку. Даст — как Прометей огонь, и Мировой Дух, двуличный в своем единстве, трансформируется в Мировой Разум, а тот натолкнет доктора наук Сургеева А. Н. на верное решение.

Чтоб не создавать помех уличному движению, Андрей Николаевич молитвенную позу принял на самой середине проезжей части, а святые и безыскусные слова произносил громким шепотом.

Будучи человеком научного склада ума и материалистом, Андрей Николаевич понимал, что связь, какую он пролагает между Собою и Небом, только тогда будет функционирующей, когда станет обоюдной. И обусловил исполнение обещанного — как бы мимоходом заметил, что ждет сигнала, какого-нибудь предмета или явления, благословляющего на подвиг.

7

Несколько дней выжидал он — сигнала, знамения, трансцендента, беспарашютного падения вниз, росчерка молнии, подсказки заболтавшихся каморников. На телефонные вопросы отвечал надменно и сухо: «Болен». Проголодался, однако, и поэтому не воспротивился, как ранее, желанию Галины Леонидовны навестить его. Холодильник пуст, голова тоже, Андрей Николаевич подумывал, не обнять ли в прихожей землячку, весьма кстати вспомнившую гороховейца, но от мысли этой отказался: еще неизвестно, принесла ли она добротную пищу.

Галина Леонидовна вошла на кухню так, будто час назад покинула ее с пустой сумкой, торопясь к открытию магазина. Выложила на стол свертки и пакеты с едой, прибавила к ним бутылки — с маслом, приправами и алкоголем. В дамской сумочке — пакет с крупными, прелестно пахнущими зернами кофе. Обрадованный Андрей Николаевич быстренько приготовил любимый напиток, отпил глоточек, восхитился. Лишнего не говорил, зная, что к каждому слову прислушивается каморка. На всех четырех огнях плиты — кастрюли и сковороды, еда варится, тушится, жарится, печется.

Вдруг прямо на колени ему упала папка.

— Просьба. Почитай. Научный труд. Мой. Предисловие.

Андрей Николаевич глянул на титульный лист и невольно сжался. Сугубо медицинские термины связывались предложениями, сплошная абракадабра, подходящего словаря нет, и вообще единственное, что на листе понятно, — это уведомление в правом верхнем углу: «На правах рукописи».

— Не ломай мозги, — сжалилась над ним Галина Леонидовна. — Переводится это так: «Поведенческие стереотипы мужчин до, во время и после полового акта. По материалам автора».

— О господи... — слабо охнул Андрей Николаевич. Вооружился самыми зрячими очками и глянул на самую холодную женщину мира, ту, чувственность которой была ниже точки замерзания. Сексуальный урод, ничтошеньки не воспринимающий от общения с мужчинами, ничего, кроме головной боли, не испытывающий: для randevu с ними Галина Леонидовна держала в косметичке не противозачаточные таблетки, а обыкновеннейший пирамидон и еще что-то, снимающее ненависть к женщинам, которые от того же акта впадали в радостное беспамятство.

Рукопись он, для ознакомления, раскрыл на середине, попав на главу «во время». Терминология, конечно, хромает, бытовой жаргон соседствует с узкоспециальными наименованиями. И классификация мужчин по длительности контакта с однооргазматическими партнершами проведена без должной стилиевой точности, наряду с «кунктаторами» в тексте попадают и «торопыги», хотя существует, конечно, латинский аналог. Некоторые наблюдения, проведенные в ходе экспериментов, свидетельствуют: партнершей была сама Галина Леонидовна. Например: «Больной К. Постоянно фиксирует себя во времени и пространстве, поскольку сдерживается; озабочен необходимостью вызвать оргазм у партнерши, для чего каждые со-

рок секунд спрашивает о степени удовлетворенности; выбор слов чрезвычайно ограничен (см. приложение 2), отсутствующий взгляд обращен на предмет, лежащий в радиусе 2 — 4 метров, на периферии обзора...»

— А почему — «больной»? — возмутился Андрей Николаевич.

— Так уж принято у медиков... И вообще — что нормального, когда у мужика глаза воспалены, руки трясутся, а ласкательные словечки — ужас до чего примитивно! Ты почитай-ка приложение 7а к первой части, которая про «до», почитай...

Действительно — больные, вынужден был согласиться с нею Андрей Николаевич, начав чтение первых глав. Картина, что и говорить, мерзкая, в кое-каких деталях он узнавал себя, не испытывая, впрочем, чувства вины, поскольку в описании мерзостей преобладали слова, употребляемые во всех сочинениях на научные темы. Галина Леонидовна же, пока он читал, пустилась в воспоминания, всплакнула даже. Некоторые пылкие мужчины в беспамятстве рвали с нее нижнее белье, нанося тем самым имущественный ущерб. Но более всего возмущали ее те погрязшие в браке партнерши, которые до того обленились, что с недоумением смотрели на нее: «Ты почему не раздеваешься?» Или еще хуже: не в силах расшатать стереотип своих поведенческих реакций, требовали от партнерши того, что обычно получали от жен.

Уже отплакавшаяся Галина Леонидовна вдруг всхлипнула:

— Это ты, это ты виноват во всем! В моем недуге! Это ты тогда сбросил меня с колен, а я ведь впервые испытала настоящую страсть!

— Дура, — спокойноотреагировал он. — Бифштекс подгорает...

Его чрезвычайно заинтересовал термин «поглаживание». По невежеству своему Галина Леонидовна понимала под ним скольжение мужской длани по туловищу женщины, от затылка к бедрам, с задержкой на талии. Операция эта была многоцелевой: и утверждение мужского права, и распознавание возможных преград на пути к дальнейшему, и стимулирование в женщине позитивных эмоций. Но, рассуждал Андрей Николаевич, то же «поглаживание» западные социологи рассматривали более широко — как неременный фактор взаимопонимания, как обмен информацией. Вылизывание сукой новорожденных щенков было продолжением их внутриутробной жизни, когда околоплодная жидкость омывала эмбрионы, а если уж смотреть в истоки эволюции, то икринка в водоеме испытывала ту же радость, что и нормальная женщина, когда ее обнимает, пошлепывая и потискивая, нравящийся ей мужчина, и такие бессознательные женские приемы, как одергивание юбки или касание волосяного покрова головы, намекают мужчинам на желательность поглаживания. А сама женская одежда? А...

На кухне шипело, потрескивало и булькало. Андрей Николаевич спросил, что от него требуется. Ответ был диким по содержанию. Научный руководитель работы усомнился в объективности экспериментаторши, поскольку нейтральность наблюдений искажалась в любом случае — участвовала ли Галина Леонидовна в акте соития или притворялась, как это она умела (проговорилась же она однажды, что может отдаваться как Грета Гарбо, Екатерина Вторая и Александра Коллонтай).

— Формулу какую-нибудь присобачь! — потребовала Галина Леонидовна. — Сейчас все математизируется.

Благодатная тема, давно ждущая исследователя... Покинув кухню, кое-что второпях сжевав, развернув машинку, Андрей Николаевич стал переносить мысли на бумагу; нашлась и формула, придавшая исследованию современность и убедительность. Дата, подпись.

Андрей Николаевич машинку не закрывал, сидел перед нею в глубочайшей задумчивости, дав мыслям волю. Секс и власть, рассуждал он, неразделимы. Вполне возможно, что идея власти родилась в праве мужчины на женщину, обладание ею означало одновременно и властвование. Учи-

тивать надо и то, что жажда власти подкреплялась специфическим удовольствием. И социум возник на стыке секса и власти. Даже в стае бабуинов вожак аргументирует свои права на лидерство демонстрацией полового органа. Кстати, не аргументация ли подобного рода привела к идее дубины в первобытном племени? Интересная получилась бы работа — под условным названием «Роль фаллоса в технической эволюции человечества»...

Чуткие уши его уловили отдаленные раскаты хохота. Видимо, каморка потешалась над ним, и Андрей Николаевич самолюбиво нахмурился, встал и закрыл дверь, но остановить поток мыслей уже не мог и развил идею о фаллосе почти завершенной теорией, где квазисексуальными отношениями подменялись все социально-экономические связи общества.

Чем больше Андрей Николаевич размышлял о власти, тем в большее возбуждение приходил, а когда глянул на творение Галины Леонидовны и собственное предисловие к нему, то почувствовал нарастающую ненависть к копошащейся на кухне женщине, которая воплощала в себе всю сущность власти. Лжива, коварна, в связях неразборчива, любит подсматривать в замочную скважину, чтоб находить в человеке уязвимые места, ни во что не ценит мужчин и — точно так же, как власть, — глумится над гражданами. И бесплодна — как власть. Та давно уже умножает так называемую общенародную собственность искусственным партеногенезом, потому что оплодотворять не умеет, и вот откуда десятки тысяч строек, так и остающихся незавершенными, недоделанными.

Ненависть к Галине Леонидовне достигла такой острой формы, что Андрей Николаевич возжелал ее, мстительно представив себе ненавистную тварь в, так сказать, непарламентской позе — бегуньей на старте.

Акт унижения власти пришлось отложить до лучших времен, поскольку Галина Леонидовна исчезла, а уж ее-то стоило поблагодарить: в Андрее Николаевиче закопошилась смелая до безумия идея — как изменить общественный строй в СССР.

Утром, на свежую голову, он проверил вычисления и убедился в правильности их. Подверг критике предыдущую попытку — там, в совхозе. Такого провала, как тогда в котельной, не будет! И пожаров не надо. И взрывов. Свержение власти произойдет тихо и незаметно. И начинать надо завтра же. Благо деньги появились: Галина Костандик позабыла на кухонном столе пачку купюр.

Но планы едва не рухнули: приехал отец, и то, с чем он приехал, способно было охладить пыл Шарлотты Корде, превратить Якобинский клуб в общество цветоводов, и если бы речь отца прозвучала многими годами раньше на марксистском сборище в Минске, то социал-демократы не раздухарились бы на создание партии, а веселой гурьбой завалились в шинок, напрочь забыв о классовой борьбе и гегемонистских устремлениях.

Отец приехал внезапно, без телеграммы, без телефонного звонка из Гороховая, с неизменными домашними гостинцами, и, глянув на него, Андрей Николаевич стал суматошно вспоминать, не было ли в последних письмах родителей упоминания о болезни. Скверно выглядел отец, очень скверно! Как всегда прямой, жесткий, сильный, но глаза, когда вошел в комнату, сразу нашли стул и диван, чтобы знать, куда лечь или сесть, и голос был тягучим, незнакомым, речь спотыкалась. Два года назад Андрей Николаевич приезжал в Гороховой, и ни сединки в волосах тогда не заметил он у отца, ни этого блуждающего взора. Сейчас он обходил квартиру, где не раз бывал, спрашивал, намерен ли Андрей жениться, чем занята Галина Костандик, но о том, что привело его в Москву, — ни слова. Андрей отвечал невпопад, он как бы стыдился того, что молод еще и крепок. Сказал, что жениться не собирается, все недосуг, да и на ком жениться-то? Отец соглашался, кивал, продолжая думать о чем-то своем. Пальцы его те-

ребили что-то в воздухе, что-то искали, глаза замирали на какой-нибудь точке и больше уже ничего не видели.

Разговорился он вечером, после рюмки, и Андрей Николаевич был поражен. Ничего нового для себя он не услышал, удивительным было то, что отца мучили мысли, от которых страдал когда-то он сам. Более того, и мать, в те же мысли, как в болезнь, впавшая, иссыхала, сознательно морила себя голодом, учительствовать бросила, за пенсией не ходила, и отец за нее расписывался в почтальонских ведомостях.

Родителей подкашивала статистика, та самая, что лживее самой грубой лжи, но тем не менее учитывает только документально подтвержденные цифры, то есть в основе своей — научна. Отец, будучи главой исполнительной власти в городе, получил в свои руки архивы, исследовал их и подвел итоги педагогической деятельности. Тридцать с чем-то лет родители выдавали школярам свидетельства, аттестаты и напутственные шлепки с призывами сеять разумное, доброе, вечное, треть века отец и мать пропускали через себя стадо, меченное пятибалльными отметками, кормленное по рецептам Ушинского и Макаренко, и на склоне лет пришли к выводу о полной несостоятельности всех своих методологий. Сидевшая за партией трусливая овечка становилась почему-то летчиком-испытателем, а пылкие заводили школьных диспутов, грозившие переделать мир, оказывались запойными бухгалтерами. Кроме того, в каждом школьном выпуске находился будущий преступник, и невозможно было проложить какую-либо связь между разбитым на переменке стеклом и убийством. Непредсказуемость отдельных судеб статистика не отражала, зато она выявила поразительную в своем постоянстве цифру — отношение, условно говоря, «плохих» выпускников к «хорошим». Шестьдесят лет существовала, по архивным данным, гороховейская средняя школа № 1, единственная в городе, и одна и та же пропорция — отношение «хорошего» к «плохому» в некоторой педагогической системе измерения — сохранялась из года в год, повторялась от выпуска к выпуску, а это означало, что если бы директором школы был не отец и если бы русскую литературу преподавала не мать, то ровным счетом ничего не изменилось бы. Жизнь прожита впустую! Они ничего не дали людям от себя, потому что какие-то великие и слепые силы, властвующие над школой и учителями, сводили в никчемность, в бессмыслицу все благие порывы заслуженных педагогов. Впрочем, жизни вообще не было. Школьный архив был частью большого, общегородского и районного скопища документов, и пожелтевшие бумаги показали: соотношение между «хорошим» и «плохим» сохранялось и среди тех, кто не был охвачен обязательным средним образованием. Иными словами, что есть школа, что нет ее — беды или радости никакой, в самом человеческом обществе заложена необходимость «плохого» и «хорошего» в некоторой более или менее постоянной пропорции, и бессильны все человеческие институты, добро никогда не восторжествует, и лишние они люди — Николай Александрович Сургеев и Наталья Дмитриевна Сурганова.

Неловко было видеть отца таким — жалким, пришибленным, со слезящимися глазами. Доказать ему, математику, что так было и так будет? Или проще: чем бы ни занимались пассажиры поезда, с какой шустростью ни перебежали бы они из вагона в вагон, на скорости паровоза суета их не отразится.

Он проводил отца. Порывисто обнял его, впервые в жизни. «Передай матери: я люблю ее!» И понуро поплелся к машине. Отъехал от вокзала, чтоб свернуть в переулок и остановиться. Мотор не выключал, механическая жизнь билась в метре от коленок, ощущаемая телом. И слезы подступали — так жалелась мать, старенькая, честная во всех своих заблуждениях и ошибках! Как много в нем от них, отца и матери, и как могло такое случиться: только сейчас понимается, как близки они, словно от одного клубня. Тридцать с чем-то лет рядом — и горечь оттого, что не замечали

друг друга, и все потому, что на государственной службе были родители. Отслужили — и стали праведниками, сейчас в Гороховее кое-кто, наверное, называет их чокнутыми. И сына их в Москве не совсем нормальным признают некоторые москвичи.

Андрей Николаевич выбрался из переуллка, но домой попал не скоро, застряв на Садовом кольце, выслушивая брань торопящихся автолюбителей и профессиональных шоферов. Брань эта утвердила его в правильности задуманного.

Плотно позавтракав, тщательно одевшись, он отправился в Институт пищевой промышленности. Сессия еще не отшумела, вечерники досадовали экзамены, но ни толкучки в коридорах, ни гомона. Фундаментальная доска на лаборатории № 3 оповещала, что посторонним вход воспрещен и что старший здесь — ассистент Панов С. В. Андрей Николаевич вошел без стука, словно к себе, важный, сосредоточенный, неприступный. Сел, поставил на стол кожаный портфель стародавнего покроя, надежное вместилище важнейших бумаг, снабженное металлическими застежками с гербом славного Гейдельберга. (Злоязычный Васьянин утверждал, что чужные блямбы — значки ферейна пивников земли Пфальц.)

Появился наконец Панов — обаятельный, честный, одетый под старшекурсника. На ключ закрыл дверь, выгреб из сейфа журналы, по виду — расходно-приходные, в одном из них нашелся листочек с цифрами. Андрей Николаевич глянул на него, протер очки, еще раз глянул, ничего не сказав. В чистых голубых глазах Панова была мука, он, краснея и бледнея, стал объяснять, почему Андрей Николаевич получил на семьсот рублей меньше, когда пришли деньги за хоздоговорную тему. Работало над нею шесть человек, в том числе и Андрей Николаевич, но поделить деньги пришлось на одиннадцать равных частей.

Почему не на шесть, а на одиннадцать — преотлично знал Андрей Николаевич. Но прикинулся несведущим. Так ему было удобнее.

— Какие одиннадцать?.. Откуда?

— А оттуда. Одного человека мы сразу включили, я сразу предупредил вас о мертвой душе. Не помните? Как вам известно, сорок процентов договорной суммы идет на оплату разработчиков по теме, остальные проценты — командировки, оборудование и прочее. Практика, однако, показывает, что оплатить из этой суммы перемотку сгоревшего трансформатора нет возможности, на составление бумаг уйдет столько времени, что... Поэтому всегда берут лишнюю единицу, подставную фигуру, деньги которой и уходят на перемотку и тому подобное. Итак, уже семь человек.

Андрей Николаевич согласился, кивнув. И еще не раз наклонял голову. В список восьмым попал Голубев, которого лишили половины часов за то, что им поставлена двойка дочери декана. Шумилов, математик и пьяница, все пропил, не на что жить — он стал девятым...

— Жалко мне стало его... — признался Панов. — И всех остальных...

Андрей Николаевич смущенно молчал. Встрепенулся, услышав фамилию парторга.

— Но она же с кафедры философии! И в физике ни черта не...

— Зато — парторг! — укоризненно поправил Панов и недоуменно глянул на Сургеева, такого дремуче-невежественного. — За Анциферовой мы как за каменной стеной. Никто уже не попрекнет нас ни Шумиловым, ни Голубевым... Ни, открою вам секрет, проректором... Которому деньги нужны. Как и Анциферовой, этой дуре, этой суке, этой...

Завалив Анциферову бранными словами, Панов не удержался и по инерции обвинил партию во всех смертных грехах, с удовольствием рассказав Андрею Николаевичу, как позавчера в пивной один поднажравшийся субъект дал великолепное определение. «Это не партия! — настаивал народный философ. — Это портянка: хочу заворачиваю справа налево,

хочу — слева направо!..» Мне лично, добавил Панов, стыдно быть коммунистом. И вообще: какая только шваль туда не лезет, в эту партию!

У Андрея Николаевича едва не сдали нервы...

— Впрочем, я пришел к вам не ревизовать расходы по хозрасчетной теме, — сказал он, щелкнув замочком портфеля, — а просителем. Я намерен вступить в партию и прошу вас написать мне так называемую рекомендацию.

Ошалело воззрившийся на него Панов молчал.

— Вы с ума сошли... — прошептал он наконец и замотал головой, отказываясь верить. — Зачем вам это? — (Андрей Николаевич многозначительно и торжественно молчал.) — Ну да, понимаю, вам пора быть членкором... Понимаю, — с горечью прошептал сокрушенный Панов и поманил необычного просителя к окну. Сказал, что, кажется, вон в том шкафу — микрофон, поэтому лучше продолжить разговор здесь, да еще и включить вентилятор. Однако и принятые меры предосторожности не избавили Андрея Николаевича от ответа на вопрос: зачем ему надо вступать в партию?

— Надо, — твердо заявил он. — Будь вы математиком, я обосновал бы мою просьбу строгим расчетом. Вообще говоря, с теорией катастроф — знакомы? Не каких-то там авиационных, а вообще катастроф. Есть такая наиновейшая математическая теория. Нет? Я так и подумал.

После долгого молчания Панов убито промолвил, что грош цена его рекомендации. Он на волосок от исключения, он уже заблаговременно обвешан выговорами и держится в партии потому, что подкармливает Анциферову. Более того, ему доставляет сладострастное удовольствие включать неподкупного парторга во все незаконные списки.

— Вам не стыдно? — сурово укорил его Андрей Николаевич, взял в руку портфель, намереваясь уходить, и пошел к двери. Панов догнал его в коридоре и здесь дал волю чувствам:

— Послушайте, это же самоубийство — делать то, что вы задумали! Ни один честный человек, ни один настоящий ученый...

— Именно честные люди и настоящие ученые должны вступать в партию! — отрезал Андрей Николаевич, а потом сжалился, приоткрыл тайну: — Что такое гарем — вам, мне кажется, объяснять не надо...

— Естественно, — хмыкнул Панов и пространственно, объемно глянул окрест себя, — проректору тоже не надо объяснять.

— История свидетельствует, что число жен и наложниц в гаремах достигало нескольких тысяч. Теперь представьте себе такое количество женщин в нем, что султан, или кто там, не в состоянии не только переспать с каждой, но и увидеть...

— Ага, — смекнул Панов и задумался. Сказал, что лично к нему падишах присылал двух евнухов с обыском. Достал записную книжку. — Я вам дам телефон Шумилова. Он, во-первых, стойко держится в рядах партии. А во-вторых, математик, он вас поймет... Я тоже начинаю вас понимать. В гареме возможно восстание на сексуально-политической почве. Не исключены и трансформации евнухов в полноценных мужчин... Нет, нет, отсюда звонить нельзя, — остановил он Андрея Николаевича. — Из автомата, так лучше.

Через полчаса Андрей Николаевич, ободренный надеждой, сидел у Шумилина, решив, однако, о партии помалкивать до поры до времени. Консультация по поводу некоторых приложений теории катастроф — этого пока достаточно. Выложил свои расчеты — какова должна быть численность автотранспорта Москвы, чтоб при существующей системе уличного движения жизнь в столице полностью парализовалась. Шумилин понял его с полуслова, сразу загорелся интересом. Карандаш его запрыгал по бумаге, а Сургеев осторожно оглядывался. Однокомнатная квартира, достаточно просторная для холостяка, не обремененного книгами. Здесь же са-

модельные книжные полки подпирали потолок, сужая и придавливая пространство. Никакого организующего начала — ни эстетического, ни библиографического — в расстановке книг не было. Рукописи навалом, томики американской математической энциклопедии — вразнобой, словари и справочники — вразброс. Андрей Николаевич не шевелился и не дышал, напрягал слух, чтоб уловить исходящий от книг шумовой фон. Он услышал струение песка, падающего на гладкую поверхность. Да и может ли быть иное: математика, трущиеся абстракции.

Шумилин между тем продолжал изучать и проверять. В хмыканье его было больше восклицательных знаков, нежели вопросительных. Наконец он удовлетворенно выпрямился на стуле. Мягко упрекнул Андрея Николаевича в недостаточности информации. Тот с достоинством ответил, что именно поэтому применил регрессивный анализ.

— Я вас поздравляю, коллега...

Пользуясь моментом, Андрей Николаевич выдернул из портфеля бутылку водки. Смотрел на Шумилина прямо, жестко, немигающе. Не попросил, а потребовал рекомендацию.

— Об чем речь!.. С превеликим удовольствием! Завсегда к вашим услугам, коллега!

Вышла небольшая заминка: чернила! Да, те самые, обыкновенные, какими писали в школе, окуная в них перьевую ручку. Но именно такими пользовались при написании рекомендаций, о чем Шумилин доверительно сообщил Андрею Николаевичу. Обескураженный Сургеев напомнил о химическом карандаше: если стержень его растворить в воде, то... Но и такого карандаша не нашлось, хотя огрызок его валялся, уверял Шумилин, на столе еще позавчера. Исходя из горького опыта своей холостяцкой жизни, Андрей Николаевич предположил, не в мусорном ли ведре огрызок, и, засучив рукава, полчаса копался в ведре, пока Шумилин тут же, на кухне, пил водку из грязной чашки.

Договорились: как только Шумилин найдет чернила с особыми химико-идеологическими свойствами, он немедленно позвонит Сургееву.

Названивая из разных автоматов, Андрей Николаевич узнал наконец, где сейчас коммунист Игорь Васильевич Дор, и погнал «Волгу» в Институт машиноведения. Вместе они переводили курьезную книгу одного взбалмошного бунтаря и шарлатана, активного борца за мир и профессора Эдинбургского университета, отвергавшего не только классическую механику, но и все традиционные способы изложения, для чего ему уже не хватало греческого алфавита и для чего он ввел знаки из древнееврейской письменности, разбавленные, как казалось Андрею Николаевичу, шумеровавилонскими загогулинами. Соавтора по переводу он нашел в конференц-зале, попал на диспут под видом семинара, шло обсуждение головатяпского доклада, на экране мелькали картинки, полученные несомненно электронным микроскопом, из разных концов конференц-зала лентами серпантина швырялись выражения, изобилующие узорами типа «эффект Джозефсона», «киральная симметрия», «сверхтонкая структура», «асимптотическая свобода», и весь этот декорум сразу не понравился Андрею Николаевичу, убежденному давно уже, что настоящий ученый — не туземец с островов Фиджи и не пристало современному мыслителю таскать на шее бусы, а в носу — кольцо. Громосверкающие словеса летели между тем в докладчика, похожего на медведя; неуклюжий и кудлатый, он тыкал указкой в картинку на экране, уворачиваясь при этом от летящих в него стрел. Игорь Васильевич восседал не за столом президиума, а по-хозяйски расположился в центре зала, особнячком, никого не подпуская к себе, внутри круга, образованного пустыми креслами. В этом институте он возглавлял отдел, давно уже был доктором, оброс титулованными учениками, за что выпестованные им кадры соизидательно трудились над членкорством Игоря

Васильевича, славили научные заслуги коллектива, руководимого им, пустили в обращение и долгожданное словосочетание: школа, школа Дора.

Смело преодолев минное поле из пустых кресел, Андрей Николаевич примостился рядом, спросил, разобрался ли тот с вавилонской шушерой, не типографская опечатка ли. Дор ответил полупшепотом: да, опечатка, значок же, условно именуемый «кутой», в том же начертании приведен в рукописи, он звонил туда, в Эдинбург, так что — полный порядок, седьмая глава переведена? Он сунул Андрею Николаевичу перевод шестой главы для стыкования и восьмой для ознакомления, попросил девятую дать не позднее следующей недели (Сургеев переводил нечетные главы, Дор — четные; Андрею Николаевичу нравилось так вот работать, через чужой язык постигая вечно неизвестную науку, консультируясь попутно с ведущим специалистом). Внимательно читая седьмую главу, Игорь Васильевич не терял контакта с залом и после какой-то запальчивой реплики оборонявшегося докладчика предостерегающе поднял указательный палец левой руки. Тут же кто-то из школы набросился на какую-то формулу, лял умеренно, ему и отвечали без свирепости. Андрей Николаевич всмотрелся в картинку, в формулы на пяти досках, и смутное беспокойство овладело им. Пovyтягивав шею и поерзав, он неуверенно спросил:

— А ты убежден, что...

— Не убежден, — без колебаний ответил Игорь Васильевич, оттопыриванием мизинца бросая в бой более крикливого ученика, яростно вцепившегося в шкуру докладчика-медведя.

— Примеси? — предположил все так же неуверенно Андрей Николаевич.

— Они самые, — подтвердил Игорь Васильевич, переворачивая страницу. — Ровно на порядок больше, на грязном германии и не то получиться может.

Андрей Николаевич никак не мог прийти в себя, тарасил глаза на бессмысленные формулы. Получалось так, будто в загаженной предыдущими опытами колбе смешали два реактива, изучили осадок и по нему пытаются откорректировать теорию химического взаимодействия.

— А почему бы не...

— А зачем? — парировал Игорь Васильевич, дочитав до конца и согласившись с переводом. — Пусть шебуршатся, гомонятся и гоношатся.

— Ну, пусть, — с неохотой согласился Андрей Николаевич. — Пусть. Но — с девицами на пикнике, за столом с выпивкой. А здесь наука.

— Да знаю, что наука. — В бархатном баритоне Игоря Васильевича заскрипела досада. — Да жаль мне людей. Жалость у меня к ним. Я, Андруша, людей стал жалеть на старости лет. Понимаешь?

— Вообще — понимаю. Но применительно к переходным процессам...

— Тогда поясню.

Чтоб пояснениям никто не мешал, Игорь Васильевич ввел в сражение свежие силы — мужика с рогатиной. Потом развернулся к Сургееву:

— Ну, сам посуди, какие из них ученые. Обыкновеннейшие кандидаты наук, то есть прилежные регистраторы явлений. Диссертации — все сплошь дерьмо собачье, защита их — потворство проходимцам и усидчивым дурачкам. И ведь, мерзавцы, все прекрасно понимают, хотя и не признаются, вернее, боятся признаться, их ни в коем случае нельзя наедине с собою оставлять, они до такого додумаются, что... Нет уж, лучше не надо, пусть уж на овощной базе вкальвают, а то, не ровен час, мерзость потечет из них.

Забывшись, Игорь Васильевич почесал висок — и председательствующий ляпнул ни с того ни с сего: «Перерыв!..» Амфитеатром выпученные ряды вмиг опустели.

— С другой стороны, — рассуждал Игорь Васильевич, — их ли вина? Им с детства подбрасывали авансы, сулили, давали обещания и заверения.

Всем в наш стремительный век хочется стремительно жить. Сегодня ты в Дубне, завтра в Брюсселе на симпозиуме, дел всего-то — чуть больше копулятивного органа комара, а движений, перемещений, рева, шума... Но не могу я всех обеспечить симпозиумами. А надо бы. Потому что вместо мерзости из них другое может выдавиться — талант неподконтрольный, дерзость, ум непредвиденный, душа всечеловеческая. А это уже опасно. Наука, как и власть, живет пожиранием строптивцев. Все наши научные споры — не поиски истины, а попытки доказать, что такая-то теория противоречит чему-то или кому-то...

Никогда еще Игорь Васильевич не был таким откровенным. И злость к недоумкам сквозила в его исповедальной речи, и жалость к ним, и смирение перед странными коллизиями бытия. То ли в семье у него творилось что-то неладное, то ли грязный германий подействовал.

Сама судьба послала Андрею Николаевичу понятливого слушателя и рекомендателя. Он четко изложил свою просьбу — рекомендация в партию!

— Что-что? — не понял Игорь Васильевич.

— Считаю, что только нахождение в рядах партии честных ученых может предотвратить гибель советской науки, я решил стать членом партии и прошу вас дать мне рекомендацию!

Игорь Васильевич не вздрогнул и не повернулся к Сургееву. Он продолжал сидеть как ни в чем не бывало, на него не глядя, показывая свой профиль, который вдруг стал хищным: нос выгнулся клювом орла, а подбородок вытянулся.

— Не дам! — отрезал Дор, не меняя позы.

— Но почему?

Не поворачивая головы, Дор левым глазом глянул на Андрея Николаевича — остро, насмешливо, вызывающе и дерзко, и при последующем разговоре, когда Дор смотрел на какую-то точку прямо перед собою, Андрей Николаевич продолжал ощущать на себе этот полный издевки и понижения взгляд; выражение левого глаза как бы приклеилось к столу, к трибуне, к потолку, и Андрей Николаевич зябко поводит плечами.

Совершенно сбитый с толку, он спросил, можно ли курить.

— Можно. Кури. Разрешаю. Если приспичит по малой нужде, то милости прошу к трибуне, там помочись. Но рекомендации — не дам!

Свернув для пепла козью ножку из разового пропуска в институт, Андрей Николаевич огоршенно подбирал в уме слова, которые могли бы убедить соавтора по переводу в его искренности.

— Не знаю, как тебе объяснить...

— Объяснять ничего не надо. Принеси из КГБ справку, что ты не агент ЦРУ. Тогда и напишу.

— А что такое ЦРУ?

— Хорошо законспирировался, собака, — ответил Дор тоном, который соответствовал театральной ремарке «в сторону». — Может, ты еще скажешь, что не слышал ничего об Ю-эс-эй?

Поняв, что слова бессильны и решения своего Дор не отменит, Андрей Николаевич церемонно простился, и когда шел к выходу, левый глаз Дора преследовал его и отстал только на институтском дворике. Андрей Николаевич вздохнул с облегчением. Девятую главу решил отослать по почте: он не намерен участвовать в дурацких розыгрышах!

Неожиданное препятствие: пропуск! Скрученный в конус, он валялся в урне, и бдительный вахтер вызвал Дора. Игорь Васильевич избавил Сургеева от очередной неприятности, проводил до машины и здесь, на улице, прояснил свою позицию:

— От тебя за версту, Андрей, пахнет неприятием социалистических ценностей, меня ты не обманешь, поэтому скажи как на духу — зачем тебе вступать в партию?

Тяготясь разговором, не теряя бдительности, напуганный непонятным ему словечком «цэрэу», Андрей Николаевич соврал:

— Я хочу, чтобы в стране появилось много хорошей колбасы и чтобы за нею не стояли в очереди. Чтоб люди досыта ели.

Кадык Дора задвигался, пропихивая несъедобную информацию.

— Ты террорист! — убежденно заключил Дор. — Ты посягаешь на святая святых — на голодный желудок. Социалистический идеал родился в мозгах полуголодных, и культивировать его можно только в миллионах недоедающих, поддерживать же — несправедливым распределением продуктов. Ты не любишь людей, Андрей, ты хочешь лишить их цели жизни, смысла существования, и кончишь ты плохо, костлявая рука голода тянется уже к твоему горлу. Твою террористическую деятельность разоблачат, ты понесешь справедливое наказание, но меня-то — зачем подставляешь?

Теперь Андрей Николаевич был полностью убежден в том, что Дор находится в плену фантазмагорий. Как, впрочем, и все участники диспута. В зале он слушал споры о природе округлых пятен среди черных диагональных полос на экране и, слушая, ушам своим не верил. Обычный дефект оптики, описанный еще в конце прошлого века, а взрослые люди морочат друг другу головы!

Еще несколько дней носился по Москве Андрей Николаевич, но никто, похоже, не понимал его. Задавали вопросы, ставящие его в тупик. В какую парторганизацию будет он подавать заявление? По месту жительства? Может быть, лучше сперва устроиться на работу? Занял ли он очередь в райкоме? Ведь преимущественным правом пользуются работники физического труда, только им открыты двери в партию.

Тьма проблем встала перед ним. По вечерам он пришибленно сидел на кухне. В каморке — гробовое молчание. Мировой Дух размышлял, ища аналогии. Андрей Николаевич же листал старые записные книжки, искал отзвучившего партийца с математическим уклоном. И в полном отчаянии решился на безумный шаг: прибыл к Шишлину на домашний праздник в кругу родных, близких, сотоварищей и земляков, отмечалась новая должность: заместитель министра.

Иван Васильевич обнял его, сказал, что внимательнейше следит за успехами ученого земляка и друга. Прослезился даже. Рекомендацию в партию? Да пожалуйста! Сейчас не время, а завтра приходи, в министерство, все будет готово к приходу. А теперь — прошу к столу, собрались все свои, и наша общая любимица Галина Леонидовна тоже здесь, пришла с мужем, почтила всех своим присутствием.

Пили, ели, веселились. Подсела Галина Леонидовна, шепнула, что написанное им предисловие имеет громадный успех в Институте высшей нервной деятельности, где она, кстати, работает. «Да, да...» — рассеянно отвечал Андрей Николаевич, стыдясь того, что живет на деньги замужней женщины.

Гороховейцы же вспоминали родной городишко, говорили о времени, коварном и неотвратимом: такой-то умер, такая-то уже бабушкой стала. Пошла речь и о должностях, и недавно побывавший в Индии гороховец заявил авторитетно, что факиры и йоги живут по сто и более лет потому, что при созерцании пупа отключают себя от текущего астрономического времени. Вот так-то. Все просто, дорогие товарищи.

Разомлевший от славословий и подарков Шишлин возразил не менее авторитетно:

— Да чепуха это... И в Индии я был. И не раз. Меня в Бомбее водили в их НИИ по йогологии. Ничего особенного. И мрут они оптимально. Как все мы. И не в пуп они смотрят, а в себя как бы.

— А у тебя есть пуп? — живо спросила Галина Леонидовна, бросив на всех смотревших и слушающих призывающий взгляд, вовлекая всех в интригующую игру.

— Что за вопрос?.. Конечно...

Он поднялся со стула и пальцем ткнул в середину живота. Все смотрели и молчали, словно сомневались в том, есть ли пуп у Ивана Васильевича Шишлина.

— Покажи!.. — приказала Галина Леонидовна и жестом обозначила приспущенные брюки и выдернутую из-под пояса рубашку. Глаза Шишлина забегали. В надежде обратить все в шутку он улыбнулся. Никто, однако, не поддержал его, и был он не в стенах своего кабинета, который всегда утяжелял его и возвышал. Тогда Шишлин как-то воровато усмехнулся, расстегнул пиджак, рубашку, поднял майку, обнажил живот. Галина Леонидовна приблизилась, руки ее воспроизвели движение брассиста, рассекающего воду, руки как бы оголили окологупную область тела, что дало ей возможность быстро и пристально глянуть туда, где находился по общепринятому мнению пуп.

Она резко выпрямилась и обвела всех взглядом опытного диагноста, обнаружившего симптом невероятной, редкой болезни, невысказанной для данных средних широт, порчу едва ли не тропического происхождения. Некоторую толику торжества во взгляде можно было объяснить как верой во всесилье медицины, вооруженной средствами науки, так и тщеславием врача, нашедшего то, мимо чего прошли тысячи коллег. Она протянула руку — и в руку вложили лупу. Вновь наклонилась, с помощью оптики исследуя живот. После томительных минут изучения Галина Леонидовна дала знак Шишлину, чтоб тот прикрыл наготу и застегнулся, и скорбно отошла к столу. Налила, выпила, поболтала ищуще вилок, но так и не воткнула ее ни во что. Глянула на всех и пожала плечами, демонстрируя теперь полную обреченность человека перед злыми силами природы.

— Ну? — с испугом спросил Шишлин. Он так и стоял, выставив белый живот, руками придерживая сползавшую майку.

— Что — ну?.. А ничего, — игриво и загадочно ответила Галина Леонидовна, и улыбка всеведения тронула ее узкие, тонкие, некрашенные губы.

— А все же?..

— А то же... Пупа-то — нет.

— Как — нет? — Шишлин опустил голову, посмотрел на живот, пальцем потрогал коричневую впадинку. — Есть пуп!

— Пупа — нет, — убежденно опровергла его Галина Леонидовна. — То, на что ты показываешь, вовсе не пуп. Это бородавка, ушедшая в складки жира и мяса.

— Да не может этого быть! — чуть ли не плачуще воскликнул Шишлин. — Раз я родился, то, значит, существует место соединения пуповины с телом!

— Нет пупа! — обозлилась Галина Леонидовна. — Его и не могло быть! Потому что никто тебя на Земле не рожал. Там тебя родили, — к потолку подняла она вилок. — На небе. В другой цивилизации.

— И как же я сюда попал?

Наконец-то она выбрала достойное ее блюдо, прицелилась вилок в ломтик балыка, коснулась его, но тут же разжала пальцы, словно в балыке был электрический заряд, ударивший ее.

— В запломбированной ракете!

Иван Васильевич Шишлин, обвиненный в инопланетянстве, продолжал оторопело стоять в позе новобранца, срамные части которого рассматриваются призывной комиссией. И долго бы еще стоял, оглушенный и пораженный, если б не нарушил тревожное молчание сильно податый субъект, спросивший Галину Леонидовну, где она может продемонстриро-

вать наличие пупа у себя, на что та ответила коротко: «Завтра. Бассейн на Кропоткинской. Приходи с телескопом!»

Сказала — и одарила Андрея Николаевича долгим взглядом, таким, чтоб всем — и мужу ее тоже — стало понятно: об отсутствии пупа у Шишлина они, то есть она, Галина Леонидовна, и он, Андрей Николаевич, беседовали не раз, причем в обстановке, когда их пупы соприкасались. К этому трюку прибегала она не раз, из-за чего молва приписывала Сургееву развал всех браков непорочно-чистой Г. Л. Костандик.

Андрей Николаевич улучил момент и покинул праздник в сильном недоумении. Только в такси перевел дух. Твердо решил: за рекомендацией к Шишлину — не ходить! С этим пупом что-то не то. Иван родился в Починках от русской женщины и русского мужчины — тут уж сомнений нет. С другой стороны — живет он и думает по логике, которая царствует в мирах от Земли далеких, и в очередной провокации Галины Леонидовны есть смысл. Но какой? Может быть, сам он, Андрей Николаевич Сургеев, из какой-то другой цивилизации?

Несколько дней еще носился он по Москве, скрывая подавленность. Заготовленные Галиной Леонидовной борщи, бульоны и котлеты давно уже переварились его желудком, деньгами ее он стал брезговать, холодильник опустел, не радовал глаз палками копченой колбасы, и Андрей Николаевич калории принимал в кафе неподалеку от дома. Однажды сел за свой столик, глянул — а напротив сидит Аркадий Кальцатый, уплетает суп по-деревенски. Андрей Николаевич радостно поразился — надо ж, такое совпадение! Да и Кальцатый был приятно удивлен.

— Лопушок... — произнес он мечтательно и утер салфеткой пухлые красные губы. Барственно поманил официантку и заказал бутылочку «покрепче». Выпил рюмку и пригорюнился. Сказал, что завидует старому другу: это ведь очень милое прозвище — Лопушок. У него ж с детства такое — Бычок. Хорошо еще, что не Чинарик, не Окурочок. Мама уборщицей в райкомхозе работала, там и родила его после скандала с управляющим и чуть дуба не врезала при родах, и лежал он, младенец, носом уткнувшись в пепельницу. Так и пошло: Бычок! И сколько потом ни переезжал, сколько его ни перекидывали с места на место, всюду само собой возникало прозвище это. Обидно! А природа не обидела статью, внешне уж никак не похож на изжеванного и недоупотребленного...

Глянув повнимательнее на старого друга, Андрей Николаевич пожалел бездомного странника. Как ни добротен одет был Аркадий Кальцатый, а в карманах его, наверное, помазок да бритвенный прибор, вся его, так сказать, домашняя утварь, весь жизненный багаж.

— А вообще, какие проблемы? — поинтересовался наконец Кальцатый, и Андрей Николаевич пожал в ответ плечами: какие еще проблемы, нет проблем. Жаловаться он не любил, да и кому жаловаться-то.

Пожаловался Кальцатый. Вот у меня, сказал он, проблема! В партию надо вступить. А рекомендацию никто не дает. Как Лопушок на это смотрит — даст рекомендацию?

Отказ погрузил Кальцатого в философские, прямо сказать, рассуждения. Все хотят быть в первых рядах, так, во всяком случае, пишут, но на партию и народ атака идет сзади, с тылу! И никто не хочет признаться и сказать честно: хочу быть в задних рядах! Не в авангарде, а в арьергарде.

Мысли этой нельзя было отказать в новизне, и Андрей Николаевич внес коррективы в свою теорию. Затем он услышал приглашение Кальцатого — навестить двух математиков женского пола, одну зовут Эпсилонкой, длинная такая, худая, но ужас как страстная, другая — Лямбда, полная, статная, суцая очаровашка. Дамы эти дадут любые рекомендации. И в партию, и куда угодно. Так не завалиться ли к ним, а?

Здраво помыслив, Андрей Николаевич отклонил приглашение. Странными показались ему имена математичек. Нет, это скорее физички.

— Жаль, — слегка обиделся Кальцатый. — А то бы составил компанию. Рекомендация в наше время многое значит. Если тебе вдруг понадобится, звони мне.

— А где ты сейчас работаешь?

— Все там же, — улыбнулся Аркадий Кальцатый. — В ВОИРе.

Он расплатился, встал, сильные пальцы его вцепились в плечо Андрея Николаевича.

— Хороший ты человек, Лопушок.

Андрей Николаевич Сургеев был изловлен Срутником у входа в здание Московского городского комитета КПСС, запихнут в машину и увезен на дачу. Промедли Тимофей Гаврилович, опоздай на минуту-другую — и охрана зацапала бы растрепанного гражданина, пристававшего к прохожим с вопросом о том, сколько коммунистов насчитывает парторганизация Ямало-Ненецкого национального округа. Васьянин не один день целенаправленно искал друга, он уже изъял из редакции «Комсомолки» пыльную статью доктора технических наук А. Н. Сургеева под названием «Все в ряды партии!». Домоуправление охотно вернуло Васьянину наглое прошение того же Сургеева, ополоумевший доктор доказывал, что должен быть принят в ряды КПСС, минуя кандидатский стаж.

Это-то прошение и дал Тимофей Гаврилович супруге почитать, после чего участь Андрея Николаевича была решена. Он принял душ и подставил задницу, куда Елена Васьянина воткнула шприц. Беспокойный сон перешел в отдохновение, длившееся двое суток. Андрей Николаевич набросился на еду, виновато отводя взор от Елены, испытывая чувства цыпленка, попавшего в негу мягкого подбрюшья курицы. Елена Васьянина оставалась для него все при той же худобе, с тем же запахом платья, что и много лет назад в доме на Котельнической. От нее по-прежнему исходило ощущение мира и вечности, и где бы она ни была, слышался таинственный рокот прибоя и плеск волны. Уже не один год вели они безобидные игры: раз в месяц обменивались книгами, которые ими не читались, но о которых они при встречах долго говорили. Наверное, Андрей Николаевич все дни, что бегал по столице в поисках рекомендаций, держал в памяти Елену Васьянину, потому что в кармане пиджака носил Гамсуна, которого читать не собирался, но поговорить о нем хотел.

На даче было покойно. Москва, когда вспоминал о ней, раздражала кричащими со всех домов лозунгами, призывами и клятвами. И везде «Слава...». Галина Леонидовна тоже засоряла его квартиру назойливыми шпильками и расческами. И Кальцатого надо забыть. Тимофей правильно заметил: такие люди — как микрофлора кишечника, то есть вроде бы грязь, бактерии, но без них государственное пищеварение не обработает продукты питания.

Минула неделя, и Васьянины приперли старого друга к стенке, напрямую спросили, какого черта тот захотел податься в партию. Ему ведь в ней — что мужику в дамском сортире. Андрей Николаевич повздыхал обреченно.

— Теория катастроф, — вяло объяснил он, — новая математическая дисциплина. Суть ее сводится, грубо говоря, к определению того количества и момента, когда два, три или четыре камня превращаются в «кучу». Любой процесс в своем развитии подходит к некой критической точке, после которой начинается возвратное движение, переход в противоположное качество, в край и развал. Если приложить теорию катастроф ко все возрастающей численности правящей партии, единственной причем, то окажется: при достижении некоторой величины партия начнет разваливаться...

Пронизанная и прогретая солнцем веранда, буйство трав, щебет пташек, воскресное утро...

— В руководстве партии математиков нет, однако оно интуитивно чувствует надвигающуюся катастрофу, но как с ней бороться, пока не знает и под надуманными предложениями ограничивает дальнейший рост. Как бык чует нож в руке мясника, так и партия начинает трястись от количества людей, стремящихся в нее попасть. Почему-то заставляют писать рекомендации обязательно фиолетовыми химическими чернилами. — (Васькянины переглянулись.) — Много лет назад было проще, террором уполовинили разбухшую организацию, разные там чистки... По моим расчетам, с Москвы начнется разложение, для этого достаточно увеличить областную и столичную организацию на сто пятнадцать тысяч человек.

Андрей Николаевич отправил в рот кружочек краковской колбасы, настоящей, а не ярославского производства.

— За точность расчетов ручаться не могу, истинные цифры засекречены, партия, мне кажется, все еще чувствует себя в подполье...

— Ну, так в каком же году партия развалится? — с болезненной улыбкой спросил Тимофей Гаврилович. И после ответа пригорюнился: — Дожить-то доживем, но, чую...

Супруги Васькянины уехали в Москву, подыскивать работу своему подопечному. Андрей Николаевич копался в огороде, часами лежал под березами и смотрел в небо. Поднимался, заходил в комнату Елены и сидел перед пишущей машинкой, не притрагиваясь к ней. Слушал что-то генделевское, исходящее от книг, принадлежащих когда-то отцу Елены, известному травнику. Зато людской мат и ор стоял в кабинете Срутника. Нет, не Мировой Дух нашел здесь пристанище, и не на привал расположился он. Какая-то хулиганствующая толпа, посвистывая и улюлюкая, перла мимо Андрея Николаевича, двигаясь по кругу — от этажерки у письменного стола к шкафу, от шкафа к полкам вдоль стены, падала потом у двери и дружно забиралась на другую стену, чтоб сигануть с нее на этажерку и возобновить круговой ход с хоругвями, плакатами и знаменами. Кое-кого в толпе он узнавал — из тех, кто дома у него безмолвствовал в комнате с ходовыми книгами, — и приходилось думать об «эффекте толпы».

Он разочаровался в Срутнике, дурное влияние этих книг отразилось даже на честном и умном Тимофее. И о себе он думал. О том, что жизнь его не привязана к текущему времени. Она болтается на разрыве эпох.

Наконец вернулись Васькянины, принесли радостную весть: работа найдена! И куплено все то, что надо мужчине, вступающему в новую жизнь. «Волга» его подогнана к даче и заправлена бензином.

Андрей Николаевич прошел через контрольные вопросы о картошке и комбайне, отвечал честно и четко: не знаю, не помню...

Умывшись, переодевшись во все новое, Андрей Николаевич сел за руль и смело покотил в столицу.

8

Родители умерли, один за другим; отца еще не похоронили, еще только ссезжались ко гробу выученные им гороховейские мужчины и женщины, как мать, хлопотававшая больше всех, схватилась внезапно за сердце и отошла. Так и понесли два гроба. Поминки были шумными. Галина Леонидовна, вся в черном, обнаружила большое знание всех погребальных и поминальных обрядов, командовала рассудительно, ей подчинялся даже ее одноклассник, ныне артиллерийский генерал. Шишлин прибыть не смог, но отозвался на трагическое событие обширной телеграммой, принес ее начальник гороховейской почты. Васькянин приехал, с Еленой, на них смотрели с подозрением, как на самозванцев, пока не всхлипнула Галина Леонидовна: «Николай Александрович так любил их, так любил...»

О том, что родители вскоре умрут, возможно и в одночасье, Андрей Николаевич знал за месяц до похорон. Отец приехал к нему внезапно, без картошки и сала, ноги погнали старика к сыну, Андрею Николаевичу показалось даже, что отец пешком притопапал в столицу из гороховейского далека: таким усталым выглядел, изнуренным после дороги, озябшим на семя ветрах странствий. С жадным и мечтательным всхлипом влил в себя водку. Как все ходоки в Москву, пришел он за справедливостью, и пришел к сыну, и Андрей Николаевич не мог ему дать ничего, кроме крова и пищи. Статистика продолжала добывать педагогов и, кажется, повергла их наземь, потому что обнаружилась трагическая ошибка в вычислениях. Шишлин, всегда «хороший», при тщательном рассмотрении оказался в разряде «плохих», и жизнь педагогов из просто никчемной превратилась во вредоносную. В архиве Николай Александрович докопался до картошки, а потом уж и до всей пашни района. И с ужасом убедился, что такого злодея, как Ваня Шишлин, земля еще не видывала, а ведь золотую-то медаль выклянчил ему сам директор школы. Починковский колхоз душой был бы рад поклониться в ноги сыну председателю за все благодеяния его, да получалось так, что лучше бы благодеяний этих не было. Колхоз, чего нельзя отнять у Вани, на ноги встал, но встал для того, чтоб оглянуться, осмотреться, найти местечко посуше да завалиться у бочки с самогоном. И весь район страдал от шишлинского хозяйствования. Комбайны, трактора, косилки да сажалки, подборщики и культиваторы, самоходные и прицепные машины и орудия, Ванею в колхозы отправляемые, откровенной недоделанностью звали механизаторов поскорее угробить их и заказать новые, урожаи неуклонно падали, и если какой-нибудь председатель восставал, то его тычками и окриками либо дурнем выставляли, виновником всех бед, либо проворно через бюро проворачивали изгнание из славных рядов, заменяя строптивца покладистым умником. С другой стороны, не заморский же дядя, а своя кровь, радел и старался, сам в Починках комбайн отремонтировал, всю страну поднял, но какую-то цапфу достал, аж самолетом, из Куйбышева, подтащили ее.

Жалобы и стенания не умолкали, отец не плакал, но так страдал, что Андрею Николаевичу стало самому плохо. Пока отец спал, сбегал утром в магазин, купил ему костюм, матери туфли, и отец ушел, отправился туда, поближе к гороховейскому кладбищу. Вскрыли завещание: дом и все имущество — сыну. Кому достанется земля, то есть несколько соток огорода, неизвестно, скорее всего — будущему владельцу дома, через полгода, но Андрей Николаевич представил себе хождение по гороховейским присутственным местам и услышал то, что принимали уши его всегда в редкие посещения им учреждений под красным флагом: визг тормозов. И написал дарственную: все — детдому. Картошку уже окучили соседи, он подровнял кое-где, постоял с лопатой в огороде, вновь с удивлением обнаружив в себе любовь к тому, что принято называть землей.

Уже перед отъездом из Гороховая насмерть перепуганный почтмейстер преподнес сюрприз: две телеграммы, одна из Балтимора, другая из Сан-Франциско. Братья Мустыгины начали, наверное, обирать Америку — с Атлантического и Тихоокеанского побережий, двигаясь навстречу и чем-то напоминая автобусных контролеров; обе телеграммы выражали глубокое соболезнование, причем абсолютно одинаковыми словами.

В Москве он хотел было высадить Галину Леонидовну у метро, но та бурно запротестовала: «Тебя нельзя оставлять одного!» — и вперлась вслед за ним в квартиру. Андрей Николаевич со страхом ожидал возмущения Мирowego Духа, но, кажется, корифей сделал перерыв в работе постоянно действующего семинара и вежливым молчанием встретили появление старой знакомой. Всю неделю, что жила под их боком женщина, они прислушивались, несомненно, к тому, что происходит за тремя стенами, дружескими подначками встречали по утрам Андрея Николаевича и хихикали,

когда на кухню влетала взъерошенная, полуодетая и неопрятная Галина Леонидовна. Притворство ее по ночам забавляло Андрея Николаевича. Он подумал как-то, что она, пожалуй, смогла бы озвучить не один сексуальный фильм.

Выпроводив наконец из квартиры имитаторшу, он сменил замки на дверях, поскольку ключи побывали в руках Галины Леонидовны, затем с лупой и самодельным индикатором обследовал квартиру, находя намеренно забытые женские причиндалы в самых неожиданных местах. Звери, маркируя принадлежащую им территорию, на границах ее оставляют пахучие или видимые следы своего недавнего присутствия. Точно так же Галина Леонидовна в укромных уголках квартиры понатыкала каких-то булавок, подложила пуговицы, ссохшиеся и свернутые в трубочку тюбики изпод мазей и красителей, заколки, обломанные расчески, то есть явно относящиеся к женщине предметы, которые спровоцировали бы на скандал другую женщину, появившись та у Андрея Николаевича.

Книги наступали на него, стеллажи и полки закрыли стены в прихожей, сузив ее. Временами он сожалел о том, что расстался с гороховейским домом: там бы уместилось книг в три раза больше, да и сожителей своих, запертых в полулегальной комнате, пора бы переместить в просторное помещение. Великомученики намекали хозяину квартиры, что отдельная камера — не их удел, они и при жизни тяготились замкнутостью тех структур, в которых обитали. А поскольку Андрей Николаевич не отвечал, узники ссорились между собою, перепалка достигла такого звучания, что докатилась до Галины Леонидовны, — только этим мог Андрей Николаевич объяснить появление у себя посланца могущественной организации. Артиллерийский генерал, нагрянувший на похороны и поминки, был, наверное, атакован ею, пленен — из-за четких ассоциаций, связавших генерала с длинным и раскаленным докрасна орудийным стволом. Генерал, впрочем, ни словом не обмолвился о роли, возложенной на него сексуальными притязаниями землячки. Деловито, сухо, понижая голос так, будто к звукам его прислушивались за стенами, он заявил, что доктора технических наук Сургеева хочет видеть сам Дмитрий Федорович. Андрей Николаевич согласился прибыть к упомянутому Дмитрию Федоровичу, времени на консультацию с Васьякиным генерал не отвел, тут же повез, по пути рассуждая о поэзии, ввел его в кабинет, где все люди, хозяин кабинета тоже, были в военной униформе, и от всего разговора с Дмитрием Федоровичем осталось в памяти поскрипывание ремней и шарканье сапог. Все ждавшие Андрея Николаевича носили ведомственно-отраслевые знаки отличия, на погонах главного собеседника был астральный знак, звезда, размер которой явно превышал те же символы вечности и устремленности, кои красовались на свидетелях беседы. Андрей Николаевич представил себе хохот в келье мыслителей, гомерические раскаты его сводились к уничтожающему и едкому — пожинай плоды, недотепа, всю жизнь звал себя к звездам и достиг их! Не сводя глаз с пентаграммы на погонах, он покорно слушал Дмитрия Федоровича, поражаясь примитивизму того, что хотели поручить ему. Какая-то резервная инерциальная система — господи, да неужто у них ее нет!.. Оказалось — есть, но вдруг в мире — после обмена атомно-водородными взрывами — случится такое, что все ныне известные законы физики отменяются? Так не возглавит ли многоуважаемый Андрей Николаевич группу исследователей, срок — полгода, вознаграждение — по максимуму. «Видите ли...» — задумчиво промолвил Андрей Николаевич, изучив список группы. И вновь был неправильно понят. Что-то скрипнуло, шаркнуло, блеснуло — и отделившийся от стены человек в униформе предостерег: в группе, которую возглавит Сургеев, три членкора и два действительных члена академии наук, сам же приглашаемый на роль руководителя группы... Дмитрий Федорович, похоже, уже осведомлен был о нарушении субординации. Поднял телефонную трубку, узнал, когда состоится общее собрание в академии и

выдвинута ли кандидатура Андрея Николаевича. Затем приказал кому-то «поприсутствовать и обеспечить», после чего Андрей Николаевич был выпровожен и только через пять месяцев удостоен следующей встречи, когда резервная система была создана. Деньги уже он получил и пришел сюда потому, что узнал о предстоящем награждении его орденом, высшим знаком отличия за особые заслуги, причем прерогатива награждения принадлежала главе государства. Заготовлены уже бумаги, близится подписание, но Андрей Николаевич не желал отвлекать главу государства от более важных дел. Он попросил Дмитрия Федоровича о сущем пустяке: нельзя ли орден заменить сорока метрами жилой площади. Носящий астральные знаки мужчина уставился на него так, будто тот попросил на субботу атомную субмарину, порыбачить на ней, ту самую, ради безопасности которой и создавалась резервная система. Вновь скрипнуло-шаркнуло, звякнуло-блеснуло. Рука потянулась к телефону, приказано было «предоставить и проконтролировать».

Мебель из квартиры он вывез средь бела дня. А ночью Мировой Дух был заколочен в саркофаг с рюмками и зонтиками по бокам его. Сгибаясь под тяжестью прозорливцев, Андрей Николаевич на себе вынес драгоценную и хрупкую посуду и вложил его в багажник машины, крышка едва закрылась. По карманам он разложил денежные купюры, к обычной мзде в пятнадцать рублей прибавив такую же сумму во благо ГАИ. Сокровище повез продуманным маршрутом, по кольцевой дороге, с меньшей вероятностью аварий. Машину вел осторожно. И тем не менее был изловлен и едва не застрелен.

Гаишник, остановивший его и приказавший съехать на обочину, был обыкновенным крохобором, претендующим на десять рублей, не более. Андрей Николаевич, набивший глаз на таких служителей, послушно исполнил приказ и быстренько перетасовал купюры, красный червонец переместился в верхний карман и отлеживал в нем последние минуты. Помахивая жезлом, гаишник неторопливо приближался. В знак полного смирения Андрей Николаевич приоткрыл дверцу. И вдруг заметил в зеркальце, как гаишник напряжился весь и, замерев на месте, потянулся к оружию. «Господи, пронеси!» — в панике подумал Андрей Николаевич, переводя взгляд с одного зеркальца на другое, потому что милиционер возобновил движение, направляясь, впрочем, не к нему, а к багажнику; многоопытный служака учуял нечто смертоносное, взрывоопасное, с большим радиусом поражающего действия; пробирки с бактериями чумы, компактная атомная бомба, террариум передвижного зверинца — да что угодно могло быть в багажнике этой сверхподозрительной машины!

Обходя «Волгу» как-то боком, чтоб не виден был извлеченный и готовый к бою пистолет, гаишник рывкнул вдруг: «Открой багажник!» Застигнутый врасплох, чрезвычайно напуганный, Андрей Николаевич протянул ему ключ, отказываясь выходить, и тогда гаишник, отскочив на два шага назад, с еще большей ненавистью заорал: «А ну отсюда — гони!»

Лишь в переулке перед домом Андрей Николаевич опомнился, пощупал пульс. Пот заливал глаза, сердце бешено колотилось.

Мировой Дух, доставленный к месту назначения, испытывал, наверное, то же самое. Андрей Николаевич вскрыл ящик, расставил путешественников по полкам, недалеко от ходовых книг. Ропот недоумения сменился вздохом облегчения, а затем наступило многомесячное молчание. Мировой Дух обживался, прислушивался к тому, что происходит на соседних полках, разбирался, кто там, какие пласты минувшего покоятся в переплетах и что случилось после того, как последний из оракулов сомкнул уста.

Невероятная удача выпала Андрею Николаевичу: поселили его в засекреченном доме, и Мосгорсправка отвечала незнанием, когда рядовые граждане интересовались, где проживает член-корреспондент Академии наук Сургеев А. Н., такого-то года рождения, уроженец таких-то мест, ра-

ботающий предположительно там-то и там-то. И телефона его тоже никому не давали. Тишина честно заработанной квартиры отнюдь не угнетала Андрея Николаевича, телевизор, естественно, работал у него приглушенно.

Из предосторожности нужные разговоры вел он из уличных кабин. Раз в месяц регулярно, как находящийся под наблюдением больной, являлся к Елене Васьяниной и засыпал в кресле, перед письменным столом Срутника, который, приходя с работы, будил его и задавал обычные вопросы — о роли партии в жизни общества, о картошке, о многом другом, и Андрей Николаевич воспитанно отвечал, что роль — авангардная, картофелем полны совхозные закрома, то есть областные овощехранилища, что Галина Леонидовна — адское исчадие, к которому следует относиться с христианским терпением, что от проходимцев, называющих себя братьями Мустыгиными, следует держаться подальше, что наука требует не анархически свободного и беспорядочного полета мысли, а строгого следования тому, что предписано.

Обе книжные комнаты шумели и безмолвствовали по-своему, Мировой Дух был несколько ошарашен гомоном простолюдинов и мужицким покровом их мыслей. Поддался общему настроению и Андрей Николаевич. Во вздорном порядке выкладывал он слова и буквы на чистый лист бумаги, и неправильные, выпадающие из привычного словозвукоряда сочетания признавал годными. Были написаны статьи, прочитанные во многих городах мира, однажды он оказией получил приглашение на конгресс в Лион и вознамерился поехать туда. В этом городе, во-первых, был канидром, собачий ипподром, так сказать, и ему хотелось воочию убедиться в той модели научных притязаний, которая, как он высчитал, господствовала повсюду; гонка сытых псов, роняющих слюну, за электрическим зайцем сама просилась в образ дня текущего. А во-вторых, визиты в редакции московских журналов убедили его в склонности их уважать того, кто вызывающе подчеркивал свою связь с заграницей. Сигареты «Филип Моррис» значительно убыстряли движение рукописи по кругам издательского ада; «вольво», поставленная под окнами редакторского кабинета, сокращала переговоры. По догадкам Андрея Николаевича, входящий в моду кожаный пиджак открыл бы перед ним двери издательства «Наука», и в Лионе, узнал он, таковой (аргентинского производства) стоит всего 400 франков.

Васьянины помогли ему составить заявление о выезде на конгресс, но на него он так и не попал. Отказ пришел уже после того, как ученые, его пригласившие, разъехались, покинув Лион. Андрей Николаевич потребовал объяснений — и получил их. Долго потом недоумевал: атомный подводный флот ему доверили, а собачьи бега — нет.

9

Однажды — весною — возвращался он от Елены Васьяниной и на семнадцатом километре шоссе далеко впереди себя увидел черную «Волгу» на обочине и шофера ее с приподнятой рукой. Машину свою Андрей Николаевич так и оставил перекрашенной в лаково-антрацитовый цвет. Видимо, именно этим объяснялся выбор шофера: ни красные «Жигули», ни зеленые «Москвичи» не удостоились просьбы о помощи. Неспешно подойдя к машине, шофер сказал, что полетел, кажется, кардан, пассажиры его спешат, не подвезет ли он их до Москвы.

Андрей Николаевич согласился. В просьбе ничего странного не было. Правда, часто просят помочь, изредка — консультируются. Но бывают и люди, не подпускающие к своей машине посторонних. Так, наверное, музыканты высокого класса никому не позволяют играть на своем инструменте.

Пассажиры, мужчины лет сорока, одетые уныло одинаково, покинули поломанную «Волгу» и устроились на заднем сиденье, не проронив ни

слова. Либо устали они, либо не хотели посвящать чужого шофера в свои дела.

Так бы и промолчали всю дорогу, да на мосту у Лианозова случилась какая-то авария, движение замерло. Мужчины поерзали, покрутили головами. Успокоились. Потом Андрей Николаевич услышал:

— Что делать-то будем... с ним?

Ответ был получен не скоро:

— Приказано убрать.

— Может... что другое?

— Нет. Дурак, язык распустил, бабу завел — сам знаешь, это нарушение.

— А Георгий Валентинович?.. Вроде — его человек.

Сжавшийся было Андрей Николаевич облегченно выдохнул. Ему показалось сначала, что речь идет о нем. Уже третий месяц он крутил роман с преподавательницей Института имени Мориса Тореза.

— Был. Уже нет.

— Значит...

— Убрать. Но без шума.

— А если...

— Меры примем.

Желая показать двум бандитам, что разговор не подслушан, Андрей Николаевич не сразу отозвался на просьбу довести до дома такого-то на улице такой-то. Глуховат, мол, не взыщите. Осадил машину у названного притона. Пассажиры вышли не поблагодарив. Андрей Николаевич скосил глаза на заднее сиденье. Нет, денежную купюру тоже не оставили. Как назло, самые дальнобойные очки забыты на кухне. Удалось прочесть на доме: «Районный комитет...» Далее — неразборчиво. Андрей Николаевич стремительно отъехал. Ощущение было такое, будто мимо виска просвистела пуля. Напрасно он уверял себя, что подслушанный им разговор — о каком-то прогоровшем партийном функционере, уличенном в пьянстве и аморальных поступках: бедолагу переместят из одного кабинета в другой или, на худой конец, снимут. Напрасно уверял и успокаивал себя — ибо в душу уже вселилась тревога.

Мастерским виражом он оторвался от невидимой погони и задумался. У кого спросить, кто такой Георгий Валентинович?

Могла знать преподавательница морис-торезовского заведения, женщина большой эрудиции. Познакомился он с ней в Ленинке, писала она диссертацию о заднеязычных гласных старонемецкого языка, дом свой, то есть двухкомнатную квартирку, содержала в абсолютном порядке, мужа выгнала при первом же скандале, восьмилетняя дочь ее стесняла, она и говорить о ней не хотела. Раз в неделю встречался он с мористорезовкой, для этих надобностей она выпрашивала у подруг ключи от их квартир, потому что Андрей Николаевич приbedнялся, бубнил что-то о сестре, о комнате в коммуналке. Он не мог позволить себе такой роскоши — привести к себе женщину! Догадывался, что книги ее не примут. Две комнаты, наполненные ими, давно уже слились в единое существо с непредсказуемым поведением, существо это могло окрыситься. А женщина ему нравилась, очень нравилась, он даже подарил ей Канта в цюрихском издании. Звали ее Ларисой, и было временами страшно за нее: а вдруг пронюхает Галина Леонидовна?

— Георгий Валентинович? — переспросила Лариса, и слышно было, как листается записная книжка. — Нет, такого у меня не было! — едко заключила она и не менее едко добавила: — Но будет!

Ей, конечно, уже надоело чужие квартиры, вечная спешка, она, бывало, покрикивала на него, злилась, краснела.

Васькянину он позвонил по тайному телефону. Его и секретарша не знала. Говорить надо было внятно и быстро, как при пожаре.

— Георгий Валентинович? — ничуть не удивился Срутник. — Знаю. Запомнишь или запишешь?

— Запишу, — солгал Сургеев.

— Так слушай: Плеханов!

И щелчок оборванного разговора вонзился в барабанную перепонку.

Андрей Николаевич открывал и закрывал рот, не в силах понять. Кто такой Плеханов? Кажется, есть какой-то министр. Нет, тот — Плешаков. Плеханов, Плеханов... Тьфу, господи! Так это ж тот Плеханов, который марксист! Но Тимофей определенно сошел с ума, этот Плеханов умер в Петрограде в 1918 году. Или Срутник шутит весьма неумно? Раздражен чем-либо? Возможно. Телефон этот — в основном для дам. Тогда понятно. Но, с другой стороны, Лариса шантажирует его тоже Плехановым?

Совершенно сбитый с толку, Андрей Николаевич крадучись вышел из телефонной будки, прыгнул в машину, долго колесил по Москве, пока темнота не погнала его к дому, под сень Мирового Духа. Втыкая «Волгу» в узкое пространство между бойлерной и газоном, поглядывая назад, он вдруг заметил на сиденье за собою странный, явно не ему принадлежащий предмет. Он заглушил мотор, включил свет и рассмотрел находку.

Предмет был той неправильной округлой формы, что не создается ни машиною, ни человеком, а образуется естественно, незрячей игрой природных сил; к предмету еще и кусок грязи прилип. Появиться в салоне он мог только чудодейственно, и Андрей Николаевич глянул вверх, надеясь увидеть рваную дыру, пробитую небесным скитальцем; он даже взял носом пробы воздуха, чтобы уловить запах разверстых недр галактики, но ни дыры в потолке, ни первоозона Вселенной не унюхал. Тогда он свесил руку вниз, трясущиеся пальцы коснулись предмета, и рука, хранящая в себе память о миллионах вещей, сказала Андрею Николаевичу, что это за предмет. Ему стало душно, он выбрался из машины, как из норы, не выпуская из пальцев странную находку, посланную злой судьбой. Сердце его заколотилось в великом недоумении и замерло вдруг в тоске. Он разжал пальцы и всмотрелся.

Это конечно же была картошка, картофелина, и как она сюда попала — тайна, великая тайна. Раннеспелая картошка уже появилась в Москве, была она не всем по карману, но этот клубень явно из урожая прошлого года, хранящегося в земляной засыпке. Уже после бандитов из райкома, часа два назад Андрей Николаевич подвозил старуху, перегруженную сумками и мешками, но старуха, это уж точно, была из тех сквалыжных баб, что добром своим не разбрасываются. Нет, здесь что-то другое, появление картофелины никакими бытовыми причинами объяснить невозможно.

— Мерзость какая-то... — одними губами произнес Андрей Николаевич, когда определил сорт картофелины, безошибочно опознав «лорх».

Да, «лорх», таинственный сорт, давно уже обязательный — по генетическим прогнозам — выродиться, уже и вырождающийся, но ни с того ни с сего вдруг начинавший обильно плодоносить. Так в замордованном, затюканном, оплеванном и донельзя униженном человеке внезапно рождается — на смех и ужас остального люда — гордость и воля, презрение к боли. Этот «лорх» был самым распространенным сортом, как ни теснили его более урожайные и более стойкие к болезням собратья, потому что поспевал ни рано, ни поздно, а тогда, когда погода благоприятствовала людям собирать урожай. Крахмалистость его равно удовлетворяла и заводскую технологию переработки, и вкусовую потребность. И лежкость клубня такая, что он сохраняется до весны при минимальном уходе, хотя водится за ним слабость — прорастает в избыточном тепле. Ну, а этот «лорх», что в руке, продолжает не в меру: земля, вскормившая его, обеднела фосфором и калием.

Самолюбие Андрея Николаевича было уязвлено: картофель мог бы напомнить о себе элитным сортом, ибо не в грузовик же залетела эта штука-

вина, а в личный автомобиль мыслителя Сургеева! Но, может быть, в этом-то и смысл? Многочисленные селекционеры создавали волшебный посадочный материал, но — над этим стоило подумать! — российская земля отторгала от себя элитные сорта, тяготея к тем, которые скорее можно назвать кормовыми, чем столовыми; сорта эти словно готовились к зимовке на необработанном поле, к замерзанию в буртах, к скоротечной гибели в хранилищах.

Андрей Николаевич понял: картофелина — это знак, сигнал, который выстроит события в стройный ряд.

Из туч вывалилась луна коломом, ясная, полная. Сургеев задрал поволчьи голову в небо и мысленно взвыл, ропща на судьбу, ибо судьба была там, в Небе, только оттуда все человечки казались такими одинаковыми, что на одного можно взвалить все беды, не разбирая, выдержит ли человек общечеловеческую ношу. Небо, конечно, безмолвствовало, не желая говорить то, что было и так понятно: от судьбы не отвертеться!

Сжимая в руке картофелину, Андрей Николаевич удалился от дома метров на сто, намереваясь мощным броском в кусты избавиться от грозного послания, но любопытство взяло верх. Картофелина разрезалась перочинным ножиком, и в желто-синем свете мироздания он увидел, что клубень поражен кольцевой гнилью. Брезгливо отшвырнув конусовидные половинки, он опрометью бросился к дому.

Значит — опять картофель. Значит — вновь тайна, сплошная, глухая и немая тайна, неразгаданностью которой обеспокоен Дух и Разум. Ему, Андрею Николаевичу Сургееву, они и поручают раскрыть эту тайну мироздания, ибо картошка — только единица в массиве предметов и явлений, подверженных воздействию темных и мрачных сил распада, энтропии.

Но теперь о картошке — никому ни слова. Тайно, с максимальной скрытностью, тщательно подготовившись.

Три дня он безвылазно сидел дома. Оснастил двери особо умным устройством, теперь никто не пролезет в квартиру. Детальнейше обследовал все предметы бытового обихода и убедился: подслушивающих приспособлений — нет. Правда, два окна квартиры просматривались, напротив них — шестнадцатизэтажный корпус, и что стоит презренным соглядатаям обосноваться в какой-нибудь квартире корпуса и оптико-лазерными приборами фиксировать каждое слово его и каждое движение?

На всякий случай он соорудил простенький звуковой генератор, выход которого подал на оконные стекла. Теперь они, вибрируя, исказят произносимые здесь слова до полной неузнаваемости.

Тогда, в кафе, он так и не спросил Кальцатого, где Ланкин: уж очень дурно пахнул этот источник информации! И опыт показывал, что самое ценное и насыщенное приходит само собой, уши улавливали достоверность в трепе пустопорожних встреч, в шепотах читальных залов, в болтовне той самой курилки, где впервые добыты были сведения о Ланкине. Он знал уже предысторию его, детство и юность, трагедию первого комбайна. Однажды ночью Андрей Николаевич подсел к столу и набросал мемуар, лирическое эссе, и когда поставил точку, было уже утро, но наступавший день с его тревогами не мог вытеснить из души горького сожаления: там, в совхозе, он так и не увидел настоящего Володю Ланкина, труженика и мученика. А потом уж, в Москве, память не хотела держать в себе совхоз, и куда делся Ланкин, жив ли вообще — желания не было узнавать. Иногда, впрочем, доходили слухи: технолог на Павлодарском заводе, инженер на «Ташсельмаше».

Вдруг он увидел его, и так потрясен был!

Андрей Николаевич приехал в шишлинское министерство, за деньгами, покинув дом по возможности незаметно. Заместитель министра И. В. Шишлин щедрой рукой одаривал всех земляков, он и прислал Сур-

гееву на экспертизу конкурсный проект, без указания авторского коллектива, и Андрей Николаевич честно написал: хорошо, конечно, но не так уж, чтоб оставить без внимания иные разработки. Его, правда, несколько удивила анонимность проекта, указан был девиз, — и это-то при том, что все авторские коллективы были на содержании министерства, и кто скрывается под «Фиалкой» или «Бураном», секретом для Шишлина не было. С деньгами, однако, тянули три года, раскошелелись наконец. Пришлось, правда, час провести в ожидании, в кассе не оказалось денег, но за ними поехали. Андрей Николаевич пообедал в буфете, ухитрившись кое-что прикупить для дома. Потом выкурил послеобеденную сигарету и пошел искать комфортабельный туалет, руководствуясь запахом дезодоранта. Проведя там некоторое время, страшась по обыкновению многолюдности, он уединился в коридорчике. «Конференц-зал», — прочитал Андрей Николаевич и сел у двери. За нею — совещались. Приглушенный рокот голосов, скрип передвигаемых стульев, запах ароматизированных сигарет — та самая пауза, когда всем становится ясно: пора кончать, пора. И Андрей Николаевич услышал голос Шишлина.

Он узнал этот голос сразу, и голос этот взметнул в нем недавно пережитые воспоминания о совхозе, и голос чавкал, хлюпал, как сапоги Шишлина в совхозной грязи, пока не выбрался на нетопкость и зазвучал тяжело, твердо, подминая под собою возражения. Из этих первых, как бы выдирающихся из трясины слов и узнал Андрей Николаевич, что Владимир Ланкин там же, в конференц-зале, что он уже не механизатор, а человек, к техническим решениям которого следует относиться благожелательно, поскольку он, Владимир Константинович Ланкин, признанный изобретатель и безусловно грамотный специалист, кандидат наук.

— ...незаурядный талант, — продолжал Шишлин, выбравшись на сухую почву, на хоженую дорожку служебного словоговора. — Мне тем более приятно повторять всем известное, что Владимир Константинович — наш давний друг, в трудные времена всегда обращавшийся к нам за помощью и находивший ее. Его новая работа достойна всяческого уважения. К тому же рекомендована к внедрению Постановлением ГКНТ и внесена в план будущей пятилетки. Но и на солнце есть пятна: в представленном варианте комбайна есть кое-какие погрешности, но пятна не застилают ведь солнечный диск... Тяжеловат, да, есть такой недостаток, но — поправимо, подработает кое-что Владимир Константинович. А?.. Подработаете?

— Подработаю... — после долгого и напряженного молчания прозвучал голос Владимира Ланкина, и обещанию предшествовал вздох.

— Ну и лады... Значит, приходим к единому мнению. Делать комбайн будем! Свекловоды давно ждут его. Вопрос в том, кому поручить, кто способен быстро в технологическом плане оснастить производство, наладить выпуск. Кроме того...

— Минутку... — прервал его Ланкин, и голос его был бесцветен, ни тени раздражения в нем. — Зачем городить лишнее? Любой завод испугается незнакомой и неплановой продукции. И речь-то идет не о головной партии, а всего лишь о двух экземплярах, они... да что там говорить... Не лучше ли прибегнуть к испытанному методу? Экспериментальный цех какого-либо завода в системе тракторсельмаша, с привлечением НИИ. Все планы у нас напряженные, но опыт показывает, что внеплановая штучная продукция тем не менее успешно изготавливается... если к ней привязан конструктор, хотя бы внештатно, если, наконец, дирекция завода хочет того... если... если министерство хочет... — И голос, чуть повысившись, тут же упал, убоялся, но не подкошено упал, а осторожно опустившись на колени.

Все раздумывали. Шелестели бумагами. Скрипели стульями.

— Ну что ж... — как бы нехотя согласился Шишлин. Слегка пожурил Ланкина: — Министерство все-таки хочет, хочет... Так что решим, товарищи? Может, обяжем Будылина?

Ему возразили, уверенно дав справку:

— Будылин не возьмет. У него кузнечно-прессовый на реконструкции, у него... Вот если в Гомель...

— Гомель — завален... — поправили авторитетно.

— А если... если — Брянск?

— Напрасный ход...

— Бежецк?.. Не Сусанову, а тому... как его... ну, «Бежецксельстрой»?

Плевать нам на амбиции его.

— Не выйдет. Там не амбиции. Там фанаберия.

— А «Дормаш»?.. Когда-то брал без звука...

— То — раньше... Потом обожглись.

— Слушайте! Доподлинно знаю: Синицын! У него все образуется. Ему только фонды выбить...

— С ума сошел, Иван Яковлевич... С ним нахлебаешься, с твоим Синицыным... Он под комбайн план завалит, а нам...

— Какой там план!.. У него простаивает опытный цех при ОКБ...

— Нет уже цеха!.. Эта чехарда с разрядами... Категорию ему не повысили!

— Как не повысили?.. Я своими глазами видел приказ!

Возбужденно переругивались, увязая в спорах и пояснениях. Галдели, обвиняя друг друга в забывчивости. Шутили незлобно...

Все — кроме Шишлина. Заместитель министра не мог отвлекаться на пустяки. О себе он напоминал тем, что постукивал по столу какой-то деревяшкой, призывая спорщиков и советчиков поспешать. И добился. Кто-то ахнул: «Вот голова-то!.. Бабанов! Бабанов возьмет!» И все наперебой, кляня себя за недогадливость, стали превозносить возможности Бабанова: людей неспоротов, связи с поставщиками налажены, живет себе мужик и в ус не дует, хитер, ох как хитер, и все прибудняется, и сейчас, когда скрыл резервы и таит их, совсем разленился, пролезать в передовики не хочет... Бабанов, только он, Бабанов!

Ждали решения Шишлина, а тот — поигрывал на нервах, не давая согласия, что, видимо, входило в служебные игры, в неписанные правила министерского словоблудия, но отнюдь не пустобрешества, ибо целью неимпровизированной болтовни этой было — поставить Ланкина перед выбором: либо не делать комбайн вообще, либо делать так, что комбайн окажется несделанным.

— Пожалуй, да... Бабанов. Обяжем. Его я беру на себя, — раздумчиво проговорил Шишлин, и в голосе его все же поигрывало сомнение. — Но ты учти, Владимир Константинович, мужик он вредоносный, два комбайна не потянет, для него они будут как бы головной партией, а у него крупные неприятности — с него знак качества снимают... Ну, решено? Один экземпляр к концу следующего года, а второй — потом, мы уж на него навалимся. Итак...

— Пойдите! — встревоженно прервал его Ланкин, голос — будто вскинутый, подброшенный. — Пойдите! Оба комбайна надо обязательно делать вместе, параллельно, весь опыт говорит за это. Вместе! Это, во-первых, менее трудоемко. А во-вторых, даже поломка одного комбайна не остановит испытаний. Запчасти, что и говорить...

— Владимир Константинович! — одернул Шишлин. — Да подумай ты поглубже! Ведь тебе самому выгоднее предъявлять один экземпляр! Ну, будет в нем поломка, ошибка, ляп какой-нибудь — всегда на Бабанова спишем. А когда та же поломка не на одном комбайне — тогда, извини, это уже конструкторская недоработка, более того — сомнительность или даже порочность идеи. Тут уж мы тебя защитить не сможем. Понимаешь? Нет, нет, нет! Один экземпляр — и хватит!..

Зашумели, задвигались, заерзали, застучали — совещание кончилось, спектакль удался на славу, такими представлениями, Андрей Николаевич знал это, была заполнена жизнь министерских работников. Дверь подалась, закрывая Андрея Николаевича; он вжался было в сиденье, весь красный от стыда и страха, но последний из покидавших конференц-зал даже не глянул на перепуганного насмерть Андрея Николаевича, когда закрывал на ключ дверь, даже не смутился, да и кого или чего опасаться было им?.. Восемь добрых молодцев, облапошивших Иванушку-дурачка, шли медленно по коридору, Сургеев смотрел вслед им и — к удивлению своему — вдруг поднялся и почтительно выпрямился; в непосредственной близости к нему находилась не мелкая уголовная сволочь, способная всего лишь на мордобой, не нахапавшие сотни тысяч рублей взяточники, не матери убийцы, даже и не какая-то банда террористов с унылой философией неудачников, а обреченные на неподсудность государственные преступники, из года в год планомерно и целеустремленно подрывавшие сельское хозяйство России, не давшие земледельцам ни одного годного лугу и пашне орудия, и если орудие это появлялось все же, то было оно тем самым исключением из правила, которое это правило подтверждало; и не просто государственные преступники, а особо опасные, потому что себе и всем внушили убеждение в том, что совершаемые ими преступления служат благосостоянию граждан, а те, набитые сладкой отравой цифр, не замечали уже, что прорва изготавливаемых тракторов (да еще и в пересчете на пятнадцатисильные!) и комбайнов никакого влияния на урожайность не оказывает и нужна по той причине, что срок жизни предыдущей прорвы укорачивается с каждым годом, сотни тысяч тракторов и комбайнов со складов вторчермета отправляются в домны, на переплавку, чтоб завершить круговой цикл бессмысленной и потому вредной работы миллионов людей, тоже втянутых в бессмыслицу процентов, штук, рублей, тонн и кубических километров.

Они шли — и над ними возвышался Шишлин, к которому лепились меньшие братья его по злодейству, и Ланкин не поспевал за ними, чего они не замечали; он был им уже не нужен, они на три или четыре года избавились от него, если не насовсем. Даже если и сляпают — с инсультом или инфарктом конструктора — комбайн, то затерять его или не допустить вообще к испытаниям — плевое дело уже, тут такие разработаны оргмероприятия, такими разрешающими и одобряющими резолюциями испещрены поданные конструктором документы, что там, на местах, у того же Бабанова поймут: не пущать!

Скрылись они, лишь Ланкин тянулся еще; походка грузная, осторожная, боязная, выдававшая сердечные и суставные хвори. Андрей Николаевич смотрел ему вслед, и что-то пощипывало в глазах, что-то покалывало в сердце, и скулы сводило то ли зевотой, то ли желанием разрыдаться. Погиб талант, умер лихой изобретатель! Когда-то создавал легкие умные конструкции, сейчас — громоздкие, тяжелые, ибо своим стал, послушным, попитался идейками Шишлина, как-то незаметно для себя отравился ими; ценить себя и конструкции свои стал как бы сзади наперед, комбайн этот свекольный утяжелил, потому что знал: чьи-то мерзопакостные мозги придумали показатель, по которому чем тяжелей машина, тем лучше она, показателем этим спасая от наказания расхитителей и дураков; да и умных такой показатель устраивал, умные каждый год раздевали серийную машину, уменьшая ее вес, достаточно излишний, и получали вожделенные премии; да и вообще — куда-то надо ведь девать металл, на первое место в мире вышли по выплавке стали. Вот так вот: был человек — и нет человека, взамен же — на тебе, родимый, ученую степень, почетную грамоту и значок «Заслуженный изобретатель». Пропал человек, сгнил, божья искра затоптана сапогами Шишлина, а ведь его-то, Ланкина, хотел Андрей Николаевич из небытия вытащить — там, в кабинете Дмитрия Федоровича, сказать пентаграммоносителям, что есть на Руси гениальный конструктор,

способный создать такой танк, который и в воде не потонет, и в огне не сгорит, и по любому бездорожью пролетит птицею... Хотел сказать — но что-то остановило. И хорошо, что не сказал.

Ноги сами оторвались от пола и понесли Андрея Николаевича по коридору, он забыл, для чего приехал сюда, ему казалось теперь, что здесь он — по единственному поводу, здесь судьба назначила ему встречу с Володиной Ланкиным, и он скользил по гладкости пола, спеша к нему. Ланкин стоял спиной к окну — стоял и смотрел, ничего не слыша и не видя; к нему будто тошнота подступила или боль в сердце вошла иглой — вот он и переживал уже нередкий в его годы конфуз. Он постарел, и это была не физиологическая старость с возрастной одутловатостью, морщинами, а нечто большее. А внешне — одет хорошо, провинциал приехал в столицу, уверенный в том, что гостиница ему забронирована, пропуска в министерства и комитеты заказаны, да и — глаз Сургеева все замечал! — освоился Володя с положением неудачника, оно кормило его, оплачивало командировки, двигало его в той жизни, что текла в месте его постоянного обитания, и Андрей Николаевич стиснул зубы, чтоб в коридоре этом не прозвучал жалкий вопрос — счастье-то семейное получилось? Дети растут? Обязана же судьба, стремящаяся одаривать всех поровну, вознаградить Володю любимой женщиной! Да провались они, все эти трактора и комбайны, лишь рядом бы — существо, без которого и воздух не воздух, и вода не вода, только бы вблизи, в досягаемости рук и взгляда, — женщина, похожая на Таисию! И книги туда же, в огонь, в бездну — в обмен на человека, которого ты жалеешь и который тебя жалеет!

В трех-четырёх шагах от Ланкина стоял Андрей Николаевич, не произнося слова, не двигаясь, сам старея с каждой секундой, и потом осторожно начал отходить... Оглянулся, совсем стал старым, потому что высчитал: Ланкину-то — уже под пятьдесят! Жизнь-то — уже прожита! И что в ней? Зачем она? Неужто для того, чтоб Шишлину жилось столь же бессмысленно?

Неожиданно для себя он повернулся и быстро пошел к Ланкину. Он понял, что писал заключение не по какому-то анонимному свеклоуборочному комбайну, а именно по ланкинскому, что надо сказать ему об одной грубой ошибке. Но, подойдя вплотную, в порыве сострадания обнял Ланкина. Тот отстранился, всмотрелся, а когда услышал вопрос о семье, поднял руку и выставил ее перед собою, как бы защищая себя.

— Жены нет, — произнес он сухо. — Умерла в прошлом году.

И глянул на Сургеева так, будто недоумевал: зачем тебе знать обо мне? «Прости...» — пробормотал Андрей Николаевич, отходя от него.

«Что бы все это значило?» — думалось по дороге к дому. Деньги получены, кое-какие долги возвращены, времени ухлопано много; темень уже сгушалась, когда Андрей Николаевич прикатил к дому. Свет в комнатах не зажигал, ограничившись плафоном ванной. Постоял под хлесткими струями душа, яростно протерся полотенцем, вдел себя в длинный халат, вошел в кухню как раз в тот момент, когда чайник уже вскипал, яйца вот-вот сварятся до нужной степени умягченности, а сковорода раскалилась до нормы и готова принять на себя нарезанные ломти хлеба... Все поглотилось и начинало уже усваиваться, кофе мелкими глотками довершал поздневечернюю трапезу вдовца, на экране заглушенного телевизора двигались и жестикулировали представители рабочего класса и научно-технической интеллигенции. Андрей Николаевич блаженствовал. Включив напольный светильник, он нащупал в серванте горлышко пузатой коньячной бутылки; он ощутил слабый толчок пола и парение, полет, истому невесомости, по телу разливалось удовольствие. Квартира как бы отделялась от дома, выбралась из опутавших ее тепло-, радио-, газо-, водо-, теле- и электриче-

ских коммуникаций, взмыла в небо и зависла над Юго-Западом, утвердись на стационарной орбите. Андрей Николаевич поставил на столик рюмку, поднес к ней бутылку. Совершалось священнодействие, жидкость втекала в сосуд, как река времени в котлован истории. Рюмка приблизилась к губам, сладостно опустошилась. Наступал — после рюмки — момент порхающих мыслей. Двигаясь как бы на ощупь, Андрей Николаевич вошел в большую комнату, вдоль и поперек уставленную стеллажами, полками, шкафами и секретами; здесь тяжелодумно и многотомно спали книги, законсервированные в переплеты-скафандры, непроницаемые для дня текущего: они герметизировали страницы, ограждая их от посягательств эпохи. Книги, когда-то прочитанные или просмотренные Сургеевым, пробуждались от спячки нежнейшим прикосновением руки, рождая эффекты — звуки, запахи, картины, ознобы и жары, остервенение и умиротворение, взлет тела над окопом, чтобы вперед! вперед! — и тоску бессилия; в двадцатидевятиметровой комнате могли дуть ветры аравийских пустынь, греметь грома из туч, падавших с Пиреней и растекавшихся по долинам Андалузии, порою снежные заносы не позволяли Андрею Николаевичу дойти до нужной ему книги, но и на расстоянии научился он извлекать из книжных переплетов абзацы и главы, излучающие мысль.

И запахи. Коньяк открывал центры восприятия их, нос превращался в инструмент одороскопии, запахи разрывали многовековую броню, ароматы минувших эпох были звучнее слов, точнее энциклопедий. Однажды в святых лице своем Андрей Николаевич услышал топот крестьянских батальонов Томаса Мюнцера и поразился тяжелому духу их, крестьяне пахли кисло-войлочно. Спустя несколько месяцев случай свел его с немцем-историком, ученый муж потрясенно согласился с Сургеевым: да, именно так и было...

По ушам ударили вопли, стенания, ликующий шум толпы брезжил, нарастал, наваливался, утопляя в себе проклятия и вскрики, уже начиная разбиваться на ручейки, дробиться на смытые ранее хохоты. Губы Андрея Николаевича шевелились, он кричал вместе со всеми и определял, откуда разноплеменный гомон разноязычных толп. Уши настраивались, глаза прозревали. Туман еще застилал их, потом в тумане стали вырисовываться и высказываться люди — Москва, XIV век, но еще до Куликова поля, хотя, возможно, разноголосица намекала уже на молчание поваленных ратников, на стон, из самого чрева земли исторгавшийся. Девы русские прошли, по обычаю, неговорливые, ясноликие, лебедицами пльвищие; что-то чернявое мелькнуло, сухое, злобноватое, — это уже византийская примесь, густо-красная застоявшаяся кровь умирающей культуры — и светлый, еще не бродивший сок русичей; полумесяцем загнутые носки зелено-сафьяновых сапог, тканый халат и розовая чалма — татарин, ордынский купец; а это — из княжеских сынков молодец, в удобной белой справе, красный обручок на голове, идет с важнецой, высматривает что-то поверх голов, высмотрел, повел голубыми глазами и засмутился: полоненная литовка смотрела с достоинством, странным для рубища, открывавшего ноги ее, ладные и выносливые, ноги смогли бы довести полонянку до родной ее Литвы, Москва охотно отпускала попавших к ней в неволю, но стоит ли отпускать сейчас, когда Ольгердовичи псами вцепились друг в друга?... Совсем пропал шум, приближались запахи. Сморщился нос от аромата конского навоза, как-то узнаваемо принял соленый и чистый, без сырных примесей пот московского плебса, притопавшего к Донскому монастырю; противный могильный дух церковных пряностей и вонь наскоро продубленных кож; из булькающего котла понесло разваренной говядиной, да, да, ею, — вопрепятину пахла по-другому: псиной, смрадом дыма, что в курной избе пропихивается сквозь черную солому крыши, но и в овсяном хлебе было что-то соломодымное...

Андрей Николаевич блаженствовал... Не временные перегородки рухнули, казалось, а башни и стены цитадели, в которой узником сидел Сургеев; шумы, запахи и зримые фигуры делали его свободным, живым и живущим; обретался смысл тех сутей, что составляли его самого, и хотя земляным духом проваренной картошки так и не дохнуло ни из княжеской трапезной, ни из людской, картошка все же давала о себе знать во вместилище благородных раздражителей — и проблемой как таковой, и ощущением глобального неблагополучия.

Сладостно-обреченно Андрей Николаевич подумал, что из пепла возставший Ланкин — это знак, сигнал, что Мировой Дух, стыдливо замкнувший уста, ждет сейчас его решения, подсматривает за ним.

Он вернулся в свой век, с подозрительным вниманием рассматривал откуда-то попавший в квартиру аквариум, выпуклый и подсвеченный, пучеглазого караса в нем. Понял наконец, что это — телевизор, а в нем не карась, а теледиктор в массивных очках.

Свет зажегся, экран стал темным. Приземленно, без этикета Андрей Николаевич налил коньяк и выпил его. Сопоставил все явления прошедших дней. Пора начинать!

Надо было затихнуть, чтоб сохранить в тайне принятое решение, многовариантное, рассчитанное вперед на десятки ходов. Надо было обмануть тех, кто несомненно наблюдал за ним из шестнадцатипятиэтажного корпуса.

Несколько дней безмолвствовал Андрей Николаевич. Копался в ящиках письменного стола на виду наблюдателей, разбирая мелкие хозяйственно-технические вещички, к употреблению не годные, но ремонту доступные. Рейсфедер и циркули скомплектовал в готовальне, хотя чертить не собирался и кульман давно подарил одному подающему надежды студенту. Отрегулировал электронные часы, к единственному достоинству которых относил бесшумность. Долго ломал голову над назначением предмета, не один год уже прозябавшего в ящике, пока не вспомнил: да это ж подброшенный Галиной Леонидовной буддийский символ, выкраденный якобы из какого-то тибетского храма! А точнее, радиомаяк, по лучу которого землячка может найти его квартиру!

Культовый предмет решено было выкинуть на помойку, и, не доверяя мусоропроводу, Андрей Николаевич самолично опустил его на лифте, держа в пятерне буддийскую драгоценность. Проходя мимо мусорного бака, швырнул в него предмет, который несомненно обогатит городскую свалку.

По прошествии минуты оказалось, что враждебные антикартофельные силы подстроили ему ловушку, положили к ногам обрывок газеты, и Андрей Николаевич поднял его. Человек и собака могут одинаково заинтересованно исследовать лежащую под ногами-лапами газету. Разница лишь в том, какую информацию хотят они получить. Если в газете было завернуто мясо, то собаке этого достаточно.

Машинально подняв газетный клочок, Андрей Николаевич распрявил его. Глаза его выхватили несколько фраз — и рука тут же сунула клочок в карман.

В кабине лифта, оставшись один и вне наблюдения, он стремительно прочитал газетную статью без начала и конца. Он понял, что статья набрана и отпечатана специально для него, с целью устроить и предостеречь — на примере семнадцатилетней борьбы жатки ПЖК-3,5, созданной в провинциальной глуши, с ЖРБ-4,2, детищем Минсельхозмаша. Описывались сравнительные испытания, и они мало чем отличались от фарса, разыгранного в совхозе «Борец». К тому же статья, вырванная из газеты, так умело была скомкана, что полного названия ее не прочтешь. Видимые глазу буквы составляли слово «Ж...опа», что само по себе было симптоматично. Над ним глумились. От него ожидали слов и поступков, которые с головой выдадут его.

Радуюсь тому, что маневр противника разгадан, Андрей Николаевич решил ввести его в полное заблуждение, сделал вид, что ничего у мусорного бака не поднимал.

В ванной он изучил обрывок. Фальшивка была сделана профессионально, с соблюдением всех советских атрибутов. Шрифт, кажется, правдинский. Хитро придумано.

Еще сутки выжидал он. Никаких сигналов более не поступало, но и подброшенного было достаточно. Мастерски уйдя от возможной погони, он покинул «Волгу» на стоянке у офиса Васьянина, а сам городским транспортом добрался до Политехнического музея, не раз его выручавшего. На обратной стороне фальшивки располагались в урезанном виде разные корреспонденции, и — к удивлению Сургеева — по ним он выявил: да, газета «Правда», но не в единственном экземпляре, а из массового тиража двухнедельной давности, и «Жопа» оказалась смятым и облитым томатным соусом названием фельетона «Жатка в опале». Мираж, кажется, начинал развеиваться, но когда Андрей Николаевич по старой памяти заглянул в курилку, где всегда буйствовало народное творчество, то узрел на стене четверостишие — не шедевр, но и небесталанное произведение:

О ты, любитель Мельпомены,
Говнюк, неведомый досель!
Зачем марашь мелом стены,
Марал бы ж...ю постель!

Андрей Николаевич понял, что находится на верном пути к истине, и за догадку был вознагражден. Кто-то из дымивших сообщил другому куряке, что по некоторым слухам в каком-то районе какой-то области некий механизатор создал нечто фантастическое, гибрид амфибии с картофелеуборочным комбайном.

Из осторожности Андрей Николаевич в расспросы не пустился, а неделю отвел на все областные газеты, никаких упоминаний о новом комбайне не нашел, но тем не менее утвердился в мысли, что комбайн этот — существует, он не может не существовать, потому что тот рязанский КУК-2, усовершенствованный до КУК-4, полностью доказал свою непригодность, но несмотря на брань продолжал производиться и, по дополнительно наведенным справкам (в той же курилке), замены ему не было.

С утра до вечера, уже не таясь, сидел Андрей Николаевич в читальных залах Москвы и все чаще задумывался над тем, почему в четверостишии упоминалась Мельпомена.

Васьянину, конечно, он и словечком не обмолвился о где-то существующем комбайне, Срутник, короче, не помощник в грандиозном деле.

10

Теперь надо было срочно, немедленно отыскать братьев Мустыгиных, вытащить их из-за границы, если они там. Все планы перевернула эта «Жатка в опале», сузив разнообразие целей и средств до единственного желания: найти, увидеть, оценить и открыть, показать всему миру комбайн неизвестного пока механизатора. И не повторять прошлых ошибок.

Мосгорсправка выдала Сургееву два адреса: братья, разумеется, жили в разных концах столицы, исходя из соображений оптимальной безопасности. Но ни в одной из указанных квартир ни того, ни другого не оказалось. Все известные Сургееву мустыгинские телефоны отвечали брюзжанием или рывканьем: таких нет! Братья себя не рекламировали, это уж точно. Кое-какие надежды подавала Ленинка: пополняя свой информационный банк, братья не могли не пользоваться библиографическим отделом публичной библиотеки. Старая знакомая, помнившая Сургеева еще по студенческим временам, помогла отыскать мустыгинские формуляры. Последний

раз они сидели в Ленинке год назад и, судя по затребованной литературе, подбирались уже к вице-президенту США. Как раз шла перерегистрация читательских билетов, и Мустыгины указали один и тот же адрес, по которому не проживали, естественно; почтовую корреспонденцию, однако, следовало отправлять только туда.

Оставив машину в проходном дворе на Преображенке, Андрей Николаевич на такси доехал до Каланчевки, последним втиснулся в троллейбус, вновь схватил такси и, никем не замеченный, подкрался к заветной квартире. Никто, естественно, не хотел открывать ее, соседка же сказала, что хозяин в заграничной командировке, а хозяйка — в Сочи; квартира, кстати, под охраной милиции... Андрей Николаевич поспешил к себе. Коньяк не только не приободрил, а, наоборот, вверг в еще более томительное состояние неопределенности.

Вдруг в прихожей раздался резкий и нетерпеливый звонок. Андрей Николаевич, от макушки до пят вспугнутый, глянул в давно установленное телескопическое приспособление. В поле зрения первоклассной оптики попала вся лестничная площадка и на ней — Мустыгины. Поля шляп скорбно надломлены, поникшие плечи говорят: все пропало! У ног братьев — какие-то фирменные коробки. Не произнося ни слова, они внесли их в комнату. Глянули в окно, задвинули шторы. Видимо, у них тоже были серьезные основания не доверять шестнадцатизэтажным зданиям. Сбросили плащи, сняли шляпы. Андрей Николаевич пригляделся к коробкам: стереосистема «Грюндиг», телевизор «Сони» и прочие меломанские приспособления. На стол полетели ключи от «ягуара» и доверенность на него. Маруся, без всякого сомнения, совершила прыжок и встала чуть ли не рядом с тронем. На всякий случай Андрей Николаевич спросил прямо, чем она занимается, и братья ответили коротким смешком:

— Да все семечки лузгает...

Что могло быть полной правдой. Андрею Николаевичу всегда казалось: род занятий Маруси адекватен, эквивалентен, конформен и конгруэнтен лузганью.

Кроме электронной техники и «ягуара» братья преподнесли еще один подарок. Звание Героя Социалистического Труда, сообщили они, Андрей Николаевич получит в установленный срок, тут уж заминок не будет, но сейчас они, Мустыгины, обрабатывают Нобелевский комитет и точно к указанному Андрею Николаевичем времени премия ему обеспечена, сто тысяч долларов без вычета налогов...

Братья определенно чего-то недоговаривали, излишне суетились, вспомнили вдруг еще об одном подарке, с поклоном вручили «Розу дома Орсини» Кристофера Шайнера, в полутьме (шторы-то — сдвинуты!) не разберешь — подлинник ли 1630 года или факсимильное издание. Неужто сперли из Национальной библиотеки в Амстердаме? Нет, не может быть, люди они в высшей степени честные. Тем не менее вляпались в какую-то историю и стесняются рассказывать.

Выложили все-таки, и Андрей Николаевич пригорюнился в печали и сочувствии. Братья крупно погорели. На двоих они снимали квартиру, для разных надобностей, в том числе и такой: отдавали ее иностранным коллегам на недельку-другую, чтоб те взаимно давали им кров и пищу при странствиях по Европе или Америке, и такого рода гостеприимство — не из-за денег, а для свободы, черт возьми. Вот из этой квартиры и пропали при таинственных обстоятельствах заграничные паспорта братьев. Прощай теперь симпозиум в Ла-Валетте, не видать Мустыгиным тамошних пляжей, не встретят их на Мальте коллеги из США, Франции, Австралии, более всего будет горевать профессор Таунли (Канада, университет в Торонто), помимо официального приглашения приславший и частное. Путь на Запад вообще закрыт, месяцев на шесть.

Горюя, Мустыгины, уже воспитанные Западом, не молили в открытую о помощи, тем не менее Андрей Николаевич приступил к допросу потерпевших. Не может того быть, чтоб кража не была связана с неизвестным изобретателем картофелеуборочного комбайна. Мировой Дух отыщет закономерности, подскажет, надо лишь следовать высшему смыслу, а им в нынешнюю эпоху обладает только он, Андрей Николаевич Сургеев.

— В милицию обращались?

Братья не сочли нужным отвечать. Конечно нет!

— Подозрения есть?

Этот вопрос ожидался с нетерпением.

— Да.

Накануне того дня, когда обнаружилась пропажа, у Мустыгиных были гости, две дамы, одна — из МХАТа, кажется («Мельпомена!» — едва не вскрикнул Сургеев), вторая — племянница академика. Крутили фильм — порнографический, разумеется. Нет, не видео, в том-то и беда. Настоящий, на восьмимиллиметровой пленке. Киноаппарат и коробки с лентами привезли они, дамы, и расположение комнат таково, что только на письменном столе можно установить аппарат, направленный на экран в смежной комнате. И вышло, что дамы в роли киномехаников получили доступ к столу, где в ящике, под надежным замком, и лежали паспорта.

— Все это, однако, — рыцарски предположили братья, — одни лишь гипотезы. Да, подозрения падают на дам, но на то и подозрения, чтоб опровергаться и рассеиваться.

— А вы что, — поинтересовался Андрей Николаевич, — без порнофильмов уже не можете?

Братья с негодованием отвергли оскорбительное замечание. Они-то могут. Это дамы заупрямились, подавай им сексуальный наркотик.

— Что-нибудь еще пропало?

Нет, все на месте, японская аппаратура не тронута, хотя артистка пришла с сумкой, в которую войдет двухкассетный магнитофон. Партбилеты же — на работе, в сейфе, причем ключ от сейфа — в другом сейфе, открыть который практически невозможно.

— Партнерш искать не пытались?

Пытались, конечно. Но МХАТ отвалил на гастроли в Австрию, а племянница академика не появилась, как обещала, в Доме кино.

— А что, собственно, предстоит в этой Ла-Валетте?.. Что там интересного? Вы ж там, по-моему, не раз уже были?

Братья переглянулись. Врать старому другу они так и не научились. На Мальте, сказали они смущенно, ничего в смысле науки не предстоит. Обычный, как и везде, треп. Настоящий ученый никогда не станет участником такого рода симпозиумов, настоящий ученый сидит в лаборатории и по крупницам собирает материал для двух-трех статей в пятилетку. Мероприятия типа лавалеттского давно уже стали узаконенной формой отдыха и коммерции за счет либо государства, либо корпораций. Последние имеют кое-какие выгоды, снисходительно взирая на шалости людей науки.

— И часто вы бываете на таких... секспозиумах?

Ответ прозвучал не сразу. Братья потеряли счет зарубежным командировкам. Так примелькались везде, наплели такую паутину знакомств, что заграница уже не мыслила совещаний без братьев. И все честно, открыто, ни в какие переговоры за спиной комитетов и министерств Мустыгины не вступали, частные письма на Запад даже не заклеивали — берите, вынимайте из конвертов, читайте!.. Иногда их вызывали в известные кабинеты, просили осветить тот или иной эпизод зарубежной поездки — пожалуйста, осветим!..

Нельзя было не восхищаться прохиндейством братьев! Далеко шагнули ребята, так обогатились уже, что «ягуарами» разбрасываются. А как насчет соперников? Не они ли отрядили в их квартиру двух проституток с граби-

тельскими наклонностями?.. Соперники есть, отвечали братья, но куда им тягаться с ними, да они любого...

Андрей Николаевич глянул на Мустыгиных и поверил. Рослые, поджарые, белокурые, атлетического покроя мужики, знакомые с тензорным исчислением. Перед защитой докторской диссертации прошли у беглого тайванца ускоренный курс восточных единоборств.

Выяснилось: ни одно государственное учреждение не заинтересовано в срыве симпозиума по высокомолекулярным соединениям и никто из частных лиц не против поездки Мустыгиных в Ла-Валетту. С другой стороны, уголовный мир тоже непричастен к беспрецедентному воровству.

— Племянница академика, — произнес Андрей Николаевич, — это не степень родства, а профессия...

Именно в этот момент, произнеся эти слова, он почувствовал в себе обостренную расчетливость, умение сосредоточиваться на никому не ведомых событиях, на тех, которые вроде бы были, но тем не менее — не были. И тогда начинали прозреваться — будто сквозь толщу вод — очертания погребенных на дне явлений.

— А почему вы решили, что одна из воровок — племянница академика?.. И какого академика? Сколько лет ей? Подруге ее? Ну, артистке?

Братья призадумались. Вопрос ошарашил их. Наконец, поохав и поахав, они выдавили: нет, она не представлялась им племянницей, они решили, что женщина, которую зовут Эпсилонкой, получила воспитание в семье с определенными культурно-научными традициями.

— Это такая худая и высокая?

Раболепие было во взглядах, которыми наградили Сургеева братья Мустыгины. В который раз убедились они в торжестве человеческого разума. Как умны они были много лет назад, когда приголубили безвредного очкарика Лопушка!

Их многотомная картотека давно была переведена на машинный язык и в нескольких коробках хранилась на даче. Аркадий Игоревич Кальцатый не мог не покоиться там, и братья немедленно собрались ехать за город. Андрей Николаевич посадил их в машину, благословил, сам же на «ягуаре» объехал микрорайон. Позвонил из автомата Васьянину, усыпил его, сказав, что денно и ночью работает над статьей о свойствах германия. «Ягуар» его пересек Ленинский проспект, а затем и проспект Вернадского. Со смотровой площадки у МГУ он глянул на Москву с наполеоновским высокомерием, хотя и признавал самокритично, что поиски механизатора недопустимо затянулись. Уже вторая декада сентября, до конца уборки картофеля не так уж много времени осталось, надо спешить.

Бдительности Мустыгиных могли позавидовать прожженные революционеры. Андрея Николаевича они пустили в самостоятельное плавание на «ягуаре», сами же на своих «рено» раскатились в разные стороны. Более часа все трое изощрялись в запутывании следов и встретились наконец на пересечении Островитянова и Волгина, в квартале от дома, где жил Кальцатый.

Вышли из машин. В руках братьев — длинные плоские «дипломаты». Что в них — «узи» или «калашниковы» — Андрей Николаевич не спрашивал. Сказал братьям, где надлежит им быть, а сам смело вошел в подъезд. Оглянулся и прислушался: никого. Достал из кармана купленный по дороге одеколон «Красный мак», отвинтил пробку и стал поливать острой, пахучей жидкостью свои следы. Открыл и закрыл лифт, плеснув туда одеколон. Медленно, пешком поднимаясь по ступеням, он продолжал орошать их. На нужном этаже остановился, чтобы обдумать весьма здравое предположение. Собаки-ищейки, которые будут пущены тайной полицией по следам, именно одеколон унюхав, и найдут его. Как ни правилен был этот силлогизм, им следовало пренебречь, ибо ложность его очевидна, ибо он не учитывает наивысшего смысла, а люди, силлогизму поклоняющиеся,

напоминают тех пастухов, что в древние эпохи нарекали Большой Медведицей семь звезд на небе, расположенных ковшиком, исчерпывая названием существо процессов, движущих мирозданием. Мусоропровод привлек внимание Андрея Николаевича, он и его решил использовать в достижении целей, предначертанных свыше, трансценденцией такого порядка, перед которой никнут все формально-логические построения. Остатки одеколона он влил в короб мусоропровода, замкнув тем самым кольцо, по которому будут носиться ищейки. И флакон полетел вниз, вещественно закрепляя ложный, выматывающий собак и агентов круг. На цыпочках подошел к двери. Нажал на пупочку звонка. Раздалось дребезжание, но дверь не открывалась. Он навалился на нее — она поддалась. В нос ударил аммиачно-фенольный запах многолетней нищеты; культ пустых бутылок царствовал на кухне, где спал Кальцатый, сидя на полу, на кончик носа надвинув шляпу. На столе — увядший огурец и солонка. Опорожненная винно-водочная посуда была выстроена в каре, и Кальцатый, видимо, произносил речи перед безмолвным строем послушных солдатиков накануне их отправки в магазин.

— Я знал, что они тебе понадобятся, — сказал Кальцатый, не снимая шляпы, по голосу узнав Сургеева, — Лопушок ты, Лопушок... Один ты никогда не называл меня Бычком, один ты... А взрывать что-нибудь будешь?

— Буду, — без колебаний признался Андрей Николаевич, и Кальцатый одобрил идею.

— Теперь — самое время. Шишлин-то — умирает, рак, — он ткнул себя в пуп. — А я — сам видишь... Бычок, Чинарик, Окурочок. Пора уже и в пепельницу. — Он рассмеялся и закашлял так, что шляпа едва не свалилась. Поправил ее. — Пиджак в шкафу, записная книжка в кармане...

Кроме двух шкафов, платяного и книжного, в комнате ничего не было, ни стола, ни стульев, ни какого-нибудь прикрытия от солнца на окнах. По неистребимой привычке вслушиваться в книги, Андрей Николаевич обвел взором красные и синие томики партийных классиков, закрыл глаза. Он услышал хруст ледяных крошек и топот железных батальонов пролетариата, идущих на штурм айсберга, который, конечно, будет ими завоеван и благоустроен, и до самого Карибского моря, теплого и коварного, доплывут сине-красные батальоны, с гордо реющим красным знаменем...

Преодолевая смущение, Андрей Николаевич приблизился к книжному шкафу, чтоб найти в нем, помимо классиков, какую-нибудь книжицу про Арктику, неспроста ведь почудилось ему бескрайнее ледяное поле. Но не нашел. И догадался, что Арктика навеяна ему ледяным безмолвием самой комнаты. В ней не жили и не обитали. В ней всего-навсего хранили в шкафу последний в жизни Аркадия Кальцатого пиджак.

От денег Кальцатый отказался. «Я не Бычок!» — напомнил он. Бутылку же взял так, словно ему протянул руку лучший друг бескорыстной юности.

К многоэтажному дому на проспекте Мира подъехали уже не таясь. Свободными от дипломатов руками братья помахали Андрею Николаевичу, уверяя его в полном успехе визита, и скрылись в подъезде. Ему самому хотелось глянуть на воровок и вымогательниц. Но Мустыгины решительно воспротивились. В квартире пробыли недолго. Издали улыбнулись ему и похлопали себя по карманам: здесь паспорта, здесь!.. Андрей Николаевич ожидал большего, хотя бы истошного визга дам, летящих с девятого этажа вниз, но, похоже, братья заключили с ними полюбовную сделку, дамы с балкона помахали платочками по русскому обычаю. Вот где сказался наконец европеизм двух просвещенных докторов наук.

Что теперь надо расплачиваться сполна — это братья понимали и привезли старого друга к себе. Андрей Николаевич походил по квартире, напоминающей срединные отсеки подводного атомохода, обилие приборов

разнообразного применения совмещалось с бытовым комфортом высокого класса. Постоял и у немых книжных шкафов. Духовные наставники братьев предпочитали на ушко сообщать им о своих выводах.

Скромно выпили за успех дела — и только что завершено, и предстоящего, о котором братья еще не знали, но, предчувствуя значимость и размах, заранее к нему готовились. Пищей желудок не отягощали, в движениях были экономны. Андрей Николаевич изложил суть дела: картофелеуборочный комбайн, изобретенный неизвестным механизатором.

Нашлась карта шестой части земной суши. Ее расстелили на полу. На просторах земли российской предстояло найти гениального саморodka. Сам простор — 229 миллионов гектаров пашни (справочник, ежегодник ЦСУ, принес Андрей Николаевич). Сибирь и Дальний Восток отпадают — по той причине, что снаряд дважды не влетает в одну и ту же воронку: все зауральские края знали и поддерживали Ланкина. Южные республики можно не принимать в расчет, там хлопок и цитрусовые заняли все поля. Чисто зерновые области — забыть. Районы вблизи крупных городов — тоже, здесь шефская помощь селу губит все.

— Никаких репортерских расспросов. Никто не должен знать о механизаторе. Никакой огласки. Одно слово — и налетит команда Шишлина. Только аналитическая работа ума. Проблема будет решаться комплексно. К Васьянину — он есть в вашей картотеке — ни в коем случае.

О сроках братья не спрашивали: до самолета в Рим — неделя. Теоретически невозможно за эти дни обработать такой массив информации, найти в стоге иголку. Но надо, надо!

Дня не прошло, а братья достигли крупного успеха.

Человек был найден! Не механизатор, конечно, а чиновник из Кремля, ставший свидетелем необычного разговора. Два секретаря обкомов заключили предварительное соглашение — комбайн с приданным ему механизатором менялся на кирпичный заводик, и у владельца комбайна были все основания держать в тайне и само соглашение, и товар, который он припрятывал до поры до времени, отлично зная, к чему приводит огласка. Человек из аппарата, не так давно залетевший в картотеку, был скрытен, подозрителен, презирал не только обоих коммерсантов высокого ранга, но и — чохом — всех заместников. К нему еще надо войти в доверие, для начала же — познакомиться с ним. Держится он вдали от развлечений своего круга, известно, однако, что посещает бассейн на Кропоткинской.

Сдержанно поблагодарив, Андрей Николаевич подумал о тяжком испытании, выпавшем на его долю. Приходилось восстанавливать дружбу с Галиной Леонидовной, бассейн она давно облюбовала для ударов по психике женатых мужчин. Она, взрослая, от пятнадцатилетней Гали Костандик отличалась лишь цветом перекрашенных ресниц да более плавными закруглениями плечевых и тазобедренных суставов. По всей видимости, влечение к мужчинам убыстряет ход биологических часов женщины, у Костандик они остановились еще до первого замужества. По цепочке знакомств она получила доступ к абонементам на месячные и недельные плескания в бассейне, дарила их семейным парочкам и внезапно возникала перед ними там, в бассейне, Афродитой из хлорированной воды, — длинноногая, гибкая, без единой морщинки, без жирка, — и мужчины, знавшие ее возраст, невольно косились на оплывающие фигуры жен, чего и добивалась Галина Леонидовна; лучшей наградой для нее становились внезапные обрывы знакомств или телефонные звоночки распаленных ею мужчин.

С повинной головой он пришел к ней, в ее квартирку на Басманной, попросил помощи, выслушал мягкие упреки, прочитал новый труд Галины Леонидовны, с похвалой отозвался о нем («Психомоторные реакции женщины и сексуальные аффекты»). Показал фотографию того, с кем ему надо

познакомиться. «Заторможенные рефлексy, — произнесла та, — Гладков его фамилия...» Выяснилось, что в свои сети она его не заманивала, поскольку жена Гладкова, в прошлом спортсменка, мало чем уступала ей.

Андрей Николаевич приперся в бассейн в точно назначенное ему время. Побултыхался в отвратительной воде. Знакомство произошло естественно, приглашение (тут особо постаралась Галина Леонидовна) состоялось: завтра, шесть вечера. Мустыгины безмолвствовали, до отлета на Мальту оставалось двое суток, Андрей Николаевич шел в гости с твердым намерением: узнать, выпытать! Гладков ему очень понравился, держался тот с достоинством маленького человека, не знающего страха высоты и к высотам не стремящегося. Все поначалу шло прекрасно, Галина Леонидовна дала слово никого не провоцировать и, к удивлению Андрея Николаевича, с поразительным тактом поддерживала за столом общий разговор, показывая редкостную осведомленность в науке и политике. Близился миг уединения с Гладковым и разговора начистоту. Провала, кажется, не предвиделось.

Все сломала дочь, вернувшаяся с какой-то молодежной сходки. Впорхнула в комнату, села за стол, храбро подняла рюмку за здоровье многоуважаемого Андрея Николаевича, по учебнику которого она будет постигать в институте страшные тайны динамики и статики. По мысли Андрея Николаевича, очень хорошенькая и чуть полноватая школьница стояла на пороге раскрытия других тайн, менее страшных, она пребывала в том одуряющем состоянии духа и тела, когда кажется, что переход от поцелуев к следующей фазе отношений с каким-нибудь Витей или Толей сразу же просветит разум и сделает понятными не только корявые формулировки учебников, но и всю тягомотину с полиномами Чебышева. И Галина Леонидовна уловила душевно-телесные колыхания девчонки, которую природа наделила будущими радостями того, чего лишена была она сама.

Уловила она и другое — страх родителей и родительское неумение предостеречь, притормозить, оградить. Выхватив в разговоре за столом какое-то словечко, она повела речь про абортy, к полному изумлению всех дав краткую историческую справку и перечислив успехи оперативной гинекологии в вопросах повышения надежности этого мероприятия, крайне полезного для женщин; изысканные жесты Галины Леонидовны обладали редкостной красноречивостью, чему способствовал предмет обсуждения, в котором она оказалась докою, поскольку опровергла точку зрения какого-то Скробанского, утверждавшего, что децидуальная оболочка не может быть выскоблена целиком; она, Галина Леонидовна, оповестила также, что орошение полости матки йодной настойкой представляется ей не такой уж безвредной процедурой. Аборт обязана делать каждая женщина один раз в год — к такой мысли подвела собеседников Галина Леонидовна. Чистка матки оздоравливает женщину и способствует правильному функционированию всего аппарата деторождения, квалифицированные абортy делают эластичными стенки влагалища, наконец.

Блестя повлажневшими глазами, дочь с восторгом подхватила запретную тему, ошеломляя родителей уточняющими вопросами, пресекая попытки отца перевести разговор со скользкой тропы на магистральное шоссе со множеством указателей. Мог бы остановить ядовитое словоблудие Андрей Николаевич, но он, раскрыв рот, внимал эрудиции той, которая в чистке никогда не нуждалась: лишь опытный сантехник мог разобраться в системе ее трубопроводов и найти воздушную пробку, мешавшую нормальной циркуляции. Да и прелюбопытнейшие мысли текли в Андрее Николаевиче — о компенсационных механизмах психики. Спаривание особей всегда было грязным и постыдным процессом, достаточно глянуть на игры низших приматов; нормальные женщины могли примитивный акт возвышать до величия героической трагедии, до драмы со счастливым финалом, умели включать его в водевиль с переодеванием или представлять ленточ-

кой на финише спортивных состязаний. Галине Леонидовне ничего не оставалось, как ненавидеть таких женщин.

Внезапно он почувствовал боль, голову будто сплющивали в слесарных тисках, и спасением было: Галину Леонидовну — убить! Убить, потому что ненависть к ней стала нестерпимой!

Он привстал, чтобы рассмотреть предметы на столе, и остановил выбор на толстостенной бутылке. Вес ее, вместе с содержащейся внутри жидкостью, позволял, при хорошем замахе, размогнуть голову. Удар стал бы облегчением, освобождением от страданий, и сладчайшей музыкой услышался бы хруст черепной коробки. И кровь захотелось увидеть, брызжущую и текущую, красную и теплую.

Привстал — и сел. Одумался. Бутылка почти выпита, масса ее незначительна, замаху препятствует сервант за спиной. Да и некорректно это — прийти в гости с дамой и ее, при хозяйине дома, убить. «Другого места не мог найти, что ли?» — так подумают младшие научные сотрудники, его подчиненные, которым он прививал навыки рационального использования мозга. Убийство за столом может к тому же травмировать юную душу студентки, а той надо еще познавать полиномы Чебышева. Да и сама бутылка — уже у Галины Леонидовны, изображавшей вытягивание пробки из нее. Перегнувшись через стол, Андрей Николаевич наложил руку на гадкий рот Галины Костандик, выдернул ее из-за стола, потащил к двери и выволок на улицу. К счастью, невдалеке стояло такси. «Аминьевское шоссе», — произнес он, и сразу все прояснилось, все стало прозрачным и понятным. Не к абортам зывала Галина Леонидовна! К удушению всего живого в зародыше, всего непредсказуемого! Сама власть говорила ее устами, и власть надо было уничтожить! Хорошо бы еще сюда и Шишлина, гуманиста новейшей формации. Этот благоволил к эмбрионам, этот наслаждался их первыми криками, предвкушая последние!

Ехали долго, на другой конец Москвы. Уже начало темнеть, на Мичуринском проспекте зажглись фонари. «Монтировка есть?» — подался к шоферу Андрей Николаевич. «Смотря для чего», — деловито ответил тот. Галина Леонидовна помалкивала, сгорая от любопытства. Пролетавшие мимо огни отражались в ее искрящихся от восторга глазах.

Остановились у оврага, знакомого Андрею Николаевичу. Здесь была свалка районного значения, известная всем радиолюбителям столицы, сюда свозились отбросы телевизионных заводов. «Иди!» — толкнул он Галину Леонидовну, и она, задрав платье, пошла. В кислый и острый дух гниющей помойки вплетался запах подпаленной пластмассы и сгоревшего гетинакса, к сладенькому — это даже язык ощущал — разложению вываленного на землю хлама примешивался благородный, зовущий к поискам аромат трансформаторных катушек, поджаренных коротким замыканием. Свалка благоухала, сиреневая, могильная, отдыхающая. Мусоровозы еще спали в гаражах, ожидая утра. Луна светила, полная и ясная. Андрей Николаевич споткнулся, поднял железяку, пригляделся. Кажется, дрель, причем — бельгийской фирмы, что и установлено было, когда рассмотрелся товарный знак. Двухскоростная, это точно, вопрос лишь в следующем: сгорела обмотка или механическое повреждение? Андрей Николаевич огляделся. В кишечнике всегда копошится микрофлора, и здесь тоже при свете фар, когда подъезжали, вспугнулись и попрятались людишки, фосфоресцирующими тенями бродившие по оврагу. «Сюда, сюда...» — позвал Андрей Николаевич, найдя площадку, с которой труп покатится вниз. Галина Леонидовна, светящаяся радостью скорого и результативного акта, подошла и вскинула руки, как бы изумляясь неожиданной встрече. «Повернись!» — приказал Андрей Николаевич, и она показала спину, сомкнула над головой руки, как пикассовская девочка на шаре. И превратилась в женщину, попирающую все святыни. Дрель могла еще пригодиться в домашнем хозяйстве — и Андрей Николаевич ногой нанес сокрушительный

удар по развратному крупу бесовки. Бездна разверзлась — и в нее полетела Галина Леонидовна, увлекая за собой консервные банки. Шмякнулась обо что-то твердое, простонала коротко и затихла.

Не покидавший машину шофер глянул на дрель в дрожащих руках Андрея Николаевича. Дал добрый совет: «Ты там не измажь чего...» Выкапывался на шоссе. Посочувствовал: «Знать, довела... Сумочку ее не забудь...» У Триумфальной арки остановился, порекомендовал часть пути проехать городским транспортом, спрятав дрель под пиджаком, а сумочку надо раскурочить и выбросить в урну. Андрей Николаевич покопался в личном имуществе убитой. Косметичка, пропуск в Институт высшей нервной деятельности, крохотная записная книжка и таблетки от головной боли. Нашлись и деньги, но шофер отказался от них наотрез, даже по счетчику брать не хотел: «Статью пришить могут...» Пришлось доходчиво объяснить ему: в соучастии обвинят обязательно, в сговоре, если к месту убийства привез пассажира за просто так. Тепло простился с ним.

От дрели пахивало сожженной обмоткой, перемотать ее — суший пустяк. Радуюсь приобретению, Андрей Николаевич не сунул бельгийский инструмент под пиджак. Опытный милиционерский глаз сразу заподозрит в нем налетчика, очень уж дрель походила на короткоствольный автомат. Этим и следовало воспользоваться, никому из тайной полиции не придет в голову, что так вот, с оружием в руках, может гражданин появиться в троллейбусе, — и Андрей Николаевич благополучно добрался до своего микрорайона, подкрался к дому, затаился под аркой, чтоб отсюда коротким броском достичь подъезда, и был внезапно обезоружен, схвачен, приподнят и внесен в салон автомобиля, пахнувшего заграничным комфортом.

Это были ликующие братья Мустыгины. Они привезли его к себе (швырнув по пути дрель в Москву-реку), посадили в кресло под торшером и преподнесли подарок — газетенку под названием «За ленинский путь». Андрей Николаевич бросил взгляд на дату и обомлел: сентябрь прошлого года! Какие-то бессмысленные аббревиатуры, но район указан точно, Архиповский, — да это же в ста километрах от Гороховоея! В пятидесяти от Починок! «Удачи тебе, Аленушкин!» — это под фотоснимком, изображавшим нечто невообразимое, какой-то марсианской постройки корабль, что ли. Под кораблем, однако, следующее: «Картофелеуборочный комбайн системы Аленушкина С. Г.». Чуть снабжалась пояснением: «Успешно трудится на полях совхоза имени XXIII съезда картофелеуборочный комбайн, созданный руками механизатора Аленушкина С. Г. Ничем не уступая существующим, он выгодно отличается от них надежностью в работе. Выражаем надежду, что наши конструкторы заинтересуются изобретательской новинкой Аленушкина».

Братья потирали в восторге руки, хихикали: «Ай да мы!..» Их, конечно, можно понять. Тираж газетенки — сто экземпляров, два или три дойдут до областного центра, один из них отправится в Ленинку — и концы в воду, никто и не вспомнит о механизаторе Аленушкине. Они первые добрались до него, обогнав тайную полицию. А уж как старается та выявлять разных инакодумающих!

— На сто восемьдесят градусов надо развернуть снимочек-то! Наборщики дали маху! И фамилия механизатора — Апенушкин, а не Аленушкин...

Андрей Николаевич возрадовался. Вспомнился давний курьез, тяжба изобретателя Боркина с Комитетом по делам изобретений. В выдаче авторского свидетельства ему отказали на том основании, что описание и фотоснимок резца новой конструкции — уже опубликованы. Боркин, опровергая заключение, доказывал: хотя то и другое действительно попало на страницы журнала, речь там шла о резце конструкции Коркина — это раз, а во-вторых, в описании ни слова нет о новизне.

— Откуда... это? — спросил он, глядя на районную газетку, как на манускрипт X века.

В эйфории от удачи, братья пустились в откровения. Они изучили начальные досье своего хозяйства и вспомнили о воиловце Крохине, по моральным соображениям тот отказался ехать в совхоз. Совесть грызла его все эти годы, он и нашел Аленушкина, то есть Апенушкина, он своими глазами видел в работе комбайн и наивысшего мнения о нем.

— Кто-нибудь еще знает?

Никто не знал более. И Крохин умер час назад, Мустыгины нашли его в больнице, на смертном одре, умирающий хотел сжевать перед кончиною эту газетку. Они прибыли в самый раз.

Тем не менее Андрей Николаевич решил ни на шаг не отходить от Мустыгиных: за двое суток, что оставалось до самолета, они могли, по доброте душевной, разболтать новость, феерическую по масштабам. Дважды звонил он на работу Галины Леонидовны, там не менее его были обеспокоены отсутствием научного сотрудника Костандик: надо срочно ставить эксперимент с негром. Сумку, косметичку, кошелек и записную книжку он протер, уничтожая отпечатки своих пальцев. Все спрятал под ванной, у братьев. А те размахнулись во всю ширь евроазиатского характера, в Государственном комитете по новой технике добыли Сургееву документ (бланк, печать и подпись — подлинные), обязывающий всех областных и районных начальников ломать шапки перед Андреем Николаевичем, а командира танковой дивизии приютить в ангаре комбайн Апенушкина С. Г. Растроганный Андрей Николаевич поехал провожать Мустыгиных в аэропорт, со смотровой площадки помахал самолету и простился с теми, кто так много значил в его жизни. Братья улетали навсегда, они покидали этот мир. В Риме они пересядут на ДС-9 компании «Алitalia», и самолет бесследно исчезнет на полпути к Ла-Валетте, в морскую пучину уйдут братья, и милиции, нашедшей в их квартире вещи Галины Леонидовны, не придется допрашивать подозреваемых. Их нет уже, братьев Мустыгиных, они исчерпали себя тем, что рассчитались вчистую с Андреем Сургеевым, и жить им уже поэтому не суждено.

Накрапывал мелкий дождик. Морис-торезовская преподавательница ждала его в скверике у метро «Кутузовский проспект». Она раскрыла зонтик и провожала глазами черные «Волги», пролетавшие мимо, и не замечала красный «ягуар» неподалеку. Андрей Николаевич смотрел на нее с тягучей болью в сердце. Несколько минут назад, по его подсчетам, ДС-9 развалился в воздухе, и раскоряченные тела братьев Мустыгиных летели в воду опавшими листьями, унося с собой московские тайны, перепроданные «Яузы», Марусю, загранпаспорта и память о Лопушке. Ему было жалко их, себя жалко, и слезы жгли глаза его. Никогда он не думал, что слезы могут быть такими жгучими. Он выскочил из машины, позвал женщину под зонтиком и пошел ей навстречу, заговорил вдруг сухо, дидактично, как на лекции, потому что боялся расплакаться, потому что со стыдом и ужасом глядявался в глаза женщины, имя которой неожиданно забыл. Он сказал ей, что давно любит ее, что между ними была преграда, которую он разрушил собственными руками (говорить о правой ноге, сверзившей Галину Леонидовну в овраг, было кощунственно), что отныне никто и ничто не разделяет их, что сегодня (солгал) он отправляется на подвиг, он совершит его, он исполнит предначертанное, вернется, и они заживут вместе, втроем, он будет хорошим отцом дочери ее... Поначалу несколько разочарованная (в сумке лежал ключ от квартиры подруги), преподавательница слушала со все возрастающим вниманием, а затем стала пугаться, отжиматься от него, сложила зонтик, чтоб он не давал Андрею Николаевичу повода стоять рядом с нею грудь в грудь, но потом подняла к нему необычайно похорошевшее лицо, влажное и милое, и губы ее прошелестели: «Возвращайся...» Он носом ткнулся в мочку ее правого ушка и, повернувшись, зашагал к «ягуару», прекрасно зная, что не позвонит Ларисе (имя

вспомнилось) и не увидит ее никогда, и не ложь это во спасение, а нечто большее: так надо, так велит судьба, и обман этот оправданный, без этого обмана, без этих слез, вновь наполнивших глазницы, ему не совершить главного дела жизни.

11

Выехал затемно. Дорога была знакомой, как и посты ГАИ, — и, приближаясь к ним, Андрей Николаевич притормаживал, да и узкое шоссе забито машинами, город высасывал из деревни капусту и зерно, картофель и свеклу. «Ягуар», построенный для европейских магистралей, легко одолевал российскую полосу препятствий, и дождь пошел вовремя, смыл грязь. В Евсюках (это уже триста километров от Москвы) пообедал, походил вокруг церкви, куда свозили картошку студенты, послушал их разговоры. Ребята возмущались малым наличием мешков: в них бы отправлять картошку в город, в них, а не громоздить ее кучами для погрузки навалом, чтобы гибла в пути. Славные ребята, так и не понявшие сути происходящего.

В Гороховее был еще до полудня. Дожди стороной обошли город, на улицах — привычная пыль и та свойственная городу неторопливость, от которой сладко колыхнулось сердце. Если уж встретились две бабы, то не меньше часа простоят у чужого дома, посудачат обо всем, а там из окна выглянет третья, и ведь ни одного лишнего слова, максимальная емкость информации.

Над погостом шелестят пожелтевшие листья берез, две могилки, обнесенные оградой, ухожены, и не руками воспитанников меняются гвоздики и астры перед плитами с высеченными именами, старухи присматривают за обителью тех, с кем они встретятся вскоре. «И мне туда же...» — пришла вдруг догадка, дохнув на Андрея Николаевича хладом и страхом. Он, подбирая возражения, успокоил себя: всего лишь пятый десяток, еще жить да жить, и уж тебе ли не знать, что приходит в голову, когда ты у могилы нечужих людей.

Внял голосу разума: далеко еще, далеко! Но приложил руку к плите, чтобы передать родителям свое тепло, и отнял руку; камень, нагретый солнцем, стал переливать себя в более холодное тело, жар коснулся пальцев, сердце отозвалось толчком. «Спасибо», — неслышно сказал Андрей Николаевич, благодаря родителей за то, что они исказили его жизнь, родив его с вечным разладом души; сами этот разлад несли в себе, скрывая ото всех, от сына тоже, и только под конец жизни взбунтовалась в них совесть, и не бытовая, личная, а общая для всего рода человеческого. Откуда она у них? Кто из дедов и бабок вдруг возвысился над суетой прокормления? (Подумалось: «Зову живых...»)

К двум часам дня он въезжал уже в деревню Цацулино, место обитания механизатора Апенушкина. Теперь не надо спешить. Машину он загнал в тупичок, образованный сходящимися плетнями приусадебных участков, и пошел по единственной и главной улице деревни. Двести домов, не меньше, но уже кое-где забытые ставни. Село когда-то было богатым, разбойничьим, торговым, самые неумные бежали отсюда на юг, пополняя стихийные банды, лишь в самом начале 30-х годов прекратились шатания, взнуданный люд пошел в колхоз; мать утверждала, что в Гражданскую войну Цацулино почему-то облюбовали и белые и красные, сделали местом публичных казней, виселица, воздвигнутая на скорую руку, скрипела, гнулась, покряхтывала, но исправно выдерживала тяжесть подвешенных беляков и краснопузых. Кто ныне вспомнит, да и кто вообще знает?

Карамельки, сахар и мыло отпускали в магазине, пахло же — керосином. Андрей Николаевич приbedненным голосом стал расспрашивать са-

мую глазастую бабу в очереди: машина у него застряла неподалеку, кое-какой ремонт надо сделать, так где ему найти Апенушкина?.. Спросил — и понял, что попал в точку, что только Апенушкин и может в этой глуши возиться с металлом, такая уж у него слава была, и как ей не быть: Андрей Николаевич в этой деревне так и не увидел мужчин среднего возраста, старики да дети попадались на глаза, протарахтевший на «Беларуси» тракторист еще в школу бегал, наверное.

«Апеней» звали здесь Апенушкина, и ласково это звучало, и чуть пренебрежительно, но не деревенским дурачком он был, иначе не стали бы бабы с такой готовностью помогать приезжему человеку. Кто-то из них утром видел Апеню на складе, потом его заприметили у силосной башни, и наконец выяснилось: Апеня — у себя, на Выселках, то есть в километре отсюда, во-он там, за березовой рощей, там его хозяйство. У изголодавшихся по новостям баб глаза горели желанием порасспросить городского человека о житье-бытье в далеких краях, но местный этикет запрещал прямое и грубое получение информации, только на добровольной основе. Андрей Николаевич поблагодарил. Мимо магазина проехал малым ходом, чтоб никаких сомнений не оставалось: неладно что-то с автомобилем, ой неладно!.. Дорога была прямой, накатанной, следы на ней — тракторные и автомобильные, справа и слева — уже вскопанные поля, но картошка убрана не везде, что не могло не радовать: будет где разгуляться комбайну. Сотня ворон тяжело покинула еще не оголенные ветви, встревоженная красным «ягуаром», карканье напомнило детство, в памяти всплыл никогда не вспоминавшийся эпизод: стрельба по воронам из катапульты, за один бросок выпрямляющаяся березонька метала в крикливую стаю полсотни камней. Остановился «ягуар» — уселись на ветки и вороны. Три вместительных сарая, а под навесом — остатки того, что было когда-то селяками, жатками, косилками, копалками и сажалками, — вот и все Выселки. В самом маленьком и ближнем сарае кто-то затачивал железо на наждаке, не на ручном, не с приводом от ноги, и Андрей Николаевич ищуще обвел глазами крыши сараев, но так и не увидел ни одного провода. Источник питания был здесь, где-то рядом, и когда шарканье наждака сменилось тишиной, он вслушался в нее и уловил почти бесшумную работу генератора. Завернул за сарай и увидел вход в пристройку, открыл дверь с предупреждающими и устрашающими надписями, глянул и понял, что делал генератор и аккумуляторные батареи не просто грамотный человек, а искусный мастер. Прикрыв дверь и определив примерно мощность источников постоянного и переменного тока, он тем не менее удивился, когда в том конце сарая, где работал наждак, увидел токарный станок и еще несколько электромоторов с приводами. За выгородкой располагалась кузня, она бездействовала, однако система поддува не могла не вызывать нижайшего почтения к хозяину этой мастерской. Все было очень рационально, добротное, умно. И выдавало в мастерской стиль, манеру как-то по-своему делать веками отработанные операции. Сам он стоял спиной к Сургееву, у станка. Выключил его, всмотрелся в сделанное, удовлетворился и только тогда, вытерев руки чистой фланелькой, приглашающе указал гостю на скамейку. На нем была обыкновеннейшая спецовка с пятью или шестью накладными карманами, на ногах — кирзовые сапоги. Рослый, как и Ланкин. Лицо бледное, незагорелое, вытянутое, что-то скифское отозвалось в нем, диковатое, что ли... Заговорили — о том о сем, о наждаке, о скоростях вращения абразивного камня, о заточке резцов, еще о чем-то. Говорил Апенушкин чистым, грамотным русским языком, без примеси местных словечек, и проскальзывала в гласных некоторая затянутасть, чуть тверже произносились кое-какие согласные. Родился он, это точно, в русской семье, но кто-то был рядом, с иной фонетикой, человек в семье уважаемый, не с решающим голосом, но и не с совещательным, авторитетный был человек, из чужих краев, прибалт или чухонец. Иностранной речью окрашена

была звуковая атмосфера, которой дышал ребенок, и акцент, уже неотделимый от речи, создал обособление, отчуждение от остальной ребятни, да и семья, возможно, кое-какими причудами отличалась; степная дикость прошлых эпох не могла не проявиться в разных мелочах: как-то иначе сидел парнишка за партой, либо тихо, либо громко, но — иначе, и непохожесть заставляла — как рыжего, как урода — подтягиваться под среднюю норму поведения, но опять же по-скифски, не так, как принято в Гороховее и везде, а нагнетанием в себе страсти, желания делать что-то так, чтоб никто не мог повторить или превзойти. Так воспитывалась индивидуальность, личность.

Поддерживая удачный разговор, Андрей Николаевич рассказал о милиции, куда попал с немецким пулеметом МГ-34, о первом в жизни мотоцикле, и Апенушкин, понимая его, улыбался... Наверное, таких приключений в его жизни было немало, а было ему столько, сколько Андрюше-Лопушку в год, когда послали его в совхоз «Борец». Жизнь только начиналась, в армии уже отслужил, здесь ему не нарадуются, семья крепкая, двое детей, жена по дому бегаёт, детей некому оставить, мать-отец уже сами требуют присмотра, да и в семнадцати километрах отсюда живут, а мать Капы, жены то есть, не очень-то помогает дочери, поросят держит...

О теще, за поросят державшейся, он как-то обходно сказал, мельком, не желая посвящать гостя в секреты семьи — не потому, что не был уверен в доброжелательности его, а оттого, что не хотел мысли и чувства его обременять ненужной информацией, — очень тактичным, от природы воспитанным был Савелий Георгиевич Апенушкин, не по возрасту умудренным. Абсолютно дикая версия подкралась к Андрю Николаевичу: уже не одних ли они кровей? А вдруг — сын Таисии, подобранный ею бездетным супругам Апенушкиным? Ни братьев, ни сестер у Савелия-то нет! А?

Бред, конечно. Быть того не может. И Апенушкину уже под тридцать. Институт мог бы уже кончить, но куда там! Выгнали бы оттуда, как поперли из, смешно сказать, школы младших авиационных специалистов, неподходящ оказался, стал дерзить, преподавателя оспаривать, так до конца службы и подметал бетонку в батальоне аэродромного обслуживания. Но (это угадывалось, этого не могло не быть!) самолюбиво прислушивался к беседам инженеров и техников, кто-то из них, ненавязчиво, интуитивно уловив жажду знаний у нескладного длиннорукого парнишки, подсказывал ему, объяснял, растолковывал, а то и совал в голову непрожеванное и сырое, надеясь на ум, сквозивший во взгляде.

Тут и сама Капа пришла с обедом, одета под гороховейскую модницу двадцатилетней давности. На локте — корзиночка, в ней — кринка молока, сало да хлеб. Древний обычай всегда считал путников голодными, и Апенушкины пригласили к столу Андрея Николаевича, столом был верстак, на котором Капа расстелила газету, сдвув металлические стружки. В ящичке под замком — стаканы, кружки, ложки. Отец семейства обсуждал с матерью детей проблемы воспитания подрастающего поколения (дочерям соответственно 2 и 4 года) да вопросы благоустройства жилища, и Капа, во всем повинуюсь мужу, вставляла замечания, которые свидетельствовали: и она кое-что соображает и в кое-каких делах мастер отменный, и мужу она не возражает открыто по той причине, что подойдет время — и Савелий сам поймет невысказанную правоту ее.

Молоко было парным и отменного вкуса, хлеб духовитый и мягкий, сало пронизано красными беконными прожилками. Все вкусно, все прекрасно, и сельский механизатор показывал чуть ли не образцы истинно британского воспитания: он всегда, говоря с женой, так разворачивал тему, что находился повод спросить у гостя — а как он к этому вот относится?

Андрей Николаевич весь расплывался от счастья, которое наступит вот-вот. Он был абсолютно убежден, что через полчаса увидит лучший в мире картофелеуборочный комбайн, а еще через три часа танковая дивизия возьмет на недлительное хранение чудо отечественной мысли.

Обед подошел к концу. Капа не смела крошки на пол мастерской, чтоб не плодить мышей, а сложила газету и сунула ее в корзинку. Затянув углы платочка потуже, она тихо и как бы необязательно спросила, когда вернется Савелий домой, и тот с ответом помедлил, дав этим понять, что вопрос несколько бестактен: к нему приехал товарищ, по делу, и всякое напоминание о доме служит вроде бы намеком на желательность скорейшего окончания визита, то есть вмешательством в чисто мужские дела.

— В магазин зайди, — проговорил он, что означать могло следующее: приехавшего товарища придется, возможно, оставить у себя на ночевку, так ты там купи чего-нибудь такого, чтоб гость не был обижен.

Андрей Николаевич вспомнил, что продают в магазине, и почувствовал умиление.

Оба они смотрели в окошко и оба видели, как с корзинкой на локте удаляется Капа, свернула по дороге вправо и скрылась за бело-черными стволами берез. Оба молчали. Между ними уже установилось некое приятельское согласие, Апенушкин молчанием позволял гостю первым начать разговор о деле, и Андрей Николаевич не просительно, а понятно, будто обо всем договорено было заранее, сказал, что очень хочет посмотреть в работе изобретенный комбайн, и Апенушкин чуть заметно кивнул, соглашаясь удовлетворить просьбу, но потом предупредил: ему вообще-то запретили показывать, приезжали тут из обкома... «Мне — можно», — глянул ему прямо и твердо в глаза Андрей Николаевич.

Из ящика верстака Апенушкин достал связку ключей. Пошел к двери, Андрей Николаевич — за ним. Комбайн спрятан был в дальнем сарае, надежностью и крепостью походившем на амбар, и замок был истинно амбарным, пудовым. Апенушкин предостерегающе поднял палец, и ворота сами распахнулись, когда замок оказался в его руках. Андрей Николаевич успел отойти в сторону, заходить в сарай он не посмел. А оттуда на «Беларуси» с прицепной тележкой выехал Апенушкин, выскочил из кабины и жестом предложил гостю занять его место. Сам же вернулся в сарай. Андрей Николаевич, прекрасно понявший жест, тронул трактор и поехал к краю картофельного поля. Оглянулся — и увидел то, ради чего и прорвался сюда, сквозь годы и запреты, через труп Галины Леонидовны.

Не комбайн с барабанами, элеваторами, транспортерами и лемехами, присущими этому виду уборочной техники, а всего-навсего — самоходное шасси с укрепленными на нем конструкциями непонятного назначения. Лемехов не было! Не было! Ни отвальных, ни колеблющихся! Как же будет извлекаться из земли картошка?

Андрей Николаевич мысленно прикусил себе язык и приказал мозгу потерять способность разъедающе анализировать, сопоставлять, сравнивать, искать прототипы и размышлять над тем, что составляло, по всей видимости, тайну. А тайна лежала на станине шасси, во всю ширину его, в прямоугольном плоском ящике. Длинный лоток, выпирающий из него, мог служить только одному назначению — подавать картофель в кузов рядом едущего грузовика. Или, как сейчас, в тележку, прицепленную к «Беларуси». Он вел трактор и видел, как земля вместе с картошкой сама прет в подставленный рукав, опадает — уже без картошки — и, смешанная с крошечком ботвы, остается позади, а картошка мягко, по удлинившемуся лотку, втекает в тележку.

Он смотрел и не думал. Дважды Апенушкин останавливался, чтоб Андрей Николаевич опорожнил тележку в сарае, где уже лежали горы картофеля и нельзя было найти ни одной поврежденной или поцарапанной слегка картофелины.

Еще светило солнце, до конца светового дня — три или четыре часа, еще на двух гектарах лежала под землей картошка, но Апенушкин, ничего

не объясняя, повел комбайн к сараю, и Андрей Николаевич стал размышлять и вспоминать. Это было не просто изобретение, а нечто большее. И даже не пионерское изобретение, открывавшее новую страницу в истории сельскохозяйственной техники. Механизатор Апенушкин удивился бы, скажи ему о механических игрушках одного австралийского экспериментатора. На этих игрушках австралиец (Андрей Николаевич забыл его имя) обнаружил странное явление, опровергавшее законы механики, описал его и опубликовал. Было это в конце прошлого века. Эксперименты пытались повторить, но никто не смог этого сделать, и в историю науки австралиец вошел фантазером, но фальсификатором его обозвать постеснялись, потому что математический анализ явления позволял утверждать, что искомый результат возникнуть может.

Нет, не какая-то новая страница или глава. Произошел прорыв в новую цивилизацию, возник непредусмотренный футурологическими расчетами абсолютно новый класс машин.

Андрей Николаевич загнал трактор в сарай, обменялся с Апенушкиным словами, какие произносят мужчины после хорошо исполненной работы, вышел, завернул за угол, в багажнике «ягуара» нашел резиновый коврик, расстелил его на земле, глянул на небо, чтоб по солнцу определить, где располагался заточенный в его квартире Дух, но как назло светило померкло, задвинутое тучами. Тем не менее Андрей Николаевич опустился на коленки, решив просьбу свою вознести тому, кто повсюду, кто на севере, востоке, западе и юге, кто в центре Земли и на всех звездах сразу, кто и между светилами тоже.

«Господи! Я знаю, что Тебя нет, что Ты всего лишь образ, фантом, призрак, но ведь и все мы — сон материи, бред Мирового Разума и кошмарные видения Мирового Духа».

«Тебя именуют еще и Создателем, и хотя эта версия кажется мне сомнительной, я не отрицаю Твоего права считать себя Первопричиной».

«И Тебя, Создателя, я благодарю за то, что в скопище людей я помещен Тобою, и не где-нибудь, а среди погибающих племен государства, о котором Ты знаешь все».

«Я благодарю Тебя за то, что во всеядной благодати своей Ты дал племенам этим воздух, землю и воды».

«Но Ты и ниспослал на них Шишлина и многих ему подобных, которые доподлинно знают: после них — потоп, землетрясение, вселенская катастрофа. Да и как иначе: если есть жизнь, то должна быть и смерть, и сытые потому сыты, что голодают голодные».

«Помоги же мне продлить агонию голодных».

«Защищая установленный Тобою физический порядок, я пытался спасти пахотные земли от нашествия прожорливых, бессмысленных рязанских комбайнов — и добился обратного: картошки все меньше и меньше, а земля оскудевает».

«Я хотел спасти народ от другого нашествия — и потерпел поражение».

«В этом моя беда и в этом моя вина».

Андрей Николаевич приглушил свой внутренний голос и прислушался. Всесущная Личность, называемая также Богом, либо погрязла в текучке свалившихся на нее претензий, либо до крайности была возмущена вмешательством в дела свои, и на попытку вступить с нею в контакт — не реагировала. Подавленный и несколько оскорбленный Андрей Николаевич малость поелозил коленками, сползая с острых камешков, ощущаемых даже сквозь резиновый коврик. Где-то на западе громыхнуло, предвещающая грозу. Но, возможно, это было сигналом: продолжай!

«Я прошу Тебя: дай мне силу и дай мне желание спасти человека, имя которого Ты знаешь. Потому что хватит оперировать всеобщими категориями добра и зла, во имя их творилось все зло».

«Тебе ли не знать, что Апенушкина ждет гибель. Дар прозрения позволяет мне видеть то, что произойдет с Твоего соизволения. К дому механизатора подкатит служебный автотранспорт и увезет отца двух дочерей и мужа Капы в тюрьму, ибо никому не дозволено спасать от неминуемой гибели племена, уже пораженные трупным ядом. Никому».

«Никому. Погиб Ланкин, который притворяется живым. Арестуют Панова. Сдохнет Кальцатый. И сошли в могилу те, которые привели меня сюда. Так помоги мне спасти Апенушкина».

«Помоги».

«Ибо жалость к людям обуревает меня, хотя знаю гибельность и вредность осуществляемого сочувствия».

«Зло всегда кормилось добром, оно подпитывается им, и лишить зло очередной порции съедобного — вот чего хочу я...»

Колхозник Апенушкин, гениальный изобретатель машины, которая могла бы в технике произвести переворот, сравнимый с созданием колеса, давно уже видел, что приехавший к нему столичный гость занят чем-то малопонятным, сидит на коленках, что-то высматривая на горизонте. Чтоб не ставить москвича в неловкое положение, Апенушкин отвернулся и нашел себе занятие: стал перевешивать на пожарной доске кирки и лопаты. Открыв ящик, он проверил, есть ли там песок. Заглянул и в бочку с водой.

Сюда, к бочке, и подошел Андрей Николаевич. Что-то важное и тревожное выражало его лицо, и Апенушкин, чуть напуганный, невольно глянул назад, на дорогу: уж не катит какой-нибудь начальник? Твердо смотря в его глаза, Андрей Николаевич произнес, не без торжественности, несколько хвалебных слов. Завершились они протяжным «однако...», после которого обычно следуют убийственные возражения.

Предчувствуя их, Апенушкин наклонил голову, готовясь принять муку. Услышал же он следующее. Произошло, сурово сказал Андрей Николаевич, невероятное совпадение: один и тот же механизм изобретен разными людьми в разных странах. Такого рода совпадениями полна история науки и техники. Итальянец Маркони и русский Попов одновременно послали в эфир сигналы радио, к примеру. Паровоз, самолет, дирижабль, пароход и многое другое рождалось людьми, не подозревавшими, что где-то за тридевять земель их машины и механизмы, идеи и теории копируют и повторяют. Такая тонкая и сложная вещь, как дифференциальное исчисление, и то имеет двух авторов. И в более крупных масштабах эта закономерность проявляется. Так вот: безземешный картофелеуборочный комбайн создан далеко за океаном, в Америке, два года назад, ныне же он прошел все испытания и запатентован. То есть, иными словами, никто уже не имеет права без ведома американцев использовать идею и конструкцию машины. Никто! Невероятность совпадения в том, что этот комбайн (Андрей Николаевич показал на сарай) ничем не отличается от американского, точная копия, — что ж, и такое бывало в истории. Но в нынешнюю эпоху эта полная схожесть может привести к большой беде. К очень большой. Чрезвычайно большой!

— К какой? — после долгого молчания спросил Апенушкин и опять глянул на дорогу: не едет ли кто? Видимо, все страхи его были связаны с дорогой, по которой к нему ездили из обкома и райкома.

— К такой... — пригрозил Андрей Николаевич, и взгляд его был осуждающим, отличающим, безжалостным. — Американцы решат, что мы украли их изобретение. Будет грандиозный скандал. Международный. Военный конфликт. Мировая война с применением атомного оружия.

— Это — верно?.. — прошептал Апенушкин, и Андрей Николаевич, глаз не сводивший с него, достал из кармана документ, которым снабдили его братья Мустыгины.

Прочитавший эту бумагу Апенушкин некоторое время находился под впечатлением ее, однако в правоту слов москвича уверовал только тогда, когда бросил взгляд на красный «ягуар», и Андрей Николаевич возблагодарил себя за расчетливость и догадливость. Правильно сделал он, в опасный вояж отправившись в иностранной машине. «Волгам» черного цвета Апенушкин, конечно, не доверял. Пугался их, трепетал перед ними, но втайне презирал их. А владельцу красного «ягуара» — поверил. Протянул гостью бумагу, озабоченно почесал затылок.

— И атомная война — начнется?

— Начнется! — с ужасом подтвердил Андрей Николаевич.

— Что ж делать-то? — боязливо спросил гений, и в голосе была надежда: выручай, дорогой товарищ из Москвы, подскажи!

«Уничтожить!» — надо было сказать ему, но Андрей Николаевич не мог этого сказать, потому что нельзя было уничтожить величайшее творение эпохи. Твердым шагом вершителя судеб пошел он в сарай, увлекая за собой Апенушкина, и там рассмотрел комбайн. Тот длинный ящик, в котором была тайна, не приварен к станине шасси, а крепится болтами. Работы на полчаса, не больше, но куда спрятать ящик так, чтоб никто не нашел его ни при каких обстоятельствах? Еще раз прокрутив в голове все варианты, он остановился на самом эффективном и спросил Апенушкина, может ли его машина выкопать яму диаметром в три метра. Тот понял сразу и тут же полез в кабину комбайна. Андрей Николаевич тоже вскочил на площадку справа от нее, и комбайн поехал в поле. «Где?» — спросил взглядом Апенушкин, и Андрей Николаевич высмотрел хорошее место для благородного и скромного захоронения. «Здесь», — ткнул он пальцем, и неприметная точка на земной поверхности стала раздаваться в стороны и углубляться. Работа была виртуозная, комбайн мог свалиться во все расширяющуюся яму, и когда глубина ее показала Андрею Николаевичу достаточной, комбайн замер. Спрыгнул Апенушкин и откуда-то из-под шасси достал гаечные ключи. Они отболтили тайну, и длинный, двухметровый ящик понесли, как гроб, и осторожно спустили его на дно воронкообразной могилы. Солнце уже зашло, подул ветер, всего одна лопата была при комбайне, Апенушкин бросал ею землю, Андрей Николаевич уминал ее ногами. Пахло сыростью и глиной, Апенушкин работал остервенело, комья земли падали на Андрея Николаевича, песок скрипел на зубах, дыхание было тяжелым, громким. Он быстро устал. Земля летела на него, а он не мог увернуться, отойти чуть в сторону, потому что ноги были уже по колено в могильном конусе. «Да постой ты!» — хотелось крикнуть туда, наверх, Апенушкину, но Андрей Николаевич молчал. Он не двигался. Он не утапывал уже падающую землю. Он стоял неподвижно, не уклоняясь от комьев, они глухо ударяли по нему и разваливались на куски. Камень угодил ему в голову — он не вскрикнул, не потер ушибленное место, да и не мог уже поднять руку; по плечи вошел уже в землю Андрей Николаевич и блаженствовал, смотря в небо, затянутое тучами, задрал голову и видя в небе сильные яркие звезды, слыша орган, под который он шел к великому таинству небытия; и близился миг перехода, и Андрея Николаевича пронзило: да как же это он не понимал ранее — эту сладость и святость перехода? Нет, он понимал, он все понимал! Он всегда стремился к краю пропасти, и разве пропастью не была Таисия? Разве в совхозе, готовя к взрыву котельную, не искал он смерти? Разве не его волокло к головокружительной бездне и не тянуло к полету, когда на собраниях, на заседаниях или просто в разговорах он произносил слова, обращавшие коллег в паническое бегство? А та история, когда он бегал по Москве? Он ведь приговорил себя к смерти, выпрашивал разрешение на смерть, хорошо зная, что увильнет от смерти? А могила Али, куда он забрался?.. И вот она, смерть, совсем близко, и какое это наслаждение — не дышать, не двигаться, войти в землю, раствориться в ней, стать ею, землею!

Он открыл глаза и удивился: совсем светло. Апенушкин стоял рядом, стряхивал с него землю, бормоча извинения — забыл, мол, что человек в яме, закидал его. И вовсе не светло вокруг. Синяя мгла над черной пашней, вдали — березовая роща, белеют и сараи. В ушах — звон, во рту — глина. Андрей Николаевич сплюнул. Апенушкин помог ему забраться на площадку рядом с кабиной, повел комбайн к роще, к сараям. Андрей Николаевич совсем пришел в себя. Предупредил механизатора, чтоб тот — никому ни слова. Включил в «ягуаре» свет и развернул карту. В Москву надо ехать как можно быстрее, кратчайшей дорогой, — чтоб там, в Москве, умереть, ибо никак нельзя уничтожиться в этой глуши: кто доставит труп в Москву, чтоб похоронить его рядом с Алею?

Уберегая себя от преждевременной кончины, он осторожно вел машину. Когда до столицы оставалось тридцать километров, нашел столовую и очень плотно поел, поскольку до следующего приема пищи неизвестно сколько времени. Дома разделся догола, вымылся, то есть обмыл себя заранее, расстелил кровать, лег, сложил на груди руки, предварительно сунув под подушку Николая Кузанского, и благополучно почил в бозе. В полном соответствии с данными, сообщенными теми, кто побывал в клинической смерти, Андрей Николаевич вступал в небытие, ощущая себя поездом, летящим по тоннелю. Он сам себя увидел как бы и сверху, и сбоку, и свет в конце тоннеля ослепил его.

Глаза его открылись, и он увидел потолок. В теле — некое странное ощущение, желание что-то жевать и проглатывать. Темно. Звонит, кажется, телефон. Встал, подошел, поднял трубку и услышал Галину Леонидовну. Та, плача и смеясь, заговорила о том, как бесчестно поступил он, когда сталкивал ее в овраг. Она долго лежала без сознания, ее не скоро нашли, но тем не менее она, несмотря на поломанные ребра и трещину в черепе, благодарна ему, потому что ее беспамятством воспользовались ничтожные людишки, разные бомжи, обитавшие на свалке, и она наконец-то познала жуткую сладость секса. Сегодня, продолжала Галина Леонидовна, ее выписывают из больницы, и она сразу поедет к нему, привезет что-нибудь вкусненькое. До встречи!

Ошеломленный голосом с того света, Андрей Николаевич так и застыл с телефонной трубкой в руке. По всем его представлениям, земные технические средства не в состоянии были подключаться к потустороннему миру и убитая им Галина Леонидовна ни из какого телефона-автомата в загробном царстве звонить ему не могла.

Но позвонила же! Говорила с ним!

Андрея Николаевича осенило: да он сам — мертвый ведь! Забыл, что умер. Ну да, все правильно: вернулся из деревни и умер. И теперь он в одном континууме с Галиной Леонидовной, в пространстве, где несколько изменены физические постоянные.

Чего, правда, не замечалось, но, видимо, организм еще не свыкся с новыми константами. Обрадованный и взволнованный, он стал осваиваться, сжарил яичницу, выслушал по радио трескучую речь о новой конституции, демократичность которой вдохновляла. Стал строить планы на будущее — здесь, в этом новом для него мире, где живет значительно больше людей, чем в том, откуда он прибыл. А может быть, столько же? Надо подсчитать. Правая рука более удобна для писания, как это было и раньше. Следовательно, теория о право-левой симметрии опровергнута самой жизнью. То есть смертью, поправился Андрей Николаевич, и подумал, что и здесь нелады с картошкой, комбайны тоже отвратительные, овощи конечно же гниют на складах (радио тут же подтвердило эту догадку), а дать хоть маленькое счастье населению, даже в этом потустороннем мире, его долг, так и не исполненный пока.

Но не беда. Скоро придет Аля, его жена, которую он наконец-то полюбил. Наверное, уже пришла и сидит перед дверью, на ступеньках лест-

ницы, ждет, когда ее пустят. Продолжительным звонком объявит о себе Галина Леонидовна, верный друг дома и его семьи. Частым гостем здесь будет воировец Крохин, так никем не оцененный и не воспетый, святая душа и животворящая совесть. Жаль, что нескоро увидит он преподавательницу Ларису (та с белобрысенькой дочерью своей будет приходить на могилу его, оплакивать так и не сбывшегося мужа). Братья Мустыгины, загорелые и свежие, вернутся из воздушно-морского путешествия. Родители приедут и поселятся где-нибудь рядом, незамедлительно, прописки здесь нет, и за длинным столом под зеленой лампой потекут настоящие беседы, не оскверненные педагогикой.

С такими людьми приятно жить, хорошо общаться и делать нужные людям дела. И аванс Атомиздату возвращать не надо.

К счастью, Иван Васильевич Шишлин не вопреется сюда, хоть и скончается от рака. Он — условно мертвый, потому что люди, подобные ему, из породы бессмертных. Его там, в том мире, объявят вечно живым и раскошелятся на памятник ему.



АЛЕКСЕЙ АЛЕХИН

*

ЖЕНЩИНЫ, ДЕТИ, МУЖЧИНЫ

Окарина из Отрара

маленький музыкальный инструмент
певший когда-то
лежит в музейной витрине

и никто

не может извлечь ни звука
из онемевшей глины

Беседы о палеонтологии

мир
был весь черно-белый
покуда рептилии не научились различать цвета
этой книжки-раскраски

Покупка новогодних подарков в ГУМе

целая предпраздничная неделя
обернутая в рождественскую бумагу с золотыми звездами

на улице тихо
небо сыплет свое конфетти
и даже захавший во двор прозрачный автобусик службы ритуальных
услуг

с грудой нежно лиловых белых желтых гробов
кажется развозящим гостинцы

нынче
моя старая няня Прасковья на небе
наверное моет полы
райским цветочным шампунем

а мы выбираем подарки

галстук для папы
флакон в форме мотоциклетного бензобака для мужа
кукла с телом розовым даже на ощупь
модель парохода

универмаг так похож на застекленную башню Эйфеля
 женщины роются в ярких свертках и тряпках наваленных в кучу
 как в мусорных баках
 волхвы растерялись перед обильем товаров и опасно поглядывают
 на ценники

теребя кошельки

в конце 3-й линии бар на втором этаже
 два кофе с ликером: подруги

«А он знает, с кем ты едешь на праздники в Прагу?»

«Нет, конечно»

«Хорошенький, правда?»

«Я взяла бы чуть-чуть потемней»

раньше птицы сюда залетали
 после ремонта сплошное стекло
 женщины дети мужчины так похожи когда получают подарки

«Ну, пошли.

Он за нами заедет в четыре»

да и мне ведь пора
 я пожалуй куплю тебе тоже такой лак чуть-чуть потемней
 и еще ту прозрачную блузку
 вот и волхвы с коробками вышли из отдела игрушек «Lego»

как прекрасна эта бумага в серебряных блестках

под перепончатым сводом уместился целый мир предвкушающий
 праздник

или вокзал
 отъезжающий в Прагу на Рождество

и над всеми
 кого тут в кучу собрала любовь
 над гроздьями разноцветных воздушных шаров похожими на легкие
 клоуна

и над морем лаковых открыток готовых разнести по миру благую весть
 задумчива чуть рассеянна и нежна —

Женщина Бреющая Ноги

на трехметровом рекламном щите фирмы «Gillette»
 вся в белой пене
 как Афродита

Gloria mundi

представь себе:

«Титаник»
 разминулся со своим айсбергом

и не стал знаменитым

Последняя любовь

опавший с березы лист
у земли оказался бабочкой
и запорхал
за случившейся возле подружкой

Идея полета

старый туполев
сидя в кресле дачном плетеном
говорил:

красота тоже род интеграла

был художник один
жил во время гражданской в москве
мастерил
что-то вроде скульптуры

обтачивал дерево гнул на огне подобие птичьих костей
клеил
бумагу вошил
подгонял подгонял подгонял

в комнатенке с буржуйкой
день и ночь
только два раза в сутки гулял —
наматывал шарф
настежь окно открывал и ходил
из угла в угол

умер он от испанки в 19-м или 20-м

на углу немецкой и вознесенской
в бывшем трактире
мы тогда обитали

после смерти друга
к нам на телеге привезли его птицу проверить

мы собрали ее
и ведь полетела

он построил планёр

математики вовсе не знал и чертежей
я тогда узнавал специально
сын дьячка...

«идея полета»
так он ее называл
до самой войны пролежала в ангаре

говорят
сгорела в 41-м или 42-м
не знаю
я был далеко

Сад поломанных статуй

гипсовые щиколотки девушки с веслом
 сандалии пионера с горном
 копыто маршальского коня
 бронзовые башмаки вождя

администрация сожалеет о скоротечности времени
 выгул собак запрещен

каменные ягоды мыслителя

Art poétique

И. Шкляревскому.

пашню поэзии пашут волы

а вдохновение —
 птичка
 на сросшихся плоских рогах:

«ти-у ти-у...»

Торжество

нищие боги Индии босиком
 церемонные китайские боги мерно покачивающие веерами
 пьяницы бабники и драчуны с Олимпа в гремящих медных сандалиях
 начитанный бог евреев с заложенной пальцем газетой
 и желчный католический в золотом пенсне
 съезжаясь из «Президент-отеля»
 заполняют президиум и ложи Большого театра

публика пахнет духами
 сверяет по пригласительным билетам места
 листает программки

осанистый как банщик православный бог
 демократично беседует в проходе партера с мэром Москвы
 о строительстве Храма

задерживается представитель аллаха: говорят, на таможене

над сценой приветственный лозунг с досадно обвисшим углом:
 «Да здравствует 2000-летие со дня рождения Иисуса Хрис...»

виновник торжества
 в плохо сидящем сером костюме от «Большевички»
 и галстук завязан коротковато
 смущенно кивает через оркестровую яму входящим
 еле слышно отвечая на поздравления знакомых:

— Спасибо, Понтий...

Сага о Колымской трассе

километровые столбы с номерами на бушлатах

Трактат о достоинствах тени

высохшая тень вдовы
показывала мне желтый любительский снимок

он сидит за дощатым столом
перед домом щитовой довоенной постройки с бельем на веревках
пишет в толстую книгу
а с локтя до земли свисает тяжелая тень

он писал:

«сладкая тень дыни»
«ребенок беспечно играющий с тенью»
«окаменевшая тень мамонта»
«лохматая тень собаки бежит за уродливой тенью телеги
рассыпая по обочине клочковатые тени лая»

«глупцы полагают тень кое-как заштопанной изнанкою света
но быть может и вещи лишь заизвестковавшиеся оболочки теней вроде
скорлуп обитателей моря»

«носатые тени дураков»
«легкомысленные женские тени»

страница вырвана
зато вклеено несколько новых из блокнота поменьше:

«окоченевшие зимние тени»
«хорошо отмытые весенние тени»
«драгоценная узорчатая тень листвы и мраморной тонкой резьбы»
«тропические тени столь густы что их можно намазывать на хлеб
как варенье и подавать на завтрак»
(этот листок слегка испачкан чем-то лиловым)
«муравей с трудом тащит свою цепляющуюся за песчинки
крошечную тень»

в бечевке крест-накрест тонкая пачка самодельных конвертов
с пометками вроде:
«тень тамариска (Tamarix). Старый Мерв»
«тень журавлиного крыла (Grus antigone). Окрестности Кяхты»
«тень паровоза серии „Э”. Курск-Товарная»
— с датами 1930-х годов
совершенно пустые внутри

и снова из толстой тетради:

«я сказал им что никогда не стану (замазано тщательно несколько слов)
беспомощную человеческую тень»

опять нехватка страниц
и вклейка обрывка серой бумаги со следами карандаша:

«заполярные дни столь скудны что лишены даже чахлах теней»

и далее

чуть изменившимся почерком с более крупными буквами:

«в Китае тень заставляют паясничать и плясать на канате»

«вчера у меня плакал боксер изувечивший свою тень»

сотни страниц

выписки ссылки пометы:

«15 ярдов тончайшей малайской тени по 11 шиллингов 4 пенса за ярд
(из личной бухгалтерской книги капитана Джона Ф., 1674)»

в отдельных папках

счета железнодорожные билеты справки с отметками паспортных столов

диплом на серебряную медаль ВДНХ 1963 года

за оригинальную конструкцию раздвижных пляжных тентов

«изрытые ступнями тени пляжей»

так он писал бедняга

уже больной

последний год не выбирался даже в библиотеку

и только совершал обычный свой полуденный обход окрестных пустырей

огибая скрипучие тени заборов

«старик прогуливает собственную тень»

«голубые тени затопляют лунки следов на снегу

как талая вода»

интересующимся

могут быть предоставлены и другие материалы

или их тени



ЕВГЕНИЙ ЕЛИЗАРОВ

*

РЕКВИЕМ

Величие человека в том, что он сознает себя несчастным. Дерево себя несчастным не сознает.

Блез Паскаль.

Чтение, которое вас ожидает, необычно: это и не просто философия, и не просто проза и, при всей документальности, не относится к документальному жанру. Сегодня писатели любят подчеркивать свою причастность к так называемой «литературе существования», строимой профессиональными прозаиками-романистами на материале своих биографий в обход творческого вымысла. Автор «Реквиема», неподдельного жизненного документа, пишет не с умыслом создать художественное произведение (хотя создает текст не без литературных достоинств), а чтобы разобраться в том, что случилось с собственной жизнью, и отыскать смысл случившегося. И конечно же — чтобы, поделившись с другими, найти отклик в их сердцах и утвердиться в своих мыслях. Таким образом, мы имеем дело никак не с модной «литературой существования», провозглашающей факт жизни писателя фактом искусства, а скорее с озабоченной экзистенциальными задачами «философией существования» — с эссеистикой в духе «Мыслей» Паскаля, дневниковых записей Достоевского, исповедей Августина или Руссо.

С первых же строк «Реквиема» в нашей всегда «литературной» памяти воскресает известное место из «Записных книжек» Достоевского, где говорится о смерти жены, Марии Дмитриевны: «Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?» И в дальнейшем вольно или невольно мы продолжаем сопоставлять два эти исповедальные размышления — хотя и разведенные эпохами, но рожденные в сходных катастрофических обстоятельствах, или, по-современному говоря, «пограничных ситуациях». Люди XX века, мы добрую (а вернее — недобрую) часть жизни прожили под знаком «пограничной ситуации»: и житейски — в истребительных событиях столетия, и интеллектуально — в атмосфере так долго торжествовавшего экзистенциалистского умонастроения, в русле которого возник и вошел в философский обиход и сам термин.

Экзистенциализм учит, что размеренно протекающая человеческая жизнь ничего не знает о себе самой и только в экстраординарные моменты потрясений и катастроф — когда с сознания спадает пелена повседневности — открываются последние, безнадежно трагические, истины человеческого существования. А что может быть более потрясающе катастрофичным, чем смерть того, без кого немислима жизнь?! (Разве только его предательство!) Обстоятельства, которые претерпевают автор «Реквиема» и автор «Записных книжек», — находка для экзистенциалиста и идеальный, казалось бы, отправной пункт для философа существования нашего столетия.

Что же открывается из глубины «Реквиема»? (Да простит нам автор нашу — пусть и метафизическую — любознательность, но ведь он сам, своими размышлениями *de profundis*, пригласил нас вступить на этот путь.) Временами кажется, что он заново формулирует заповеди экзистенциалистской мысли. По Киркегору и Шестову, истина добывается на пути страдания и отчаяния, когда жизнь «задевает, затраги-

вает за живое». «„Познай или погибни?“ — должна приказать жизнь» (Л. Шестов, «Достоевский и Ницше. Философия трагедии»). О выходе к истине через страдание мы читаем и в «Реквиеме». Случается, оба автора изъясняются одними и теми же словами, к примеру называя трагический опыт (первый — каторгу Достоевского и «ужасную болезнь» Ницше, второй — собственное «потрясение потерей») утратой блаженной «невинности».

Однако общность на этом и кончается, распространяясь лишь на путь, каким приходит прозрение, но не на его содержание. Выстраданные истины оказываются совершенно разными. Правда, и в экзистенциализме есть варианты. У Кьеркегора и Ясперса благодаря трагическому потрясению человек открывает в себе религиозную глубину, а тем самым и некий выход к Богу. Согласно же доктрине нехристианских учителей «чистого» экзистенциализма — Хайдеггера, Сартра, Камю, так же, как и раннего Шестова, — в предельных положениях перед личностью раскрывается жуткая бездна: она обнаруживает себя на очной ставке с абсолютным ничто, перед лицом абсурда и безнадежности конечного существования. Эта генерализация вдохновила Шестова на то, чтобы включить Достоевского, как великого страдальца, в шеренгу безысходно трагических героев, а заодно — и подпольных антигероев, коим, как прозревшим страшную суть жизни, предписано вечно «биться головой о стену», поддерживая состояние отчаяния.

Но русский писатель, как и автор «Реквиема», лично пережив «пограничную ситуацию» в ее подлинности голый, равно дают примеры иной логики страдания. Здесь переживание невосполнимой утраты (любви) и сознание собственной вины не буксует на месте, а толкает страдальца к разрешению душевной драмы, ибо отчаяние, по замечательной догадке С. Аверинцева, — это сомнение в том, что страдание имеет смысл. Жажда уяснить этот смысл провоцирует мысль, и ее репортаж из самого горнила страданий ставит под вопрос достоверность экзистенциалистской логики, наводя на подозрение, что отчаяние — это не следствие трагического опыта, а мировоззренческая предпосылка. «Нестерпимая душевная боль», в которой автор «Реквиема» видит великое дарование, данное человеку для его прозрения, требует решения мучительной антиномии между невозможностью примириться со случившимся и невозможностью его исправить. (Вот тут-то как раз и может пойти в ход шестовский императив: «познай или погибни!».) Напряжение это претворяет разрушительное страдание в деятельное, толкающее на духовные усилия.

Оба автора удивительно сходятся в мыслях, рождающихся у них по следам терзаний, замешенных на любви и чувстве вины, хотя в двух этих случаях любовь и вина находятся между собой в обратной пропорции. Достоевский, который от живой жены, страдавшей к тому же тяжелой формой туберкулеза, отправился в «свадебное путешествие» с экзальтированной молодой литераторшей Аполлинарией Суловой, конечно же прежде всего переживал угрызения совести. Но как искупить вину, коль скоро нет уже в живых того, кого ты обидел?

Выход один — преодолеть господствующий на земле закон эгоизма и возлюбить другого, «как самого себя». Однако этот потребный душе и завещанный Христом идеал неисполним (как в данном случае) только в пределах земного бытия и требует бессмертия души и «будущей райской жизни», ибо человек может осуществлять, но не в силах осуществить в своем «переходном» состоянии завет самопожертвования до конца. Обобщение, к которому влечет Достоевского логика страдания, противоположно апофеозу отчаяния, но оно также совершенно чуждо и идее душевной анестезии: «Когда человек не исполнил закона стремления к идеалу, то есть не принюсил любовь в жертву своего я людям или другому существу (я и Маша), он чувствует страдание и назвал это состояние грехом. Итак, человек беспрерывно должен чувствовать страдание, которое уравновешивается райским наслаждением исполнения закона, то есть жертвой... Иначе земля была бы бессмысленна». Автор записок надеется искупить на путях самоотверженности и деятельной памяти свою вину перед женой и свидеться с ней очищенным и прощенным. Это же страдание только укрепляет Достоевского в его антипатиях к «учению материалистов», оставляющего нас при «косности» и «смерти».

Автор «Реквиема» Евгений Елизаров, человек со столь разнообразной житейской биографией, что ее трудно свести воедино, и с удивительно цельной биографией душевной, определившейся еще в отрочестве, когда он встретил свою тринадцатилет-

нюю Джульетту, ставшую в будущем его женой, сокрушен ее смертью и в отчаянии выискивает перед ней свою вину. Он занят придирчивым и суровым самодопросом, потому что любовь не признает расставания и ищет для него случайные причины (которых могло бы и не быть). Когда бы не медлительность сердца, все можно было бы спасти! «Все это время я безнадежно отстал». Но отставание — это черта жизни в катастрофических обстоятельствах.

Примечательно, что страдание ведет автора «Реквиема» как бы в другом по сравнению с Достоевским направлении — от любви к вине, — но приходит он к подтверждению тех же двух идей, что и автор «Записных книжек»: бессмертия души и совестливой самозабвенной любви. И так же, как Достоевский, он выражает убеждение, что поскольку в пределах земного бытия человеку во всей полноте осуществить себя не дано, то из этого следует продолжение труда искупления вины за горизонтами жизни. Автор идет не столько философским, сколько богословским путем, и хотя дело не обходится без некоторого богословского дилетантизма, он развивает небезынтересную, требующую к себе внимания мысль.

Необратимость случившегося и в то же время невозможность «смириться перед невозможным», мало того, уверенность, что муки совести будут преследовать и там, даже если время сгладит их здесь, ставит перед автором «Реквиема» излюбленный Шестовым и сформулированный еще Петром Дамиани вопрос: может ли Бог сделать бывшее небывшим? Да, Бог всемогущ, рассуждает Елизаров, но отмена им происшедшего в чьей-то человеческой жизни означала бы, что жизнь эта, так и не достигшая полноты, просто «отбрасывается прочь». Однако вопрос, не решаемый Богом, можем решать мы (если же мы не можем исправить содеянного, то все пропало). Дело в том, что существует двойной план бытия, и если «вещественность», «физическая суть» события не может быть отменена, то может быть преображена «нравственная природа поступка». На собственном опыте автор постигает, что, снова и снова возвращаясь с «болью раскаяния» к прошлому и «наполняя свой поступок совестью и любовью» — а это стихия, в которой Творец создал мир, — человек избывает свою поврежденную природу, а вместе с этим и свое прошлое.

Ракурс, совершенно отличный от шестовского. Наш российский экзистенциалист видел разрешение вопроса Петра Дамиани в волевом акте, точнее, в умственном своеволии, рассчитывающем на отзывчивость Верховной инстанции. Так, желая «отменить» безобразный факт отравления Сократа (а по сути, вычеркнуть его из памяти), Шестов отнимает у греческого мыслителя, принявшего смерть добровольно, все пережитое им, а заодно и саму утверждаемую им истину. В «Реквиеме» такое забвение о страдании другого названо «предательством». Тут отмена прошлого с его нравственной стороны достигается работой души на путях метаноии — поворота в сознании.

Выстраданная истина не только не приводит к перманентному отчаянию, она не оказывается и сугубо приватной. Вопреки настояниям экзистенциалистов на том, что каждая трагическая личность открывает для себя глубоко индивидуальную истину, противопоставляемую всеобщим и необходимым бездушным истинам, наш автор ищет истину для себя, а находит ее для всех — переживающих утрату, всех любящих и виноватых. А это, собственно, и есть все человечество.

Такая разность точек зрения, какую мы встречаем в текстах экзистенциалистских идеологов, с одной стороны, и наших экзистенциальных писателей — с другой, убеждает в изначальной разности намерений. Первые сам смысл существования оценивают в терминах всеобщей бессмыслицы и ищут только подтверждений своего кредо, в данном случае — доказательств абсурдности страданий (а кто ищет, тот найдет). Вторые обретают этот смысл исходя из анализа собственных трагических переживаний и дают нам обнадеживающее свидетельство о том, что он есть.

Рената Гальцева.

В ночь на среду 8 марта 1995 года скончалась моя жена.

С понедельника 30 января она лежала в реанимационном отделении, куда ее поместили уже в бессознательном состоянии после очередного врачебного консилиума. Лекарства больше не действовали. И все же каждый день я и моя теща, ее мать, приходили в больницу с надеждой

узнать об улучшении. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что исход был ясен уже к концу первой «реанимационной» недели, но тогда я отказывался верить этому. К ее смерти я не был готов.

Она умирала долго. Еще за неделю до того, как мне сообщили итоги консилиума, даже задолго до больницы было очевидно, что она угасает. Но — род какой-то неизъяснимой душевной лени — я не видел (или не хотел видеть?), что она уже уходит от меня, гнал всякие мысли о необратимости. И только после того, как ей начало отказывать все (у нее изменилась походка, появилась сильная дрожь в руках), что-то тревожное, сильно защебив сердце, впервые шевельнулось во мне.

Она постоянно жаловалась на все возрастающую слабость; прежде, в отличие от «домашней» шутливо называвшая себя «дикой хозяйкой», теперь она уже не бегала по подругам, телефонные разговоры, еще недавно продолжавшиеся часами, стали обрываться после нескольких начальных фраз — но ее недуг все еще был где-то на периферии моего всегда занято-го чем-то другим сознания.

Что-то, конечно, менялось и во мне, вот только скорость этих изменений была никак не сопоставима со скоростью развивающейся у нее болезни. Когда она уже не могла заниматься домашним хозяйством, я ограничился было, чтобы не тяготиться долгой возней на кухне, консервами и полуфабрикатами — но очень скоро так понравившиеся ей щи мне пришлось нести в больницу. Из палаты, где она лежала, ходячих больных отпускали на выходные домой, и я хотел забрать ее, чтобы помыть в ванной, — но мне ее уже не отдавали. Внутренне я приготовился к параличам, к пожизненной ее прикованности к инвалидной коляске — но она была уже в коме... Все это время я безнадежно отставал, и вот остался один на один со своей вдруг пробудившейся к боли совестью, один на один с безжалостной памятью...

Судьба свела нас в седьмом классе обыкновенной василеостровской школы; и уже очень скоро я видел только ее, думал только о ней. Она стала единственной тайной и единственным оправданием всего окружающего меня мира. Довольно начитанный, я каждый день произносил какие-то пылкие монологи, давал ей какие-то страшные клятвы. Разумеется, про себя, разумеется, не вслух — у тринадцатилетних подростков своя манера общения; но ведь особенно тверды бывают как раз молчаливые обеты.

Через девять лет она стала моей женой. Однако шло время, рутина супружеской обыденности погасила первые романтические порывы — и вот, когда-то готовый по светлому ее образу переделать весь мир, теперь я оказался неспособен даже к элементарному.

Образованный гуманитарий, я и раньше хорошо понимал утешительное значение веры. Случившееся же со мной сделало понятным и то, как приходят к ней до поры не принимавшие Бога. Ужас пережитого породил острую потребность в чем-то утешительном и у меня. Но где было взять веру мне, в прошлом профессиональному идеологу, номенклатурному партийному работнику? Впрочем, к Богу приходили и политические комиссары куда более высокого ранга, чем тот, до которого мне удалось когда-то подняться. Но и назвать себя махровым атеистом теперь я бы уже не решился. Так, мысль о самоубийстве, впервые появившаяся у меня, когда уже не осталось сомнений в неизбежном, была отринута в конечном счете совсем не страхом смерти, но аргументом, составляющим элемент именно христианской аксиоматики: я действительно испугался оскорбить ранее никогда не существовавшего для меня Бога, швырнув Ему назад подаренную мне жизнь. Но до конца проникнуться верой мне, как, вероятно, и многим, все-таки было не дано.

Возможно, мир потрясенной потерей душе человека способна принести любая вера, будь то христианство, мусульманство или даже марксизм. Но никакая вера не дается человеку просто так, она всегда требует какой-то

работы духа, требует переделать себя, стать другим, самую душу берет, по существу, в залог (внезапные духовные перерождения, подобные обращению Савла, — только исключения из правила, редкость). В этом сила любого вероучения — многого ли стоят даром полученные «духовные истины»? Но в этом же и его уязвимость: ведь уже самый факт религиозного скепсиса, существовавшего во все времена у всех народов мира, свидетельствует, что далеко не все из нас готовы к требуемому верой напряжению духа.

В нашей способности остро чувствовать боль сокрыт великий смысл: вероятно, именно она является самым ценным дарованным человеку свойством, и не будет преувеличением сказать, что без нее и вся нравственная история человечества была бы совсем другой (если бы она вообще могла быть). Слова святого апостола Павла: «Похвалимся и скорбями, ибо от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда» — говорят и об этом. Но от всего этого — книжного — знания мне нисколько не становится легче.

Ведь все мы, по-видимому, устроены таким образом, что именно душевная боль — самая нестерпимая, и из всех видов ее утишения мы бы предпочли немедленное, такое, которое сразу же (проснулся — и вот!) низводило бы скорбь до какой-то легкой элегической грусти.

А если обещано оно только по времени и к тому же настоятельно требует переделать ради него самого себя — то и утешение это будет уже не мне, но кому-то другому, ибо с навсегда отданной в залог душой, с переменной того, что, собственно, и составляло собой мое «я», — это буду уже не я. Между тем нуждаюсь в нем именно я, а значит, оно нужно мне именно такому, какой я есть сейчас.

Впрочем, дело совсем не в органической неспособности к напряженной работе духа: источник боли лежит в неразрешимом противоречии между острой потребностью что-то изменить в уже совершившемся и осознанием абсолютной невозможности вмешательства в свое прошлое. Поэтому вера способна приносить мир лишь тому, кто в состоянии смириться перед невозможным. Наверное, именно этим во многом объясняется тот факт, что легче всего приходят к ней женщины, природе которых противопоказано всякое бунтарство. Мятеж, в той или иной степени присущий духу любого мужчины, делает его обращение более трудным, и мужчину куда легче подвигнуть к изменению окружающей его действительности, чем к изменениям внутренним. Еще труднее проходит обращение интеллигента, ибо гораздо сложнее перестраивать развитые стереотипы духа, чем формировать на сравнительно пустом месте какие-то новые.

Больше того — и я ни за что не поверил бы этому прежде, — потребностью дошедшего до мысли о самоубийстве человека может быть вовсе не утишение боли. Извечный рецепт — не думать о случившемся — в общем-то известен каждому. Но насильственное изгнание всякой мысли об ушедшем из твоей жизни человеке — не род ли предательства по отношению к нему? Мне есть в чем винить себя: угасшая на моих глазах женщина так и не получила того, что она была вправе ожидать. Больная же совесть требует не забвения... И я отчетливо понимаю, насколько абсурдно, невероятно мое желание вернуться и переделать всю нашу с ней жизнь, — но оно сильнее меня.

Не надо уверять меня в том, что исправить прошлое невозможно, не надо объяснять значение слова «никогда»...

В восточном фольклоре есть красивая притча. Где-то на краю земли стоит алмазная гора, к которой один раз в тысячелетие прилетает точить свой клюв орел. Пройдет бездна времени до тех пор, пока он сточит эту гору до основания, но вся эта бездна — не более чем мгновение в сравнении с Вечностью, составляющей самую суть этого «никогда». Однако не только абстрактное сознание — что-то гораздо более глубокое во мне решительно отказывается принять такое, линейное, представление о времени.

Догматы веры говорят о вечной жизни после смерти, и если это так, то суждена она каждому, независимо от того, во что он верил при своей земной жизни. Но что стоит вечная жизнь, если сточатся алмазные горы, погаснут небесные светила, изменятся контуры галактических орбит, а когда-то данной тринадцатилетней девочке обет так и не будет исполнен, когда-то содеянный грех безучастия так и не будет искуплен? Что стоит вечная жизнь, сопровождаемая вечной болью потревоженной совести? Так неужели действительно — никогда?!

...Она скончалась от лейкоэнцефалита. В просторечии — от воспаления головного мозга. Лечившие ее врачи не скрывали от меня, что сами не знают истинную причину болезни. Кто-то говорил о вирусе, ждавшем своего часа со времени перенесенной ею в детские годы кори, кто-то — что-то другое, однозначного ответа не было. Да он и не был мне нужен. Я знаю: она сама сожгла себя.

Страшным ударом для нее оказался внезапный призыв на военную службу нашего уже взрослого, окончившего институт сына. Кому-то, может быть, причина ее переживаний покажется смешной и абсурдной, как поначалу казалась и мне, прошедшему в свое время едва ли не самое дно Советской Армии — стройбат. Но я не знал матери: мой отец овдовел, когда мне не исполнилось и года. Тайну отношений матери и сына я постигал уже взрослым, глядя на свою жену и своего ребенка. У меня хватало ума никогда не вставать между ними, лишь для формы я иногда ворчал, что она портит его. И кое-что перенять от своей умницы матери сумел не только наш сын, многому у нее, втайне любуясь ею, учился и я.

Несколько месяцев она порывалась поехать в воинскую часть, тайком копила деньги; страх за сына изводил ее — она начала болеть. Но все бы, думаю, обошлось, и она, благополучно дождавшись его «дембеля», прожила бы со своим вирусом лет до восьмидесяти и, как положено, сама схоронила меня.

Перелом наступил с началом чеченских событий. Мне думается, что именно та кампания, которую начала пресса сразу же вслед за первым неудавшимся штурмом Грозного, послужила причиной трагического исхода. Наш сын был далеко от Чечни, и отправка туда ему ни с какого боку не грозила — но кто возьмется рассудить материнские страхи?

Ее сгубил не вирус, вдруг пробудившийся во внезапно сдавшем организме. Ее сожгла любовь.

Из милосердия человек заставляет себя совершать даже жестокие вещи: так, раненое животное пристреливается нами именно во избавление от страданий; и я не в состоянии представить себе, чтобы эта женщина могла завещать своему сыну ужас непреходящей боли. Должен ли я поверить, что бесконечный в Своей милости Господь, даруя человеку вечную жизнь, оставляет его навеки с раненой совестью?

Господь наш, учит христианская церковь, послал в мир Сына. Но что дала этому миру Его смерть?

Страх смерти присущ всему живому, и его нисколько не умаляет даже вера в новую посмертную жизнь. Ведь эта новая жизнь за тем таинственным порогом, которым кончается физическое бытие человека, вовсе не обещает нам какой бы то ни было преэмптенности с нашим земным существованием. Значит, как ни верти, смерть остается чем-то абсолютным и бесповоротным даже для Него, рожденного земной женщиной. Смертный, как и все мы, Иисус должен был чувствовать перед этим разрывом с посюсторонностью все то же, что чувствует и каждый из нас. Поэтому даже провидимое Им Воскресение могло утешить Его не более, чем обещание загробной жизни утешает тех из нас, кто верит в нее: ведь даже верующие безоглядно не свободны от физического страха. И здесь Его отличие от простых смертных могло заключаться только в способности к абсолютной степени чувства. В ожидании смерти Его боль не уменьшилась по

отношению к человеческой, но — возростала абсолютно. Ведь уход из жизни для Него — это одновременно и прощание с теми, кого Он любил, и принимаемое в Себя страдание тех, кто любил Его. Какой же ужас смерти, какую пытку наступающего расставания должен был испытывать Он? И крестные ли муки заставляли Его молить: «Да минует Меня чаша сия» — там, в Гефсиманском саду, накануне ареста?..

Величие жертвы говорит и о величии любви к тому, ради спасения кого она приносилась. И жизнь, исполненная совестью, не требует пересмотра: Иисус, совершив полный круг земного служения, мог возродиться к вечной жизни одесную Отца своего не будучи отягощен ничем. А как быть нам? Мне?

Да, действительно, для одних есть институт исповеди и отпущения грехов, для других — просто время, и я, разумеется, знаю, что с течением времени утихнет и моя боль, замолкнет, как это было уже не раз, и моя совесть. Но это здесь — а «там», неужели и «там» она навеки останется молчать?

Нет, если за порогом смерти неизбежно подведение какого-то нравственного итога, то тем Судом, на котором предстоит предстать каждому из нас, должен быть и суд нашей собственной вновь пробуждающейся (или, может, так никогда и не умирающей?) совести, поэтому «там» жизнь, прожитая вопреки ей, должна будет взывать к пересмотру всегда, независимо от того, как скоро мы способны забывать здесь.

Тогда и полный разрыв всякой преемственности с земной жизнью не есть ли проявление милосердия, подобное тому, что совершаем и мы, пристреливая раненое животное?

Рано или поздно о сокровенном смысле смерти начинает задумываться каждый. В отвлеченной форме об этом порой размышлял и я. Но никогда раньше этот вопрос не вставал передо мной с такой жуткой осязаемостью. Несколько месяцев меня точит одна и та же мысль, но все это время мне так и не удается разрешить противоречие между бессмертием человеческой души (в которое мне, как, вероятно, и многим подобным мне полубатеистам, после случившегося очень хочется верить) и неотменимостью прошлого.

Меня наказывал отец. Мне случалось попадать на гауптвахту. Я изучал педагогику, некоторое время преподавал сам. Несколько лет я проработал на судах рыболовного флота в должности первого помощника капитана, а это значит, что на протяжении многих месяцев вся дисциплинарная практика в экипаже, изолированном, как строгой тюрьмой, открытым морем, ложилась именно на мои плечи. Наконец, я отец уже взрослого сына. Словом, я знаю, что для мужчины умение повиноваться является столь же насущным, сколь и умение быть самостоятельным. Знаю, что такое наказание.

Она никогда не наказывала нашего сына.

Лишь однажды она вдруг вскинулась побить его. Он где-то задерживался, и вот уже несколько часов она была как на иголках. Мы не ложились, и когда далеко за полночь за дверью послышались его шаги, она, к моему изумлению, вдруг потребовала у меня ремень. Я пытался ее урезонить, но, сама выхватив ремень из шкафа, она уже вылетела в коридор... Через какое-то время показался наш сын: и без того значительно выше меня, в уличной обуви и одежде он казался еще крупнее. Его маленькая мать лежала у него на руках. Как-то по-особому, величественно и важно, словно большой корабль, он проплыл через всю квартиру в нашу спальню, бережно положил ее на еще не разобранную постель, поцеловал в лоб и вышел. Спустя минуту с виноватым, растерянным и одновременно необыкновенно счастливым видом вышла она...

Это не значит, что она вообще была против всяких наказаний; открыто она никогда не подвергала сомнению мою отцовскую власть. Щадя ее,

и я никогда не прибежал к каким-то крайним мерам, да крайние меры и не соответствовали ни моему характеру, ни моим собственным педагогическим взглядам. Но и те решения, которые принимались мной, часто доставляли ей страдание: она была органически неспособна причинить даже незначительную боль нашему сыну. И все мое воображение отказывается представить вину, за которую она могла бы заставить его расплачиваться всю жизнь.

Она очень хотела ребенка. Я хорошо помню, какими глазами смотрела она на свою раньше ее вышедшую замуж школьную подругу, на ее первую дочь... Я встречал женщин, тяжело переносивших беременность, женщин, по несколько месяцев лежавших на сохранении. У нее все прошло сравнительно легко, но если бы даже вынашивание младенца было сплошной мукой, она с радостью согласилась бы и на это. Я знаю, что еще не появившийся на свет ребенок уже живет под сердцем матери какой-то своей жизнью; эмоциональная и, не исключено, волевая сфера этого еще сокрытого от всего мира нового начала становится независимой от материнской воли, от материнских переживаний. И я могу допустить, что еще в утробе ребенок может стать для матери источником не только физических страданий.

Но я не в силах представить себе женщину, способную на всю жизнь наказать свое дитя единственно за то, что, еще не родившееся, оно, не зная этого, причинило ей какую-то — пусть даже нестерпимо острую — боль.

Можно ли предположить такое про нашего Создателя?

Перед лицом вечности мгновение земной жизни настолько мимолетно, что любой масштаб содеянного в ней обращается в бесконечно малую величину; и если верно то, что воздаяние всегда должно соответствовать содеянному, если верно, что и предшествующий смерти третий всадник Апокалипсиса несет в своей руке меру, то сколь бы наполненным ни было это мгновение, оно никогда не уравновесит сменяющую его вечность. Именно так, ибо есть только две полярные точки, способные вместить в себя бесконечное: земное служение Христа и дело Антихриста, — все остальное, совершенное нами, маленькими земными людьми, неизбежно расположится между этими ни для кого не достижимыми полюсами. А раз так, то ни явно лубочные адские муки, ни столь же лубочное райское блаженство не могут полностью исчерпать собой существо посмертного бытия.

Сокровенный смысл христианского вероучения состоит в утверждении абсолютного суверенитета души; лишь она одна может быть субъектом воли, а значит, она одна может быть и субъектом ответственности. Но если за все ответственна только она, смысл ее существования не может быть ограничен рамками земного, тайна ее предназначения в полной мере должна раскрываться лишь вечностью. В этом свете смертная ипостась человека — всего лишь пренатальный период развития души. Но если все последующее ее бытие в вечности станет одним нескончаемым воздаянием за совершенное в этой пренатальной, плотской жизни — в чем тогда ее собственное назначение? Ведь в этом случае именно плоть со своими косностью, слабостью, капризами оказывается в центре всего, определяет участь души...

Нет, нет и тысячу раз нет! Не может быть материнского отмщения за неосознанно причиненную еще не родившимся младенцем боль. Сколь бы греховным ни было существование человека в этом мире, вечная жизнь его бессмертной души не может сводиться к вечной расплате.

Разумеется, я сознаю, что все, высказанное мною, представляет собой что-то вроде нравственного, да и просто логического бумеранга. Ведь если сокровенная миссия человеческой души может быть исполнена только в беспредельном, то все наше земное бытие кажется лишь досадной и бес-

смысленной задержкой перед вступлением в вечность. Но тогда любые действия человека в этом мире полностью обесцениваются и категория совести превращается в семантический нуль. Чтобы избежать этого вывода, необходимо признать существование какой-то особенной задачи, выполнить которую мы можем и должны только здесь, в своей земной жизни. И вопрос о нашем предназначении как в этом, преходящем, мире, так и в обещанной нам вечности есть вопрос о связи двух модусов нашего бытия — ибо для них не может быть двух разных нравственных целей...

Если действительно там, за порогом смерти, нас ждет воздаяние каждому по его делам, то нравственный смысл земного существования должен пускай не уравновесить, но по меньшей мере отразить собой нравственный смысл вечного бытия нашей бессмертной души.

Мне кажется, что смыслом всей ее жизни была любовь.

Честно говоря, я не знаю, что это такое, и никогда бы не отважился дать любви какое-нибудь внятное определение. Она всегда представлялась мне чем-то вроде яркого солнечного света, спектр которого лишь в видимой его части простирается от пронзительного счастья до затмевающих физический страх сострадания и боли.

Именно эта стихия, загадочная и властная, вела ее...

Всю свою жизнь она проработала с детьми. Не набрав после школы проходного балла, она поступила работать в клинику ЛИХТа. По штатному расписанию ее должность называлась то ли воспитатель, то ли педагог, но долгое время для меня было совершенной загадкой: чему могла учить обездвиженных костным туберкулезом детей молоденькая, еще сама ничего не видевшая в жизни девушка? Потом был дефектологический факультет Герценовского института; педагогические премудрости давались ей легко, и практически все годы учебы она получала повышенную стипендию. Затем — многолетняя работа в специализированном детском саду.

Не знаю, что сумели ей преподать в институте, ибо, воплощение полной бессистемности и неорганизованности, она все и всегда делала как-то поперек основных педагогических правил. Но как истинный смысл звучащей речи очень часто раскрывается отнюдь не буквальным значением кем-то произносимых слов, но безошибочно различимым в их интонационном строе голосом самой души, так и здесь главным было не то, что она делала и говорила, а то, что двигало ею.

Ею двигала любовь. Именно она всякий раз придавала нужный, а зачастую и единственно правильный смысл всем ее словам и поступкам. Я видел, какими глазами на нее смотрели дети... За ней ходили собаки, лестничная кошка стремглав неслась к нашей двери, едва слышав звук отпираемого ею замка. Но центром всего и вся оставался для нее наш сын.

Я снисходил к нему — она все время была рядом с ним. Я помнил собственное детство и никогда не посягал на те милые глупости, которые составляют какую-то особенную ценность для ребенка. Но это было только снисходительное великодушие взрослого...

Глядя на нее, я учился понимать глубокий смысл простых вещей.

Мы жили на Петроградской, у самого «Великана», и летние солнечные дни часто проводили у Петропавловской крепости. Вот там, на песке у Трубецкого бастиона, нашем обычном месте, мне впервые и бросилось в глаза, с какой осторожностью тысячи беззаботных людей, целый день снующих по пляжу, обходят возведенные каким-то ребенком песочные постройки; все эти куличики, домики и даже целые замки уже давно оставлены и забыты им, но люди по-прежнему инстинктивно сторонятся их, опасаясь разрушить эти непрочные слепки с души маленького человека.

Для нее все его поломанные пистолеты, разноцветные пластмассовые солдатики с давно отломанными головами, мятые фантики, дурацкие вкладыши в такие же дурацкие жевательные резинки были столь же священны, сколь и все мои книги. Может быть, и не отдавая себе отчета в

какой-то ясной, отлитой в строгие понятия форме, она сознавала, что не только у каждого человека, но и у каждого возраста — своя правда. Все его детские обиды, потери и разочарования переживались ею с такой же остротой, как и раны шекспировских героев, его маленькие открытия в ее глазах были равнозначны расшифровке египетских иероглифов или доказательству теоремы Ферма. Одним из постулатов ее собственной этики было убеждение, что маленькая правда маленького человека абсолютно равноценна всем великим истинам убежденных сединой стариков. И поиск этой маленькой правды в ее глазах уравнивал искания всех тех, кто был духовным символом для меня и моих, как правило, мысливших только масштабами всего человечества друзей.

Лишь глядя на нее, я учился уважать нашего сына.

Как и каждый отец, я страстно хотел, чтобы он унаследовал только лучшее, что, несомненно, есть во мне и что было в его матери. Но как этого добиться, когда между ним и нами встает неодолимое крепостных стен сплошной массив, заполненный какими-то событиями, чьими-то поступками и словами, и каждое из них в той или иной мере накладывает свой отпечаток на душу формирующегося человека. Что в конечном счете создает его, что оказывается решающим в его воспитании? Педагогическая система? Но если бы это было так, то за тысячелетия своей истории человечество давно бы выработало рецепты, позволяющие воспитателю добиваться заранее поставленных целей. Однако все методы и правила великих педагогов оказываются неработоспособными уже в практике их последователей и учеников. Личность воспитателя? Но вновь неразрешимый вопрос: кто в этом огромном социуме наш воспитатель? «Детей воспитывает улица», «Дети растут как трава»... И все же каждый раз мы находим в них и что-то свое, заложенное нами. Как это происходит? В чем тайна отца и сына?

Человеку не дано постичь Бога. Но в скромной попытке смертного проникнуть в Его тайну нет ничего дерзкого и святотатственного: по существу, вся европейская культура на протяжении столетий развивалась под знаком постижения замысла Творца. И вот, когда-то не допускавший и мысли о возможности существования чего-то надматериального, сегодня я думаю о Нем.

Земная жизнь человека ограничена в пространстве и времени.

Каждый из нас осознает разницу между «я» и «не-я», между прошлым и будущим, между «здесь» (центром которого являемся мы) и «там». Это осознание составляет основу всей нашей психологии, и трудно вообразить себе взгляд на мир субъекта, не знающего отличия между своим «я» и окружающим миром, между мгновением настоящего и бескрайней протяженностью прошедшего и грядущего.

Но ведь именно таким субъектом является Бог: Его бытие не ограничено ни пространством, ни временем. Он — везде, и любой момент Его бытия охватывает собой всю распахнутую для нас в обе стороны вечность.

Всякое размышление об этом ставит перед необходимостью разрушить стереотип, покоящийся на интуитивном противопоставлении нашего «я» и внешней действительности. Здесь находится своеобразная отмычка, позволяющая вскрыть вековые психологические запоры. И вот я, вслед за английским епископом, чуть ли не три столетия назад начинавшим торить этот логический путь, пытаюсь представить себе, что за нашими ощущениями не стоит никакая реальность, а Вселенная существует только под нашей черепной коробкой, в нашем сознании. При таком — солипсическом — взгляде на вещи немедленно исчезает, растворяясь в идеальном, и собственная наша плоть. Правда, отличие нашего «я» от этой действительности сохраняется и здесь: так, мир, создаваемый воображением фантаста, отнюдь не идентифицируется с его личностью. Но теперь наше сознание для всего этого «внутреннего» мира предстает абсолютным законодателем,

ибо любое движение мысли становится Логосом, немедленно обретает силу прямого действия.

Здесь наше «я» уже перестает быть локализованным пространственной областью или временным интервалом. Мы найдем самих себя существующими одновременно в каждой точке этого лишь нам подвластного мира, обнаружим, что наше сознание охватывает собою не только окрашенную нашей индивидуальностью «память сорока веков» какой-то одной его части, но и всю историю этого творимого нами Космоса.

Я, как, вероятно, и каждый, кто обладает достаточно развитой способностью к абстрактному мышлению, в состоянии помыслить и такую Вселенную, и самого себя в ее центре. Это удвоенное моим же сознанием «я», хотя и будет в чем-то отлично от моей подлинной личности, останется тем не менее мною (так отличается от нас, но и сходен с нами герой любимой книги, когда мы, переживая прочитанное, замещаем его собой).

Именно таким «я», отчужденным в порождаемый Его верховной волей «внутренний» мир, должен представлять Христос для Отца Своего. Только в этом и может проявиться Их единственность. В структуре реальности, существующей для Создателя, посланный в нее Сын будет точно так же соприсроден Отцу, как и весь «внутренний» для Отца мир.

Здесь Бог Отец и Бог Сын уже не могут быть разделены между собой сплошным массивом неподвластных Им вещей и событий, связь между Ними не может быть деформирована никаким опосредованием, будь то опосредование изреченным словом или делом.

Но раз так, то и земное служение Христа, и Его искупительная жертва не могут быть поняты только как дискретный акт кратковременного оперативного вмешательства Творца в ход времен, по каким-то причинам не устраивающий Его. Вся великая тайна Отца должна была найти свое выражение в миссии Сына.

Между тем именно любовь принес в этот мир Христос, именно любовь вела Его через все испытания, именно в ней «закон и пророки» нового, оставленного Им, завета. Именно любовью продиктована и жертва Его Отца. А значит, именно любовь составляет если и не всю тайну Творения, то одно из главных ее измерений.

Иначе говоря, разлитая в мире любовь оказывается одним из фундаментальнейших начал всей нашей действительности, и даже мимолетное прикосновение к ней есть прямое прикосновение к Богу, больше того — прямое слияние с Ним. Ведь невозможно предположить, чтобы любовь смертного земного человека была какой-то иной природы, субстанционально отличалась от той, которая когда-то вела Христа и которая подвигла Его Отца на эту страшную жертву.

Если есть вера, хотя бы с горчичное зерно, говорит людям Христос, и скажешь горе: «Подвинься», — она сойдет в море. Но если стержень веры составляет любовь, значит, каждое исполненное любовью слово, каждое поверяемое совестью действие предстает как абсолют, сопоставимый с Творением мира. Больше того: как его неотъемлемый структурный элемент. Воспитание зачатого в любви ребенка вплетается в единый процесс этого вечного Творения, и вовсе не сторонние события, не чужие действия или слова формируют его душу — та же любовь проводит ее сквозь них. Жертвенная, бездонная материнская любовь — я видел это собственными глазами — была основным началом, созидающим нашего сына. Хрупкая женщина была сопричастна силе, способной противостать всей бесконечности Космоса...

И вот в частных, казалось бы, событиях и фактах теперь мне стали открываться проявления каких-то фундаментальных мировых начал. В жертвенном служении завершившей свой земной путь женщины обнажался глубинный смысл ее предназначения в вечности. Теперь становилось по-

натым многое из ранее сокрытого для меня моим прежним неверием. Во всяком случае, исчезало противоречие между смыслом конечного облеченного в земную плоть существования и вечной миссией души. Конечность одного теперь действительно как фокус вбирала в себя всю безмерность другого; и вот — благодарная память уже по-новому освещала все когда-то произнесенные ею слова, совершенные ею поступки, высказанные и невысказанные желания; магия какого-то глубокого символического смысла чувствовалась теперь во всем, что составляло ее жизнь...

Нет, я и сегодня не идеализирую ее, она вовсе не представляется мне какой-то тихой, смиренной овечкой. Слова, сказанные Петром («Да будет украшением вашим...»), были применимы к ней лишь отчасти. Дух ее совсем не был кроток. Она часто ходила в церковь, ставила свечи во здравие или за упокой, о чем-то своем, потаенном молчала перед образами, но каждый раз отмахивалась от меня, когда я говорил ей, что полагается покрывать голову; смирить свой дух она не могла даже в храме.

И уж тем более он не был молчалив! В далеком детстве я прочитал сказку, где говорилось об одном искусном фехтовальщике, так владеющем своим оружием, что, когда он клинком чертил круги над своей головой, ни одна капля дождя не могла упасть на нее. Ее язычок всегда напоминал мне это волшебное лезвие из старой сказки; столь же отточенный, сколь и молниеносный, он зачастую опережал ее же собственные намерения. Перед ее филигранной, восходящей к подлинному искусству техникой смятенно отступало все. Впрочем, это был отнюдь не свирепый, не знающий удержу ятаган, но вполне интеллигентная, хотя и довольно опасная рапира, к тому же она никогда не была по больному...

«Благословенно. Неизгладимо. Невозвратимо. Прости...»

Тот новый свет, в котором теперь представало все связанное с нею, давал основания для каких-то основополагающих выводов.

Если незримая ткань Творения соткана из любви, если природа любви, доступной человеку, тождественна той, что вела Христа и Его Отца, то и нити земной любви органически в эту единую ткань вплетены. Таким образом, *творение человека Бог осуществляет руками самого человека.*

И здесь разрешилось для меня старое противоречие, содержащееся в Посланиях апостолов.

Цель нашей жизни — в спасении души, спасение же — в вере. Но есть жесткая ригористическая максима Иакова, который говорит, что вера без дел мертва, а есть и блаженное «юродство проповеди» Павла, утверждавшего полную достаточность самой веры. Долгое время каждая из этих позиций для меня исключала другую, логическая пропасть лежала между ними. Ведь если прав Павел, то и в самом деле «веселись, юноша, в юности твоей...». К суду же, о котором тут же предупреждает Екклесиаст, можно приуготовить себя тем, что в «старости принять обет Христа, потупить взор, посыпать пеплом темя, принять на грудь спасающее бремя тяжелого железного креста». Если прав Иаков, то, в принципе, не нужна и сама вера, достаточно быть просто порядочным человеком. Таким образом, путь к спасению без особого труда открывается для всех.

Но это только одна сторона противоречия, между тем есть и другая. Если правда на стороне Павла, то речь может идти лишь о такой вере, даже ничтожная — «с горчичное зерно» — доля которой подвигает горы. Но если истина за Иаковом, то (силе веры должен соответствовать масштаб дел) двигать горы обязан каждый из нас. Однако это недостижимо для человека. А значит, ставится под сомнение и возможность спасения едва ли не любого...

Но проповеди обоих апостолов становятся одной проповедью, начинают, по существу, утверждать одно и то же — если Творением движет любовь. Ведь всегда имеющая силу прямого действия (чего требует Иаков),

она же и составляет субстанцию той веры, о которой говорил Павел. Единственность же ее с силой, направлявшей как Христа, так и пославшего Его в мир Отца, даже мимолетную вспышку земной любви, ее «горчичное зерно», делает равной этой вселенской силе...

И пусть способность восходить к абсолютной вершине любви даруется человеку лишь изредка — все совершаемое им в эти звездные моменты его бытия становится равным полной совокупности событий, происходящих во Вселенной, становится самим Творением.

Может быть, подлинное назначение каждого из нас есть не что иное, как созидание человеческой души. Ведь только здесь любовь способна реализовать себя во всей полноте. Но если так, то, часть предначального плана Творения, эта задача не может остаться неисполненной. Однако и завершить ее в границах земной жизни нам не дано. А значит, должна оставаться возможность того, что представляется абсурдным, но рано или поздно становится самой настоятельной, самой острой потребностью каждого: возможность вмешательства в свое прошлое и исправления всего, когда-то неосторожно содеянного в нем.

Дело Отца, служение Сына, исполненные любовью поступки человека... единая ткань Творения. Свершенное любовью столь же значимо, как и вся Вселенная в целом. Мимолетное движение озаренной ею души на каких-то вселенских весах уравнивает всю историю Космоса. И это не аберрация мысли, не изящный софизм — по существу, эта истина содержится в одной из нравственных аксиом христианства, утверждающей, что жизнь одного-единственного человека не менее важна перед Богом, чем судьбы целых народов. В вершинной точке любви человек становится не просто «образом и подобием» Бога — он полностью сливается с Ним. Так тающий снежный кристалл, падая в океан, становится океаном.

Большие массы, утверждает теория относительности, искривляют вокруг себя пространство и время и способны отклонить даже луч света. Повидимому, и подлинная любовь может создавать свое особое поле, изменять нравственную природу событий вокруг тех, кого она хранит...

Первый раз я смутно почувствовал ее тайную власть надо мной в четырнадцать лет. Была весна. Еще стесняясь друг друга, мы шли по набережной Лейтенанта Шмидта, мимо памятника Крузенштерну. Я был в ударе. Меня несло. Я увидел ее глаза...

«На Васильевский остров я приду умирать»...

В свое время я прошел (кто знает, поймет меня) жестокую жизненную школу старого ремесленного училища, в поисках романтики уходил из дома, матросом Мурманского тралового флота я видел мертвую зыбь Северной Атлантики, на барже Северо-западного пароходства я пересек всю страну, на трассе Беломорско-Балтийского канала я глубоко заглянул в самые глаза смерти, в Ростове меня убивали... Словом, уже к двадцати я повидал на своем веку многое. Я весь был до предела надув одной сплошной спесью по отношению к моим сверстникам, не знавшим и сотой доли того, что выпало мне. А вернувшись из армии, вновь увидел ее глаза... и неожиданно почувствовал себя рядом с ней каким-то сопливым мальчишкой: я чувствовал, ей было ведомо что-то такое, что намного превосходило все мои представления о жизни.

Как и в первый раз, меня поразила глубоко скрытая в ее глазах печаль... Это только потом, с годами, я узнаю, что в великой мудрости действительно очень много печали; ко мне это знание придет много позднее, ибо одним способностью к беззаветной любви и душевная мудрость в полном объеме даются сразу, «как нам дается благодать», другим для обретения даже незначительной доли этой благодати нужно пройти долгий путь испытаний и потерь... Это только потом, с годами, мне придет в голову,

что она, вероятно, провидела все, что предстояло мне и, может быть, предстоит нашему сыну...

Она не делала ничего героического, ее служение было лишено всякого пафоса, она была обычной земной женщиной. Казалось, высушенная обувь, правильно повязанный шарф и вовремя накрытый стол значили для нее много больше пятого постулата Евклида или структуры ДНК, далекой каннской катастрофы или сегодняшних каннских триумфов, но вместе с тем что-то тихо подсказывало ей, что и нам (много раньше меня она увидела, что и наш сын уже вдосталь наглотался сладкой отравы честолюбия) назначена какая-то своя, может быть мучительная, дорога, которую каждый в одиночку обязан пройти до конца.

...Но еще в этих глазах стоял вопрос. Так, не имея права на подсказку, умный экзаменатор пытается подтолкнуть ученика к поиску правильного ответа.

Как знать, может, и есть доля правды в свойственном женской природе убеждении, что смысл индивидуального существования заключается вовсе не в победительном парадном шествии по жизни, не в свершении каких-то грандиозных, потрясающих устои цивилизации деяний. Но все же тихое благополучие собственного дома, мир и покой в кругу ближних едва ли способны составить цель и назначение мужчины.

Когда-то давно я крепко усвоил: по существу, единственное, что надежно отличает человека от животного или машины, — это творчество. Но, как, вероятно, и многие, творчество я видел только в том, что осаждается в библиотеках и музеях: в философии, искусстве, науке... Потом, в университете, мои учителя дадут понять мне, что в науку идут не с тем, чтобы что-то брать от нее, но с тем, чтобы отдавать ей. И я быстро пойму эту истину и соглашусь с ней. Но и это все еще будет не то... Уже готового к жертвенности на поприще, которое тогда открывалось передо мной, меня годы и годы будет мучить этот стоявший в ее глазах вопрос. Он был совсем не о том, что я способен дать людям; *что принесу я Богу?* — вот в чем, как мне теперь кажется, был его подлинный смысл.

Все мы живем в каком-то трагически распадающемся мире. Чем большего достигает вся наша цивилизация в целом, тем меньше может каждый из нас в отдельности. Сегодня уже никому не придет в голову отождествить себя со всем человеческим родом. Веками накапливавшиеся богатства духа — искусства, ремесла, науки — ощущаются каждым из нас как нечто запредельное нам, как своеобразный эфир, которым можно дышать, но который нельзя полностью вместить в себя. И каждый из нас ощущает себя чем-то вроде бесконечно малой величины по сравнению с его пугающей безмерностью, своеобразной математической дробью, знаменатель которой стремится к бесконечности. А между тем даже в нашем обыденном лексиконе понятие «человек» означает не только отдельно взятого индивида, но и нечто собирательное, является синонимом всего человечества в целом.

На языке философии это называется отчуждением, и с этим вполне можно было бы примириться — если бы отчуждение не сказывалось и на нашей повседневной жизни. Мужчина и женщина, отец и сын — мы все оказываемся разобщенными, а нередко и совсем чужими друг другу именно в силу этого всеобщего распада.

«Человек-дробь» противостоит любой другой столь же малой «дробью» уже потому, что их «числители» даже при совпадении порядка величин нередко содержат в себе слишком разное, и оттого контакт если и возможен — то только в общебывовой сфере. Медик не понимает юриста, инженер — гуманитария, рабочий — интеллигента... и все это непонимание, с веками трансформируясь и умножаясь от поколения к поколению, в конечном счете ведет к становлению неодолимых барьеров, отделяющих не только цех от цеха, но и пол от пола, возраст от возраста.

Так зачем распадается этому миру любовь? Ведь зачиная и зачиная новую жизнь, не множит ли она то, что разделяет нас?

Впрочем, книги обещают, что распад этот все-таки будет преодолен. Правда, это произойдет лишь в далекой перспективе, когда деятельность человека избавится от исполнительской рутины и станет одним свободным полетом его свободного творческого гения.

Творчество — вот ключевое слово земной истории... Я знал это уже в двадцать, и уже в двадцать я думал только о венчающей творчество славе. Мне не хватит и десятилетий — потребуется пережить самое страшное, чтобы передо мной вдруг забрезжило: нет поэзии, нет философии, нет науки, нет вообще ничего, что имело бы оправдание в самом себе. Есть лишь единое движение, целью которого является бессмертная наша душа: дело человека, земное служение Христа, тайный замысел нашего Создателя — лишь этот единый поток Творения объединяет мир и хранит его.

Впрочем, только ли я поклонялся фетишу? Только ли меня сжигала сладкая отравка торжественной песни, слагаемой о бессмертных героях, только ли в мою душу вливался дурман воскурений фальшивому идолу успеха?..

Творчество — вот самое трагическое слово земной истории. Теперь я уже знаю: противоядия нет, как нет и возврата для всякого, вступившего на этот путь. И куда чаще, чем светом духовной правды, кончается он безысходным тупиком тяжелого похмелья обманутых неудачников, готовых мстить за себя всему человечеству.

...Ее тихий взгляд, который сначала заставлял смиряться меня, надутого от спеси и самомнения, потом нашего сына, способного смиряться, казалось, только перед ней одной, — в нем была боль сомнения в том, что на этом пути ее любовь сможет охранить нас. Бессильной что-либо изменить, ей оставалось только высушить обувь, накрыть на стол, заботливо поправить шарф и тихо смотреть вслед.

Мне довелось пройти через разжалование, многомесячные следствия, суд, через негласный запрет заниматься профессиональной деятельностью, передо мной закрылись двери в большую науку, и я был вынужден все начинать заново — уже в рамках другого ремесла. Я видел алкогольную деградацию своего товарища-поэта, тихое помешательство своего друга-философа, самоубийства бывших сокурсников, озлобление разочаровавшихся в жизни людей. Я не спился и не озлобился, больше того — несмотря на пережитое крушение давних честолюбивых планов, оглядываясь назад, я совершенно искренне считаю, что это были светлые, счастливые годы. Ее ли любовь берегла меня?

Теперь я вижу, что все это время мою душу формировали не только книги, но и ее тайная власть надо мной, ее способность менять нравственную природу событий вокруг тех, кого она любила.

Поэтому, если когда-нибудь вспомнят о чем-то, сделанном мною, — это будет прежде всего памятью о ней. Суть творчества открывалась мне в новом, прежде неведомом измерении.

Сегодня я уже в состоянии понимать иногда не только абстрактно, холодным умом, но и самым сердцем все еще непростую для меня истину: созидательно лишь то, что движется любовью. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий».

...Долгое время от сына не было никаких вестей. Боясь опоздать, я обратился к командиру части с просьбой немедленно отпустить его к матери хотя бы на несколько дней. Это было в субботу. Но оказалось, что ему и так уже предоставлен отпуск. В тот же день я получил письмо, где сын писал, что в четверг выезжает на мурманском поезде. Я только вернулся из больницы, но, распечатав конверт, тут же бросился обратно.

Она пыталась прочесть долгожданное письмо сына сама, но руки уже не подчинялись ей, бумага дрожала перед ее счастливыми глазами.

Я возвращался от нее, мало что разбирая. Еще вчера я достал ее фотографии и развесил их по всей нашей квартире; бутылка какой-то пахучей заморской дряни так и не взяла меня... Уже второй день я прощался с ней: врач поставил диагноз — опухоль головного мозга...

По освещенной аллее среди уже поредевшей вереницы выходивших из ворот больничного городка посетителей ковылял человек без шапки, без рукавиц, в старом помятом пальто, из-под которого едва виднелись короткие штанины давно не стиранной больничной пижамы, в потертых тапочках на посиневших от холода босых ногах. Он то ли громко мычал что-то жалобное и нечленораздельное, то ли стонал. Может быть, из-за пустой бутылки в его такой же посиневшей руке все принимали его за алкоголика. Уже потом мне в голову пришла мысль, что это мог быть душевнобольной, каким-то образом сумевший уйти из палаты. Стоял сильный мороз, уже давно стемнело, он мог замерзнуть... Но по этой дороге скорби шли люди, раздавленные каждый своим горем, — и его обходили стороной. Обошел и я...

Придя в больницу на следующее утро, я узнал, что ночью жена пыталась уйти из палаты, отправилась встречать сына.

Тысячу раз я проклял себя за то, что прочитал ей это письмо. Тысячу раз я говорил себе, что все равно не мог поступить иначе. Не знаю, это ли ускорило течение болезни, но именно после того случая процесс стал развиваться с ужасающей быстротой. И вместе с тем в последние дни не было у нее большей радости, чем это известие. Даже не так: несколько строк, полученных от сына, отозвались в ней каким-то пронзительным счастьем. Я знал свою жену. Да она ничего и не скрывала...

На выходные ходячих больных отпускали домой, и в ее палате оставались лишь две прикованные к постели старушки. Все, что они могли, — это кричать. Ее успели вернуть. Мне сразу же вспомнился вчерашний, обреченный, вероятно, на смерть, человек.

Она впадала в сон, через несколько минут просыпалась, каждый раз начинала выпытывать, какое нынче число. Считала дни... Счет стоял на месте, и это сердило ее: уже к моему приходу она успела разобидеться на обеих старушек, которые, как ей казалось, обманывают ее.

Но и тогда какая-то надежда еще сохранялась. В четверг будет снято подозрение на опухоль. Утром в пятницу, во время обследования в диагностическом центре, куда за большие деньги я повезу ее, оглушенную снотворным, через весь город, мне скажут, что вообще ничего страшного нет. (На меня наденут тяжелый фартук, предохраняющий от излучения, и я буду долго стоять у самого жерла томографа, чтобы удерживать ее мятущуюся голову; еще до конца процедуры ко мне выбежит сестра и шепнет, что, слава Богу, у нее все в порядке.) Меня уже почти убедят в том, что самое большое через две недели интенсивной терапии она начнет поправляться... На деле ей становилось все хуже. Она умирала.

Простота больничных нравов уже дошла до того, что в палату можно было проходить в любое время, никого не спрашивая. И я был с ней все дни, когда угасало ее сознание. Я видел, как с середины недели все то, что раньше составляло ее мир, вдруг стало отходить куда-то вдаль и, постепенно теряя очертания, растворяться там. Границы окружающей ее действительности сужались; она уже не слышала общих разговоров палаты, ее взгляд уже не останавливался на отдаленном, и вот единственной реальностью для нее осталась даже не вся эта переполненная больными и вечными посетителями комната, а лишь незанавешенное окно, у которого она лежала, сплошь заставленная посудой и нехитрыми больничными принадлежностями тумбочка — и мы, весь день сменявшие друг друга у ее постели: я и ее мать.

Этот сузившийся до предела круг еще прорвется однажды: она еще дождется сына, успеет узнать его и снова переживет мгновения пронзительного счастья. Это будет в пятницу вечером: по какому-то таинственному наитию она, несмотря на дополнительные дозы снотворного, вдруг проснется и поднимет голову в тот самый момент, когда мы с ним будем входить в палату. Только что сошедший с поезда сын останется с ней на всю ночь и на следующую... Но уже в субботу она будет реагировать на него почти как на постороннего.

А утром в понедельник я переодену ее во все чистое, и дюжий студент-санитар, чтобы не путаться с носилками среди кроватей в палате, на руках отнесет ее на последний консилиум. Через некоторое время, так же на руках, ее принесут обратно, затем вызовут меня. Через два часа, уже в бессознательном состоянии, с высокой температурой, она будет переведена в реанимационное отделение, откуда уже никогда больше не выйдет.

Ненадолго возвращаясь из забытья, она произносила не всегда понятные мне слова, задавала странные вопросы, с тихой серьезностью что-то сама себе отвечала. Лицо ее удивительно светлело. Было видно, что где-то там, в потаенной глубине ее уже отрешенной от всего суетного души, тихо вершится какая-то сосредоточенная работа. Она уже совсем не механически, но как бы внимательно прислушиваясь к тому, что происходило с ней, каждый раз притихая на минуту, отвечала на мои: «Ну, как ты?» Вдруг с поразившей меня теплотой вспомнила моего давно умершего отца: когда-то давно он жестоко обидел ее, и все годы, со дня нашей свадьбы, она — я знал это — скрывала к нему неприязнь... Может быть, она перематривала свою жизнь?

Больше месяца она пролежит в реанимации. Только однажды наступит улучшение, вновь появится уже угасшая надежда. К ней пустят сына, она сразу узнает его, попытается что-то сказать, но сумеет произнести лишь первый звук его имени. Это окажется последней радостью в ее жизни, может быть, даже последним, что она вообще видела... Я буду еще стоять у ее изголовья, гладить ее сбившиеся волосы, что-то шептать ей — но она уже не ответит. Слышала ли она меня?

Откуда берется широко распространенное мнение, что в самую последнюю минуту человеку вдруг во всех подробностях открывается вся его жизнь? Почему представление о загадочном состоянии духа, когда в сознании в одно мгновение проносится все пережитое, связывается именно со смертью?

Но ведь и вневременное бытие Бога — тоже мгновение, вместившее в себя вечность. Бог вне потока физических событий, заполняющих наш мир, и бессмысленно искать какую-либо временную протяженность между изреченным Словом и материализующимся результатом Его. Всякое «мгновение» Его бытия вмещает в себя всю историю Космоса — от самого сотворения мира до «конца времен», ибо она, в сущности, и составляет семантическую структуру Слова. Но тогда для взгляда «изнутри» нашей истории само это «мгновение» как будто навсегда застывает в каждой точке нашего времени. Так, если бы порождаемые нашим воображением химеры имели возможность самостоятельно мыслить, они, размышляя о нашем существовании, обнаружили бы, что самое краткое мгновение нашего творчества разлито по всей их, химерической, истории.

Так что же, и Его застывшее во времени бытие — суть пограничное между жизнью и смертью состояние? И Он не в силах что-либо изменить в несуществующем для Него промежутке между замыслом и результатом?

Слово... Как и для всякой женщины, слова — зачастую даже пустые и глупые — значили для нее очень много. Я знаю, что завораживающая ритмика речи способна творить чудеса, что никакое, даже весьма совершенное, письмо не может передать волшебства звучащего слова — пускай

иногда и неправильного. Что придает глубокое значение вроде бы совершенно бессмысленным звукосочетаниям, что лишает всякого смысла, казалось бы, полные великой мудрости речения — тембр, интонация, ритм?..

Если взять земную кору в целом, можно установить, что в ее состав в той или иной пропорции входят все известные науке химические элементы. Постепенно спускаясь вниз по шкале обобщений, можно прийти к выводу, что и в составе отдельных вещей присутствует вся «таблица Менделеева». Разумеется, пропорциональные отношения между элементами в каждом конкретном случае будут значительно отличаться — и все-таки правомерно утверждать, что любой предмет, любое реальное вещество в окружающей нас природе, не исключая и нас самих, содержит полный «химический паспорт» Вселенной.

Если мы попытаемся дать не «химически чистое», то есть взятое из словаря, определение какого-либо слова, а действительно полный спектр всех его значений и смысловых оттенков, то такое исчерпывающее описание также включит в себя весь свод знаний, накопленных к настоящему дню человечеством. Это легко продемонстрировать. Что суть жизнь — «способ существования белковых тел...»? Но действительно полное раскрытие понятия обязано тогда содержать в себе и определение того, что есть «способ», и толкование категории «существование». Быть может, столетие назад еще допустимо было удовлетвориться простой отсылкой к «белковым телам». Но сегодня уже не обойтись без рассмотрения структуры ДНК, матричного синтеза и так далее, и так далее, и так далее... А если имеется в виду жизнь человека, мы должны принимать во внимание тайну любви и зачатия, ужас смерти, боль безжалостной памяти... И не в одних только общих понятиях раскрываются подобные смысловые бездны. Полное значение даже таких конкретных слов, как, скажем, «топор» или «пиджак», подразумевает и исторический обзор способов производства этих предметов, и спецификацию всех возможных способов их применения, и многое, многое другое. Подвергнутое последовательному, до конца проведенному семантическому анализу, всякое слово предстанет аналогом всего универсума. Лексический состав языка может быть уподоблен выпавшей росе, каждая капля которой отражает в себе весь мир, однако каждая отражает его по-своему.

Конечно, в речи обыденной мы, как правило, не погружаемся в такие глубины, скользим по поверхности слов. Однако аура полного смысла витает над словом всегда. И в зависимости от нашей культуры, образования, опыта мы извлекаем из чужого речения либо значительно больше, либо значительно меньше — но почти никогда точно то, что вложено в него говорящим.

Но когда даже слово смертного обнимает собой все бесконечное содержание человеческого духа, тем более это справедливо в отношении Его Слова. «Слово было Бог», — гласит Писание...

Но застывший в вечности момент речения не есть жизнь...

Мой разум не в состоянии разрешить противоречий между полнотой Слова и несовершенством результата, между существованием зла и всемогуществом Божиим, между незавершенностью истории и Его всеведением... И только непреходящая боль растревоженной совести, только острая потребность вернуться назад, чтобы исправить многое в своем собственном прошлом, дают мне какое-то новое понимание старых, тысячи раз повторенных истин: всемогущество Создателя есть абсолют.

Оно не может и не должно терпеть решительно никаких ограничений — их накладывает лишь логика смертного. Категорическая невозможность для земного человека вмешаться в свое прошлое не распространяется на Него: физические запреты, проецируемые на акт Творения, есть столь же богохульственное умаление Его всемогущества, как и примитив-

ные ритуальные заклинания невежественного атеизма. А следовательно, творческой Его воле должно быть подвластно не только будущее тварного мира, но и все уже истекшее прошлое.

Создатель пребывает вне времени, само время — не более чем семантический элемент Его Слова. И значит, любое движение Его мысли должно быть полным переустройством всей Вселенной — и не только в срезе ее наличного на данный момент состояния, но и всей ее истории. Каждое новое Слово создает новую вселенную, с какой-то новой историей, — но сохраняя результат нравственного развития той прежней, которая стала с предыдущим Речением. Это никогда не прекращающееся движение к совершенству — только оно и может быть Его жизнью.

Совершенное в глазах человека не есть совершенство в Его глазах. Об этом глухо говорится в первых же главах все той же Книги Бытия, где о сотворении мира рассказано дважды — и по-разному. Созданный из праха земного Адам и данная ему в помощницы Ева — герои уже второго действия. Сгинувшие куда-то после потопа сыны Божии и исполины — по-видимому, своего рода отходы Творения.

Отнюдь не чеканная законченность застывшего в вечности Речения, но живое биение творящей гармонию Мысли явственно различается в Книге Бытия.

Таким образом, постепенно открывается мне, вся сфера бытия не может быть сведена к чему-то однолинейному.

Человеческая фантазия, в сущности, уже давно породила представление о принципиальной возможности многомерной структуры нашего мира. Есть плавное течение мировой истории, которая началась в сакраментальной «точке сингулярности» (чем бы человеческое сознание ни наполняло ее: внезапным первотолчком чудовищного взрыва какой-то непредставимой массы или взрывным же преобразованием абсолютного ничто животворящим Словом Создателя) и которой суждено завершиться где-то там, в неизвестности. Но параллельно с ней в каком-то ином измерении протекает какая-то иная история какого-то иного мира, возможно насквозь пронизывающего наш и вместе с тем неосознаемого нами. И таких параллельно существующих миров может быть бесконечно много... Абсурдна ли подобная картина? Ведь если предположить, что все это множество миров организовано по какому-то общему закону, допустить, что таким законом является строгая последовательность развития чего-то Единого и это единое есть живая пульсация взыскующей совершенства мысли Создателя, то именно такое фантастическое представление о многомерном Универсуме и будет способно приблизить сознание смертного к пониманию подлинной логики Творения.

Тогда сквозь паутину иносказаний мы явственно различим, что концептивно очерченный Писанием акт Творения не есть только прелюдия истории, уже завершившаяся с седьмым днем где-то там, в далеком прошлом. Каждое движение мысли Творца, спроецированное на ось нашего физического времени, озарит собой сразу всю протяженность истории нашего мира. Библейское описание Творения предстанет не как нечто предшествующее становлению человека, но как парафраз вселенского процесса, непрерывно развертывающегося вообще за пределами того физического течения, которое осознается нами как время.

Тогда мы поймем, что судьбы Творения отнюдь не исчерпываются одной лишь нашей далекой от идеала действительностью, что существующее в мире зло не есть часть изначального замысла Творца, что неспособность человека к постоянному усилию к добру не есть неспособность самого Создателя. Мы будем обязаны осознать, что сокрытость смысла нашего земного бытия вовсе не означает полного его отсутствия, ибо смысл этот может раскрыться до конца только в полном континууме Творения.

Нам же, замкнутым в одном его измерении, до поры открыта всего лишь одна грань...

Именно поиск нравственной гармонии является нерушимым залогом того, что в каждом новом зазеркалье нашего мира, вызванном к бытию новым движением мысли Создателя, сохраняется логика истории, протекающей здесь. Следовательно, теми же должны остаться и герои этой истории. Ведь в противном случае с каждым новым Словом, зачинающим новую Вселенную, весь духовный опыт предшествовавшей ей и не достигшей совершенства оказывался бы просто отброшенным прочь, как препарированная лягушка, было бы отвергнуто, как бесполезное и бессмысленное многовековое усилие твари к Богу. Совместимо ли такое с жертвой Сына?

И если вещественность, внешнее содержание однажды совершенного действия застывает и уже не может быть изменено не только нами в нашей земной жизни, но и в других измерениях единого потока Творения, это вовсе не исключает возможности преобразования того, что послужило этому действию порождающей причиной, не исключает возможности принципиального преобразования всей нравственной природы поступка.

Неизменным в этом потоке должно быть только то, что продиктовано чистой любовью. И если любовь земного человека тождественна по природе той, которая вела Отца и Сына, это означает, что восхождение к ее вершине равносильно преодолению временных границ нашего мира и прорыву в полный континуум Творения.

Движимый любовью человек обретает власть над своим прошлым. Отсюда следует и другое: если каждое движение мысли Создателя есть преобразующий историю Универсума шаг в исполнении Его великой задачи, если Творение человека Господь осуществляет руками самого человека — тогда изменить свое прошлое человек должен собственными руками. Вернее сказать, душой...

Быть может, именно этот круговорот непрерывного возвращения к прошлому с тем, чтобы в конце пути исцелить неутраченную совесть, и есть настоящее предназначение не знающей тлена человеческой души. Пусть нельзя исправить содеянное как таковое. Но самой логикой Творения нам должно быть дано извлекать и извлекать нравственный урок из того, что бездумно творилось здесь, снова и снова возвращаться к этому, постепенно очищаясь болью раскаяния и понесенных утрат, чтобы, пересоздав себя, избыть наконец прежнюю, поврежденную, природу своих поступков, чтобы наполнить их заново — совестью и любовью...

В воскресенье утром, сменив измотанного двумя бессонными ночами сына, я остался в еще сумеречной больничной палате.

Практически весь предыдущий день она проспала. Я относил это на счет больших доз снотворного, которые вводились ей накануне перед обследованием на томографе. Но она продолжала спать и сейчас. Сон ее был мятежен, время от времени она начинала метаться, стонать... и я тихо гладил ее волосы, руки... По-видимому, что-то все-таки передавалось ей, и она ненадолго успокаивалась, иногда открывала глаза, но уже через минуту засыпала снова — и все повторялось.

Мне показалось, что у нее поднимается температура... Зачем-то я стал считать ее пульс, но нездоровый его ритм был едва уловим в тоненьком беспокойном запястье, и цифры у меня все выходили какие-то неправдоподобные, которым я отказывался верить.

Светлело. Постепенно ее пробуждения становились все более продолжительными. У нее пересохли и потрескались губы, но я не догадывался, что это симптом сильной жажды, пока она вдруг не прикила с невиданной мною доселе жадностью к случайно поднесенному питью. Странное дело: она совсем не просила пить, и если бы не это рефлекторное движение, я бы и не подумал, что жажда беспокоит ее.

Впрочем, ощущение, что состояние ее души больше никак не связано с состоянием ее тела, стало складываться у меня еще много раньше. Будучи из тех женщин, что любят при случае поискать сочувствия и посетовать на здоровье, она давно уже ни на что не жаловалась, но это вовсе не было стеснительностью человека, который боится доставить беспокойство другому. Всегда очень требовательная и разборчивая в пище, вот уже который день она совершенно забывала про еду и вспоминала о ней только тогда, когда ее начинали кормить; первые дни фыркавшая на сиротскую больничную кашу, сейчас она уже не обращала внимания, что ест, хотя все еще хорошо отличала, когда мы приносили ей домашнее. Я кормил ее с ложечки, и она с какой-то удивительной серьезностью и аккуратностью пережевывала все, что ей давалось, но, по-видимому, все это проходило мимо ее глубоко погруженного во что-то сокровенное сознания.

Я гладил и гладил ее волосы, шептал и шептал ей какие-то слова, иногда она горячим шепотом отвечала мне... Мне хотелось биться головой о стену и выть, как, может быть, воют от своего страшного горя потерявшие хозяев собаки, — но все это будет дома, здесь же я изо всех сил сдерживал себя и старался улыбаться ей всякий раз, когда она открывала глаза, наклоняясь к ее изголовью, чтобы она могла меня увидеть. И каждый раз, увидев, она радостно улыбалась мне в ответ, как улыбаются чему-то приятному и неожиданному. Всю жизнь хранившая меня, она угасала светло...

Я понял только сейчас: наверное, именно так и должна была завершаться исполненная чистой любовью жизнь. И еще я понял: каждому человеку дается шанс выполнить свое назначение на земле. Она свой долг исполнила до конца. Теперь я знаю, в чем состоит мой. Спи спокойно. Я исполню его.

Больная душа человека должна пройти долгий путь исцеления от ею же приносимого зла. Ей предстоит переделать собственную земную жизнь по законам совести и любви. И эта созидательная работа не может завершиться вместе с посюсторонним, конечным существованием индивида, но должна совпадать с полным континуумом Творения.

Впрочем, даже не так: не совпадать с ним, а составлять его, ибо миссия человеческой души — это и есть неотъемлемая часть всеобщего созидющего потока; в целом же он складывается именно из полной суммы индивидуальных исканий всей истины нашего бытия. Исполняя свое предназначение, она сливается с Богом, как сливается с художником обогативший его образ. В этом нет ничего, что умаляло бы величие нашего Создателя, как нет ничего умаляющего художника в том, что его мысль движется им же порожденными образами, и их развитие есть в то же время его собственное восхождение к искомому им идеалу.

Так что же, сам человек в конце пути становится Богом? Сам Бог — это завершивший путь познания истины бытия человек?

Размышляя о бессмертии, я неизбежно приходил к выводу, что оно категорически исключает все индивидуальное, что оно совершенно несовместимо с множественной, атомарной организацией одухотворенной субстанции.

Одной из высших признаваемых нами ценностей является уникальность каждой отдельной личности. Но сохраняется эта ценность лишь там, где существует ограничение как общей численности индивидов, так и сроков жизни каждого из них. Бессмертие же доводит уникальность до абсолюта, до такого состояния, когда между ними становится невозможным уже никакое общение. И если даже говорящим на одном языке порой трудно понимать друг друга там, где существует несовпадение личного опыта, индивидуальной культуры, что говорить об отличиях, накапливаемых не десятилетиями, не веками — вечностью!

В земном своем существовании человек еще сохраняет возможность хоть какого-то противления всеподавляющей мощи бесконечного, сохраняет какие-то связи между подобными себе только сводя до минимума круг общения. Но за гранью вещественности уничтожаются любые барьеры между индивидами, и там он оказывается уже не в уютном кругу близких, надежно огражденный условностями быта от всех остальных, но в самом сердце какой-то бесчисленной толпы... абсолютно одиноким, как одинок тот — и это слабое подобие, — кого крушение жизненного уклада выбрасывает на дальний берег иноязычной культуры.

Именно умножение индивидуального позволяет осуществиться всем возможным путям поиска истины. Но вот вопрос: оказывается ли в бессмертии эта истина доступной хотя бы кому-нибудь? Способен ли хоть кто-то охватить содержание вечности, возведенное в степень бесконечного числа индивидов? Едва ли... а значит, обретение этой истины немислимо вне какого-то растворения всех в Одном. Но если и да, то не означает ли это, что все становятся абсолютно тождественными друг другу... что все становятся Одним?

Рассуждения вели меня к тому, что бессмертие души прямо предполагает необходимость постепенного слияния всех в чем-то едином, растворение всех в сознании одного высшего субъекта. Только в этом случае человек будет избавлен от вечного ужаса одиночества в переполненном мире, только в этом случае истина становится достоянием всех, только в этом случае земной ее поиск найдет свое оправдание в вечности...

В перспективе такого грядущего соединения исчезает без остатка всякое основание как для атеистического, так и для теологического противопоставления Бога человеку и человека Богу: Бог ли в каком-то далеком прошлом сотворил человека, или созданный Им человек, по завершении земного круга бытия, выходит в полный континуум Творения и там, получив полную власть над своим собственным прошлым, создает самого себя; смертный ли человек, смутно предчувствующий неизбежность грядущего растворения в какой-то единой субстанции, творит Бога как понятие именно этого всеобщего начала, или порожденный его неизбывной тоской по нравственному совершенству и всемогуществу Бог, до бесконечности множа и множа индивидуальное, стремится познать Самого Себя?.. Есть ли вообще смысл искать начало и конец этого замкнутого в самом себе логического круга, отображающего замкнутость и целостность Творения?

Бог обещает человеку власть над всем, что создано Им: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всею землею, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Но восприятие свыше вручаемой власти не может быть осознано как некий моментальный акт, мгновенно изменяющий состояние в мире. Подобная власть над миром немислима без напряженной работы души, без напряженного труда познания.

И вовсе не доскональное знание законов вещественного позволяют микроскопической части все той же вещественности владычествовать над материальным миром. В подобном знании лишь иллюзия верховенства — не более. Дело не только в относительности или недостаточности любого нашего знания. Беспомощная щепка, плывущая по течению причинно-следственных связей, человек, даже познав до конца все его извивы, не в состоянии продиктовать ему свою победительную волю — и вынужден беспрекословно подчиниться этому потоку. Человек в точно такой же степени повелевает ходом событий, в какой и сам является бесправным его рабом. И не случайно мнимая власть человека над познанным зачастую оборачивается катастрофой, сводящей к поражению едва ли не все его победы.

Полное торжество человека над окружающей действительностью может быть достигнуто лишь постижением какого-то надматериального из-

мерения бытия, ибо только поднявшись *над* чем-то можно получить право повелевать им. И не в силовом покорении природы, не в материальном преобразовании окружающего смысл человеческого созидания. Конечной его целью может быть только полное нравственное преображение всего природного — как извне противостоящего человеку, так и сокрытого в нем самом.

Нет, это не оговорка: тот факт, что неодушевленная природа изначально лежит вне каких-либо нравственных оценок, не означает, что абсолютно к ним безразличной она останется и во веки веков. Ведь если человек по мере своего восхождения постепенно перенимает эстафету Творения у своего Создателя, если в конечном счете вся природа творчески преобразуется человеком — она не может быть нейтральной к тому, что движет самим Творением.

Творением же движет любовь... И только прямое прикосновение смертного земного человека к этому животворящему началу в конечном счете может дать ему верховную власть над всем миром материального. И только переделав все и вся по непреложным законам любви, все мы, несущие Господу крупницы откровений нашего нравственного опыта, наконец услышим снова однажды уже звучавшее в тишине Рождественской ночи: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение». Но теперь уже не как обетование, но как благословенный итог бытия, должжданное исцеление совести, исцеление от скорби...

И абсолютным гарантом этому — та боль, которая свыше даруется каждому.

А значит, и моя донныне не проходящая боль.

А значит, и моя грядущая смерть...



МИХАИЛ СИНЕЛЬНИКОВ

ИЗ БЛАГОДАТНОЙ ТЕМНОТЫ

Единоверческая церковь

Российский модернизм, готовый впасть в раскол,
Пройдя «Цветами зла», добредший до Стоглава,
В день реставрации он золотом зацвел,
И строгость прянична, и нежность величава.

Здесь женщина одна жила и умерла,
Здесь из ее окна — как годы пролетели! —
Мы с нею видели ночные купола,
Такие черные, но древние в метели.

Вдруг вспомнишь Пушкина, читая Кузмина,
Но воскресение все уравнило стили.
...Гляжу и думаю: любила ли она?
Но эту черноту поздней позолотили.

Большая Ордынка

Напротив — кухня, близость к санузелу.
Удобна комната у входа
Пятиметровая. И мировому злу
Почти покорная свобода.

Покоит вытертым стеклом
Зеленый стол. Нет, быть нельзя довольней!
Над койкою — икона. За окном —
Немая колокольня.

Порхает по углам фельетониста вздор.
Таврическое, привкус поминальный
Есть в очертаньях церкви... Старый двор
И — Ваймар коммунальный.

* *
*

От площадей до сопок
Промчавшись наравне,
Сливались лен и хлопок
В струящейся стране.

Волны многоголосье
Катилось клокоча,
И оплела колосья
Стремнина кумача.

Начальники носили
Чудную чесучу...
Всплеснутся складки пыли,
И в детство улечу.

Там, сердце пеленая,
Мои текут шелка,
И что мне жизнь иная
С пыльцою мотылька?

Синее пальто

Драп, габардин, шевьот и коверкот —
В стране, держащейся на дефиците!
Маклак молил: «Вы только поглядите!»
И мы пошли. Кончался черный год.
И шепотом в квартире говорили
И мерили пальто, и, легче пыли,
На всё ложилась будущего тень.
Теперь отца в пальто я вижу синем.
Мы этот день из памяти не вынем,
Но чем еще отмечен этот день?
И разговоры о Биробиджане,
И в посвисте далековатых вьюг —
Круженье смерти, жизни дребезжанье
И детство, прекратившееся вдруг.

Теснина

Китайский воинский трактат
Влечет в теснину,
Где храбрый ужасом объят
И ветер в спину.

Победа там недалеко,
Где нет опоры,
Где вьется за плечом река
И всюду горы.

Сцепились намертво бойцы,
Живых сдавили мертвецы,
Нет места в мире...
И все, чему учил Сунь Цзы, —
В одной квартире.

* *
*

Трогательно братство сумасшедших,
В болтовне и возгласах палат
Милых собеседников нашедших,
Дружества расхристанный салат.

Вечно исповедуясь и плача,
Не ушли от прошлого они,
Ждут гостей и делят передачи,
Что-то пряча и считая дни.

Чтобы снова, забывая лица
И теряя истины свои,
В оголтелый город возвратиться,
В темное горение семьи.

* *
*

Поседела одна,
Потемнела другая.
Дорогая жена
И любовь дорогая.

В жалких сумерках дня
Все, что было, то сплыло.
Где-то мимо меня —
Мена шила и мыла.

Драматургия

Есть в мире города другие...
Все в том же движется кругу
Домашняя драматургия,
Я от нее не убегу.

И над зарей и над закатом —
Четыре ангела в дыму...
Очнись, должно быть, акте в пятом
И постановщика пойму.

Вновь съезжу в город. Каждый выезд —
Волна спасительных забот.
Тоска однажды сердце выест
И горечь горло захлестнет.

Жажлево

Мир обруселой мери,
В чем небе там и тут
Неведомые звери
Из Африки плывут.

Даль неземных пожарищ,
А ниже — леспромхоз,
Куда меня товарищ
Дом покупать привез.

Вокруг — домовладельцы,
Потомки волгарей,
Бывалые сидельцы
Из пермских лагерей.

Их грубость угловата,
Как желоб у клинка,
И в глубину заката
Вонзается река.

Ворчат и ловят щуку,
Сорогу и леща,
Улов ложится в руку,
Как сердце, трепеща.

Я был со всеми кроток,
И вдруг достались мне
Пятнадцать серых соток
В прибрежной стороне.

Где в пятнах свежей гари
Весенние холмы,
На этом тесном шаре,
Где заблудились мы.

* *
*

Все, что, светясь, темнело в ней,
Отпели в церкви отдаленной,
Чтоб смолкла, зазвучав сильней,
Волна иронии влюбленной.

Я ждал. И вынесли на свет
И гроб и сумрак панихиды.
Я прочь пошел сквозь гушу лет,
Сквозь эти встречи и обиды.

А вечером напьется муж
Над кучей шелестящих писем.
С толпой чужих, попутных душ
Душа летит к нездешним высям.

В той равнодушной вышине,
В переливающимся Боге,
Все узнавая обо мне
И забывая по дороге.

Памяти Константина Сергиенко

Как петлял этот путь непрерывно прямой!
И теперь — эта странная плоть пустоты...
Был бездомным, и вот возвратился домой.
Разве ты — этот камень и эти цветы?

К этим соснам пришли и срослись второпях
 Части жизни, которую мы рассекли...
 Вижу — яблоки падали в диких садах
 И туземные дети плясали в пыли.

Для чего приходите мне в такие места,
 Где ни правды, ни тени от прошлого нет?
 ...Но однажды нагонит меня пустота
 Этих вихрей и выкриков, мчащихся вслед.

Слово

Русь несла самолет, самобранку,
 Мрию Хлебникова, ЧК,
 Выворачивая наизнанку
 Сумеречные века.

Тормошила и раздражала —
 Бескорыстного столько зла!
 Грубо Азию обнажала,
 Опозоренная ушла.

Но удержит чужое слово
 Тьма, приверженная ножу,
 Затворившаяся сурово,
 Вновь надевшая паранджу.

Незнакомый голос

Радостный, плещущий гулом
 Голос всплывал Гумилева.
 В зале пустынном и снулом —
 Жизнь и журчание слова.

В голосе жил наслажденец,
 Певший слонов и жирафов...
 Нет уже здесь современниц,
 Глушь и акустик Шарапов.

Валики восковые
 Шли, шелестели с тоскою.
 Лики старух восковые
 Веяли дряхлой Москвою.

Что ж ты, давай ему голос,
 Веком исцезенный в меру!
 Долгий незнаемый голос,
 Принятый нами на веру.

Счастье

Увижу индийцев счастливых
 В минуту смертельной тоски...
 В цветах и серебряных гривах
 Громоздкие грузовики.

На крыше кабины теснится
 Веселых кумиров семья,
 А в кузове — темные лица,
 У каждого радость своя.

Но славящий благодать коровью
 Поистине счастлив народ
 И жгучей бетелевой кровью
 В незрячем восторге плюет.

В пыли и седом серпантине
Сквозь вихри удач и утрат,
Сквозь людные эти пустыни
Беспечные боги летят.

Сон о Тарковском

Мне снилась Польша, снился пыл,
С которым в странном сне
Я о Тарковском говорил
И о другой стране;

Всю проживал его судьбу
И видел наяву
Ту енисейскую избу,
Как будто в ней живу.

В той ссылке по воду чуть свет
И наколоть дровец
С Пилсудским в очередь семь лет
Ходил его отец.

Влилось полвека в черноту,
И сын десяток роз
На поседелую плиту
Пилсудскому принес.

Ах, эти розы хороши,
Как первая любовь!
...Все прошлое его души
Меня пронзило вновь.

Голицыно и Дагестан,
Махновщина, Ингул
И этот нынешний дурман,
В котором я уснул.

Все перепуталось в тайге,
И выплыло рывком —
Как на единственной ноге
Он прыгал с молотком.

Как бодро мебель мастерил
И что-то вслух читал,
И сонм исчисленных светил
Над нами пролетал.

Как жизнь, тянулся этот сон
В сиянье долгих зим,
Был сердцу непосилен он
И непереносим.

Как встреча вновь с его лицом
И волны под крыльцом,
Как мысль о жизни пред концом,
Ее простым венцом.

Измайловский собор

Марк в самом центре, ровный, усредненный.
Левей — неутешительный Лука.
И справа — Иоанн. И взлет зеленый
Деревьев к небу — в души, в облака.

Встал синетемный, в небеса упертый
Собор над службой и судьбой моей.
Три купола. И выше их — четвертый,
Огромный, всеобъемлющий Матфей.

Кумран

С. и И. Крон.

Свеж верблюжий след на глине,
Долог день и древен мир,
И пустыня всё пустынной
И синее знойно-синий
Моря Мертвого сапфир.

Вот и меркнувший во мраке
 Проблеск истины двоякий,
 Правды промельк и пример:
 Облетающие маки
 У чернеющих пещер.

* *
 *

Как греки в буйный с бубнами Стамбул,
 Как немцы в Кёнигсберг или Бреслау,
 Во Львов — поляки,
 Русские — в Одессу
 И Севастополь...

 Так должны евреи
 Входить в арабский Иерусалим.

Я шел, и становились все крупнее
 Детьми в меня бросаемые камни.
 Дорога в Гефсиманию — как сон,
 Где будущее движется в бурнуса
 И прошлое в пустыне вопиет.

Прекрасна жизнь, как подвиг непосильный.
 Безмолвие на мыслящих кладбищах
 И солнце, не дающее вздохнуть.

Стена

Какой-то гул, ликуя,
 Как будто снится мне.
 Проснуться не могу я,
 Припав лицом к стене.

И ничего не прячет,
 Горит душа моя.
 О чем другие плачут,
 Не различаю я.

Все не могу прозреть я,
 Но, в слепоте права,
 Вросла в тысячелетья
 Упрямая трава.

Летят, мелькают лица,
 И с ними пролети.
 О, жизнь моя, частица
 Всеобщего пути!

Как легионы Рима,
 Промчались времена,
 И все непоправимо,
 И предо мной — Стена.

Ведь в этот день горячий,
 Смешавший с явью сны,
 Я — под Стеною Плача,
 Я плачу у стены.

Памяти Розанова

Где свежий ветер клонит долу
 Деревья, слившиеся с ним,
 Чуть свет проходят дети в школу
 Журчащим выводком родным.

И в старости здесь дела много —
 Глядеть на горы, на цветы,
 Встречать субботу, слава Бога
 Из благодатной темноты.



АРМЕН АСРИЯН

*

ПОХОД ЭПИГОНОВ

Хроника

Я еще успеваю заметить что все же не зря мы сидели за этим столом и вино и окурки дело впрочем не в них просто стены угрюмой конурки переходят прогнувшись в занозистый борт корабля говори я не буду мешать говори о чуме о застолье о том что бессмысленно все и нелепо виноградные хрупкие звезды багровое небо и морскую щемящую соль неожиданно мне проступившие скоро и ты различишь не перечь рассуждая о гибели очень всерьез и пространно после легкой заминки внезапно переходя на холодящую губы колючую звездную речь мы уже возвращаемся в свой незапамятный дом в чернолаковый мир крутобедрой аттической чаши и все так же сидим только чуть веселее и старше в керамических позах за краснофигурным столом...

РАССКАЗ О ТРЕХ КОМАНДИРАХ

Монтэ был родом из Франции. Из Марселя, кажется. Живым я его не знал. Он приехал в первые же дни войны, командовал бригадой, погиб. Легенда сложилась почти сразу — очередная местная вариация на тему Че Гевары. Каждая война на первом, романтическом этапе рождает такую легенду, и за старательно приделанным ореолом святости уже неразличим прототип. Сверхъестественное чутье (мог поднять ночью несколько батальонов, повести в засаду на отдаленную горную тропу — при полном тогда отсутствии разведки, — и вскоре действительно на тропе появлялся отряд противника), сверхъестественная доброта, человеческое отношение к пленным... Погиб при странных обстоятельствах... Впрочем, это говорили почти обо всех любимых командирах, погибших в первый год войны.

Корьон был командиром небольшого разведывательно-диверсионного отряда. О нем рассказывали чудеса. Сам он рассказов не опровергал, но и не подтверждал. Похоже, его это только забавляло. Месяцами жил со своим отрядом за линией фронта, возвращался ненадолго передохнуть и пополнить боезапас. Был хром, покрыт шрамами, заметно пятнист из-за пересаженной кожи. На вопрос, зачем он пошел воевать, не отвечал. Не ис-

Асриян Армен Генрихович родился в 1962 году в Ереване. Учился в Ереванском государственном университете и в Литературном институте им. А. М. Горького. Живет в Москве. Печатался в журнале «Грани», сборнике «Латинский квартал». В «Новом мире» публикуется впервые.

ключено, он уже и не помнил, что происходило три года назад в душе консерваторского мальчика «из хорошей семьи». Да и самого этого мальчика припоминал с трудом. На вопрос же, что его здесь держит сейчас, отвечал лаконично: «Это сафари».

Рей командовал русским отрядом. Воевал под псевдонимом — после Афгана был в Рижском ОМОНе, опасался, что Россия может его выдать. Бойцов, впрочем, имя командира заботило мало: обращение было одно — Командир. Бойцы — в основном боевые офицеры, побывавшие после того же Афгана кто в Приднестровье, кто в Боснии (хотя был и совсем необстрелянный молодняк) — любили Командира самозабвенно и чрезвычайно им гордились. Гордиться было чем — массивный, обманчиво-неуклюжий Рей не только был при желании отменно учтивым, светски обходительным и остроумным собеседником — он прекрасно разбирался в классической китайской поэзии и философии, писал акварели вполне профессионально... В наградном свидетельстве приводился его личный счет — девяносто шесть человек, в том числе — четыре полковника и один генерал, два танка и четыре БТРа. При этом он успевал командовать, и командовать мастерски. Потери в отряде всегда были минимальны. А если учесть, что почти треть счета приходилась на те месяцы, когда он после ранения воевал с загипсованной ногой, на костылях (дело происходило, естественно, в горах)...

Командование его слегка опасалось: то обстреляет из пулемета миссию швейцарского Красного Креста — «пикник, суки, устроили, палатки разноцветные, понимаешь, прямо между линиями окопов, сами в каких-то куртках попугайских...», — то спокойно расскажет журналистам, что пленных украинцев расстреливает на месте: «им же азеры до п...ы, они здесь против России воюют...». Впрочем, брать пленных он вообще не любил. Неопределенно бурчал, что у него здесь старые счеты — с советских еще времен. Как-то сполупьяну сказал, что свою арифметику ведет по отрезанным ушам. Может, и не врал — война шла уже к концу, всякое бывало...

СВЯТОЧНЫЙ РАССКАЗ

Время действия — незадолго до взятия Шуши. За подлинность событий не поручусь, но сама легенда довольно характерна.

Расположение Шуши — над обрывом, с которого Степанакерт как на ладони, — очень способствовало артиллерийскому и минометному обстрелу столицы. За долгие месяцы степанакертцы научились стремительно укрываться в подвалах и бомбоубежищах. Но больница и роддом были вынуждены просто переселиться в свои подвалы — с операционного стола прятаться не побежишь.

24 декабря с той стороны появился «газик» с белым флагом. Парламентеры объяснили, что приехали просить о помощи главврача степанакертского роддома — рождает, и очень тяжело, жена полковника Мамедова, «командующего обороной Шуши». (Командующие, как и министры, обычно предпочитают быть командующими «обороны», никак не «нападения», «бомбардировки» или, к примеру, «резни». Но это так, к слову.) Главврач, немолодая женщина, быстро собралась, оставив с разинутым ртом мужа, ошарашенного первым за двадцать лет брака случаем неповиновения. Когда добрались до места, «полковник» — позавчерашний директор школы, председатель колхоза или вор в законе, пятидесятилетний красавец с холеными усами — плача попросил ее, если придется выбирать, спасти ребенка: «...я очень ее люблю, она же на восемнадцать лет меня моложе, но жениться я смогу еще, а вот сына у меня может уже и не быть...» Через два часа счастливый полководец, обнимая живых и здоровых жену и сына, произнес сакраментальное: «Проси чего хочешь, женщина!» Просьба была простой: «Не обстреливайте город хотя бы дня три, у меня там два таких же тяжелых случая». — «Клянись Аллахом!»

На следующий день не стреляли. Не стреляли и на второй день, и на третий, и на четвертый... Обстрел возобновился только через неделю — в новогоднюю ночь.

ПУЛЕМЕТЧИКИ

Пулеметный расчет составляли два Володи — Володя-большой и Володя-маленький. В отряде их скоро окрестили «Джонсон и Джонсон» — телевизор переполняла реклама детской косметики, и народ решил, что девиз фирмы: «Мы заботимся о вас и вашем здоровье» пулеметчикам подходит идеально.

ТРОФЕИ

Горел Агдам. В пустой город никто еще не входил, только казаки по двое, по трое потянулись к разрушенному винзаводу. Неожиданно за ними увязался не особо пьющий пулеметчик Володя-маленький — после гибели Володи-большого сочетание «Джонсон и Джонсон» исчезло из оборота. Вернулся только к вечеру, трезвый и волочащий за собой коробки с книгами. «Во, — сказал Володя, — трофеи!» Позже, перебирая книги — Мандельштам, Ходасевич, Бродский, Стругацкие, Борхес, Лем, — я почувствовал всю нелепость происходящего: те же книги такими же зачитанными и затрепанными можно было снять с полок моей ереванской квартиры. Этот парень — если исключить, что хозяин библиотеки с тем же успехом мог быть и стариком и женщиной, — лежащий сейчас с простреленной головой в разрушенных окопах под городом или бредущий на восток с толпой беженцев, близоруко шурясь в разбитые очки на плачущих женщин и детей, — пять лет назад после обмена парой фраз был бы уверенно опознан как *свой*, но — пять лет назад. И все-таки странная связь устанавливалась между ним, мной и Володей-маленьким, мальчишкой, весь докарабахский опыт которого вмещал только школу и три года артиллерийского училища, но снявшим с полки именно эти книги... «А что так долго?» — любопытствовал Рей. «Да понимаешь, Командир, — Володя смущенно отвел глаза, — я, когда в квартиру вошел, смотрю — компьютер. Включил — работает. А на нем „Цивилизация“ стояла. Ну, я и это... Заигрался, короче...»

УЗОК КРУГ ЭТИХ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ...

В отряд пришли новые бойцы. В процессе знакомства выяснилось, что один из них воевал в Приднестровье. Командир, оживившись, начал расспрашивать подробнее. Оказывается, оба были в Дубоссарах одновременно, но совершенно не помнят друг друга. Наконец раздался вопрос: «А ты на какой стороне воевал?» — «На приднестровской, конечно!» — «А я на молдавской...» Короткая пауза, наконец командир произнес: «Кумовья, значит!» На том и порешили.

ВОЙНА КАК ВОЛЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Каждый выбирает мир, в котором ему жить. Если не собираешься жить в истории — имеешь право не знать, что война за Лотарингию началась в девятом веке, лет эдак через семнадцать после возникновения Франции и Германии. Война затихала на десятилетия, потом вспыхивала опять, иногда перемешивалась с другими — Тринадцатилетняя, Тридцатилетняя, за Испанское наследство, за Австрийское наследство, франко-австрийские, франко-прусские, две мировые... Имеешь право считать, что война, длящаяся одиннадцать веков и знавшая периоды «вечного мира» подольше нынешнего, закончилась навсегда именно сейчас только потому, что ты осчастливил это время своим рождением. Просто когда она, поэ-

вывая со сна, опять откроет глаза, тебе придется придумывать для нее новое название — только и всего. Война не случается вдруг — она была, она будет, она спит здесь, рядом. Но у тебя всегда есть выбор — знать и быть готовым или забыть и задаваться потом в ужасе праздными вопросами: почему, откуда, ведь прошлая война была последней? Любая война всегда *последняя*. Это ее родовое свойство.

Безлюдные приграничные ущелья в советское время славились кабаньей охотой. Но не стоило ходить на охоту в одиночку — один, а лучше двое должны были следить за противоположным склоном — на случай, если оттуда вас обстреляет такая же команда охотников. Не стоило также ходить, если в группе не было хотя бы одного-двух нарезных карабинов — от двустолок на таком расстоянии особого толку не было. Обычно перестрелки ничем особенным не заканчивались, раненые случались редко, и уж совсем редко дело кончалось похоронами, на которых воющие женщины призывали все кары Господни на головы «турецких собак», а мужики хмуро сговаривались, кто и когда пойдет опять. При другом исходе встречи гнев Аллаха призывался соответственно на головы «собак армянских».

ПИСАТЕЛЬ

Рассказ попался мне в одном из крошечных местных изданий. Короткая врезка сообщала, что автор погиб больше года назад. Кажется, это была единственная его публикация.

Деревня готовится к обмену. Полгода разыскивали среди пленных двоих парней из деревни напротив, через реку. На той стороне происходило то же самое. Наконец все готово. Пленные заперты в дальнем сарае. Жарятся шашлыки, накрываются столы, вино извлекается из погребов. Ближе к полудню на окраине раздаются два выстрела. Ровно в полдень, по уговору, стороны встречаются на мосту. Короткая беседа, потом с каждой стороны на мост вносятся по два гроба. Старики поднимают крышки, заглядывают внутрь, удовлетворенно кивают — все верно, наши. Родные забирают гробы и расходятся.

Хороший был рассказ, скупой и жесткий.

ПРОЩАНИЕ С ИМПЕРИЕЙ

Отряд ночевал в пустующих казармах. Вдруг из дальнего угла раздался голос кого-то из молодых: «Эй, мужики, это что такое?» Подтянулся народ. Оказалось, дело было в металлической табличке, прикрепленной к спинке кровати. Надпись на табличке гласила: «Кровать героя». Бывший погранец Слава начал объяснять не успевшим отслужить в Советской Армии, какая физическая реальность стояла за ритуальным заклинанием — «навечно зачислен в списки части». Когда хохот смолк и молодежь начал задавать дурацкие вопросы, стало ясно, насколько *другие* эти ребята, всего на несколько лет моложе... Кончилось время мифа, время героев и чудищ, началось время истории. Навсегда ушли во мрак хтонические создания, лучшие друзья советских пионеров — волосатый человек Иван Евстихийев, исполинская девочка Мамлакат, Карацупа с верным Ингушом, из соображений политкорректности посмертно переименованным в Ингуса, укротитель бешеной баржи океанский ковбой Зиганьшин, навечно зачисленный в списки Герой со своей половиной двухъярусной койки... Остались только забытые дети, брошенные где-то под Фивами, со смутным представлением, что *мир до них был другим*, додоевывающие войну, начатую семь поколений назад полузабытыми предками, из загадочных побуждений и с потерявшейся в веках целью...

ИЗ НАСЛЕДИЯ

СВЯЩЕННИК ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ

*

ИЗРЕЧЕНИЯ ДАРЬИ

Настоящие записи сделаны мною в 1908 — 1911 гг. в Сергиевом Посаде Московской губернии со слов моей кухарки Дарьи, крестьянки села¹ Дмитровского уезда.

Дарья — вдова, около 45 лет, имевшая четверых детей (из которых только одна дочь была тогда невестою) и потому жившая в нужде трудами своих рук. Вероятно, этим объясняется ее глубоко недоверчивое отношение к людям, хотя далеко нельзя сказать, чтобы она была настроения угнетенного или меланхолического. Выданная замуж за нелюбимого и к тому же невидного собой жениха и оторванная от парня, которого любила, она на всю жизнь озлобилась на своего мужа. Ее раздражало в нем все — и малый рост, и безответность (о которой она не раз свидетельствовала мне), и запой, хотя пьяный он бывал еще более тих и кроток, нежели трезвый. При жизни своего Алексея она, по собственным словам ее, все время желала ему смерти; после же смерти ругательски ругала за то, что он умер и оставил ее заботиться о детях. Вероятно, неудачною семейною жизнью объясняется и вообще враждебно-презрительное отношение Дарьи к мужчинам и к браку.

Свои записи предоставляю в сыром виде: так они свежее и лучше характеризуют душу бабы.

Священник Павел Флоренский.

1

Я: Тут (в воде) муха (т. е. нельзя эту воду пить).
О н а: Муха не проест брюха; где взойдет, тут и выйдет.

2

Нет ни кола, ни двора, ни куриново пера.

3 (см. 48)

Где солнышко — каплет, а в захолусьях — мороз (захолусье — тень, затененное место).

Архив свящ. Павла Флоренского. Публикация В. П. и П. В. ФЛОРЕНСКИХ.

Продолжаем печатать материалы из творческого наследия священника Павла Флоренского (см.: «Новый мир», 1995, № 10; 1997, № 5). Предлагаемые записи — это листы 335 × 225 мм, сложенные пополам, так что они образуют тетрадь; рукопись от руки, достаточно разборчива. Над заглавием надпись синим карандашом: «Прошу прислать корректуру в гранках. Св. П. Флоренский». Ниже сделана надпись простым карандашом: «Номера набрать жирным шрифтом. Подчеркнутое карандашом — шрифтом поменьше основного. Подчеркнутое чернилами — вразрядку или курсивом, в зависимости от системы, принятой во всем сборнике. Св. П. Флоренский»; и неизвестной рукой, чернилами: «Получ. 13/12 14 г. Е. Е.». Внизу страницы надпись рукой Флоренского красным карандашом: «Всего тут 20 стр.»; и простым карандашом: «Адрес мой: Сергиев Посад (Моск. губ. Штатная Сергиевская ул.; д. Озерова)». Теперь улица переименована в улицу Академика Фаворского.

¹ Название села пропущено. (Примеч. публикаторов.)

4

Какой чистобай явился! (чистобай — чисто баящий, чисто выговаривающий, напр., среда, а не среда — как Дарья).

5

Марьяшу спрашивут (спрашивают).

6

Ни капли ни канула (не капнула).

7

Я: Я не баба.

Она: Удалей бабы.

8

Я: Что ты в красной юбке?

Она: Замуж захотела.

9

Умный любит ясно, а дурак любит красно.

10

Какие студенты ёрники! (ёрники — бабники).

11 (см. 20)

Она: Кто это сделал?

Я: Ваша милость.

Она: Кабы наша милость, так на бок бы не сбилась.

12

Свою кобалу плотно усадила (речь шла о дочери).

13

Милки-шевелилки. Сама шевелит, а мне не велит.

14

Детнище, детница.

15

Морица (корица).

16

Солодка — солодковый корень.

17

Ведро водки, хвост селедки.

18

Кто на руку резок, тот вдовец будет. (Примета. «На руку резок» — т. е. у кого резкий удар рукою.)

19

Ишь как мухи весь потолок засрали!

20 (см. 11)

- Кто это?
- Наша милость.
- Ваша милость náбок сбилась.

Или:

Была у вас (у нас) милость, да náбок сбилась.

21

Здвиженье (Воздвиженье, праздник).

22

Старинные люди говорят, что в этот день (т. е. в Праздник Воздвижения) две-ри со всех концов задвигаются.

23

Женщины про роды говорят: «Крута́ гора, да забывчата», т. е. хоть и трудно рожать, а потом забывается, как было дело.

24

Семеро на одном колесе проехали! (т. е. вон сколько человек, а я на всех одна работаю!).

25

Около печки кáлишься (греешься, жарись).

26

- Он от бабы родился.
- А ты от кого родился? От козы, что ли?

27

- Ты кто? Мужик или баба?
- Никто. В д о в а. И не мужик и не баба.

28

А мы как рядимся — так боронить беремся.

29

Дарья уверяет, что свойства и пол ребенка определяет отец, а не мать. Мать — «родила», а отец — «сделал». Поэтому «виновата» не мать, а «виноват» отец.

30

Какой конопатчик срядный (нарядный).

31

Я: Масса хламу накопилось на коробе.
Она: А зачем на хла м о з ы ли?

32

ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА

Я: Чтó, дочь Жохóва старая? Ведь она, кажется, давно замуж вышла?

О н а: Ну что вы! Она с мужем не живет.

Я: Живет не живет, а время ведь идет.

О н а: От хорошей жизни чтó ей сделается!

33

Дарью пугали «мышом» (т. е. мышью). Она: «Ой, без души, ей-Богу. Так ноги и трясутся, ей-Богу. Как сердце бьется!»

34

Я: Скорей!

О н а: Скоро делают — так слепых приносят.

35

Этот петух не русский; он не будет русских кур топтать.

36

Да я бы и не дометилася, — смотрю, одна рыбина валяется (дометилася — приметил; речь идет о покраже рыбы соседским котом).

37

Таракан уполоз (уполз).

38

Тараканов черных грех бить; мышей увидишь — говорят, грех их упускать.

39

Я: Дарья, я попробую (уж не помню, чтó именно; кажется, речь шла о том, чтобы поспеть в лавку до вечернего закрытия).

О н а: Попробуй! Солдат девку попробовал, а она сразу двойню родила.

40

Песни играть.

41

Вчёрось=вчерась.

42

Ширять — толкать, пихать.

43

Ширинка — полоска на брюках, к которой пришивают застегивающие брюки пуговицы.

44

До обеда долго прогóнишься (т. е. «долго», «долго будет»).

45

Эх вы, нагрешные люди! (т. е. наводящие на грех, соблазняющие. Это было сказано, когда Дарью чем-то поддразнивали).

46

Пронадеешься на вас, а вы не сделаете (т. е. напрасно будешь надеяться).

47

Я: Правда?

Она: Полезу я на колокольню божиться?! (т. е. не стану божиться).

48 (см. 3)

Я: Есть ли мороз на дворе?

Она: В захолустях есть.

Я: Т. е. как «в захолустях»? В тени?

Она: Да, в тени.

49

Я: Стыдись!

Она: Нечего стыдиться, коли дома не сидится.

50

Рубчеватый стакан (граненый).

51

Иван Иваныч, скинь порки на́ ночь и повесь на гвоздь.

52

Я ево не понимаю за настоящего хозяина: я у ково рядилась, того и понимаю за хозяина (понимаю — признаю, считаю).

53

Дурак дураком, а задница холодная.

54

Если огород вспахать осенью, то еще хуже земля заляпнет.

55

У лука (при маринованьи) перья сымают самые большие, а тонкие — оставляют и жопку не отрезают (т. е. место прикрепления корней).

56 (см. 57)

Вы — тоже у меня: «Хто я, подымай выше. Уйди, не замарай меня» (т. е. важничаєте).

57 (см. 56)

Не подходи близко, а то замарашь (важность).

58

Горячее молоко закрывать нельзя: оно не скиснется, но водою отсикнется.

59

То не диво, что девка родила. Девка по глупости. А вот старуха, — то диво.

60

Я: Невеста отказала мне (шучу).

Она: Чай другая есть.

Я: И та откажет.

Она: Третью найдем.

Я: И она тоже.

Она: Ну, чай где-нибудь твоя судьба родилась!

61

Муж с тоски
Потерял носки,
Жена валенки
На завалинки.

62

С анису захочется Анисьи.

63

Што мужиков пьяных вчера было! (т. е. сколько, как много!).

64

Синель — сирень, цветок.

65

Свёклу вот ополоскала.

66

Так ухватом и лопну (т. е. хлопну).

67

Ум — не пуговица, не болтается (т. е. ума не видно, о нем судить нельзя).

68

Без ученья и попом не ставят (о правдание; т. е.: что же делать, на первый раз сделала не так).

69

Тошно, — не по силе напился (т. е. опился, чрезмерно).

70

Торговый пирог (т. е. покупной, а не спеченный дома).

71

Анютка прбстыню незазнять положила тебе (т. е. положила чужую простыню, т. к. не знала, твоя ли или чужая).

72

Любовь любви рось (розь), — а за другую любовь хоть за окошко брось.

73

Карахтер не пуговка (т. е. не разберешь характера, его не видеть).

74

Как родился, так бы родить годился.

75

Я: Тебя жалею.

О н а: Да, пожалел волк кобылу — оставил хвост да гриву.

76

Что это в ушах сера кипит (т. е. накаплиется), — к теплу, что ли?

77

Я: Отчего умерла?

О н а: Так уж, смерть ея пришла.

78

Чешуя от рыбы не дрыляет (т. е. не разбрасывается в разные стороны при скоблении рыбы).

79

Вчера лампу в резь налила (т. е. полную керосином).

80

Погреб захлебнулся водой, полна яма будет.

81

Ну, я ушла пока (т. е. уйду вот сейчас).

82

Это — капёзная вода (т. е. дождевая).

83

— Бóгова вода.

— Богова?

— Святая, — что берут из церкви.

84

«Бóговой» водой называется также дождевая вода.

85

В месяц-то, может быть, выгоню 10 рублей (т. е. через силу заработаю).

86

Да ладно; я ведь не взыскиваю. Хоть горшком назови, только бы в печь не ставили.

87

Да не тот теперь голос подает (колокол).

88

На улице погода пошла (т. е. снег).

89

Ни одна из хорошества не станет мужа ругать (т. е. ни одна жена не станет ругать своего мужа за хорошее поведение).

90

Еще яйца не вына́ли из печи (в́инули? вынима́ли?).

91

Он таково н́зменнаво роста, черноватый.

92

Мы на́ дом дохтура приве́дэм.

93

И в женихи-то ево (покойного мужа Дарьи) не клали: дожленкий очень был (т. е. не считали в числе женихов).

94

Вся щель все была со клопами, около бога (т. е. около иконы).

95

А чай, наш П. А., чай, мо́гится читать, — читает еще важнее (в присутствии ревизора).

96

Чай, пуще мо́гится!..

97

Кто в грехе, тот ходи в ответе. Наплевать.

98

Ступай, муж, гуляй на все четыре стороны.

99

Пыжо́вник (шиповник, и кусты и ягоды).

100

Сунача́ла. Надо суначала вынести.

101

Свита́ль, свити́ли (фитиль ламповый, светильня).

102

Я: Чт́ такое, Дарья, «пьян, как стелька»?

Она: Стелька — она не владеет ничем, так и пьяный не владеет ничем.

103

Горшки исхудились (т. е. сделались худыми, распарились).

104

Матка трещит! (Матка — балка в избе у потолка.)

105

Дети скажут: ты нашу маму с к о р м и л (т. е. отдал на съедение мертвецам).

106

Что-нибудь одно: побранишься, так бить не будешь; прибьешь, так бранить не будешь.

107

Погода-то, погода-то! Так и валит (о снеге).

108

Вдвойз=в д в о е.

109

Хотя вы меня и поклепали этим полотенцем.

110

Тишкй (кишки).

111

Я не с вами со лоптями,
А я с вами с молодцами.

112

Есть другие богомольцы, — говорят не поймешь што.

113

— Наша горница с Бохом не спóрнится.
— Как?
— На улице тепло, — и у нас тепло.

114

Он замешался шапками (т. е. перемешал шапки), свою оставил, а мою надел (мужик на почте).

115

Протёчная река.

116

Не худой горшок, здоровый.

117

В о з д у ш н и ц а — мастерица, заплетающая воздухи для церкви (весьма распространенное женское ремесло в Сергиевом Посаде).

118

Так побаска говорит.

119

Гля чего (для чего?).

120

— Умрешь.

— Кожда ни умирать, — всё день терять.

121

Я еще нащеплю лучины.

122

Бог не Микитка, — издалёка видно (т. е. видно Ему все, что делается. Смысл: Он поможет мне в моих несчастиях).

123

Злее яда.

124

Словно я никогда так не зябала, как этот год.

125

Нога подъямистая. Обутка сидит на ней ловчее, не так нóсится, — не ломается.

126

Верю, верю всякому зверю; верю и ежу, а тебе — погожу.

Или: ..., а *имяреку* погожу (т. е.: что там ни говори — не поверю).

127

В подпол лезть.

128

На тебе последнюю черепашечку (т. е. ковш воды, в последний раз вычерпнутый).

129

Охнешь, по ком сохнешь; раздумаешься — не жаль никово́.

130

Чай, ему, бедному, всё икатца (ика́ется, й́чется) — всё вспоминаем про него.

131

Теряха (растеряха).

132

Вот какой капелешной огорочек (т. е. очень маленький).

133

.....прутиком,
Не водись с рекрутиком.

134

- Ни одной ночи там (на свадьбе) не спала.
- Почему?
- Да народное дело: крик, шум (т. е. много народу).

135 (см. 136, 162)

Трелюдиться, стучать об окошко, о двери (о беспокойных домах; «трелюдиться» — про спиритические явления). (По Далю «трелюдничать» — костр. причудничать, сплетничать. В Вологодской губ. вместо «трелюдиться» про домового и т. п. нежить, про спиритические стуки и т. д. говорится: «глумиться». Глумиться — это выражение безличное.)

136 (см. 135)

Трелюда (беспокойное состояние дома, спиритические явления).

137

Одного прихода, а говорят по разности! (т. е. употребляют в различном значении слова).

138

- Горе, горе, где живешь?
- В кабаке за бочкой.

139

Он вдову взял. Роспутная. Двое детей от мужа да пригульная девушка (пригульная — незаконнорожденная).

140

Вот что значит, что у нашево свата солóменная хата.

141

Солóменки потрясем, по стаканчику поднесем (вероятно, первоначально это — про брагу, которая цедится через солому).

142

Прибаютки (прибаутки).

143

Вот этот больно толстый: жопастый какой... Какой жопастый.

144

Что вам способнее ставить самовар, — с этой стороны али с той (способнее — удобнее).

145

Иванов да Марьей — как грибов поганых.

146

Девицы все красавицы; откудава шваль бабы набираются?

147

Такая и дорога: худая трава из поля вон.

148

Семйтка — монета в две копейки.

149

Будет, будет, поносила
Бело платье с казаком,
Будет, будет, насмеялась
Над Алешкой-дураком.

150

Цыган!.. На все языки! (т. е. ты, как цыган, знаешь все языки).

151

— Есть поселенные мужики.
— Какие такие поселенные?
— Какие поселенные? — Злы-ья.

152 (см. 154)

Что ты телэжишься?! (говорится детям, когда они капризничают).

153

— Кстати.
— Кстати — поп пляшет.

154

Ах ты телэга! (т. е. капризник, крикса; говорится детям).

155

Погóда такая — не больно холодная, а больно погóдная.

156

Солущая (солóщая).

157

— А как девочке (больной)?
— И девочке нет лучше, плоха, вся в жару.

158

Раззанавесим окна (т. е. поднять занавески).

159

Камóрка (перегородка внутри избы, переборочка).

160

- Рубаха, еще не нося, вся сгунявила.
- Как сгунявила?
- Так, гунявая вся (слинявела, линиявая, облияла).

161

Всякого пня бояться — в лес не ходить.

162 (см. 135, 136)

А какая в это время (когда трелюдится) ужась нападаёт. И откуда она берет-ся, эта ужась? Страх!

163

Заплатила носок (заплатала).

164

Этот худой носок, а тот — здоровый (целый).

165

Мне кадка нужна, — ставить под капёль... Еще нет капёли (т. е. не каплет с крыш).

166

Переса́дник (палисадник). Я все время тут около пересадника стояла.

167

Вот стариковы дрова какие хорошие! Спичку подложишь — они так сразу и обоймутся (т. е. охватятся пламенем).

168

Я: Ах ты, баба, баба...

Она: Я не баба, а вдова!

169

Сама на гуще, люблю на дрожжах (т. е. сама так себе, а люблю того, кто лучше).

170

Как с утра встанет, — борони́т, борони́т (т. е. врет-врет, болтает-болтает).

171

Нато́щак люди не смеются.

172

Пойду плясать
 На солóминке:
 Распутный муж
 На чужой сторóнушке.

(Свадебная частушка.)

173

Ой, как ты сряден (наряден)!

174

Пришла ко мне смерть
От самого Бога,
Не хотелось помереть, —
Я гулял не много.

175

— Разб́илась верба?
— Почка-то? (т. е. лопнули ли почки?).

176

Хоть пусть хваля́т, хоть хаю́т, — теперь не переделать по и н а ч е.

177

Всякая синица свой хвостик отчищает (т. е. всякий оправдывает себя, всякий забывается о себе).

178

Милашка моя,
При-уважь-ка миня,
При-уважь, прилести,
На кроватку спать пусти.

179

Какие ножи! Скребешь, — как тупе́ём (тупе́ё — тупая сторона лезвия).

180

Што́ ужь! Вы только не жоха́ (мн. ч. от жо х), а хорошие люди.

181

Концы пальцев все изъядривают (т. е. покрываются заусенцами).

182

Што на́лил! (т. е.: ка́к сильно налил воды! — возмущение).

183

Какая голомы́зая комната-то стала без картин (голомы́зый — голый; говорится обыкновенно про лес, про рощу, когда она без листьев).

184

Если бы мы знали, вот, третьевось — с радостью сделали бы.

185

Да у нас совсем мало их, йежов-то.

186

Она всё водо́пнет, земля-то (пропитывается водою).

187

Эх, как севодни холодно! Все огурчики пропадут. Такие, было, вышли веселенькие.

188

Господь всем велит со всеми христосоваться.

189

Чай, не буду тянуть хрестьянство (т. е. вести).

190

Вам надо лампадочку сделать к этому богу (иконе).

191

У нас свекровь нехороша — благá, озорная (капризная).

192

Прямок (особая яма, делаемая в погребе для стока воды).

193

Ах ты, парень-паренёк, —
Твой глупенький разумок,
Твой глупенький разумок, —
Не кричи на весь народ (народ).

194

Я: Что такое солнце?

Она: Солнышко.

Я: Нет, что оно такое?

Она: Солнце и есть.

Я: А почему оно светит?

Она: Да так; солнце и есть солнце, потому и светит. Светит и светит. Посмотри, вон какое солнышко...

Я: А почему?

Она: Господи, Павел Александрович, словно я знаю! Вы грамотный народ, ученый, а мы — неучены.

195

«Жить с кем» — говорится про плотскую связь; «жить за кем» — про житие под чьим-нибудь надзором, например: «жить за отцом».

196

Тóпля — топь.

197

Соседка курицу на буднях купила (т. е. на днях).

198

Можно сказать: совсем потное место (сырое очень, про землю под огород).

199

Она больно дотóшна, так всюду и суётся, как вша портóшна.

200

— Вот нынче народ снаряжали встречать бога.

— Какого?

— Не знаю. Бога какого-то привезут на вокзал преподобного. (Об иконе преп. Саввы Звенигородского.)

Сообщил священник Павел Флоренский.

Различные записи в Сергиевом Посаде

1

Песня при детской игре

Хóди в пётлю, хóди в ра́й,
Хóди в дéдушкин сара́й,
Та́м и пíво, та́м и мёд,
Там и дéдушка живет.

(Не идет ли здесь речь о домовом-пращуре?)

2

Детей ласкают и гладят «по пузочке», приговаривая:

Кисанька-Васенька,
Божия барашенька,
Был я в Вифлееме,
Видел там чудо.
Как Христос родился,
Двери растворились,
Птички улетели
И запели:
Чивик-вик-вик,
вик-вик-вик-вик.

(Слышал от одной посадской жительницы.)



ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

МАРК КОСТРОВ

*

ЖИТИЕ НА КАРМЯНОЙ

1

Пойма Мсты — это множество ручейков, речек, проток при озере Ильмень. Кармяная среди них занимает особое место, так как она не кустарниковая, не пырейно-луговая, а вся в кулисах вековых дубов. Начинается она канавкой, по которой можно только пропихнуться на челноке из извилов Рога. Рог же течет из Гриба, по старым ветлам его карабкаются из воды вешенки, потому и Гриб, Гриб же рождается из Русской речки, а последняя отделяется от Мсты, чтобы самостоятельно добраться до Ильменя у одноименной деревни Русско.

Описываю же я Кармяную для того, чтобы на ней могли поселиться люди. Вот уже два месяца — с 12 мая 1997 года, с помощью Вадима Калашникова построив вигвам, — живу на Муравьевой Ниве, у омута, и никто, кроме моего сына, тоже Вадима, с внуком Мариком, не посещал меня.

Конечно, не вся речка такая безлюдно-бездушная. Ее длина 25 километров, и если взять верховья, точнее, почти примыкающую к ней Глушу — километровую старицу Гриба, то те, кто хочет слышать раз в день шум мотора-«шишкотряса»¹, мотоцикла, «жабы»², а то и военного «Урала», селитесь на ней или на милом моему сердцу прудике перед восточным концом Глуши. Я однажды в августе ставил там двухдневную палатку, чтобы собирать и тут же засушить на параллельных нитках, согласно розе ветров (чтобы гриб не пах дымом), белых и подосиновиков. И в это же время в мои две ведерных размеров мережки на хлеб с подсолнечным маслом лезли ладошечные карасики. Но главное для долговременного поселенца, естественно, не в этом. Уж больно хороши в тех местах картофельные огороды, отдохнувшей пашни луговые травы, в основном из тимофеевки — для вашей козы (их можно приобрести в Броннице), а если осилите, то и для главной кормилицы крестьянина Марты или Раисы, уж как там вы ее назовете — ваше дело. И что еще хорошо: до полноводного Гриба, по которому, когда топливо в стране иссякнет, можно плыть хоть «из варяг в греки», — всего-то пятьдесят метров. Там же и сеточку-«тридцатку» поставите, инспектора на десять — пятнадцать метров длины смотрят сквозь пальцы, да и до автолавки (а она приезжает в Большое Лучно по понедельникам и четвергам) тоже недалеко. Ну а десятиметровка — это пять-шесть подлещиков и окуней в сутки. Вскорости, правда, уха вам опротивеет, тогда коптите их потихоньку в трех поставленных друг на друга дырявых ведрах, подобранных на бывших колхозных полях.

Теперь перехожу к самой речке. Как вы уже знаете, она начинается тоненькой ниточкой у Рога, точнее, у вагончика № 7 на Линии³, и если вы в

¹ Самоделка на камазовских полунадутых камерах.

² Автомашинка с шестью ведущими колесами.

³ Про этот вагончик я уже писал в «Новом мире» (1995, № 11). Тогда я сломал ногу и отсиживался в вагончике в деревянных лубках с месяц, пока не научился сносно ковылять. Недавно вагончик № 8 сожгли. Поэтому про № 7 ничего подробнее не скажу. А Линия —

половодье проплывете по ней, то метров через триста сверните направо и вскорости попадете в Карасино. Затем по разливам озера подберитесь к Карасинской Релке — к дубняку в гектар, не заливаемому даже в большие воды. Можете исследовать эту приподнятость земли или же, сделав десятиметровый таск (волок), снова очутитесь, но уже на не заросшей кустами, глухой Кармяной, чтобы плыть дальше.

Изложу теперь свое мнение по поводу Релки. Я бы на ней не поселился из-за горы пустых бутылок, сваленных там. Весной кто только не пробивается к этому участку суши. Я уже писал про «жаб» и «шишкотрясов», к ним надо добавить трактористов-частников и совхозных механизаторов, военных на вездесущих машинах, мотоциклистов. Даже Сысой из Эстьян может пожаловать на своей лошадке в родной Дубнячок, ведь это земля его предков.

Итак, эту местность называют еще и «Бутылки». В Рдейском болоте можно начинать житейский старт с клюквы, ниже на Кармяной — с рыбы и заготовки сена, а вот если поселитесь тут, то со сдачи стеклотары: загрузил ее в лодку и вези в Бронницу на шоссе Москва — Санкт-Петербург.

А почему именно Карасино облюбовали рыбаки? Весной в озере ловится сопа, позже караси, а когда к середине лета разлив начинает мелеть, по Крупе, речке, вытекающей из него в главное озеро — Ильмень, скатывается щука, чтобы жадно хватать «черноспинку» или «атом» — блесны, продающиеся в новгородском универмаге «Русь».

Кроме того, Карасино интересно тем, что в нем зимой особым способом ловят этих самых карасей. Я сначала этому способу не поверил, думал, рассказы, но когда несколько старожилов из разных деревень говорят одно и то же — пришлось с их доводами согласиться. Дело в том, что озеро к осени чуть ли не пересыхает, и вот местные жихари роют в только им известных местах ямы, куда на зиму и сбегается, скатывается глупая рыба. Конечно, в первую очередь в илистые теплые глубины лезут самые крупные и самые красноперые караси. Остается в февральские заморные времена пробить прорубь и сачком вычерпать из ям полусонных силачей. Вообще заморы — частое явление в окрестностях Кармяной. Если с восточной стороны они происходят в Глуше, с южной в Карасино, то с западной стороны ими страдают старицы — Бакланиха и Долгий ручей.

Я в прошлый, малой воды год вышел весной на вороток последнего ручья — и остолбенел: весь его четырехкилометровый берег был усыпан усохшими щуками. Позже я спрашивал местных рыбаков: «Ну почему бы вам не воспользоваться зимним замором, не пробить проруби, расставив в них сети, — тонны рыбы были бы ваши. Мороженая, сохранная, да в наше сложное время, вези ее не только в Новгород, но и в обе столицы! При всех царях так было и даже при коммунистах, будь они неладны! Какая-то нелепость — сегодня-то, при рыночных отношениях, ни себе ни людям!» — «Низя! — отвечали мне. — Егор против!» — «Да что за Егор? Какой такой Егор?» — «Низя, — отвечали они мне снова. — Он — Сидоров друг, они вместе рыбалкой увлекаются!»

В конце концов выяснилось: Сидоров в новгородском правительстве курирует рыболовство, а своего дружка Егора, главного инспектора, он пригласил из Эстонии, где тот был полковником ГАИ.

«Так действуйте, — сегодня же свобода слова — выступите в газете, на телевидении. А то пусть владыка их с амвона покритикует — судаки в пост, и не только в пост, верующим тоже нужны». — «Нужны!» — кивают деревенские рыбаки. И вижу: «действовать»-то они не будут.

И я поплыл от них на своей байдарочке, вспоминая летописца тысячетлетней давности Нестора: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет: пойдите княжить и владеть нами».

это *Насыпь*, *Железка*, — так по-разному зовут в этих краях нереализованную попытку еще в царское время построить железную дорогу от Новгорода до Орла. Но подробнее о ней — чуть позже.

Но возвращаюсь к Кармянной. За Карасевой речкой по правому берегу начнется километровый, самый высокий ленточный кряж, который и в большие воды не заливаается. На нем на половине пути встанет дубово-березовый колок, рошица в двадцать соток (измерил ее), и уж она-то точно непотопляема в любые разливы-половодья, так как нынче, по моим расчетам, возвышалась над весенним уровнем Кармянной на полтора метра. Да и чувствуется — жили на ней люди: нарыто ям среди берез; копая червей, я нашел несколько глиняных черепков от корчаг. Кроме того, рядом с леском пролегает из речки в Карасино еще одна заросшая канава — вот бы ее расчистить, и тогда вы будете с карасинской рыбой почти круглый год.

Но главное, конечно, пашня и луга, не устану я это повторять! У леса же тракторный проселок растроится: левая, нижняя дорога пойдет вдоль реки; правая, верхняя (проезжая) — за два месяца по ней только единожды провела своими моторами «жаба». Ну а я бы всем желающим рекомендовал остановиться на житье на поляне перед средней дорогой. Через каждые десять метров на ней уже в начале июля вы будете наткаться на грузди.

Если же и дальше продолжать двигаться по правому берегу, то средняя дорога через два километра вольется в нижнюю, и тут я вам не завидую. Ведь что такое новгородский проселок, направляющийся к пойменным приильменским косовицам? После нескольких ездов наступает такое время, особенно в дожди, когда вся техника начинает садиться на «пузо». Тогда водитель смещает колею чуть в сторону между нарытыми канавами. И в конце концов, передвигаясь по ширине луговины, делает дорогу шириной метров в сорок — пятьдесят, выражаясь современным языком — синусоидой, а если говорить по-старинному — «стиральной доской», по которой, коли надумаешь ее пересечь, надо идти поперек ребер, да еще и по воде. Словом, так долго ее пересекать, будто по жизни своей идешь, с ее взлетами и падениями.

Я по таким дорогам люблю весною пробираться на байдарке, они, как рельсовые пути районных «бамов», ведут в НИКУДА, в тупики. А еще я стараюсь под отрицательные явления (чтоб проще было жить дальше) подводить разные положительные факторы. Дорога сделалась непроходимой, даже «кировцы» не смогли ее сегодня осилить: ну и что! Теперь посещать эти благодатные места можно будет только своим ходом — на моих болотоступах или весельно-парусным путем, в лодках. Коряги Кармянной поминутно ломают винты лодочных моторов.

Если вы с мешком за плечами одолеете еще несколько верст, то перед вами откроются Три Дуба при Ужинах и упирающийся в открывающийся проход из Кармянной в озеро Ильмень незаливаемый мыс с заросшими кустарником разметками старых землянок, где дореволюционные и современные жихари прятались от других жихарей Руси, России, СССР. Староверы разных толков — от Никона и Православной Церкви, беглые солдаты — от Аракчеева, мы — от колхозного строя, а потом от фашистов. Словом, «белые грабют, красные грабют, куда бедному крестьянину податься», как не к Трем Дубам, за спиной которых заливные в камышах озера, Железный остров на Ильмене, Красная Рель (название от песка) и богатый рыбой Большой Аркадский залив. Во все времена рыба спасала новгородских славян от голодной смерти. Так что, если вы сеточник, с Богом, селитесь на этом мысу, ставьте «тридцатки», а если еще и рыночник, то везите лишнюю рыбу «на асфальт» — в Наволок: всего-то два с половиной часа работы веслом!

А еще через разрыв в лесных кулисах в половодье у Дубов видны вздымающиеся там и сям из воды силосные кучи — на них мы отсиживаемся, когда озеро сердится. Несколько лет назад группа фермеров, ободренная перестройкой, заключила договора с потребителями силоса. «Столыпинцы» рьяно взялись за дело и во множестве нарыли их по лугам — на одну такую кучу (Трубичинскую) я даже не смог подняться, хотя и прихватил с собою альпеншток. Кончились эдельвейсы, под шипами ботинок захрустел слежавшийся фирн,

но, увы, без «кошек» на самую вершину мне так и не удалось вскарабкаться, чтобы взглянуть на Москву.

Но продолжаем движение по правому берегу Средней Кармянной. Последний участок земли, где в дубовой роще при очередной солнечной поляне мог бы закрепиться поселенец, — это Быстрицкий мыс. Так он называется потому, что от Кармянной решила отделиться и течь самостоятельно к Главному водоему края Быстрица. Давно это было, при значительных уклонах на местности. Теперь Быстрица — не Быстрица, а вялая речка, текущая туда-сюда, в зависимости от розы ветров на Ильмене.

Уж больно хороши кряжи у Быстрицы, последнего не заливаемого в средние воды кусочка землицы. Далее, уже по Нижней Кармянной, по обоим берегам пойдет все уменьшающееся в размерах разнолесье. На смену ясеням и ольхам потянутся кустарники, ивы да крушины, а потом за Яменским воротком и вообще потечет речка в луговых однообразно-скучных осоках. И вдруг неожиданно: травы, травы, травы, речка через озеро Дубно, у песчаного Дубенского мыса, выбежит на Ильмень-озеро. Три года назад со сломанной ступней, в деревянных лубках вместо гипса я, унылый и болезненный, выплыл на песок отсиживаться и отлеживаться на мысу — на шелковом, разблестевшемся днем озере и при множестве звезд ночью. Первые звезды над горизонтом и Венера с тоненькой щелочкой зарождающегося месяца помогли мне наконец обрести утраченное душевное равновесие. И когда однажды ко мне подплыли новгородские черносотенные коммунисты, я даже не стал с ними спорить — настолько все было выше, торжественней в засыпающем небе и земной заре. Только когда они удалились в сторону Новгорода, начал бормотать: «Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда с звездой говорит».

2

Как я уже сообщал читателю, Кармянная течет из Рога, Рог же начинается из Гриба — Гриб порождение Русской речки, а последняя, отделившись от Мсты, через вышеуказанные протоки самостоятельно впадает в озеро Ильмень. Вся эта корневая система, если глянуть на карту, есть Мстинская пойма площадью двести квадратных километров.

Так вот, в самом своем начале, параллельно узенькой канавке по названию Верхняя Кармянная, по левому ее берегу, тянется почти двухкилометровая Муравьева Нива. Хребет ее высок, на метр выше речки, широк, порой доходит до пятидесяти метров, и весь порос луговыми травами: мятликом, тимофеевкой, желтой чиной, колокольчиками, синее множество полян дикого лука вперемешку с медово-пахучей белой травкой, — всего не перечислить.

Это душистое жаворонковое разнотравье без жаворонков (за все лето слышал только одну птаху, а так как Ниву перестали посыпать пестицидами, то все теперь впереди) надо почувствовать самому. Нынче даже кузнечики появились здесь — трепещут крылышками, перелетают от прямостоящих пыреев к штыковым трехгранным осокам или оранжевым метелкам одинокого конского щавеля.

Идешь от асфальтовой Бронницы километр за километром вдоль тропинки-стого, тенистого Гриба, все больше и больше выдыхаясь под тяжестью своей клади, и вдруг, свернув за Глушей, старицей Гриба, влево, видишь чистую ровную даль Муравьевой Нивы, и силы помаленьку возвращаются к тебе, потому что в конце пути стоит одинокий дуб, а за ним мой вигвам, где я имел неосторожность при Кармянной Яме разбить огород и поставить уловистые сетки-«тридцатки».

...Прошлые годы просто где-то на полюбвишейся горке, поляне, песочке раскладывал палатку или за час создавал вигвам, чтобы через несколько дней сменить надоевшее место на новое, плыть или шагать далее. То есть был в основном лодочным кочевником, которому подавай все новые и новые плеса —

виды, земли обетованные, которые, несмотря на грибные-ягодные леса за спиной, рыбные богатства перед носом, вскоре становились *необетованными*.

Теперь же держат меня на привязи 14 свеклин, 21 куст картошки, 3 куста петрушки, 4 захиревших многолетних чеснока и 40 обыкновенных незахиревших чесночин, 8 луковиц, которые я поминутно общипываю, и еще множество разных сортов салатов: «берлинских», «майских», «кочанных» и жестких, неудавшихся «крессов», а также всевозможных редисок — «розовых с белым хвостиком» и так далее, вплоть до «осенних великанов», ну и укропов-тминов повсюду насеяно, даже по лесным, сырым дорогам. Потому что человек должен за свою жизнь построить вигвам, посадить тмины самосеющие и народить не менее двух детей. Сегодня у меня от них имеются пятеро внуков. И один из них, самый старший, второклассник Марик Костров, со своим отцом меня часто навещают в моих лесных угодах.

По поводу же огуречной травы хочу сказать, что с семенами ее в красочной многообещающей упаковке был базарным торговцем обманут. Вместо нее выросли какие-то непонятные лопухи, которые я, через свое воображение, даже поперву начал добавлять в салаты.

И еще держала меня в этих местах сама Кармянная Яма глубиной пять метров, хотя вода в ней не вращалась и назвать ее омутом, в который иногда затягиваются человеки, я не могу. Как бы заглохший пруд Поленова, потому что на берегу Ямы я сделал скамеечку, но без спинки, — по вечерам смотреть на красные от заката кувшинки, следить за полетами двух трясунок-куликов с белыми попочками, чтобы им летать стайками, наблюдать, как мамаша зяблик в нижних ивовых ветках, прячась от коршуна, приучает к самостоятельности своих переросших ее птенчиков, а они все пищат: «дай-дай-дай». Но главное — ждать, когда кряква выведет на плес свой выводок из трех утят, чтобы, увидев меня, заполошно завалиться на одно крыло, притворяясь раненой. Попросто от безлудья, тренируясь на мне, чтобы ее детишки боялись человека как такового, на всякий случай.

Ну а в пруд, по его левому борту, впадает перпендикулярный глубокий безымянный ручей. Я его на своих рисованных картах так и назвал *Безымянным*. Хотя в прошлом он наверняка имел имя, так как на мысу, после копки огорода, мне стали попадаться осколки кирпичей и глиняной тары. Самовара только, как на правом берегу, не нашлось. Его я соорудил себе сам: взял две литровые жестянки и вставил в них банку 0,5 из-под пива, — пять минут — и на минимальном количестве прутиков чай готов. А иногда и геркулес варил. Ручей же разрезает пополам оставшуюся когда-то недостроенной железную дорогу.

Дело в том, что перед Первой мировой войной правительство решило соединить напрямую Петербург и Орел. Увы, точку над некрáсовской тачкой и корейско-китайским коромыслом ее строителей поставила Гражданская война и разруха. Восточных людей, что были приглашены ее насыпать, отпустили на все четыре стороны. У нас в Новгороде Великом с тех пор осело много разных Шимов-Кимов, точнее, их потомков, и они, благодаря своей старательности и трудолюбию, занимают сегодня ответственные посты, как и австрийские пленные, разные Штрейсы и Миллеры. Ведь их репатриировали тоже как попало. Дорога же осталась ржаветь и местами опускаться в наши новгородские болота по мере своего движения по Пойме.

Я же так и не осуществил свое намерение пройти по ней, ну не до Орла, а хотя бы до Крестец, потратив жизнь на Рдейскую Чисть, Мстинскую пойму, озеро Ильмень и Ладогу. Некоторые участки ее я все же исследовал, иногда она оборачивалась то крепким проселком, то грибной просекой; я пробирался тогда без тропинок по ивовым крепям и завалам ее, натываясь на какие-то то ли землянки, то ли ряды братских могил или пушечные капониры, но саму старинную пушку, стрелявшую чуть ли не ядрами (о ней мне неоднократно сообщали старожилы этих мест), так и не нашел. Правда, однажды уже за Нишей, за Полями, недалеко от Тухоли, у меня произошла интересная

встреча. Вдруг рельсы с ржавого вида перешли на смазанный блеск. Я присел отдохнуть, как вдруг почувствовал копчиком, что металл подо мною задрожал. Странная точка росла, махая как бы крыльями, все ближе, ближе росло, приближалось ее басовитое гудение. И наконец я разглядел, что по бокам то ли дрезины, то ли телеги, поминутно кланяясь то в одну, то в другую сторону, две огромные простоволосые старухи в черных развевающихся юбках, отталкиваясь граблями от шпал, неслись прямо на меня.

Пришлось вскочить, и скоро мы пили чай из моего походного самоварчика. Оказалось, они вековой и близняшки, живут на Строгановском хуторке. Их батя когда-то сперва строил эту Железку, потом на их мамане женился, маманя поварихой у китайцев была. Те в обед горсткой риса довольствовались, а вечером то рыбы наловят, то «поганок» принесут — тогда лисички за грибы не считали. Ну и купили «молодые» на свои сбережения кусок землицы, мечтали в столицу творог и масло возить, да не пришлось. Заглохла стройка, а остатки золотишка, кроме сережек, чекисты в двадцатых годах по доносу выпарили. В городах-то всех, вплотную, стоя, сгоняли в комнату с жарким паровым отоплением, выпуская только тех, кто не выдерживал пара и рассказывал о своих «захоронках». Серьги мать все-таки каким-то образом сохранила... На правом ухе у одной (старуху звали Параша), на левом у другой, которую звали Леля, блестели они теперь, как напоминание о прошлом и настоящем. Бабули же стали уговаривать меня (дело было до перестройки, и журналистов еще побаивались в колхозах) написать в газету, чтобы не разбирали на металл этот участок. Ведь до лавочки от хутора десять километров, колымага их очень выручает, а так им не добрести.

Пишу эти строки и думаю: почему ж мы по заграницам шастаем, а родину свою знать не хотим? Каждый раз где только не давал перед походами объявлений: в газетах, на радио, по телевидению, — желающих практически, кроме Вадима Калашникова, не было. В минувшем году даже через «Новый мир» байдарочников приглашал, и все бесполезно⁴.

Теперь о Вадиме Калашникове, который помог мне вигвам построить. Парень из тверской глубинки начитался моих опусов и решил по весне со мною плавать и ходить по Новгородчине. Он тоже, как и я, пишет прозу и стихи, построил в глубинах леса избенку, к тому же ему повезло с первого захода: привел в лес жену Лену, где они собираются родить ребеночка, чтобы засеять наши пустующие земли потомством. Так вот, он и соорудил за полдня шести-метровый этот конус два на два метра в основании. По пленке если судить, которой почти до верха, до дыры с банный тазик для выхода дыма, обтянуты жерди, ее, укрепленной гвоздиками, потребовалось всего тридцать квадратных метров, по ценам девяносто седьмого года — на тридцать тысяч рублей. Внутри же строения мы проложили два канала. Один на уровне земли — тяга к центральному очагу извне, другой провели под мою лежанку с наружной трубой и одновременно коптильной рыбы. В ней же можно было сушить грибы, что я и делал, смотря по сезону. Бывало, весной на улице нулевая температура, а ты лежишь на теплой земле, как на печи, на правом боку, под тобой же дымоход проходит, подбрасываешь, не вставая с лежанки, заготовленные дровишки в топку. Хорошо к старости возвращаться в далекое прошлое, тысячелетнее, пещерное...

«Я не могу без работы», — объяснял мне Вадим и то доставал из рюкзака долото и вырубал из дерева себе и мне ложки и миски, то вскапывал и ограждал дугами ивняка и калины, которые позже прорастут, огород, однажды на спор добыл огонь трением: сделал лук с ослабленной льняной тетивой и, вращая дубовое веретено в сосновых дощечках, подсыпая нами же вываренный трут, заставил его затлеть...

⁴ 1997, № 3.

Ну а еще в начале июня появились комары и ныли, портили нервы две-три недели. Потом стаи их начали слабеть, а на Ниве их и вообще не было, и уже в августе Кармянная Яма очистилась от них вовсе.

Но все равно тем, кто тут поселится после меня, дам несколько советов, как с ними бороться. Особенно тем пришельцам, что будут жить с разнеженными городскими женщинами. Например, раньше, когда моя жена посещала меня, я делал под деревом вертикальный полог со скамеечкой, Тамара Егоровна читала-вязала под ним не раздражаясь. Или берите с собою комариную мазь пермского производства, ревтаמיד, она надежнее даже немецких мазей.

Еще советую вам использовать ту конструкцию «самовара», о которой писал, в качестве дымокура: после чая на угольки наложите всякого сухого мусора — поставьте его около себя с подветренной или ветреной стороны; все зависит от вашей терпеливости, и отдых обеспечен.

Вообще же мне кажется, мы не должны назойливо вмешиваться в функции природы, мы же часть ее. Прошлый год я жил на Малом Грибу под пятиствольной ивой, и как только комаров стало больше нестерпимой нормы, налетели сотни стрекоз, как бы туча, полог органический создали надо мною, «хватать-хватать» своими огромными крокодильими челюстями, и через несколько дней округа просветлела.

Я давно мечтал о таком безлюдном месте, как речка Кармянная, где можно не посылать молодые подосиновики в котелок, а не спеша поливать их до среднего возраста, окружать зубчатым заботливым кольцом из консервной банки от ленивых улиток, при засухах увлажнять грибницы — всюду нет грибов, а у меня есть, — словом, жить там, где все МОЕ, а не НАШЕ. И вот мечта моя сбылась.

Сразу скажу, как я ни искал там своих любимых весенних сморчков, так и не нашел. Сын мой, тоже Вадим, собирает их во множестве недалеко отсюда за Белой Горой, и не только сморчки, но и растущие огромными шапками гречневой каши строчки. Мне же судьба подарила вешенки. Их я срезал с лодки: подплывешь к высунувшемуся в опадающее половодье пню и обираешь, обираешь его. По тридцать — сорок белесых, похожих на поросычьи ушки грибочков, отчаянно цепляющихся своими резиновыми ножками за ивовое корье. Не хотят несознательные глупцы сдаваться в плен — отправляться в соответствующие грибные пункты по 14 долларов за килограмм, помочь жихарю выжить в переходное время.

Потом я вешенки по часу отваривал или на супы, или на соленья, они более-менее ничего и в жареном виде, с картошечкой, горсткой щавеля и пучками дикого лука. Но в основном тверчанин Вадим их хвалил, потому что заелся в своем лесном районе боровиками.

И вы знаете, росли вешенки не только по весне, их, наверное, и вешенками называть неправильно: вода от дождей прибывает, они от нее лезут вверх по стволам, но не очень далеко, соблюдая капиллярность, убывает — спускаются вниз, и так было до начала июля, когда они нехотя передали эстафету белым комочкам с теннисный шарик — дождевикам, а через неделю — шампиньонам. А уже 5 июля, как сейчас помню по дневнику, обозначились на моей аллее из дубов тремя красными точками головки подосиновиков. Может, потому, что тогда я не стал их поливать, или по каким другим причинам, но они не решились развиваться далее до нормальных красноголовочных размеров — все счервивели. Когда же через несколько дней у самого вигвама распахнулся во всей своей красоте их собрат, я понял: та троица просто была из их камикадзевоы разведроты. Погибая, они все же успели сообщить основным силам, что погода для них благоприятная.

Но 10 июля вдруг с краснотой как отрезало, пошли взамен подосиновиков, все в потных росинках, несмотря на начинающуюся засуху, белые грузди. И вообще, если вперед глянуть, дождей в тот девяносто седьмой год над Кармянной Ямой не было почти все лето. Над Железным островом на Ильмене, всего-то по прямой пять километров, бесконечные синие тучи сталкиваются

с черными, и дождь через день над водой зачем-то стоит стеной, а у меня на мысочке две капли на квадратный метр, и им радуешься, но грузди лезли и лезли, раздвигая сухой дубовый лист своими боками. Их я бросал отмачиваться в рыбий садок на ночь в омут, а утром, мелко порубив и пропустив через «черветряс», отваривал. Потом жарил или варил из них вкуснейший суп.

Теперь о солке груздей. Отвариваешь их целыми, только большие режешь на две части (черви после варки и солки куда-то исчезают, вероятно, растворяются) и, напихав в кастрюлю побольше дикого лука, щавеля, дубового ли, смородинного листа, словом, что попадает под руку в лесу и поле, варишь с полчасика без соли. А дальше, остудив, начинаешь солку в бутылках из-под нашей новгородской «успонони». Этих минералок, вместо иностранной «херши», здесь на Релке столько, словно это городской стадион.

Вкапываешь полуторалитровые емкости в землю и, срезав горлышко и набив их слоями грибов, переложенных специями лесными и пересыпанной солью, прижимаешь метровой колотушкой. А чтобы она не упала, привязываешь ее к крушине или ивнячку. Через три дня грибы можно есть со свежей с огорода картошкой.

Вот и все. А если еще у вас поставлена брага, что я сделал в тех же бутылках в начале лета, закопав ее в землю, или вы ее перегнали с помощью моего аппарата «Мечта алкоголика»⁵, то с нашей свежей картошечкой, да если утром вы из коптильни извлекли щуку, да засели в тенечке под дубами за самодельным столиком, блаженство, пусть и без хлеба, с самодельными лепешками на безмасленной сковородке, все равно вам обеспечено.

...Неподвижная теплота опускается на таволги, которые своими пахучими облачками белеют, словно отражения застывших небесных облаков, полевая дорога заросла, обозначена только забуревшим рыжим мятликом и стоящим по ее краям поседевшим вейником. Там и сям по полю синеют вероники, цветет желтыми полянками девясил колдовской, тревожит меня до самой осени (дает, по поверьям, если его умеючи пить, девять сил), и делает в небе круги коршун. Порой не выдержишь сидения, перестанешь слушать бесконечное журчание ручья, скинешь обувь, перейдешь его по бревну и бродишь, бродишь по травам, пока горькая полынь не набьется меж твоими пальцами до предела. И порой такая тоска, такая тревога вкрадывается тебе в душу — от ставшего уже привычным одиночества.

Соберемся ли мы вновь в Центре России, чтобы жить дальше, не исчезнем ли, как исчезли когда-то те же скифы, сарматы, не растворимся ли в других народах? Нет, дудки, убережемся!

Ну а что аллея? Аллея на Кармянной ждет свою даму в темном плаще, и тянется она семикилометрово до Ольшанского воротка, обернувшись на своем пути двумя ограничительными полянками у острова Березки. Когда мы с Вадимом приплыли на Кармяную, то прежде чем остановиться на Яме, пустились исследовать всю речку, и нам особенно по душе пришелся этот укропный, начинающий листвою набирать силу остров. Березы первыми сбегали к воде, некоторые даже мокли в Кармянной, за ними на страже стояли оранжевые в первых кудрях своих листочков, строгие дубы, а две солнечные поляночки были бы отличными огородами соток на пять. Однако прельщали просторы Нивы (а по весне там в сетки лезла рыба), здесь же глаз упирался в зелень противоположного берега, — все это и пересилило Березки. Хотя теперь я жалею о своем опрометчивом решении, потому что трудолюбивый Калашников предлагал мне срубить там изобку.

Но все еще впереди, все еще впереди.

Новгород.
Май 1998.

⁵ «Новый мир», 1994, № 10.

ПОЛЕМИКА

В. ПОПОВ

*

1941: ТАЙНА ПОРАЖЕНИЯ

Вопрос, почему Красная Армия проиграла в 1941-м приграничные сражения, до сих пор вызывает в отечественной истории, пожалуй, самые острые споры.

Сторонники традиционной точки зрения полагают, что Советский Союз перед войной делал все возможное для укрепления обороноспособности страны, включая создание мощных Вооруженных Сил. Однако «Красная Армия не была приведена накануне войны в полную боевую готовность. Войска не заняли своевременно оборонительных рубежей вдоль западной границы СССР. В организации обороны границы были допущены серьезные недостатки»¹. Основная вина за все ошибки и просчеты, допущенные в предвоенный период, возлагается на Сталина и в значительно меньшей степени — на военных.

Принципиально иная версия изложена в работе В. Суворова «Ледокол». В ней утверждается, что если бы Гитлер не напал на Советский Союз 22 июня 1941 года, то спустя две недели — 6 июля — Сталин двинул бы Красную Армию на разгром Германии. Поскольку Гитлер, опасавшийся агрессии со стороны СССР, завершил концентрацию своих войск в ударные группировки раньше, чем это смогла сделать Красная Армия, он первым и нанес удар. Наши войска, готовившиеся к наступлению, а не к обороне и находившиеся к июню 1941 года в стадии отмобилизования и развертывания, были захвачены врасплох. В момент немецкого удара они оказались не готовы ни к наступлению, ни к обороне и потому понесли тяжелое поражение². Эта концепция наша сторонников и за рубежом, и у нас.

Впервые утверждение о том, будто «большевистская Москва готова нанести удар в спину национал-социалистской Германии» и потому «фюрер отдал приказ германским вооруженным силам всеми силами и средствами отвести эту угрозу», изложено в ноте МИД Германии Советскому правительству, которая была вручена 22 июня 1941 года, после начала фашистской агрессии³.

Итак, две версии, причем оппоненты опираются практически на одни и те же исторические факты и свидетельства. Однако выводы, к которым они приходят, заложены не только в их исходных позициях, но и в противоречивости существующих фактов. Поэтому небезынтересно рассмотреть аргументы обеих сторон.

Все историки без исключения исходят из того, что принятие политического решения — обороняться против Германии или разгромить ее в ходе нанесе-

Василий Петрович Попов (род. в 1948) — доктор исторических наук, профессор Московского государственного педагогического университета, один из авторов двухтомного вузовского учебника «Новейшая история Отечества. XX век» (М., 1998). Печатался в журналах «Социологические исследования», «Отечественные архивы», «Слово» и др. В «Новом мире» опубликовал статьи: «Паспортная система советского крепостничества» (1996, № 6) и «Хлеб под большевиками» (1997, № 8).

¹ «Великая Отечественная война Советского Союза. 1941 — 1945». Краткая история. М., 1965, стр. 53 — 54.

² Суворов В. Ледокол. Кто начал вторую мировую войну? М., 1992.

³ «Военно-исторический журнал» (далее: ВИЖ), 1991, № 6, стр. 32 — 40.

ния «упреждающего удара» — в конечном счете зависело от Сталина, обладавшего безграничной властью. Политическая деятельность советского диктатора достаточно подробно описана во многих исторических трудах, характеризующих его прежде всего как политика, исходившего из собственной выгоды и ставившего перед собой только достижимые на каждый конкретный момент цели. Так что логично предположить, что Сталин мог принять решение о нападении на Германию только в случае своей полной уверенности в превосходстве мощи Красной Армии над силами вермахта. Это во-первых. Во-вторых, Сталин не мог не учитывать планы противника: в конце 1940 года он получил твердое сообщение разведки о том, что Гитлер принял решение напасть на СССР весной 1941 года. Большинство историков полагают, что Сталин был убежден: если Германию не провоцировать, она на СССР не нападет. Поэтому он скептически относился к разведанным о ведущейся полным ходом подготовке немецкой агрессии против Советского Союза. Существует мнение, что сталинское недоверие основывалось на боязни (и не без основания) оказаться жертвой дезинформации — как Гитлера, так и западных стран, отнюдь не сочувствовавших коммунистическому режиму⁴. Среди сообщений советской разведтуры из Берлина, поступавших в Москву с сентября 1940-го по июнь 1941 года, действительно случалась дезинформация: она фабриковалась немецким военным командованием, тайными спецслужбами и гитлеровской верхушкой. С середины апреля 1941 года, когда передвижение немецких армий на восток скрыть уже было невозможно, немецкое командование, с целью введения Советского Союза в заблуждение, предлагало представлять сосредоточение сил для плана «Барбаросса» как величайший в истории войн дезинформационный маневр, имеющий целью отвлечь внимание от последних приготовлений к вторжению в Англию. Предупреждения английской стороны о подготовке немецкой агрессии против Советского Союза Сталин рассматривал как стремление Черчилля «втянуть СССР в войну, чтобы уменьшить германское давление на Англию»⁵. После разгрома Франции Англия не представляла серьезной политической силы, поскольку ничего не могла предложить своим возможным союзникам. Она была изгнана с европейского континента, оставив там все свое вооружение и оснащение армии. Ее единственный сильный союзник на материке был разгромлен, перед Англией стояла проблема финансовой задолженности за оплату военных поставок, предоставляемых США. Поэтому, несмотря на стремление Черчилля наладить личные контакты с Москвой, Сталин с недоверием относился к этим попыткам. И все же в этой сложной международной ситуации Сталин, как свидетельствуют факты, отнюдь не исключал возможности нападения Германии на нашу страну. 17 июня 1941 года он наложил следующую резолюцию на спецсообщение НКГБ: «Т. Меркулову (в 1941 году — нарком госбезопасности СССР. — В. П.). Можете послать ваш „источник“ из штаба германской авиации к е... матери. Это не „источник“, а дезинформатор». Но в тот же день он, вызвав к себе В. Меркулова и начальника внешней разведки НКГБ П. Фитина, задавал уточняющие вопросы об источниках полученной информации, а затем сказал: «Все еще раз внимательно проверьте и доложите снова»⁶. Заместитель начальника иностранного отдела НКВД П. Судоплатов в своих мемуарах также отмечает, что Сталин нашел доклад разведки «противоречивым и приказал подготовить более убедительное заключение по всей разведывательной информации, касавшейся вопроса о возможном начале войны с Германией»⁷. Поэтому нет осно-

⁴ Городецкий Г. Миф «Ледокола». Накануне войны. Перевод с английского. М., 1995. В настоящее время опубликованы документы, показывающие масштаб дезинформационной войны, ведущейся Германией против СССР накануне ее вторжения в Россию. См.: «Секреты Гитлера на столе у Сталина. Разведка и контрразведка о подготовке германской агрессии против СССР. Март — июнь 1941 г.». М., 1995.

⁵ ВИЖ, 1995, № 4, стр. 34.

⁶ Там же, № 6, стр. 19.

⁷ Судоплатов П. Разведка и Кремль. М., 1996, стр. 140 — 141.

ваний принимать осторожность Сталина в столь тонком деле, как правильная оценка разведанных, за его полную слепоту.

И вообще: какова была наступательная мощь Красной Армии к лету 1941 года?

Впервые свои наступательные возможности в современных сражениях советские Вооруженные Силы продемонстрировали в ходе войны с Финляндией. Итоги для Советского Союза оказались малоутешительными: большие потери советских войск (более 300 тысяч человек, включая раненых и обмороженных), тактическая неповоротливость и плохое командование привели к тому, что в мире сложилось неблагоприятное мнение относительно боеспособности Красной Армии. Впоследствии это оказало значительное влияние на решение Гитлера.

Такое положение не было случайным. Массовые репрессии обезглавили армию и флот: в 1937 — 1939 годах из армии уволены 37 тысяч командиров и политработников; из них 60 процентов по политическим мотивам (многие были расстреляны или отправлены в лагеря). К лету 1940 года 11 тысяч человек из числа уволенных были восстановлены в армии⁸. Репрессии ударили прежде всего по кадрам высшего командного и политического состава, центрального аппарата Наркомата обороны и ВМФ. Таким способом в условиях надвигающейся новой мировой войны Сталин проводил обстоятельную чистку одной из главных опор своего режима — армии — от реальных, мнимых и потенциальных противников. «Дело» Тухачевского, как в свое время и «дело» Кирова, послужило к этому лучшим поводом.

Несмотря на расширение сети военно-учебных заведений перед войной, брешь в офицерских кадрах залатать не удалось: на начало 1941 года численность командно-начальствующего состава армии и флота составляла 580 тысяч человек (из них 7,1 процента имели высшее военное образование, 55,9 процента — среднее, 24,6 процента — ускоренное и 12,4 процента вообще не имели военного образования). Низкую эффективность имела курсовая система подготовки офицерских кадров. Так, многие летчики встретили войну, имея «налет» на боевых машинах всего несколько часов. Только перед самой войной началась массовая переподготовка летного состава. Сходные трудности были и в отношении танкистов. Основное внимание при подготовке к войне уделялось количественному фактору. В феврале 1941 года по предложению начальника Генштаба Г. Жукова принимается план расширения сухопутных войск почти на сто дивизий. Более целесообразным в создавшейся обстановке было доукомплектование и перевод на штаты военного времени имевшихся дивизий и повышение их боеготовности⁹. Как показали первые же дни войны, значительная часть советских командиров не обладала необходимым военным и боевым опытом. Перед войной в сухопутных войсках в звене военный округ — полк в среднем у 75 процентов командиров стаж службы составлял около года; около 10 процентов командного и начальствующего состава имели опыт Гражданской войны и примерно 15 процентов приобрели боевой опыт за время военных действий 1938 — 1940 годов, а также в боях в Китае и Испании. Репрессии серьезно повлияли на моральную атмосферу в Красной Армии (всеобщая подозрительность, боязнь принятия самостоятельных решений, выискивание «врагов народа», нередко прямое доношение). Не случайно в приказе наркома обороны СССР К. Ворошилова от 28 декабря 1938 года «О борьбе с пьянством в РККА» были и такие слова: «...запятнанная честь воина РККА и честь войсковой части, к которой принадлежишь, у нас мало кого беспокоит»¹⁰. Энергичные меры, предпринятые перед войной, чтобы наверстать упущенное, оказались малоэффективными: командный состав Красной Армии, как свидетельствуют

⁸ «Известия ЦК КПСС», 1990, № 1, стр. 186 — 192.

⁹ «История второй мировой войны. 1939 — 1945». Т. 3. М., 1974, стр. 412 — 420.

¹⁰ «Великая Отечественная. Приказы народного комиссара обороны СССР. 1937 — 21 июня 1941». М., 1994, стр. 85. (Серия «Русский архив».)

приведенные нами цифры, в большинстве своем не имел не только боевого опыта и стажа службы в командных должностях, но и необходимого военного образования. К сказанному можно добавить следующую оценку важнейшей фигуры на поле боя — командира батальона. «Эта сложная, ответственная командная функция, — заявил на декабрьском совещании 1940 года командующий 6-й армией Киевского особого военного округа И. Музыченко, — сплошь и рядом находится в руках малограмотного, вы извините меня за смелость, порой и неграмотного командира»¹¹. Одним словом, качественный состав войск — и это было видно, что называется, невооруженным глазом — не отвечал требованиям, необходимым для успешного разгрома отобилизованных, полностью укомплектованных соединений немецкой армии, имеющей боевой опыт и блестящий офицерский и штабной корпус (Сталину и Жукову неоднократно докладывали, что немецкие дивизии, стоящие вдоль нашей западной границы, укомплектованы и вооружены по штатам военного времени). Наш же — несмотря на пополнение — некомплект дивизий западных приграничных округов был достаточно высок. По штатам военного времени стрелковой дивизии полагалось иметь 14 483 человека. В мемуарах Жукова сообщается, что в приграничных округах из 172 дивизий и 2 бригад 19 дивизий были укомплектованы до 5 — 6 тысяч, 7 кавдивизий — в среднем по 6 тысяч, 144 дивизии имели численность по 8 — 9 тысяч человек. Согласно оценкам современных историков, после призыва в мае — июне 1941 года 802,1 тысячи человек было усилено 99 стрелковых дивизий, в основном западных приграничных округов. В 21 дивизии численность была доведена до 14 тысяч, в 72 дивизиях — до 12 тысяч, в 6 дивизиях — до 11 тысяч человек¹². Некомплект продолжал сохраняться, хотя и не в тех размерах, о которых сообщает Жуков. По воспоминаниям Л. Сандалова (в июне 1941 года — начштаба 4-й армии Западного особого военного округа), перед самой войной в качестве пополнения к ним «прибыло большое количество коренных жителей среднеазиатских республик, слабо владевших или совсем не знавших русского языка»¹³, что следует скорее расценить как головотяпство, чем доукомплектование армии вторжения.

Таков был кадровый состав Красной Армии, сформированной — как нас ныне хотят уверить — к нанесению «упреждающего удара». И неужели Сталин собирался двинуть этот разрозненный конгломерат на победоносный вермахт? Неужели он настолько заблуждался в отношении возможностей советской армии? Зная степень готовности армейских кадров, не мог Сталин ставить перед ними нереальные задачи.

Приверженцы суворовской версии одним из главных аргументов считают превосходство советских войск приграничных округов над немецкими в количестве вооружения. Об этом же, на первый взгляд, свидетельствуют данные отечественных военных историков, основанные на ныне рассекреченных сведениях. Общее соотношение группировок, созданных на западных границах СССР к 22 июня 1941 года между советскими войсками и противником, было следующим: личный состав 1:1,2; танковых дивизий — 2,3:1; механизированных дивизий — 1,2:1; орудий и минометов — 1,6:1; танков — 2,8:1; боевых самолетов — 1,9:1¹⁴. Так что, утверждает Суворов, можно предположить, что советское руководство собиралось компенсировать недостатки кадрового состава Красной Армии за счет количественного превосходства в основных видах вооружения — танках, орудиях, боевых самолетах. Однако и здесь не все так

¹¹ «Великая Отечественная. Накануне войны. — Материалы совещания высшего руководящего состава РККА 23 — 31 декабря 1940 г.». М., 1993, стр. 57 — 58. (Серия «Русский архив».)

¹² «Готовил ли Сталин наступательную войну против Гитлера? Незапланированная дискуссия». Сборник материалов. М., 1995, стр. 56, 98.

¹³ Там же, стр. 56.

¹⁴ Горьков Ю. А. Кремль. Ставка. Генштаб. Тверь, 1995, стр. 77. По расчетам других отечественных историков, преимущество СССР в вооружении было еще больше, чем указано у Горькова.

просто. В результате тщательного изучения архивных данных историки пришли к выводу, что в западных приграничных округах к июню 1941 года насчитывалось 12 782 танка, из них боеготовых — 10 540 единиц. Но при этом нет ответов на следующие важные вопросы: каково было количество машин устаревших образцов и запасных частей к ним, состояние ремонтной базы (в том числе для машин новых типов), наличие боезапасов, горючего и проч.¹⁵. Свидетельства участников первых боев несколько проясняют картину. Вот заключение К. Рокоссовского (в июле 1941 года — командующий 9-м механизированным корпусом): «К началу войны наш корпус был укомплектован людским составом почти полностью, но не обеспечен основной материальной частью: танками и мототранспортом. Обеспеченность этой техникой не превышала 30% положенного по штату количества. Техника была изношена и для длительных действий не пригодна, корпус как механизированное соединение для боевых действий при таком состоянии был небоеспособным». Кое-что здесь, безусловно, преувеличено, видно стремление оправдать собственные ошибки и поражения первых дней войны. Но и совсем игнорировать приведенное мнение не надо. Сходное положение, отмечает Рокоссовский, существовало и в других механизированных корпусах Киевского особого военного округа (за исключением двух — 4-го и 8-го, которые имели в своем составе новые танки Т-34 и КВ)¹⁶.

Удручающую картину полного разброда в войсках в первые дни войны нарисовал на допросе командующий Западным особым военным округом Д. Павлов: «Части округа к военным действиям были подготовлены, за исключением вновь сформированных — 17, 20, 13, 11-го механизированных корпусов. Причем в 13 и 11-м корпусах по одной дивизии было подготовлено, а остальные, получив новобранцев, имели только учебную материальную часть, и то не везде. 14-й мехкорпус имел слабо подготовленную только одну мотодивизию и стрелковые полки танковых дивизий. Я доверил... приведение в порядок мехкорпуса... и в результате даже патроны заранее в машины не были заложены. Радиостанций в округе не было в достаточном количестве, последние были выбиты из строя, в то время как при моем настоятельном обращении в центральный склад НКО мою просьбу могли бы удовлетворить, т. к. радиостанции там были. Недостаток солярового масла для танковых дизелей, в результате чего 6-й мехкорпус бездействует... мне доложили, что горючего для ЗапОВО отпущено потребное количество и хранится оно в Майкопе, тогда как на самом деле оно должно было храниться в Белостоке. Практически получилось, что на 29 июня в ЗапОВО недополучено 1000 тонн горючего. Боеприпасы были, кроме бронебойных. Последние находились от войсковых частей на расстоянии 100 км»¹⁷. Итак, имелись механизированные корпуса, но слабо подготовленные и недоукомплектованные, были танки, но без горючего, боеприпасы, но не бронебойные и по большей части на складах, а не в частях. Что это — всеобщая неорганизованность или преднамеренные действия ответственных лиц, которые за бумажной отчетностью скрывали полную неготовность к фашистской агрессии?

В заключительном слове на суде Павлов сказал: «В Западном особом фронте измены и предательства не было. Мы в данное время сидим на скамье подсудимых не потому, что совершили преступления в период военных действий, а потому, что недостаточно готовились в мирное время к этой войне»¹⁸. Запомним эти слова, к которым мы еще вернемся, так как они проясняют главное: общую растерянность в войсках и страх боевого командира быть обвиненным в самом страшном, с его точки зрения, преступлении — измене.

Таким образом, механизированные корпуса Западного и Киевского особых военных округов (где была сосредоточена основная масса советских тан-

¹⁵ ВИЖ, 1993, № 11, стр. 75 — 77.

¹⁶ ВИЖ, 1989, № 4, стр. 55; № 5, стр. 62.

¹⁷ «Неизвестная Россия. XX век». Кн. 2. М., 1992, стр. 82 — 102.

¹⁸ Там же, стр. 108.

ков), которые должны были стать основной ударной силой советских сухопутных войск в ходе «запланированной агрессии Сталина», таковой в июне 1941 года не являлись. К активной обороне, как показали первые недели войны, они оказались тоже не готовы и не смогли сдержать немецкого наступления.

В мемуарах Г. Жукова отмечается, что «дивизионная, корпусная и зенитная артиллерия в начале 1941 г. еще не проходила боевых стрельб и не была подготовлена для решения боевых задач. Поэтому командующие округами приняли решение направить часть артиллерии на полигоны для испытаний. В результате некоторые корпуса и дивизии войск прикрытия при нападении фашистской Германии оказались без значительной части своей артиллерии, что сыграло важную роль в неудачных действиях наших войск в первые дни войны»¹⁹. Несколькими страницами выше маршал пишет, что «войсковая артиллерия приграничных округов была в основном укомплектована орудиями до штатных норм». Жуков напрасно обвиняет командующих округами: они не могли принять столь ответственного решения, не получив на то санкции того же Жукова, бывшего в январе — июле 1941 года начальником Генштаба, или наркома обороны С. Тимошенко. Тем не менее мы не видим оснований говорить о непонимании момента со стороны обоих военачальников. Но факт остается фактом: накануне нападения Германии на СССР советские войска «оказались без значительной части своей артиллерии». Но это при том, что сроки нападения (достаточно точные сроки!) были уже известны военно-политическому руководству страны. Перенос Гитлером начала нападения с мая на июнь (из-за военных действий в Югославии) не должен был успокаивать советских военных, а давал дополнительный шанс для подготовки к надвигающейся войне. Столь же интересен (как и загадочен) другой факт, который содержится в мемуарах бывшего начальника Главного артиллерийского управления Н. Яковлева: «Крупное мероприятие, которым я горжусь по сей день, — категорическое распоряжение, отданное мною в самом начале войны: безоговорочно отводить всю тяжелую артиллерию в тыл, не поддаваясь соблазну ввести ее в дело, как бы ни была тяжела обстановка... (поэтому) в оборонительных боях летом 1941 г. мы потеряли всего несколько десятков тяжелых орудий. Вся основная масса этой мощной артиллерии — орудия калибра 203 и 280 мм, 152-миллиметровые дальнобойные пушки и кадровый состав были отведены и сосредоточены в лагерях глубоко в тылу»²⁰. Рассуждение Яковлева, не выдерживает критики. Во-первых, потому, что подобное решение не могло быть принято Яковлевым единолично, без санкции на то сверху. Во-вторых, что значила летом 1941 года потеря тяжелых пушек и гаубиц в сравнении с потерями десятков крупных городов, сотен заводов, шахт, гибелью армий и миллионами военнопленных? На карту было поставлено само существование Советского Союза, а тяжелая артиллерия вывозится в тыл «до лучших времен». Рассуждать по-яковлевски — значит согласиться с той точкой зрения, по которой с самого начала войны кремлевское руководство решило применить «оборонительную стратегию» — ценой невиданных человеческих жертв сохранить материальные резервы (в первую очередь современное вооружение, включая тяжелую артиллерию) до того момента, когда силы врага иссякнут, а затем самим перейти в контрнаступление²¹. Получается, что Яковлев летом 1941 года знал то, чего знать тогда никак не мог, а именно: весь 1941 год Красная Армия будет только отступать, следовательно, надобность в тяжелой артиллерии отпадет и ее надо сохранить для отдаленных наступательных действий.

¹⁹ Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. Т. 1. М., 1992, стр. 386, 325.

²⁰ «Сталин в воспоминаниях современников и документах эпохи». Составитель М. Лобанов. М., 1995, стр. 450.

²¹ Эта точка зрения высказана литератором Г. Климовым со ссылкой на ходившие после войны в кругах Генштаба слухи. См.: Климов Г. Песнь победителя. Т. 1. Краснодар, 1994, стр. 62 — 67.

Подводя итоги вышесказанному, можно с достаточным основанием утверждать, что Красная Армия (кадры и вооружение) не была готова летом 1941 года к проведению наступательных действий против Германии, а Сталин и военные знали и понимали это. Сроки нападения Германии на СССР были известны не только Сталину и высшему военно-политическому руководству — командный состав приграничных округов также испытывал обеспокоенность в связи с видимыми приготовлениями немцев к агрессии. Однако вместо того, чтобы срочно приводить армию в полную боевую готовность (подвозить горючее из Майкопа в Белосток, боеприпасы и артиллерию — со складов и полигонов в части и т. п.), было сделано (непонятно кем и по чьим указаниям) прямо противоположное: армию спешно и повсеместно принялись разваливать, словно торопясь успеть к началу войны. Зачем?

Последний, по существу едва ли не единственный, серьезный аргумент сторонников суворовской версии — раскритикованные весной 1992 года «Соображения по плану стратегического развертывания Вооруженных Сил Советского Союза на случай войны с Германией». Они были подготовлены Генштабом 15 мая 1941 года и адресованы Сталину. Генштаб предлагал разгромить главные силы фашистской армии, сосредоточенные для нападения на Советский Союз, силами 152 дивизий Юго-Западного фронта против 100 германских дивизий. Направление главного удара советских войск — Краков, Катовице — отрезало бы Германию от ее союзников и столь необходимой немецкой армии румынской нефти; вспомогательное — Седлец, Демблен способствовало бы сковыванию варшавской группировки и содействовало бы Юго-Западному фронту в разгроме люблинской группировки. Одновременно следовало «вести активную оборону» против Финляндии, Восточной Пруссии, Венгрии и Румынии²². Прежде чем переходить к оценке данного плана, отметим, что его содержание свидетельствует о хорошем знании нашим Генштабом дислокации и численности ударных группировок противника на основных стратегических направлениях.

Некоторые отечественные историки (В. Киселев, В. Данилов и другие) полагают, что предложенный план был утвержден советским руководством, а названные в нем мероприятия по подготовке советских войск к «упреждающему удару» стали осуществляться в мае — июне 1941 года. Главными среди этих мер стали: скрытое отмобилизование военнообязанных запаса, выдвижение к западной границе армейских соединений, развертывание фронтовых пунктов управления (создавались на базе штабов и управлений военных округов с 14 — 19 июня) и некоторые другие. Наиболее объективные исследователи суворовской версии (М. Мельтюхов) вынуждены признать, что в этом случае возникает серьезное противоречие: наступать Красная Армия летом 1941 года не могла, а войска, предназначенные для «создания наступательных группировок», к границе двинула²³. Другие полагают, что противоречие здесь мнимое, так как проводимые мероприятия отражают факт подготовки Советского Союза к «наступательным действиям в будущей войне», а не к агрессии против Германии²⁴.

Ситуация становится понятной, если обратиться к новейшим публикациям. Вот что поведал историку Анфилову маршал Г. Жуков в 1965 году: «Идея предупредить нападение Германии появилась у нас с Тимошенко в связи с речью Сталина 5 мая 1941 г. перед выпускниками военных академий, в которой он говорил о возможности действовать наступательным образом (ниже мы подробно остановимся на этой речи. — В. П.). Конкретная задача была поставлена А. М. Василевскому (первый заместитель начальника Оперативного управления Генштаба. — В. П.). 15 мая он доложил проект директивы наркомку и мне. Однако мы этот документ не подписали, решили предваритель-

²² «Готовил ли Сталин наступательную войну против Гитлера?», стр. 83 — 87.

²³ Там же, стр. 98 — 108.

²⁴ Там же, стр. 20.

но доложить его Сталину. Но он прямо-таки закипел, услышав о предупредительном ударе по немецким войскам. „Вы что, с ума сошли, немцев хотите спровоцировать?“ — раздраженно бросил Сталин. Мы сослались на складывающуюся у границ СССР обстановку, на идеи, содержащиеся в его выступлении 5 мая. „Так я сказал это, чтобы подбодрить присутствующих, чтобы они думали о победе, а не о непобедимости немецкой армии, о чем трубят газеты всего мира“, — прорычал Сталин... Сейчас же я считаю: хорошо, что он не согласился тогда с нами. Иначе, *при том состоянии наших войск* (курсив мой. — В. П.), могла бы произойти катастрофа»²⁵. Вот сильное свидетельство, что Сталин не собирался первым нападать на Германию, поскольку вполне представлял реальное соотношение сил обеих сторон и качество советского военного планирования. Действительно, вызывает удивление, что нарком обороны и начальник Генштаба всерьез предложили руководителю страны осуществить план разгрома сильного противника, который был разработан на скорую руку, за десять дней. Было от чего тут впасть в гнев! Для сравнения укажем такой факт. Немецкий генштаб сухопутных войск (ОКХ) начал разработку конкретного стратегического и оперативного плана нападения на СССР еще в июле 1940 года, затем этот план все время совершенствовался и уточнялся в соответствии с наращиванием и концентрацией военной мощи Германии. После подписания 18 декабря 1940 года Гитлером плана «Барбаросса» немцы начали проводить завершающий этап подготовки войск к вторжению²⁶. Советский же план, подготовленный на авось (чтобы угодить вождю), свидетельствует только об одном — крайней самоуверенности нашего Генштаба, граничащей с преступной безответственностью.

Эту скоропалительную акцию своих военных — «Соображения по плану стратегического развертывания...» — Сталин не оставил без внимания. 24 мая 1941 года в Кремле состоялось секретное совещание, на котором присутствовали И. Сталин, В. Молотов, С. Тимошенко, Г. Жуков, Н. Ватутин и большая группа высших военных чинов. Среди них — командующие важнейшими приграничными военными округами Ф. Кузнецов, Д. Павлов, М. Кирпонос, Я. Черевиченко. На совещании обсуждалась сложившаяся на западной границе СССР стратегическая обстановка и вытекающие из нее задачи западных приграничных округов²⁷. По мнению военного историка Ю. Горькова, использующего в своей работе рассекреченные документы кремлевского архива, Сталин оставил без изменений прежний план стратегического развертывания советских войск, который исходил из того, что главный удар немцы направят на Киев с целью захвата Украины. Поэтому Киевскому особому военному округу выделялись большие силы. Что касается замысла стратегической операции, изложенной в генштабовских «Соображениях...», он значительно ограничивался. Во-первых — и это главное, — в нем практически снималась задача овладения территориями каких-либо государств. Основная цель — разгром главной группировки немцев южнее Варшавы и лишение ее возможности наступления, а также изоляция Германии от южных союзников. Как подчеркивает Горьков, ни оперативные документы Генштаба (включая план войны и частные оперативные директивы фронтам), ни планы обороны государственной границы СССР силами армий прикрытия и войск второго оперативного эшелона «не предусматривали нападения на сопредельные государства». Во-вторых, категорически запрещалось переходить государственную границу СССР «даже после нападения противника». И в-третьих, о наступательных действиях Западного и Юго-Западного фронтов говорилось «только в оперативном плане Генштаба», а в оперативных документах всех западных приграничных округов никакие планы наступательных операций не были

²⁵ ВИЖ, 1995, № 3, стр. 41.

²⁶ Жилин П. А. Как фашистская Германия готовила нападение на Советский Союз. М., 1965, стр. 96 — 122.

²⁷ Горьков Ю. А., Указ. соч., стр. 35 — 37.

предусмотрены (это весьма существенное противоречие в планировании оставлено Горьковым без объяснения). Сказанное, на наш взгляд, неопровержимо свидетельствует — СССР не был готов к агрессии против Германии.

Для доказательства агрессивного характера сталинской внешней политики некоторые западные и советские историки ссылаются на вышеупомянутую речь Сталина перед выпускниками военных академий и генералитетом, произнесенную 5 мая 1941 года. Для этого как будто есть основания, если даже Тимошенко и Жуков поняли ее как сигнал к разработке плана «упреждающего удара» по Германии. Обычно подчеркиваются те места речи, где говорится о необходимости наступательной войны: «Теперь, когда мы нашу армию реконструировали, насытили техникой для современного боя, когда мы стали сильны, — теперь надо перейти от обороны к наступлению»²⁸. Историки располагают только краткой записью сталинского выступления, которая содержит существенные пробы. Так, по свидетельству одного из участников встречи в Кремле генерала армии Н. Лященко, «Сталин... говорил минут сорок... сказал, что война с Гитлером неизбежна, и если В. М. Молотов и аппарат Наркомата иностранных дел сумеют оттянуть начало войны на два-три месяца, это наше счастье»²⁹. Приведенные слова Сталина отсутствуют в опубликованной записи его выступления. Второй существенный момент речи — сталинская оценка мощи вермахта. В краткой записи приведена одна оценка: «С точки зрения военной, в германской армии ничего особенного нет и в танках, и в артиллерии, и в авиации»³⁰. Если основываться на уже упоминавшемся интервью Г. Жукова, это было сказано вождем с единственной целью — «подбодрить присутствующих». Однако именно эти слова, по мнению сторонников суворовской версии, служат дополнительным аргументом в их пользу. Между тем совсем другая сталинская оценка немецкой армии изложена в воспоминаниях Э. Муратова, выпускника Электротехнической академии, который присутствовал на кремлевском приеме в мае 1941 года: «Надо признать, что пока у Германии лучшая армия в мире. Авиация! Надо признать, что она пока у немцев лучшая в мире»³¹.

²⁸ «Исторический архив», 1995, № 2, стр. 26 — 30.

На эту же версию как будто работает и опубликованный Т. Бушуевой отрывок из речи Сталина на совещании в Политбюро 19 августа 1939 года, в которой вождь обосновывал необходимость заключения договора с Гитлером тем, что пакт о ненападении подтолкнет Германию к войне с Польшей и позволит травить в начавшуюся войну также Англию и Францию. Даже в случае победы Гитлера, как явствует из приведенного Бушуевой отрывка документа, Сталин надеялся, что Германия «выйдет из войны слишком истощенной, чтобы начать вооруженный конфликт с СССР по крайней мере в течение десяти лет» («Новый мир», 1994, № 12, стр. 230 — 237).

Вопреки сталинским надеждам, Германия после того, как разгромила Польшу, Францию и ряд более мелких европейских государств, не ослабла, а, наоборот, чрезвычайно усилилась. Поэтому было бы большой исторической натяжкой полагать, что и весной 1941 года Сталин сохранял прежний оптимизм в оценке соотношения сил в Европе и перспектив Советского Союза в предстоящей войне с Германией. Однако именно к такой натяжке порой прибегают некоторые историки, когда утверждают, что «Сталин, по крайней мере с весны 1941 года, окончательно настроился на упреждающий удар по Германии» («Другая война. 1939 — 1945». М., 1996, стр. 26). Приведенные в нашей статье факты свидетельствуют, что именно весной 1941 года Сталин меньше всего хотел нанести «упреждающий удар», поскольку после финской кампании имел ясное представление о низкой боевой мощи Красной Армии. Историку в оценке событий следует исходить не из намерений (даже если это намерения вождей), а из той исторической реальности, которая вынуждала вождей резко менять свою политику, отказываясь от целей, которые еще вчера казались им достижимыми.

Что же касается речи Сталина 5 мая 1941 года перед выпускниками военных академий, то она не содержит даже косвенного намека на желание Сталина нанести «упреждающий удар». Его слова о том, что «теперь надо перейти от обороны к наступлению», свидетельствуют об одном: до катастрофических поражений Красной Армии летом — осенью 1941 года Сталин не сомневался в правильности советской военной доктрины, главным стержнем которой была идея «ответного удара» и теория глубокого боя, заслонившие для нашей армии вопросы обороны. Только война показала, чего стоила теория, разрабатываемая советскими генштабистами еще с 20-х годов. Войну мы начали проигрывать как раз «по теории», а выигрывали на практике, пройдя выучку у немецкой армии прямо на поле боя и разгромив ее.

²⁹ ВИЖ, 1995, № 2, стр. 23.

³⁰ «Исторический архив», 1995, № 2, стр. 28.

³¹ «Сталин в воспоминаниях современников и документах эпохи», стр. 409.

Из анализа этого выступления следует несколько выводов. Сталин о приближающейся войне с Германией знал (точнее, был убежден, что война с Германией разразится в ближайшее время), как и о том, что ее вряд ли удастся оттянуть более чем на два-три месяца. Знал он и о действительной мощи немецкой армии. Для такого вывода не было, вероятно, более убедительного для Сталина примера, чем разгром немецкой армией Франции (на фоне этого блестящего военного успеха действия Красной Армии в советско-финляндской войне могли вызвать только негативную оценку. О сопоставимости двух армий — немецкой и советской — здесь не может быть и речи). Представляя себе настоящее положение дел, он весьма скептически относился к плану Генштаба нанести «упреждающий удар» силами, лишь в полтора раза превосходящими противника (152 советские дивизии против 100 немецких).

Таким образом, рассмотрев аргументы сторонников версии о подготовке «агрессии» Советского Союза против Германии, намеченной на 6 июля 1941 года, следует признать их несостоятельными.

Обратимся теперь к фактам, свидетельствующим о подготовке СССР к оборонительной войне.

В конце декабря 1940 года, когда Сталину стал известен план и сроки нападения Гитлера на СССР, в Москве проводилось совещание высшего руководящего состава Красной Армии. Затем, в начале января 1941 года, — две оперативно-стратегические игры на картах. Основное внимание уделялось характеру «современной наступательной операции» фронта и армии, способам использования крупных танковых и механизированных соединений во взаимодействии с ВВС (основные докладчики Г. Жуков, Д. Павлов, П. Рычагов). Рассмотрение проблем обороны ограничивалось масштабом армейской операции и во многом носило формальный характер (докладчик И. Тюленев). Так, признавая необходимость создания глубоко эшелонированной обороны, способной выдержать огневой и танковый удар наступающего противника (опыт немецкой армии широко изучался, и советские военачальники могли составить реальное представление о ее наступательной мощи), докладчик полагал, что будет достаточно десяти — пятнадцати суток для устройства армейской оборонительной полосы³². Непонятно, на чем основывался оптимизм Тюленева, который, являясь командующим Московским военным округом, должен был знать о состоянии оборонительных укреплений на западной границе Советского Союза. Дело в том, что после того, как наша северо-западная граница была передвинута вперед на 300 километров, в новые районы в 1940 году передислоцировались первые эшелоны войск западных округов. Данное решение Г. Жуков полагает ошибочным, поскольку новые районы «не были еще должным образом подготовлены для обороны»³³. Основу обороны на старой границе составляли так называемые УРы — укрепрайоны, которые строились в 1929 — 1935 годах. Артиллерия старых УРов по своей конструкции не соответствовала новым дотам. Тем не менее, как свидетельствует Г. Жуков, по предложению маршалов Г. Кулика и Б. Шапошников, а также Г. Маленкова принимается решение «снять часть уровской артиллерии с некоторых старых укрепрайонов и перебросить ее для вооружения новых строящихся укрепрайонов». Поскольку решение было принято с запозданием (весна 1941 года), то, по словам Жукова, случился казус: часть старых УРов разоружить успели, а поставить это вооружение на новые УРы уже не хвати-

³² «Великая Отечественная. Материалы совещания...», стр. 213 — 215.

³³ Жуков Г. К., Указ соч. Т. 1, стр. 349. С этим мнением целиком согласен и К. Рокоссовский: «Мы обязаны были сохранять и усиливать, а не разрушать наши УРы по старой границе. Неуместной, думаю, явилась затея строительства новых УРов... Общая обстановка к весне 1941 года подсказывала, что мы не успеем построить эти укрепления. Только слепой мог этого не видеть. Священным долгом Генштаба было доказать такую очевидность правительству и отстоять свои предложения» (ВИЖ, 1989, № 5, стр. 61). Так «пререкались» советские маршалы в поисках козлов отпущения, но это было уже после войны, когда все «прозрели».

ло времени. Это решение, принятое в условиях достаточно полного знания о сроках нападения Германии на СССР, представляется не только необоснованным и головотяпским, но, прямо скажем, преступным. Мало того что в результате столь же неразумных решений действующая армия была лишена части артиллерии, которая проходила испытательные стрельбы на полигонах, к этому добавилось еще и отсутствие артиллерии в главном звене обороны — укрепрайонах. Стремясь снять с себя вину за это решение, Жуков пишет, что в апреле 1941 года Генштаб дал командующим Киевского и Западного Особых военных округов директиву: до особых распоряжений шесть УРов, строительство которых началось в 1938 — 1939 годах, содержать в состоянии консервации для возможного использования их в военное время. Та же директива предписывала приведение их в боеготовность на десятый день войны. Это решение также представляется неоправданным, так как оно не учитывало опыта современной войны. А ведь Жуков специально изучал кампанию вермахта во Франции по обходу и быстрому взятию французской оборонительной «линии Мажино». В начале войны наши войска не успели занять оборону законсервированных УРов, поскольку противник захватил их раньше десятидневного срока³⁴. Таково было реальное положение вещей, и его Жуков в своих мемуарах не утаил.

Оно свидетельствует об одном: решения высшего командного состава Красной Армии, касающиеся обороны страны, никуда не годились. К тому же командование хорошо знало о незавершенности строительства укрепрайонов вдоль новой западной государственной границы. Так, к июню 1941 года из запланированных в Западной Белоруссии 1174 долговременных огневых сооружений успели построить 505, а оборудовать и вооружить — 193³⁵.

Итак, накануне отнюдь не неожиданной войны с Германией у нас существовали лишь отдельные оборонительные участки, не связанные в единое целое, которые в большинстве своем были или недостроенные, или недовооруженные. Эти участки не представляли собой единого оборонительного рубежа и потому оказались малоэффективными, а то и попросту ненужными, когда начались бои.

Кроме того, как показывает анализ военных историков, во время уже упоминавшегося совещания командного состава Красной Армии и последующих игр на картах (декабрь 1940 — январь 1941 года), «вопрос о том, как же удавалось „восточным” (тем, кто играл за нашу сторону. — В. П.) не только отбрасывать противника к государственной границе, но и местами переносить военные действия на его территорию... оказался обойденным... даже не делалось попыток рассмотреть ситуацию, которая может сложиться в первых операциях в случае нападения Германии (курсив мой. — В. П.)»³⁶. Следовательно, среди 270 участников, представляющих на тот период цвет Красной Армии (многие из которых заслуженно прославились в годы Отечественной войны 1941 — 1945 годов), не нашлось ни одного, кто задал бы этот простой и вместе с тем самый первоочередной вопрос. Но, конечно, это не потому, что все знали, что мы «нападаем первыми». Такое положение могло сложиться только в одном случае: существовал строгий запрет военным проводить детальную проработку плана обороны страны. В отличие от нас немцы, проведя военную игру месяцем раньше, проверяли реальность уже сложившихся наметок по плану войны в СССР³⁷.

Факты, повторяю, говорят об одном: Красная Армия не была готова к нападению на Германию и основу советского плана составляли оборонительные действия. Это не противоречит тому, что предложения Генштаба предусматривали разгром главной немецкой группировки южнее Варшавы, о чем гово-

³⁴ Жуков Г. К., Указ. соч. Т. 1, стр. 350 — 352.

³⁵ ВИЖ, 1989, № 4, стр. 27.

³⁶ ВИЖ, 1993, № 8, стр. 34.

³⁷ ВИЖ, 1993, № 7, стр. 20 — 21.

рилось выше. Предложения советских штабистов исходили не из реального положения, соотношения сил и возможностей обоих противников. Действительное противоречие заключается в том, что СССР готовился к активной обороне, но так, что предполагаемое ею ответное наступление было нереальным. Да и вся эта подготовка проходила таким образом, что под видом укрепления обороны проводились мероприятия, ставшие причиной максимальной дезорганизации войск всех приграничных округов как раз к моменту нападения Германии. Кстати, в войсках это многие понимали, чему есть подтверждение в материалах обследования, проведенного в конце 40-х — начале 50-х годов Военно-научным управлением Генштаба. Генерал Л. Сандалов: «Основным недостатком окружного и армейского планов (план прикрытия, отмотелизования, сосредоточения и развертывания советских войск на брестском направлении, где немцы наносили самый мощный удар. — *В. П.*) являлась их нереальность. Значительной части войск, предусмотренной для выполнения задач прикрытия, еще не существовало. 13-я армия... и 14-й мехкорпус, входивший в состав 4-й армии, находились в стадии формирования»³⁸. Можно допустить, что генерал задним числом стремится оправдать разгром войск своей армии. Но документально подтвержденным фактом остается его сообщение, что части обеих армий, действующих на этом направлении (13-й и 4-й), имели значительный некомплект личного состава. Генерал М. Зашибалов (бывший командир 86-й стрелковой дивизии): «К 1 мая 1941 г. оборонительная полоса дивизии, к созданию которой мы приступили с августа 1940 года, была оборудована (вспомним тюленевские расчеты о десяти — пятнадцати днях! — *В. П.*)... во второй половине мая (1941 года) начштаба 10-й армии Ляпин довел до нас решение командующего на постройку и оборудование новой дивизионной оборонительной полосы... следовало все работы закончить к 1 августа 1941 года». О том, что произошло в результате столь «мудрого» решения, повествует сам Ляпин: «На госгранице в полосе армии (4-й) находилось на оборонительных работах до 70 батальонов и дивизионов общей численностью 40 тысяч человек. Разбросанные по 150-километровому фронту и на большую глубину, плохо или вообще не вооруженные, *они не могли представлять реальной силы для обороны госграницы*. Напротив, личный состав строительных, саперных и стрелковых батальонов *при первых ударах авиации противника, не имея вооружения и поддержки артиллерии, начал отход на восток, создавая панику в тылу* (курсив мой. — *В. П.*)». То есть за месяц до войны была брошена оборудованная оборонительная линия и не достроена другая (ясно, что одни саперные и строительные части дивизии без привлечения бойцов из стрелковых подразделений не могли спешно, за два месяца, построить новую линию). В результате паника и гибель бойцов. Нет оснований сомневаться в том, что оба командира — Зашибалов и Ляпин — понимали нецелесообразность решения о строительстве новой полосы обороны еще тогда, весной 1941 года, но оба делали по указке сверху то, что противоречило здравому смыслу и простому военному расчету.

Начштаба 22-й танковой дивизии полковник А. Кислицын свидетельствует, что «за две недели до войны были получены из штаба 4-й армии (которую, как уже отмечалось, возглавлял тогда Л. Сандалов. — *В. П.*) совершенно секретная инструкция и распоряжение об изъятии боекомплекта из танков и хранении его на складах НЗ». Тут уже прямое головотяпство (если не кое-что похуже!). Подобные случаи были многочисленны и наблюдались практически во всех западных приграничных округах.

Жуков винит во всем Сталина: «Он твердо сказал, что, если мы не будем провоцировать немцев на войну, — войны не будет, мы ее избежим. У нас

³⁸ ВИЖ, 1989, № 3, стр. 62 — 69; № 5, стр. 23 — 32. Публикация этого интересного материала, приоткрывающего завесу над катастрофой первых дней войны, была прервана на середине без каких-либо объяснений со стороны редакции журнала.

есть средства избежать ее. Какие средства, он не говорил. Но Сталин такую установку дал. Вот, допустим, я, Жуков, чувствуя нависшую над страной опасность, отдаю приказание: „развернуть”. Сталину докладывают. На каком основании? На основании опасности. Ну-ка, Берия, возьмите его к себе в подвал»³⁹. Получается, что до вечера 21 июня 1941 года Сталин «не верил» в возможность нападения Германии на СССР, а 21 июня, под влиянием разговора с Жуковым и Тимошенко, вдруг «поверил» и санкционировал отдачу директивы военным советам приграничных округов о возможном нападении немцев и приведении наших частей в боевую готовность, но было уже слишком поздно⁴⁰. Дело не в том, что Жуков трактует предвоенную обстановку в выгодном для себя свете, чтобы оправдаться, а в том, что в приписываемых Сталину военными — а вслед за ними и всеми остальными (политиками, дипломатами, историками) деятелями — поступках отсутствует элементарная логика.

Получается, что Сталин своими предвоенными действиями как бы специально подставил Красную Армию, чтобы Гитлер сокрушил ее. Хотя сторонники суворовской версии прямо так не пишут, этот вывод логически вытекает из их построений. Как метко заметил один из критиков суворовской версии: «Почти все, что удастся извлечь из многих страниц („Ледокола” Суворова. — В. П.)... это лишь то, что за короткий срок в СССР осуществили ударную перевозку гигантского количества вчера еще невоенного народа. Мыслилось как сенсационное разоблачение Великого захватнического плана Сталина и Жукова. А получился панегирик наркому путей сообщения Кагановичу»⁴¹.

Вышесказанное позволяет понять причины массовой паники в войсках в начале войны. Ее непосредственные участники, многочисленные документальные свидетельства советских и немецких источников рисуют одну и во многом сходную картину: наряду с массовым героизмом многочисленны были случаи паники и бегства с позиций, а в безвыходных ситуациях — сдача в плен или самоубийство. Мы привели немало свидетельств, чтобы показать психологическое состояние, сформировавшееся в наших войсках накануне войны в результате приграничных «мероприятий». Старые укрепленные районы покинуты, как и имеющиеся оборонительные линии, а новые недостроены и ненадежны; большая часть артиллерии на испытательных полигонах, а не в войсках; противотанковые средства отсутствуют; стрелковое оружие и боеприпасы хранятся преимущественно на складах; командиры отдают такие приказы, которые противоречат чувству элементарной безопасности; безалаберщина и сумятица царят во всех звеньях военного руководства, усиливают панические настроения и делают людей беззащитными и неспособными к сопротивлению еще до боя. А на противоположной стороне — вооруженные до зубов немецкие части, победители Европы, о победах которых советская печать трубила со времени подписания пакта Молотова — Риббентропа. Лязг гусеничных танков, рокот самолетов над нашей территорией, шпионы и лазутчики, свободно разгуливающие по советским гарнизонам, тревожные донесения перебежчиков — эти и другие свидетельства со всей очевидностью показывают нашим бойцам, что война начнется не сегодня-завтра. Удар должен вот-вот обрушиться, а солдаты беззащитны — как тут не родиться панике. Первые сокрушительные поражения только усилили ее до невиданных размеров.

Рядовой красноармеец — вчерашний крестьянин или рабочий (по преимуществу тоже выходец из деревни), не отягощенный военной премудростью и доктринальными установками советских военных теорий, постепенно осознавал тот факт, что вся предвоенная пропаганда, трубившая о мощи Красной Армии и нашей готовности к войне, о том, что в случае войны мы будем во-

³⁹ «Коммунист», 1988, № 14, стр. 99.

⁴⁰ Жуков Г. К., Указ. соч. Т. 1, стр. 383 — 389.

⁴¹ «Готовил ли Сталин наступательную войну против Гитлера?», стр. 8.

евать «малой кровью на чужой территории», оказалась ложью. Наш солдат на своей шкуре почувствовал, что он не «атом» великой армии, имеющей осмысленную тактику и стратегию, но пушечное мясо в руках бездарных и растерянных военачальников. И тогда народное сознание из всех причин военных неудач выделило одну, но, по его представлениям, главную — измена! И не где-нибудь, а в самих «верхах», в руководстве страной и армией. Каждое новое поражение возрождало эти панические настроения, с которыми не могли справиться ни особы, ни политорганы, ни заградотряды. Вот в чем, на наш взгляд, главные причины того, что за пять месяцев войны мы проиграли столько сражений и отступили до Москвы (обратный путь до границы занял три года).

Приведем наиболее характерные высказывания о царивших на фронте настроениях. К. Рокоссовский: *«Боязнь окружения и страх перед воображаемыми парашютными десантами противника в течение длительного времени были настоящим бичом»* (курсив мой. — В. П.). И далее: «Встречалось немало фактов проявления военнослужащими трусости, паникерства, дезертирства и членовредительства с целью уклониться от боя»⁴². Из донесения секретаря ЦК КП(б) Белоруссии П. Пономаренко на имя Сталина (сентябрь 1941 года): «Обстановка отходо-волнует бойцов, младший и средний начсостав. Из этого факта большинство делает абсолютно неправильные выводы, не умея себе объяснить подлинные причины, а политсостав обходит этот главный вопрос. Поэтому возникают всякие предположения о предательстве, об отсутствии сил, преувеличение мощности врага и т. д.»⁴³. Так ведь и комиссары тоже ничего толком не могли понять и объяснить даже и себе, а потому «обходили этот главный вопрос», чтобы не быть обвиненными в распространении «враждебных слухов». Положение усугублялось тем, что и командиры разгромленных частей и соединений Красной Армии, попавшие в окружение и пробывавшиеся к своим, находились под влиянием тех же настроений об измене и ничего не могли объяснить бойцам. В ноябре 1941 года командир разгромленной советской дивизии Котляров, прежде чем застрелиться, оставил записку, в которой были такие слова: «Общая дезорганизация и потеря управления. *Виновны высшие штабы* (курсив мой. — В. П.). Не хочу нести ответственность за... (следует нецензурное выражение: — В. П.). Отходите... за противотанковое препятствие. Спасайте Москву. Впереди без перспектив»⁴⁴.

Приведем выдержку из донесения политбойцов⁴⁵ в Политуправление РККА: «Прекрасный боевой дух политбойцов в несколько дней был подорван бессмысленной (на наш взгляд, преступной) тактикой изолированных наступлений отдельных рот и батальонов на линию обороны противника (при отсутствии наших танков и самолетов). Причем все эти наступления проводились днем, словно нарочно для того, чтобы побольше вывести из строя наших политбойцов... В итоге за неделю был истреблен не только боевой дух, но и личный состав...»⁴⁶ Таких примеров тактики наших командиров в Отечественную войну были сотни и тысячи. Для характеристики профессионализма «высших штабов» на начальном этапе войны весьма показательна деятельность маршала Г. Кулика в ноябре 1941 года по обороне Керчи, которая закончилась очередной катастрофой⁴⁷.

Для всей армии виновниками поражений являлись «высшие штабы», то есть те, кто был скрыт и отделен от основной войсковой массы плотной за-

⁴² ВИЖ, 1989, № 4, стр. 56; № 6, стр. 52.

⁴³ «Известия ЦК КПСС», 1990, № 10, стр. 207 — 223.

⁴⁴ Ге й ко Юр. Чего нам стоила победа под Москвой? — «Комсомольская правда», 1995, 27 декабря.

⁴⁵ Политбойцы — коммунисты и комсомольцы, направлявшиеся на фронт в первые месяцы войны по специальным партийным мобилизациям рядовыми.

⁴⁶ «Известия ЦК КПСС», 1990, № 9, стр. 193 — 215.

⁴⁷ Бобринев В. А., Рязанцев В. Б. Палачи и жертвы. М., 1993, стр. 222 — 254.

весой. Но и они, эти «высшие штабы», и даже сам «товарищ Сталин» не понимали ясно сложившейся обстановки. Растерянность Сталина, о которой сообщают в своих мемуарах Г. Жуков и А. Микоян, совсем иного рода, чем та, которую ему приписывают. Участвовать в революции, по существу, выиграть Гражданскую войну в России (которая ведь закончилась только после «сплошной коллективизации»), обойти политических конкурентов в борьбе за власть, создать реальное советское общество и соответствующие экономические, идеологические и политические институты — и только для того, чтобы все созданное, имеющее, казалось, такой надежный вид, пошло прахом за какую-то неделю-две военных действий? Было от чего прийти в отчаяние. К кому мог апеллировать Сталин, находящийся на самом вершине государственной пирамиды, кого обвинять в измене? Ясно, что не военных, обстоятельную чистку которых он провел с беспощадной жестокостью буквально перед самой войной. Д. Волкогонов сообщает интересный факт, имеющий в свете рассматриваемой проблемы особое значение. Ознакомившись с проектом приговора командующему Западным фронтом Д. Павлову, Сталин сказал Поскребышеву: «Приговор утверждаю, а всякую чепуху вроде „заговорщицкой деятельности“ Ульрих чтобы выбросил»⁴⁸.

Подытожим наши наблюдения.

Во-первых, основываясь на приведенных фактах, следует признать необоснованными обвинения Сталина в том, что он «пренебрег предупреждениями» разведки о ведущейся полным ходом подготовке фашистской Германии к агрессии против Советского Союза.

Во-вторых, вопреки распространенной версии Сталин с недоверием относился к союзу, заключенному с фашистской Германией, и вообще отнюдь не был легковерным человеком, а потому начиная с 30-х годов усиленно готовился к войне с Гитлером. В этих целях задолго до войны начала создаваться мощная оборонительная система, которая протянулась от Черного до Балтийского моря и которую, в отличие от «линии Мажино», невозможно было обойти. По завершении финской войны он уже не питал иллюзий относительно боеспособности нашей армии и продолжал делать ставку на самое надежное средство в данной ситуации — на создание мощных укрепрайонов вдоль новой западной границы. В этой связи отметим, что глава из книги Суворова «Ледокол», посвященная вопросу «Почему Сталин уничтожил „линию Сталина“», страдает тем же противоречием, что и большинство работ отечественных историков: в ней автор приписывает советскому вождю поступки, характерные для слабоумных. Так называемая линия Сталина не уничтожалась Сталиным, как утверждает Суворов, а была законсервирована (выше об этом приведено свидетельство Г. Жукова). Между понятиями «законсервирована» и «уничтожена» есть существенная разница.

Подлинная причина поражения наших войск летом — осенью 1941 года заключалась, на наш взгляд, в том, что как раз перед самой войной всю эту отлаженную, годами создаваемую систему ударными темпами привели в негодность, причем сделано это было под видом еще большего укрепления западных рубежей. Поскольку система обороны была развалена не на отдельных участках, а повсеместно вдоль всей западной границы, это действие нельзя свалить и на обычное российское разгильдяйство. Технические «мелочи» — отсутствие боеприпасов, горючего, артиллерии и т. п. и т. д. — сыграли роковую роль в исходе сражений начального этапа войны и решающим образом повлияли на моральное состояние советских войск. К причинам внутреннего характера следует отнести большое число недовольных политическим режимом в СССР, поскольку для солдатской массы, вышедшей преимущественно из крестьян, неизгладимой оставалась жестокость насильственной коллективизации и раскулачивания. Многие офицеры Красной Армии

⁴⁸ Волкогонов Д. Триумф и трагедия. Политический портрет Сталина. Кн. 2, ч. 1. М., 1989, стр. 193.

(включая генералов) разделяли подобные настроения — П. Понеделин, П. Артеменко, Е. Егоров, Е. Зыбин, И. Крупенников, М. Белешев, А. Самохин, Н. Лизутин, М. Лукин и другие. Они тоже могли питать зыбкую надежду на «избавление» от большевиков с немецкой помощью.

Следовательно, и это главный наш вывод, действительные причины, которые заставили события 1941 года развиваться столь непостижимым и малопонятным образом, заключаются не в личных просчетах Сталина, о которых повествуют мемуаристы, а в иных обстоятельствах. Историки, политики, дипломаты и военные, создавшие в своих работах образ Сталина — хитрого, расчетливого, дальновидного и коварного интригана (что соответствует в исторической литературе образу «выдающегося политика»), противоречат сами себе, приписывая его личной инициативе все те совершенно идиотские приказы, которые привели к развалу армии накануне войны. Достигнув высшей власти, Сталин вдруг добровольно, своими руками, стал рыть себе могилу, совершая поступки, не поддающиеся логическому объяснению, — сама постановка вопроса в данном ключе является антинаучной.

...И все-таки каждый, кто занимается непосредственно предвоенной нашей историей, не может не ощущать некоторой ее загадочности: слишком, повторяю, и р а ц и о н а л ь н о дезорганизирующий характер носили все советские действия.

Продолжение изучения архивов будет способствовать прояснению того, что вызывает недоумение у сегодняшнего историка.

Концепция В. Суворова о «всего лишь» превентивном нападении Гитлера на СССР — в целях упреждения активно готовившегося советского вторжения в Германию — имеет, разумеется, право на существование, но не как окончательный исторический вывод.

Работа В. Попова — еще одна не менее радикальная версия разгадки оглушительного поражения СССР в 1941-м. Накануне войны оборона страны катастрофически разваливалась; но, как считает автор, не столько по прямой вине Сталина, сколько из-за почти нарочито нелепых («преднамеренных») действий военных руководителей, прореженных перед тем кровавыми чистками, затаенных противников вождя, возможно надеявшихся — в случае военного конфликта с Германией — на низвержение сталинского режима.

Коммунизму в ту пору было в России только двадцать лет с небольшим. Многие — даже на уровне подкорки — могли воспринимать начало войны как возможное освобождение от него. Понадобилось время, чтобы народ понял всю бездарность немецкой политики, носившей не столько антикоммунистический, сколько расистский характер.

Но даже и до последних дней войны в РОА (Русскую Освободительную Армию, формировавшуюся под руководством генерала Власова по другую линию фронта) переходили наши солдаты (их настроения засвидетельствованы, например, в пьесе А. Солженицына «Пир победителей»).

Сам Сталин пусть с запозданием, но сориентировался и успел ввести в коммунистическую идеологию фермент спасительного патриотизма.

В нашем народе проснулись духовные ресурсы, казалось уже выкорчеванные большевизмом.

И тогда мы начали побеждать.

Юрий Кублановский.

С. ЛОМИНАДЗЕ



ВОЛЬНЫМИ МАЗКАМИ

Эдвард Радзинский издал книгу, о которой, по его словам, «думал всю свою жизнь», а начал писать ее с 1969 года¹. Уже в наше время «получил уникальную возможность» работать в Архиве Президента (вобравшем и «личный архив Сталина») и других до сих пор труднодоступных для простых смертных архивохранилищах, где известный драматург, а в прошлом (как сообщено в «Прологе») студент Историко-архивного института и занялся тем, что «искал Сталина. *Потаенного Сталина*». После всего этого от объемистого «кирпича» с лаконичным названием «Сталин» ждешь чего-то если не научно-фундаментального, то уж досконально выверенного. И поражаешься промахам автора в сфере не столько потаенного, сколько общеизвестного.

К примеру, о XIV съезде читаем: «Еще вчера Зиновьев и Каменев со Сталиным выступали против Троцкого, сегодня Зиновьев и Каменев с Троцким выступили против Сталина». Но Троцкий на XIV съезде не только не выступал вместе с Зиновьевым и Каменевым против Сталина, а, напротив, явился одной из причин борьбы между Сталиным и ленинградской оппозицией. Перейдя в заключительном слове «к истории нашей внутренней борьбы внутри большинства Центрального Комитета», Сталин заявил: «С чего началась наша размолвка? Началась она с вопроса о том, „как быть с тов. Троцким?”. Это было в конце 1924 года. Группа ленинградцев вначале предлагала исключение тов. Троцкого из партии... Мы, т. е. большинство ЦК, не согласились с этим (*Голоса: „Правильно!”*)... Спустя некоторое время после этого, когда собрался у нас пленум ЦК и ленинградцы вместе с тов. Каменевым потребовали немедленного исключения тов. Троцкого из Политбюро, мы не согласились и с этим предложением оппозиции... и ограничились снятием тов. Троцкого с поста наркомвоена. Мы не согласились с т.т. Зиновьевым и Каменевым потому, что знали, что политика отсечения чревата большими опасностями для партии, что метод отсечения, метод пускания крови — а они требовали крови — опасен, заразителен: сегодня одного отсекли, завтра другого, послезавтра третьего, — что же у нас останется в партии? (*Аплодисменты.*)»² Интересно, что сталинские слова про «метод отсечения» Радзинский цитирует, но словно не замечает, что поводом для них послужил Троцкий, — подобные странности тоже нередки в книге. Еще примеры промахов. «Да, Совет (в Петрограде после Февраля. — *С. Л.*) — это сила, — пишет Радзинский. — Он воистину делит власть со слабым Временным правительством — в его состав уже введен председатель Совета, эсер Александр Керенский». Но Керенский председателем Петроградского совета никогда не был. «В 1936 году ошеломляющим событием для СССР были не процессы — страна жила приездом футболистов-бас-

Ломинадзе Серго Виссарионович родился в Москве в 1926 году, литературовед, критик. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького в 1964 году. Член Союза писателей с 1979 года. Автор книги о поэтике Лермонтова и сборника литературоведческих статей.

¹ Радзинский Эдвард. Сталин. М., «Вагриус», 1997, 637 стр.

² Сталин И. Об оппозиции. Статьи и речи 1921 — 1927 гг. М. — Л., 1928, 222 — 223.

ков». Но баски приехали не в 1936, а в 1937 году. «...Рудольф Эйхе, признав все ложные обвинения, умер с криком: „Да здравствует Сталин!“» Но Эйхе звали не Рудольф, а Роберт (Роберт Индрикович). «Уборевич — гигант-бородач, вместе с Фрунзе захвативший неприступный Крым, командующий Белорусским военным округом». Ни «гигантом», ни «бородачом» Уборевич не был, наоборот: мальчишкой довелось мне целый день разглядывать его (и его четыре ромба), когда он летом 1935 или 1936 года приезжал к нам на дачу в Серебряный Бор, — худощавый, среднего роста блондин в пенсне, с гладко выбритым лицом («немец», как тогда подумалось). «Вместо Тимошенко Сталин делает наркомом Жукова — смелого и беспощадного, чем-то похожего на него самого», — сообщает автор, описав парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. Но еще в июле того года Сталин назначил наркомом обороны вместо Тимошенко отнюдь не Жукова, а себя самого. «Следующей великой вехой в войне он сделал битву за город своего имени — Сталинград... К декабрю 1942 года было подготовлено поражающее воображение контрнаступление — множеством армий, тысячами танков и самолетов». Но кто же не знает, что наше контрнаступление под Сталинградом началось 19 ноября?..

Особенность книги в том, что фактические огрехи (от досадных неточностей до грубых ляпов) зачастую переплетаются в ней с сомнительными авторскими версиями, а то и просто домыслами. Скажем, Жукова — даже если он, как считается ныне многими, и впрямь не жалел на войне солдатской крови — трудно, согласившись с Радзинским, наделить сталинской беспощадностью, так же как Сталина, за всю войну ни разу не побывавшего на фронте, приравнять к Жукову по смелости. Или взять тех же «футболистов-басков». В книге они не только приехали к нам годом раньше, чем в действительности, они вообще не просто приехали. Это Сталин, пользуясь «глупой слабостью сограждан» — любовью к футболу, чтобы отвлечь их от «процессов», «дал народу очередной праздник — выписал этих знаменитых футболистов». Может, он их и во Францию с Чехословакией и Польшей «выписал» — страны, с которых баски начали свое европейское турне, прежде чем направиться в СССР? Футбольной «слабости сограждан» вождь отнюдь не потакал, достаточно сказать, что сборная страны не выходила на поле с 1935 года и первый официальный матч (после того, как Советский Союз стал членом ФИФА) провела лишь в 1952 году. Приезд же басков Сталин санкционировал (а возможно, и проявил в данном случае какую-то инициативу) по вполне понятным политическим соображениям — в знак солидарности с республиканской Испанией, охваченной фашистским мятежом: «сборная Басконии» представляла именно республиканцев. Но все это присказка — далее под пером Радзинского возникает поистине баснословный сюжет. «Ягода и Ежов позаботились: „Спартак” не был заявлен на участие в матчах, баски играли с „Динамо”. И дважды разгромили команду НКВД! Страна погрузилась в траур. И тогда Сталин велел выиграть. Ежов предложил выпустить на поле „Спартак”. Он понимал — поражение от басков станет концом команды». Поэтому игроки «Спартака» «сражались насмерть. Для басков это был футбол, для „Спартака” — борьба за жизнь. В конце игры на табло были невероятные цифры: „Спартак” разгромил басков со счетом 6:2». Я был на этом матче. Счет Радзинским указан верно. Правда, «табло» на динамовском стадионе тогда не было, у ворот поставлены были стойки, к которым сверху крепились кружки с цифрами; когда счет менялся, один кружок снимали, другой прицепляли. Да и Ягода в ту пору не мог «позаботиться» об ущемлении «Спартака», не до того ему было: баски прибыли в Москву 19 июня 1937 года, а в начале апреля Ягода был арестован «ввиду обнаружения» его «антигосударственных и уголовных преступлений» (по выражению Сталина). Имеются еще кое-какие сомнения. Политизирова тогдашнюю футбольную жизнь, автор понимает ее как «главное соперничество» «между двумя клубами»: московскими «Динамо» («клубом НКВД») и «Спартаком» («командой профсоюзов»), за который болела «вся интеллигенция», в порядке «дозволенной фронды». В чем состояла «фронда», неизвестно, но о том, что

«Спартак» не был заявлен на матчи с басками и те «играли с „Динамо”» и «дважды разгромили команду НКВД», сообщается со значением. Но, во-первых, играли баски, вопреки Радзинскому, не только с московским «Динамо», а и с «Локомотивом» (с его разгрома — 5:1 — и начали), со сборной Ленинграда (2:2), обыграли динамовцев Киева и (дважды) Тбилиси. Во-вторых, от очередного проигрыша баскам страна вовсе «не погружалась в траур», настолько все восхищались ими и как испанскими героями, и как спортсменами: такого футбола у нас прежде никогда не видели. А в-третьих, если уж всемогущий Ежов задумал погубить «Спартак», зачем было его **усиливать**? Причем гораздо более откровенно, нежели «Динамо», ко второму матчу с басками в Москве. Обе команды, кстати, так и именовались в этих двух матчах: «усиленное „Динамо”», «усиленный „Спартак”». Но московское «Динамо», помнится, усилили лишь **одноclubниками** из Ленинграда и Тбилиси, а «Спартак» после усиления представлял собой, в сущности, вариант сборной Союза. Знаменитые форварды киевского «Динамо» Шегодский и Шиловский, Малинин из ЦДКА и оттуда же еще более знаменитый в скором будущем левый крайний Федотов — неужто, выбежав в тот день на поле в футболках «Спартака», они тоже не играли, а боролись за жизнь?.. Нет, как и «природные» спартаковцы, они сыграли легко и вдохновенно (а Федотов во многом определил исход встречи). И последнее: не знаю, на что опирался Радзинский, но его версия полностью расходится с подробным описанием игры «Спартака» с басками в известной книге такого участника этого матча, как Андрей Старостин (см.: «Большой футбол». 3-е изд. М., 1964, стр. 169 — 179).

Задержался на футбольной теме в надежде, что интересна будет читателю оценка достоверности авторского рассказа о событиях шестидесятилетней давности свидетелем этих событий. Находишь в книге и другие пересечения с собственным опытом. О новом доме, построенном в начале 30-х годов «для высших партийцев», сказано: «Дом глядел на Кремль и на Москву-реку и получил название „Дома на набережной”». Такое название он получил в романе Ю. Трифонова, в «жизни» же его называли «Домом правительства». Но не в названии дело. В 1935 — 1937 годах я бывал там у знакомых ребят неоднократно, а несколько месяцев занимался в детской группе немецким языком (частным образом, с преподавательницей) на квартире то ли Семушкина (секретарь Орджоникидзе), то ли Беленького (тоже, кажется, чей-то известный секретарь). И никогда не замечал, что в этом доме «вооруженная охрана дежурит не только при входе в подъезд, но и на всех лестничных пролетах», как утверждает Радзинский. А вот что он пишет о процессе «троцкистско-зиновьевского центра»: «Итак, главные актеры были готовы сыграть пьесу. К ним присоединили еще нескольких знаменитых партийцев. Иван Смирнов — в партии с 1905 года, громил Колчака...» Автор явно не перечитывал судебного отчета: И. Н. Смирнов как раз оказался не готов «сыграть пьесу». С детства помню, что из всех обвиняемых на трех больших процессах 1936 — 1938 годов он был единственным, кого не удалось сломить почти до конца. «Несмотря на все усилия прокурора» Смирнов «на всем протяжении процесса отказывался вести себя так, как было угодно Вышинскому»; в последнем слове Смирнов, «как и на предварительном и судебном следствии, продолжал отрицать ответственность за преступления, совершенные троцкистско-зиновьевским центром после своего ареста»³ (Смирнов с 1 января 1933 года сидел в тюрьме). В рассказе о том же процессе, проходившем в Октябрьском зале Дома союзов, Радзинский упоминает, что «за спиной подсудимых» была дверь, а за ней «буфет, комнаты, где подсудимые отдыхали... и где Ягода и обвинитель Вышинский дружески обсуждали с ними течение процесса, корректировали и давали указания». Этих «дружеских обсуждений» просто быть не могло.

³ Роговин Вадим. 1937. М., 1966, стр. 40, 41 (В. Роговин цитирует судебный отчет в «Правде» за 24 августа 1936 года. — С. Л.).

Какова историографическая оснащенность автора, полагаю, уже понятно, о ней прежде всего пришлось говорить, ибо, по-моему, с ней просто почитательски сталкиваешься, где бы ни раскрыл книгу. Это тем более огорчительно, что в принципе я согласен с авторским отношением к Сталину, к родству политических фигур Ленина и Сталина. Но когда, например, автор пишет о восторженных впечатлениях Герберта Уэллса от его приезда в СССР и встречи со Сталиным в 1934 году: «Он подтвердил: Сталин — это Ленин сегодня», — невольно задумываешься не об описываемых событиях, а о том, почему Уэллс заговорил словами Барбюса. Или как не отвлечься от предмета, когда убеждаешься, что сам автор забывает о том, что он писал ранее. Так, повествуя о сталинском терроре, Радзинский почему-то дважды упоминает (и в сходном контексте) о расстреле Керженцева: «В 1936 году старый партиец Керженцев будет расстрелян. А Булгаков уцелеет», — и страниц через полтора с лишним: «В страшных 1937 — 1938 годах безостановочно гибнут один за другим преследователи Пастернака и Булгакова... Расстрелян и руководитель культуры в ЦК — старый большевик Керженцев». Чему же верить: в каком же году расстрелян Керженцев? Учтем вдобавок, что в 1937 — 1938 годах Керженцев был уже не «руководителем культуры в ЦК», а председателем Всесоюзного комитета по делам искусств при СНК СССР. Вопросы, возникающие в связи со всем этим у мало-мальски заинтересованного читателя, остаются без ответа, а главное, сведения о Керженцеве в авторитетных изданиях (СЭС и др.) дают годы его жизни — «1881 — 1940»⁴.

Сказанное относится не только к фактографии и авторским представлениям о фоновых деталях эпохи, но, к сожалению, и к стержневой проблематике книги. Стержнем повествования Радзинского является, естественно, биография Сталина — от горьковского детства до смертного часа на подмосковной Ближней даче, путь к власти, жизнь во власти, страна под его властью... Изложение — «писательское», вольными беллетристическими мазками. Автор, напомню, искал «*потайного Сталина*» — нашел ли?.. Мне, например, книга особенных «тайн» в Сталине не открыла. Но моменты «новизны» есть. Вот, пожалуй, один из важнейших.

Ленинское «Письмо к съезду» производит на автора впечатление «явной недоговоренности». Ленин-де «пишет о необъятной власти, оказавшейся у Сталина», опасается, что тот «не всегда сумеет „достаточно осторожно ею пользоваться“», но не предлагает Сталина «снять с поста» — «оказывается, надо лишь „увеличить число членов ЦК за счет рабочих“». Выходит, рабочие и должны обуздать властолюбие Сталина и партийных боссов? Неужели Ленин мог быть так наивен? Впрочем, продолжает Радзинский, после сталинской грубости с Крупской Ленин дописывает новый абзац, где уже «требует перемещения Сталина с поста Генсека». Однако, недоумевает автор, опять же «никакой рекомендации — кем заменить? Никакого имени? Но это же означает хаос! Не может Вожьд оставлять партию без точных указаний! Они должны были быть! Но где они?» Радзинский приводит также воспоминания М. И. Ульяновой о том, как Ленин, приехав в октябре 1923 года в Кремль, «прошел в свою квартиру, долго искал там какую-то вещь и не нашел. Ленин пришел от этого в сильнейшее раздражение, у него начались конвульсии». В итоге — вывод: «Скорее всего, дошедший до нас текст — лишь часть письма... Опытный конспиратор, Ленин специально оставил этот вариант в секретариате, догадываясь о ненадежности сотрудников. *Это был текст для Сталина*». А «иной, более полный текст» «Ленин мог хранить... в потайном месте — в своем кабинете в Кремле.

⁴ Уже закончив эти заметки, узнал, что на грубую ошибку в американском издании «Сталина» (Radzinsky E. Stalin. N. Y., 1996) в связи с тем, что Керженцев был не расстрелян, а умер своей смертью, отмеченной некрологом в «Правде», указывалось в кн.: Максименков в Л. Сумбур вместо музыки. М., 1997, стр. 289 — 290. При этом сам Максименков фатально называет разные даты смерти Керженцева, сперва: «в мае 1940 года» (стр. 289), а затем (цитируя «архив ЦК»): «Умер 2/6/1940 г. Некролог в „Правде“ за 3/6/40 г.» (стр. 290).

В этом тексте, возможно, и были предложения съезду... например, популярная идея о замене Генсека тройкой секретарей — Троцкий, Зиновьев и Сталин. Подобное предложение начисто уничтожало влияние Сталина». «Но и Генсек был опытным конспиратором. Он уже „проверил” кабинет Вождя... Из-за этого, судя по всему, и случились конвульсии у несчастного Ленина».

Тут все характерно. Вопреки утверждению Радзинского, не только «абзац» насчет «перемещения Сталина с поста Генсека», но и «опасение» по поводу оказавшейся у него «необъятной власти» высказано «после сталинской грубости с Крупской»: «грубость» имела место 22 декабря 1922 года, а первая часть «Письма к съезду» продиктована 23-го. Формулировка: «увеличить число членов ЦК за счет рабочих» — преподнесена Радзинским как цитата из ленинского «Письма к съезду», но там такой формулировки нет. Версия автора, что «дошедший до нас текст» «Письма...» Ленин специально продиктовал «для Сталина», а «иной, более полный текст», спрятав у себя на квартире, предназначал съезду, отдает фантастикой. Хотя бы потому, что в мае 1924 года, накануне XIII съезда, Крупская передала в ЦК именно «дошедший до нас текст», отметив в протоколе относительно «неопубликованных записей» с «личными характеристиками некоторых членов Центрального Комитета», что «Владимир Ильич выражал твердое желание, чтобы эта его запись после его смерти была доведена до сведения очередного партийного съезда». Легко представить, что кто-то из секретарей Ленина его обманывал (та же Фотиева). Непредставимо, чтобы он сам, или Крупская, или оба они вместе обманули партсъезд. Не говорю уже о том, что подлинное ленинское предложение заменить Сталина на месте генсека кем угодно, лишь бы был «более терпим, более лоялен» и т. п., на мой взгляд, несравненно действенней «уничтожало влияние Сталина», нежели идея замены последнего «тройкой секретарей» — Троцкий, Зиновьев, Сталин (в гипотетическом «полном тексте „Письма к съезду”»). Известно ведь из реальной истории, что сперва Сталин в союзе с Зиновьевым нанес поражение Троцкому, затем, нейтрализовав Троцкого, разгромил Зиновьева, а потом покончил с ними обоими. Но самое главное — это уверенность Радзинского, что Ленин не «мог быть так наивен», чтобы надеяться, что «рабочие и должны обуздать властолюбие Сталина и партийных боссов». Автор, кажется, просто не знает мировоззрения человека, о котором пишет. Наивен Ленин или нет, перед нами типичный для него в тот период ход мыслей. В марте 1922 года в письме Молотову перед постановкой на XI съезде «вопроса об условиях приема новых членов в партию» Ленин тревожится из-за того, что «наша партия теперь по большинству своего состава недостаточно пролетарская», сами «фабрично-заводские рабочие в России стали гораздо менее пролетарскими по составу, чем прежде», таким образом, «если не закрывать себе глаза на действительность, то надо признать, что в настоящее время пролетарская политика партии определяется не ее составом, а громадным безраздельным авторитетом того тончайшего слоя, который можно назвать старой партийной гвардией. Достаточно небольшой внутренней борьбы в этом слое, и авторитет его будет если не подорван, то, во всяком случае, ослаблен настолько, что решение будет уже зависеть не от него»⁵. Как видим, налицо увязка: чем меньше истинных пролетариев в составе партии, тем более опасна внутренняя борьба в руководящем слое. Подобная же логика в соответствующих разделах «Письма к съезду» (декабрь 1922 года). «Увеличение числа членов ЦК до 50, до 100 человек» с «привлечением» в ЦК «многих рабочих» должно способствовать «избежанию» раскола в партии, опасность которого заключается в основном в отношениях между «такими членами ЦК, как Сталин и Троцкий»⁶. В общем, никакой «кремлевской тайны», как именует Радзинский похищение Сталиным «полного текста „Письма к съезду”» из кремлевской квартиры Ленина, не су-

⁵ Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 45, стр. 19, 20.

⁶ Там же, стр. 345, 347, 344.

ществовало, перед нами не «явная недоговоренность» означенного документа, а явная авторская неосведомленность (очередной пример). Полсотни страниц спустя автор вновь возвращается к своей версии, на сей раз называя «полный текст „Письма к съезду”» «большим завещанием». «...Все-таки „поэтично” предположим: большое завещание *было*. Тогда обнаруживший его в ленинском кабинете Сталин чувствовал себя нашедшим карту сокровищ». Оказывается, «все они», и Каменев, и Сталин, «верили в путеводный компас в руках Боголенина», так что «если бы Ильич повелел в этом завещании идти к нэпу „всерьез и надолго”, Коба с той же энергией повел бы страну до конца этим путем». Но «радикал Ленин», конечно, «завещал иное», нэп для него «был не более чем ракетой, которая поднимает ввысь космический корабль и потом должна исчезнуть», поэтому, «может быть, на XVI съезде партии Сталин своими словами излагал экономический план из этого завещания: за десять лет революционным путем пройти столетие». Предположение не столь «поэтичное», сколь баснословное. Общеизвестно, что при Ленине члены Политбюро, ближайшие его сподвижники нередко с ним не соглашались, свободно могли спорить с ним по самым важным вопросам, внутренний сакральный трепет перед ленинскими указаниями (тем более — посмертными) был им безусловно не свойствен. Чему лучшее доказательство — то, как «все они» — и Сталин, и Каменев с Зиновьевым, и Троцкий — не моргнув глазом проигнорировали прямую ленинскую рекомендацию сместить Сталина с поста генсека. А уж Сталин-то из похищенного им ленинского «большого завещания» выполнил бы, несомненно, лишь то, что отвечало его личным целям. Так что «экономический план из этого завещания», который Сталин (по Радзинскому) «своими словами» излагал на XVI съезде, наверняка включал и политику ликвидации кулачества как класса. Любопытно бы, кстати, узнать у Радзинского, как вышеупомянутый «план», над которым нашедший его в 1922 году Сталин якобы затрясся, точно над «картой сокровищ», — как сей «план», по которому нам предстояло «за десять лет революционным путем пройти столетие», соотносится со знаменитой статьей «Лучше меньше, да лучше» (1923, март), где Ленин требует «проникнуться спасительным недоверием к скоропалительно быстрому движению вперед» и настойчиво подчеркивает, что для создания «действительно нового... социалистического, советского и т. п.» «госаппарата» «не надо жалеть времени и надо затратить много, много, много лет»?

Можно, конечно, и еще кое о чем спросить, к примеру: как мог Ленин так ошибаться в людях, зачем он прятал свое «Завещание» от столь преданного себе человека?.. Но лучше отметим: в тайном «большом завещании» содержится тайный же «экономический план». Радзинский любит тайны, соответствующие подглавки так у него и названы: «Кремлевская тайна» и «Тайна нэпа». О первой тайне выше шла речь, а в чем заключалась вторая? А в том, что «когда Ленин объявил нэп „всерьез и надолго”, это лишь означало: он хочет, чтобы так думали» (то есть на самом деле слова о том, что нэп «всерьез и надолго», как раз «всерьез» принимать не надо). Не зря Ленин «в секретной записке... предлагал наркому юстиции Курскому набросок дополнительных статей Уголовного кодекса, где было бы изложено „положение, мотивирующее суть и оправдание террора”. Ибо, вводя нэп, Ленин уже думал о будущей расправе, когда они откажутся от нэпа и возвратятся к Великой утопии». «Нэп для Ленина, — продолжает Радзинский, — лишь передышка, как Брестский мир... И когда Троцкий называл нэп „маневром” — это была правда. Но такую правду нельзя объявить партии», «поверившей в смерть Великой утопии», «ибо Ленин захотел получить средства от Запада. Капитализм должен был помочь большевикам, чтобы они потом его же уничтожили. Для этого необходимо, чтобы Запад поверил: с якобинством в России надолго и всерьез покончено — ведь пришел нэп!».

Что сказать? Не совсем ясно, почему «записку» Ленина Курскому от 17 мая 1922 года, принципиальная часть которой с требованием «открыто выставить положение, мотивирующее *суть* и *оправдание* террора, его необходи-

мость, его пределы»⁷, была напечатана еще в 1924 году, в зените нэпа, Радзинский именует «секретной». Совершенно непонятно, как торопливые ленинские «расстрельные» (впрочем, с «правом замены расстрела высылкой за границу») поправки к Уголовному кодексу, введенному в действие через две недели (1 июня 1922 года), связаны с отдаленной перспективой отказа от нэпа и «будущей расправы» над нэпманами. И — основное. Где и когда Ленин объявлял («чтобы Запад поверил»), что нэп означает «смерть Великой утопии» (социализма), что с наступлением нэпа «с якобинством (большевизмом. — С. Л.) в России надолго и всерьез покончено»? Нигде и никогда. Зато повсеместно и многократно во всеуслышание заявлял о нэпе прямо противоположное. Вплоть до своего последнего публичного выступления на пленуме Моссовета в ноябре 1922 года: «Мы сейчас отступаем, как бы отступаем назад, но мы это делаем, чтобы сначала отступить, а потом разбежаться и сильнее прыгнуть вперед. Только под одним этим условием мы отступили назад в проведении нашей новой экономической политики». Далее у Ленина встречаем, между прочим, и уподобление нэпа «маневру» (без ссылки на Троцкого). А заканчивает Ленин хрестоматийно: «Мы социализм протащили в повседневную жизнь и тут должны разобраться», «вот что составляет задачу нашей эпохи», «не завтра, а в несколько лет, все мы вместе решим эту задачу во что бы то ни стало, так что из России нэповской будет Россия социалистическая»⁸. Все это тогда же, в ноябре 1922 года, было напечатано в газете «Правда», которую могли прочитать и западные капиталисты, и российские большевики, из чего следует, что, вопреки Радзинскому, никакой «правды» ни от тех, ни от других Ленин не скрывал.

Тем не менее на версии о нэпе как «маневре», «правду» о котором надо скрыть от «партии», во многом строится концепция взлета Сталина к власти у Радзинского. Дескать, Ленин с развитием нэпа опасался растущего ропота в партии, выступлений «вечно мятежного Троцкого», открытого мятежа «старой гвардии», поэтому ввел новый пост Генерального секретаря и выдвинул на него Кобу, которому надлежало «усмирить» партию. Так это и именуется в книге: «ленинский план усмирения партии». Специально подчеркнута: «...не Коба, а Ленин задумал смену руководящих кадров. Вождь устал от старой гвардии, от этих вечно критикующих „блестящих сподвижников“, и поручает Генсеку Кобе готовить смену...» Нужно ли продолжать? Вспомним лишь, что в это же время, накануне XI съезда и избрания Сталина генсеком, Ленин писал Молотову о «громадном, безраздельном авторитете того тончайшего слоя, который можно назвать старой партийной гвардией», как его страшила возможность малейшего ослабления этого авторитета! И тот же Ленин поручает Кобе «усмирить» «старую гвардию»?

Еще несколько слов о том «новом», что открыла мне книга Радзинского, и лучше бы не открывала.

Сочувственно цитируется письмо некоего А. Колоскова, который утверждает, что накануне известного пленума ЦК 23 сентября 1923 года (разгневанный Троцкий ушел с пленума, в сердцах хлопнув дверью, а тяжелая дверь комически ему не подчинилась; Колосков почему-то считает этот эпизод «финалом Троцкого») «сторонники Троцкого предложили ему, тогда еще руководителю армии, арестовать Сталина, Зиновьева и других, как изменников делу революции. Разговор произошел вечером. Наступила ночь, но Троцкий не давал ответа. В это время в другом лагере уже все знали. Это была жуткая ночь. Сталин в углу сосал свою трубку и вдруг — исчез. Зиновьев в истерике требовал Сталина, его искали, но безуспешно... На рассвете Троцкий объявил сподвижникам: он отказывается». Затем автор письма излагает причины отказа, после чего вновь берет слово Радзинский: «Сталин появился утром — так

⁷ Цитирую Ленина точнее и полнее по смыслу, чем Радзинский (см.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45, стр. 190).

⁸ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45, стр. 302, 307, 309.

же внезапно, как и исчез». Думаю, все это — чистая мифология, во всяком случае — ночное раздумье Троцкого. Возможность военного переворота для него была заведомо исключена на всех стадиях борьбы. Даже на трех знаменитых открытых процессах 1936 — 1938 годов его в этом не обвиняли, хотя Бухарину не постеснялись «пришить» попытку убийства Ленина в 1918 году.

«Приход к власти Гитлера, — пишет Радзинский, — воспринимается как жесточайший просчет Хозяина. Он, управляющий Коминтерном как своей вотчиной, не дал немецким коммунистам объединиться с социал-демократами. И расколота левая коалиция проиграла Гитлеру. На самом деле⁹ приход Гитлера был ему необходим — для новой шахматной партии. Если бы Гитлера не было, его пришлось бы выдумать. Угроза интервенции наделила Сталина огромными правами, оправдывала любые чрезвычайные шаги, заставляла европейских радикалов поддерживать его несмотря ни на что. Ведь СССР — очаг сопротивления фашизму...» и т. д. Выходит, раскол коалицию с немецкими социал-демократами, Сталин намеренно привел Гитлера к власти, и это не было жесточайшим просчетом, а началом новой шахматной партии, разумеется победоносной. Стало быть, предусмотрела эта многоходовая шахматная комбинация и такие «ходы», как вторжение гитлеровских полчищ в Советский Союз, гибель миллионов, разорение страны, неисчислимые бедствия народа и, если угодно, отчаяние и страх самого Сталина даже и за собственную жизнь в первые месяцы войны. Не говорю уж о том, что ни в каком оправдании своих «чрезвычайных шагов» перед «европейскими радикалами» Сталин не нуждался — ни когда еще до Гитлера ликвидировал кулачество, ни когда заключал с тем же Гитлером пакт о дружбе.

Не менее парадоксально (и безответственно) выглядят авторские рассуждения по поводу уничтожения комсостава Красной Армии в 1937 — 1938 годах: «Массовое избиение ослабило армию — это главный общеизвестный довод». Радзинский оспаривает его, цитируя мнение маршала Конева: «Из уничтоженных командиров: Тухачевский, Егоров, Якир, Корк, Уборевич, Блюхер, Дыбенко... современными военачальниками можно считать только Тухачевского и Уборевича». Большинство остальных «были под стать Ворошилову и Буденному. Это герои гражданской войны, конармейцы, жившие прошлым... Если бы они все находились во главе армии, война (Великая Отечественная. — С. Л.) сложилась бы по-другому». И. С. Конев — тоже участник Гражданской войны (и подавления Кронштадтского мятежа), если сам он в Отечественную войну перестал, очевидно, «жить прошлым», не ясно, почему, допустим, его ровесник И. Э. Якир, не будь он в 1937 году расстрелян, не сумел бы этого же сделать? Только потому, что больше в Гражданскую войну прославился (три ордена Красного Знамени, командовал группами войск)? Но не будем полемизировать с маршалом, послушаем резюме Радзинского: «Да, Хозяин просчитал: репрессии ослабят армию сейчас... чтобы усилить потом! Кровавый метод быстрой смены кадров. В результате массового убийства командиров всех уровней к руководству пришли накануне войны новые люди — пусть пока неопытные, но куда более современно мыслящие и образованные, для которых гражданская война была всего лишь героическим мифом». К сведению Радзинского: «накануне войны» наркомом обороны СССР и начальником Генштаба РККА были участники Гражданской войны Тимошенко и Жуков, первыми командующими войсками трех «направлений» в начале Отечественной войны были знаменитые «конармейцы» Ворошилов, тот же Тимошенко и Буденный, для Василевского, Рокоссовского, Шапошникова, Мерецкова, Малиновского, Еременко, Говорова, Толбухина Гражданская война тоже являлась отнюдь не «всего лишь... мифом». Что же касается главного — идеи усиления армии благодаря «быстрой смене кадров» «в результате массового убийства командиров всех уровней», — то обсуждать ее всерьез не хочется. Приведем лишь свидетельство врага (одно из множества): «На совещании германского генералитета в январе 1941 г. Гит-

⁹ Здесь и далее разрядка в цитатах моя. — С. Л.

лер кратко дал понять, какие надежды породили у него эти убийства в стане потенциального противника: „У них нет хороших военных командиров”. Дальнейшие события полностью подтвердили его правоту¹⁰.

Впрочем, и сам Радзинский, забыв, что он говорил раньше, комментируя слова Сталина (из выступления перед выпускниками «Академии командиров Красной Армии» (?) 5 мая 1941 года) о произведенной «коренной перестройке армии и ее резком увеличении», пишет: «Хозяин не знал... что из его военных училищ, которые он лихорадочно открывал в те годы, выходят плохо обученные командиры». (А и кому же было их обучать, если к 1940 году из 3 командармов первого ранга было репрессировано 3, из 12 командармов второго ранга — 12, из 67 комкоров — 60, 70 процентов командиров дивизий и полков?¹¹) Выразительно также и упоминание о гневе Сталина в первые дни войны «на маршала Кулика, бездарного военного, который был взят им вместо репрессированных маршалов».

Вообще Радзинскому свойственно начинать с отвержения «общеизвестной», «общепринятой» точки зрения, а потом фактически подтверждать ее.

Сталин не поверил никому из предупреждавших его, что «Гитлер решил напасть», — и неожиданное нападение состоялось. «Его (Сталина. — С. Л.) первая шахматная партия на внешнеполитической арене закончилась крахом. Такова общепринятая версия». У Радзинского она «вызывает изумление». Чтобы «коварный Хозяин, восточный политик, первым правилом которого было не доверять никому», вдруг настолько доверился «старому врагу» и «лгуну» Гитлеру, «что не обращал ни малейшего внимания на постоянные предупреждения»? Это просто невозможно, у Сталина «не тот характер. И он доказал это всей своей жизнью. Тогда что же произошло?» — спрашивает Радзинский. И вместо ответа констатирует, что Сталин был вправе не верить ни Черчиллю (может, тот «решил втянуть в войну Америку мольбами, Россию — дезинформацией»), ни своему разведчику Зорге («как можно верить невозвращенцу?»). К тому же Сталин «вполне логично заключил»: Гитлер не может воевать одновременно с несколькими странами, чей суммарный потенциал превышает потенциал Германии, «не может броситься на Россию. Но Гитлер все-таки бросился. Почему?» — опять спрашивает Радзинский и на сей раз предлагает нам «забыть все общепринятые версии» и принять версию В. Резуна (Суворова), который, изучив этот вопрос, «понял: оказывается, доверчивый Сталин после заключения пакта бешено наращивал темпы вооружений и накануне войны разворачивал все новые и новые дивизии у самой границы — по всем правилам стратегии внезапного нападения». Иными словами, «сам Сталин собирался напасть на Гитлера». «Гитлер, конечно же, все это знал — разведка работала».

Тут позволительно вмешаться и информировать читателя, что в действительности узнал Гитлер от своей разведки. Вот что рассказал Гейдрих Шелленбергу в конце апреля 1941 года: «По мнению фюрера, мы можем сейчас напасть на Россию без всякого риска ввязаться в войну на два фронта. Но если мы не используем этот шанс, нам надо ожидать вторжения с Запада, причем к тому времени Россия уже так окрепнет, что мы не сможем себя защитить, если она на нас нападет». «Конфликт с Россией рано или поздно, но должен произойти. Поэтому лучше предотвратить опасность именно теперь, когда мы еще можем быть уверены в своих силах... По мнению генштаба, в то время как войска противника будут только готовиться к боевым действиям, наши войска уже будут их громить на их же территории»¹². Таким образом, абсолютно ясно, что ни германская разведка, ни «фюрер», ни генштаб отнюдь не считали, что «именно теперь», «сейчас», накануне планируемой Гитлером войны, Россия собирается напасть на

¹⁰ Хоскинг Джеффри. История Советского Союза. 1917 — 1991. М., 1994, стр. 200.

¹¹ Там же, стр. 199 — 200.

¹² Шелленберг Вальтер. Лабиринт. Мемуары гитлеровского разведчика. М., 1991, стр. 192.

Германию, такая возможность предусматривалась лишь для более или менее отдаленного будущего. Судя по знаменитому «Дневнику» генерала Гальдера (начальника штаба германских сухопутных войск), ни малейших следов готовящегося Сталиным нападения на Германию немцы не нашли и после перехода границы: каких-либо упоминаний на сей счет у Гальдера нет. Л. И. Лазарев, указавший мне на «Дневник» Гальдера как на свидетельство вздорности построений В. Резуна, видимо, прав, полагая, что оно лучшее и достаточное. Думаю, все же нелишне вспомнить, что и Черчилль, рассказывая о том, как 22 июня 1941 года «русские армии были в значительной степени застигнуты врасплох», специально подчеркнул: «Немцы не обнаружили никаких признаков наступательных приготовлений в передовой полосе, и русские войска прикрытия были быстро смяты»¹³.

Вернусь к Радзинскому. Вот что он пишет о Гитлере: «Зная, что Сталин не верит в немецкое нападение, он использовал его уверенность и решился на безумие». Тут, в сущности, уже все сказано. «Безумие» или не «безумие», но ясно, что Сталин не верил в немецкое нападение, поверив в подписи эмиссаров Гитлера на пактах о «ненападении» и «дружбе». Так что все получилось как раз по «общепринятой версии»: «коварный Хозяин, восточный политик», «великий шахматист» оказался столь «доверчив к старому врагу», «лгуну Гитлеру», что тот провел его поистине как мальчишку. Даже не важно, собственно, была ли «внутри» удавшегося Гитлеру «итогового» обмана попытка Сталина обмануть его самого. Но далее переход к «общепринятой версии» становится еще очевидней. «Хозяин», по Радзинскому, «по-прежнему» не верит в безумный шаг Гитлера. Он уверен: у него есть время, и он спокойно готовит свой поворот, свой «внезапный удар». «Но по мере приближения рокового дня (то есть 22 июня. — С. Л.), несмотря на уверенность, он начал нервничать — слишком много сводок о передвижениях немцев у границы». Затем Радзинский вполне серьезно приводит те самые «постоянные предупреждения», над которыми раньше иронизировал: 18 июня передали донесения агентуры из Германии о дислокации немецких истребителей и назначении будущих глав оккупированных советских областей — Сталин наложил резолюцию: «Можете послать ваш „источник” к ...», и т. д. А вот как описано состояние Сталина на исходе «безумного дня» 22 июня: «Он ненавидит всех за свою вину». Автор, значит, признаёт за Сталиным «вину», не замечая, что эту вину он уже отверг вместе с «общепринятой версией».

Те же приключения смысла — в освещении темы: Сталин в начале войны. «В первые дни войны, согласно стойкой легенде, Сталин, потрясенный гитлеровским нападением, совершенно растерялся, впал в протрацию, а затем попросту уехал из Кремля на Ближнюю дачу, где продолжал пребывать в совершенном бездействии». Радзинскому конечно же «все это показалось... очень странным», и конечно же потому, что не соответствует образу Сталина-большевика, из тех, кто в Гражданскую войну, «потеряв три четверти территории, смогли победить» (как предыдущая «общепринятая версия» не соответствовала образу «коварного хозяина, восточного политика»). И опять автор восклицает: «...что же произошло на самом деле?» Он-то, разумеется, знает ответ. На сей раз его просветил Я. Чадаев, тогдашний управделами Совнаркома, которому Сталин разрешил делать записи важных заседаний, проходивших в его кабинете. Прочтя в секретном архивном фонде «чадаевские воспоминания, я смог понять поведение Сталина», — пишет Радзинский. Но — знакомый случай! — воспоминания эти не развеивают «легенду», а подтверждают ее. «Затем Сталин начал говорить, говорил медленно, подыскивая слова, иногда голос прерывала спазма»; «Мельком видел Сталина в коридоре... Вид у него был усталый, утомленный. Его рябое лицо осунулось»; «...Сталин умолк, он выглядел бледным и расстроенным»; «По сообщению обслуживающего персонала дачи, Сталин был

¹³ Черчилль Уинстон. Вторая мировая война. Кн. вторая, т. 3-4. М., 1991, стр. 168.

жив, здоров. Но отключился от всех, никого не принимает, не подходит к телефонным аппаратам». Таковы свидетельства Чадаева о первых военных днях. Примечательно и то, что он записывает со слов Булганина, ездившего на Ближнюю дачу вместе с другими членами Политбюро звать Сталина вернуться к власти: «Всех нас поразил тогда вид Сталина. Он выглядел исхудавшим, осунувшимся... землистое лицо, покрытое оспинками... он был хмур». Правда, этот эпизод Радзинский (Чадаев тут уже ни при чем) расценивает то ли как «блестящий ход» Сталина в стиле его «учителя» Ивана Грозного, притворявшегося умирающим, чтобы проверить преданность своих бояр, то ли как спектакль — «Игра в отставку», разыгранный «великим актером». Но в июне 1941 года, когда немецкий танковый вал катился в глубь страны со скоростью 50 — 60 километров в день, вождю народов, чтобы разыгрывать такие игры — сутками не подходить к телефонам и т. п., — надо было быть не столько великим актером, сколько прежде всего большим паникером. Кстати, и «учитель» его личным мужеством не отличался, недаром Курбский звал Ивана Грозного «хоронякой».

Выводу Радзинского: «Нет, этот железный человек не повел себя как нервная барышня» — противоречат не только чадаевские записки, на которые сам же Радзинский опирается. Если на Ближней даче Сталин лишь разыгрывал своих «бояр», чтобы «в очередной раз они сами умолили его быть Вождем» и «как бы вновь» облекли его властью, то 3 июля, когда «облеченный новой властью Сталин выступил по радио с долгожданным обращением к народу», в его голосе должен был зазвучать металл. Но (я слышал это выступление) не было в голосе металла и не железный человек был перед нами: сдавленные рыдания (или «спазмы», как выразился Чадаев) в начале речи, какой-то непонятный топот ног, бульканье воды помнятся до сих пор.

Приведу последний пример раскрытия сталинских тайн. Рассказ «старого железнодорожника», услышанный в 1972 году, фотокопия документа из Национального архива США, увиденная в неназванном номере «Комсомолки», отсутствие записей о приеме в соответствующие дни в Журнале регистрации посетителей Сталина приводят Радзинского к заключению: 18 октября 1939 года Сталин и Гитлер встретились во Львове. «Неужели действительно эта встреча была? — риторически вопрошает Радзинский. — Тайная встреча века! Как ее можно написать! Они сидели друг против друга — Вожди, земные боги, столь похожие и столь различные. Клялись в вечной дружбе, делили мир, и каждый думал, как он обманет другого... Видим о, на встрече Хозяин еще раз понял, как нужен Гитлеру». Легко заметить, что предположительное «видимо» относится лишь к тому, что именно понял Хозяин «на встрече», сама же она из чистого вымысла уже превратилась для читателя в несомненный факт.

Пора подводить черту. Солженицын дал своей великой книге «Архипелаг ГУЛАГ» подзаголовок: «Опыт художественного исследования». Надеюсь, сказанное выше убедило читателя, что от книги Радзинского **исследования, анализа** ждать не приходится. Настоящего **художества** в ней тоже нет. Кстати, «встреча» Сталина с Гитлером это как раз доказывает. Как-никак ее сочинил известный драматург, вот и вымыслил бы что-нибудь оригинальное, художественное. Но нет: одни штампы — и образные («Вожди, земные боги»), и сюжетные («каждый думал, как он обманет другого»). Между прочим, сталинский посланец Молотов, встречавшийся с Гитлером в Берлине в 1940 году, вовсе его не обманывал. Наскучивает тяга Радзинского к детективу — неутомимое разгадывание мнимых тайн. Бесконечно повторение одних и тех же словесных формул, иронизирующих над обожествлением большевистских вождей («Боголенин», «Богосталин»), подчеркивающих дальний прицел сталинской мстительности: «Но Хозяин решил их не трогать. Пока»; «Однако Хозяин и их не тронул. Пока». В более общем плане о дальновидности Сталина, его способности обмануть любого противника постоянно твердит шахматная («великий шахматист») и театральная («великий актер») метафорика; первая нам уже знакома, а вторая выражается почему-то в том, что Сталин то и дело

играет роль «добротного Отелло» (или просто Отелло). Все это (плюс монументальные эпиграфы из Апокалипсиса и Платона) придает некое метафизическое измерение фигуре героя, эстетизируя и демонизируя ее. Патетические ходы зловещего величия мешают читателю разглядеть ее в натуральную величину и лишний раз заставляют пожалеть об отсутствии в книге трезвого анализа феномена Сталина (причин его возникновения и живучести). Конечно, никто не требует всеобъясняющих концепций, каковые и невозможны. Но от автора современной книги о Сталине читатель вправе ждать нетривиального осмысления вопроса, каким образом сын безвестного горийского пьяницы сапожника стал тем, кем он стал в истории России. Однако из предыдущего изложения читателю известно, что такого осмысления в книге нет, и скорей всего понятно почему. Вспомним хотя бы, как Радзинского удивило ленинское предложение в «завещании» увеличить число членов ЦК за счет рабочих. Совершенно очевидно: о том, что Ленин весьма серьезно относился к идее диктатуры пролетариата, автор не слышал. Другой вопрос, что на деле представляла собой эта диктатура, была ли советская власть действительно рабочей властью, как полагал Ленин, и т. д. и т. п., вплоть до того, правомерно ли в типе пролетария видеть венец человеческого развития. Радзинскому бы задуматься над подобными проблемами, но удивление толкнуло его в сторону приключенческих жанров (поисков «большого завещания» и т. д.). Пример из тех, что наглядно демонстрируют, какого рода книгу мы читаем.

Необходимые оговорки. Когда Радзинский пишет о большевистских вождах, мечтавших в Смольном, куда они переселились после Октября, о скорой отмене денег и государства: «Так они мечтали, чтобы в результате прийти к созданию самого чудовищного государства всех времен», — я с этим согласен. Согласен не просто с оценкой — она не остается голословной. В книге много говорится и о «красном терроре» при Ленине, и о глобальном терроре при Сталине, о комбедах, продотрядах, подавлении Тамбовского восстания с помощью «боевого хлора» на заре советской власти и о ликвидации кулачества как класса уже в пору единоличной сталинской диктатуры, о невиданном голоде начала 30-х годов на Украине, в Поволжье, Казахстане, на Кавказе, когда «миллионы умирали, а страна пела, славилась коллективизацию. И ни строчки о голоде — ни в газетах, ни в книгах сталинских писателей». Тут уже речь заходит и о терроре идеологическом, и это тоже — сквозная тема книги, начиная с закрытия большевиками всех оппозиционных газет сразу после Октября и посылки «рабочих отрядов» громить их типографии и кончая «идеологическими погромами» на закате сталинской эры: постановление ЦК «О журналах „Звезда” и „Ленинград”», борьба с «безродными космополитами»... Книга по крайней мере напоминает о том, что все это — и террор, и голод — было, и в этом ее неоспоримое достоинство. Ведь у нас последнее время все уверенней раздаются заявления типа: «А в нашем районе никакого террора не было» — и осуществляются акции, подобные отказу думцев почтить вставанием память жертв сталинских репрессий. Но упомянутое достоинство — едва ли не единственное и относится к авторским характеристикам самого общего плана. Стоит, однако, автору конкретизировать наблюдения или попытаться выявить причинно-следственную связь между явлениями (перейти от констатации к интерпретации), как рождается та смесь разнокалиберных фактических огрехов с фантастическими домыслами, образчики которой приводились выше.

В нашем микрорайоне книгой Эдв. Радзинского «Сталин» торговали на одном лотке с детективами, преимущественно А. Марининой. Недавно известный социолог Б. Дубин отметил вклад этой писательницы в культуру: соединила детектив с «дамским романом». Но книгу Радзинского покупали значительно охотней, и скоро она с лотка исчезла. Думаю, для поклонников А. Марининой прочитать вместо очередного ее романа книгу Радзинского про Сталина, может, даже и полезно. Что касается любителей иного круга чтения, выскажу собственное мнение. Чем внимательней вчитываешься в эту книгу, тем больше убеждаешься, что она не выдерживает такого внимания: искаже-

ние и фантазирование обнаруживается чуть ли не на каждой странице. Повествование, допустим, доходит до возвращения Ленина из эмиграции в 1917 году. «Коба верно оценил, что значит прибытие якобинского Вождя, снаряженного немецким золотом, которого ждет в России закаленная в подполье организация. При всеобщей разрухе и армии, не желавшей воевать, Коба чувствует, за кем будущее. Вот почему он так осторожен в Совете: со второй половины марта он уже ждет нового хозяина». Но общеизвестно, что именно в конце марта — начале апреля Сталин оценил политическую ситуацию как раз «неверно», **вопреки** Ленину: стоял за условную поддержку Временного правительства и за объединение с меньшевиками. Смехотворен в данном контексте и мотив «немецкого золота», на предыдущей странице автор прямо утверждает: Коба «знал: Ленин вернется в Россию с большими деньгами». Интересно, откуда автор знает, что Сталин это «знал»? И почему он решил, что «немецкое золото» тоже могло переманить Кобу на сторону «якобинского Вождя»? Двумя страницами ниже читаем: «3 апреля Ленин выступил перед аудиторией с „Апрельскими тезисами“». Выступление произвело впечатление взрыва... Он (Коба. — С. Л.) тотчас изменил свои взгляды». Если уже в середине марта ждал «нового хозяина», то какое может быть «тотчас» в начале апреля? А главное: на самом деле «тотчас» (6 апреля) Сталин объявил, что он **против** «Апрельских тезисов»: «Схема, но нет фактов, а поэтому не удовлетворяет». Кстати, Ленин выступил с «Апрельскими тезисами» перед аудиторией не 3-го, а 4 апреля. А «очередная конференция большевиков» началась не 29 апреля (как пишет Радзинский на той же странице), а 24-го, 29-го она закончилась. Только тогда, на конференции, Сталин (в отличие от Каменева) и поддержал Ленина по всем вопросам. Как видим, заявления автора о том, что «со второй половины марта» Коба уже ждал «нового хозяина», что, впервые услышав «Апрельские тезисы», «он тотчас изменил свои взгляды», не соответствуют истине. Рассказ о реальном историческом лице оборачивается явным вымыслом. Пусть это относится к малому отрезку сталинской биографии, другие отрезки, как правило, выглядят не лучше.

Вновь вспоминается авторское предуведомление: «Об этой книге я думал всю свою жизнь». К сожалению, следов пытливого работы мысли как раз не заметно в книге. Гораздо заметней следы желания скорей выдать на-гора бестселлер... Конечно, чем разбираться в корнях и следствиях, анализировать противоречивый процесс возникновения сталинского криминального тоталитаризма из ленинского «идейного» и т. д., быстрее и легче слепить мифологизированно-беллетризованный образ «Богосталина» (порождение «Боголенина»), всегда все верно оценивавшего и делавшего в своих «длинных шахматных партиях» только «удачные ходы».

При этом мера безответственности Эдв. Радзинского порой поистине изумляет. Добро бы пугался лишь в «чужой» ему историографии. Нет, он пишет: «Сталин читал Достоевского и, конечно, помнил знаменитый вопрос, который задал писатель устами своего героя Алеши Карамазова: „Если для возведения здания счастливого человечества необходимо замучить лишь ребенка, согласишься ли ты на слезе его построить это здание?“»

Не знаю, помнил ли Сталин, но писатель Радзинский должен бы помнить, что писатель Достоевский задал этот знаменитый вопрос устами Ивана Карамазова. Как же надо было читать «Братьев Карамазовых», чтобы спутать Алешу с Иваном?¹⁴

¹⁴ Добавим, что знаменитая цитата приведена Э. Радзинским весьма неточно. Но, делая это замечание, редакция рискует обратить на себя евангельский укор: «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревно в твоём глазе не чувствуешь?» (Лк. 6: 41). Увы, в № 6 нашего журнала за текущий год в одной из рецензий Смердяков назван персонажем романа «Бесы»! Пользуясь случаем, приносим свои извинения предполагаемому четвертому брату Карамазовых и читателям «Нового мира». (Примеч. ред.)

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

АЛЛА МАРЧЕНКО

*

«С НЕЙ УХОДИЛ Я В МОРЕ...»

Анна Ахматова и Александр Блок: опыт расследования

У поэтов нет секретов,
А воздержанных поэтов
Не найти и днем с огнем;
То, чего не скажем прозой, —
То само собой «под розой»
Мы — друзьям своим — сболтнем.
Где ты жил и где ты вырос,
Что ты выстрадал и вынес,
Им — забава и досуг;
Откровенья и намеки,
Совершенства и пороки —
Только в песнях сходят с рук.

*Гёте, «Благожелателям»
(перевод Олега Чухонцева).*

Часть первая

ПОСЛЕДНЯЯ ХЕРСОНИДКА

Вряд ли б рискнула я втиснуться в истоптанный этот сюжет, если бы Б. Носик, автор «бестселлера»-97 «Анна и Амедео» (история тайной любви Ахматовой и Модильяни), как само собой разумеющееся не обронил провоцирующее сообщение: дескать, «сам сероглазый король Блок тайно вздыхал по юной поэтессе» — и таким манером не выпустил джинна из бутылки. Замершие было толки, кто по ком вздыхал, возобновились. Особенно пылко в радиоверсиях. Все, на что интеллигентно намекалось и в документальной повести Э. Герштейн «Лишняя любовь», и в диалогах И. Бродского с С. Волковым («Вспоминая Ахматову»), и в исследовании В. А. Черных «Переписка Блока с А. А. Ахматовой», пошло в ход и на продажу, как и следовало ожидать, в версии «vulgar». Это как же прикажете понимать? П. Лукницкого¹, Л. К. Чуковскую и всех прочих «эккерманов» уверяет, что ничего похожего на роман у нее с Блоком не было («АА категорически опровергает всякие сплетни о ее романе с Блоком. Такого романа никогда не было» — ПНЛ, т. 1, стр. 50), а сама под страшным секретом признается Эмме Герштейн, что в его присутствии «дрожала, как арабский конь»²? Впрочем, перед этим уравнением со сплошными не-

¹ Записи Лукницкого цитируются по изд.: Лукницкий П. Н. Ахматова. Встречи с Анной Ахматовой. Т. 1, 1924 — 1925 гг. Paris, «УМСА-press», 1991; т. 2, 1926 — 1927 гг. Париж — Москва, «УМСА-press» — «Русский путь», 1997. В дальнейшем: ПНЛ (с указанием тома и страницы).

² «На досуге мы много болтали, Анна Андреевна вспоминала 10-е годы. Рассказывала о своих увлечениях, показывала какие-то фотографии... Я все тут же забываю, потому что не понимаю ни типа мужской красоты того времени, ни тогдашнего характера любовных отношений. 10-е годы для меня „отдаленней, чем Пушкин“. Но один из ее рассказов врезался в память. Она возвращалась с Гумилевым в Царское Село. На вокзале в Петербурге им встре-

известными, наверное, отступила бы и я, поскольку все, что можно было извлечь из внутритекстовых показаний и корректных психологических соображений, к моменту выхода книги Носика было уже извлечено и заприходовано, запущено в литературный оборот. Но тут подоспели долгожданные «Записные книжки» самой Ахматовой³. Никаких сенсаций по интересующему нас вопросу они конечно же не принесли, однако кое-какие подробности, до сих пор либо неизвестные, либо известные в другом контексте, в этих тетрадах, на мой взгляд, все же наличествуют. Я имею в виду прежде всего следующий мемуарный фрагмент⁴, который прежде цитировался не полностью:

«А не было ли в „Русской мысли” 1914 года стихов Блока. Что-то вроде:

О... парус вдали
Идет... от вечери
Нет в сердце крови
..... стеклярус
..... на шали
С ней уходил я в море,
С ней забывал я берег.

(Итальянские стихи.)

Но я услышала:

Бухты изрезали,
Все паруса убежали в море.

Это было уже в Слепневе (1914) в моей комнате. И это значило, что я простилась с моей херсонесской юностью, с „дикой девочкой” начала века и почуяла железный шаг войны. Так пришла ко мне поэма „У самого моря”. В Слепневе я сразу сочинила 150 стихов, остальное дописала осенью в Царском Селе. Гумилев очень любил мою поэму и просил, чтобы я посвятила ее — ему. 1914 теперешние критики считают годом моего триумфа из-за „Четок” (март). Как хорошо, что я никакого триумфа не заметила, зато заметила и запомнила на всю жизнь все, о чем я сейчас написала, прочтя короткую запись в „Записных книжках” Блока» (ЗКА, стр. 743).

Прежде чем пытаться прочитать это зашифрованное сообщение, введем в него тексты, которые Ахматова в 1965 — 1966 годах по причине их общеизвестности не посчитала нужным цитировать.

«1911. 20 октября. С Любой... к Городецким... Безалаберный и милый вечер... Молодежь. Анна Ахматова. Разговор с Н. С. Гумилевым и его хорошие стихи о том, как сердце стало китайской куклой... *Было весело и просто. С молодыми добреешь.*

1911. 7 ноября. В первом часу мы пришли с Любой к Вячеславу. Там уже — собрание большое... А. Ахматова *читала стихи, уже волнуя меня; стихи чем дальше, тем лучше.*

1914. 9 июля. Мы с мамой ездили осматривать санаторию на Подсолнечной. — *Меня бес дразнит. — Анна Ахматова в почтовом поезде (курсив в цитатах здесь и далее мой. — А. М.)».*

То, что ритмический рисунок (распев) морской поэмы подсказан мелькнувшими в «Русской мысли» итальянскими стихами Блока, общеизвестно, это отмечают и комментаторы, и собеседники Ахматовой последних лет; не так

тился „некто” (Анна Андреевна всегда говорила таинственно), завел разговор с „Колей”, „а я дрожала, как арабский конь”... Через тридцать лет узнаю: „некто”, заставивший так вздрогнуть Ахматову, был Александр Блок» (Герштейн Э. Лишняя любовь. — «Новый мир», 1993, № 11, стр. 173).

³ «Записные книжки Анны Ахматовой» (1958 — 1966). Москва — Torino, 1996. В дальнейшем: ЗКА.

⁴ Напомним: это фрагмент из особой, трижды памятной, последней Записной Книжки — той, что была подарена И. Берлином в Лондоне в сентябре 1965-го по февраль 1966 года и осталась до конца не заполненной. Следовательно, у нас есть основание считать приведенный ниже вариант выражающим последнюю авторскую волю.

известно, что ранее, в 1927 году, она говорила П. Лукницкому другое: на ритм «У самого моря» повлияли ритмы пушкинских «Песен западных славян»⁵. Однако нам для нашего сюжета нужны подробности — на подробностях и сосредоточимся.

Цитируемый Ахматовой цикл и в самом деле опубликован в 5-й за 1914 год книжке «Русской мысли». А вот вопрос, «наискосок» вставленный в это сообщение, — «не было ли» — вызывает сомнение. Уже по одному тому вызывает, что летне-весенние номера журнала Ахматова просматривала нельзя прилежней. У «Русской мысли» была совершенно определенная репутация: здесь создавали и ниспровергали имена и приоритеты. Даже Блок с особым интересом следил за тем, что в «Русской мысли» о нем писали. Кроме того, «Русская мысль» регулярно печатала список книг, присланных авторами в редакцию. Ахматова поступила как все: экземпляр «Четок» (в марте 1914-го) был отправлен туда сразу по выходе книги и вскорости, в апрельском номере, объявлен. Однако следить за «Русской мыслью» Анна Андреевна не перестала, ибо с нетерпением ждала критического отклика, то есть появления статьи Н. В. Недоброво, которую тот сдал в «Русскую мысль» уже в апреле. Напечатание, правда, было задержано непредвиденными событиями — преимуществом, даваемым материалам, связанным с войной. Статья Недоброво, столь ценимая А. А. и конечно же известная ей в рукописи, была опубликована лишь в 1915-м (№ 7). Трудно поверить и в то, что Анна Андреевна, при ее-то феноменальной памяти («Нет, я не забываю. Как это можно забыть? Мне просто страшно что-нибудь забыть. Какой-то (мистический?) страх... Я все помню» — ПНЛ, т. 1, стр. 19), «позабыла» стихи Блока, особенно свою любимую «Венецию», открывавшую в 5-й книжке «Русской мысли» итальянский цикл, до такой степени забыть, чтобы якобы за п а м я т о в а т ь — опустить под точки-тире — самые важные строки: «О красный парус в зеленой дали! Черный стеклярус на темной шали!»

Не самый наблюдательный читатель и тот сообразит, что на лирической героине «венецийского» этюда знакомая по знаменитому мадригалу ложноиспанская шаль: черный стеклярус на темной шали. А парус? ну чем не испанский гребень в зеленокудрой дали? Он того же ярко-красного цвета, что и розан на ее, Ахматовой, испанизированном и стилизованном портрете: красный парус в зеленой дали — красный розан в волосах; шаль испанскую на плечи — черный стеклярус на темной шали. Слегка слукавила А. А., заслонившись, как веером, общими словами, в ЗКА объясняя — нам, читателям в потомстве, — причину своего неожиданного, в разгар войны, возвращения в херсонесское детство: «М. Б., Вы знаете, что я *последняя херсонидка*, т. е. росла у стен древнего Херсонеса (т. е. с 7-ми до 13 лет проводила там каждое лето)». С этой первой своей жизнью Анна Ахматова только что и весьма эффектно простила сь в стихотворении «Вижу выцветший флаг над таможей...». Нет (в тексте поэмы) и следов *железного шага войны*, не считать же за таковые французские пули, которые «дикая девочка» собирает в подол пестро-желтого платья? Однако появление именно этой фразы — *железный шаг войны* — и именно в данном контексте: Блок и поэма «У самого моря» — по моему предположению, ничуть не случайно, а, напротив, исполнено особого, из тех, что поймут только двое, смысла. Но об этом в своем месте, а пока выявим еще несколько подобных — то есть сознательно выделенных способом умолчания (манера поздней Ахматовой) и тем самым приглашающих читателя к расследованию — моментов. Ежели Гумилеву нравилась поэма и он просил посвятить «У самого моря» ему, почему она этого не сделала? Хотя неоднократно в разговорах с Лукницким утверждала, без вариантов, что сероглазый мальчик — это Николай Степанович, *Коля* периода его затянувшегося сватов-

⁵ «Любит очень „Песни западных славян“. Самая любимая из них — „Похоронная песня“. Очень хорошо и — „Янко Марнавич“. Ритмы этих песен повлияли на ритм „У самого моря“» (ПНЛ, т. 2, стр. 343).

ства и частых наездов на предмет выяснения отношений к самому морю и что поэма — «история любви НС ко мне».

Не менее определенно разъяснила Анна Андреевна и Лукницкому, и не только ему, что царевичем — тем, кто *правил самой веселой крылатой яхтой*, напропорчила себе заморского принца, «аглицкого гостя», то бишь Бориса Анрепа, которому, как известно, адресовано большинство стихотворений сборника «Белая стая» («„Царевичем” поэмы „У самого моря” АА предсказала себе настоящего „царевича”, который явился потом» — ПНЛ, т. 1, стр. 42). Ахматова познакомилась с Анрепом в 1915 году, уже после публикации поэмы в журнале «Аполлон», эти два события почти совпали, что, при ее склонности видеть в *странных сближениях* знаки судьбы, и было, видимо, истолковано соответствующим образом. Совпадение образовало род магического кристалла, в котором она *еще неясно, но различала* план нового литературного романа. Бедный Анреп ничего не понимал, не умея угадать своей роли в сказке о черном кольце — с участием «бабушки татарки». Его простоватая мужская статья выгодно смотрелась на фоне слишком уж изысканной, кружевной и фиалковой, красоты Николая Недоброво, но на то, чтобы стать воплощением вечно мужественного, никак не тянула. Но Анна Андреевна, зажурившись, продолжала принимать этого *доброе малое* за обещанного ей, «мертвой царевне», королевича Елисея!

При таких колдовских, хорошо срежиссированных под «небесное знамение» обстоятельствах можно было ожидать, что предсказавшая явление заморского гостя поэма будет при отдельном издании посвящена ему; однако и Борис Васильевич Анреп не удостоился этой чести. Поскольку в процитированном фрагменте история создания «У самого моря» непосредственным образом, по последнему ахматовскому «завещанию», связана морским узлом с упоминаниями в записной книжке Блока, естественно сделать, в порядке гипотетическом, предположение: а что, если именно эти, таинственные и утаенные, отношения между морской поэмой и Блоком и не позволили Ахматовой подарить поэму тем, с кого были «списаны» ее герои? Нет, о прямом, открыто-белодневном посвящении и речи быть не может, тут иное, более тонкое, распределение духа и знаков! С утаенным, лишь Anne Андреевне и Александру Александровичу понятным оттенком их отношений, по-видимому, «зарифмован» и вот какой факт. А. Найман в «Рассказах об Anne Ахматовой» свидетельствует, что Анна Андреевна подарила ему аполлоновский оттиск поэмы «У самого моря» 23 апреля 1965 года. Дату Найман запомнил, а вот смысла ее не разгадал. Между тем подарок сделан через пятьдесят лет после того, как точно такой же экземпляр был отправлен Блоку. Феноменальная память Ахматовой ошиблась с незабвенным юбилеем — «опять подошли незабвенные даты» — всего на четыре дня! Дарственная Блоку, как выяснили архивисты, помечена 27 апреля 1915 года.

Но вот, скажет скептически настроенный читатель, здесь-то и разгадка всей шарады. На этот-то подарок Блок, мол, и ответил достаточно лестным для Ахматовой письмом: «Поэма — настоящая и Вы — настоящая». Письмо и впрямь содержит несколько приятных для начинающего и не уверенного в себе юного автора ободряющих эпитетов, но написано-то оно не в 1911-м, когда Горенко-Гумилева распечатывала «Вечер», а весной 1916-го, когда имя Анна Ахматова гремело по всей России! Ненамеренную бестактность Анна Андреевна могла бы, наверное, и простить Блоку. Труднее было извинить то, что дорогой, с о з н а ч е н и е м, подарок пролежал непрочитанным на письменном столе педантичного и крайне аккуратного в отношениях со своими корреспондентами Александра Александровича без двух недель год! Это граничило с оскорблением, а значит, зачеркивало и обесценивало комплименты. Во всяком случае, уходя из гумилевского дома (в 1916 году), Ахматова писем Блока с собой не взяла и опоздавшую на много лет и еще на год поощрительную рецензию ни в рассматриваемом фрагменте не назвала, ни в доверительно-обстоятельных беседах с Лукницким как бы и не вспоминала. А глав-

ное, больше никогда не дарила Блоку своих книг. А кто бы на ее месте поступил иначе? «Четки» не читая переправил на женскую половину — матушке и тетушке; «У самого моря» прочитал лишь год спустя... И несмотря на все вышеизложенное, и через полвека таинственная связь не утрачена: стихи Блока в «Русской мысли» — Блок — две вокзальные нечаянные встречи: накануне и сразу же после начала войны — Слепнево — морская поэма — заметы в блоковской «Записной книжке», а в результате, в комплексе, не что, что запомнилось на всю жизнь, а в пределах последнего срока оказалось важнее, чем триумф «Четок». Короче, в то время как и читатели и биографы, как прежние, так и нынешние, вычитывают именно в «Четках», а отчасти и в позднейших добавлениях к «Вечеру» ситуации и психологические детали созданного Анной Ахматовой «романа» с Блоком, сама Ахматова, наперекор интерпретаторской стихии, переводит наше внимание с триумфальных «Четок» на практически незамеченную первую свою поэму, к Блоку отношения вроде как и не имеющую. Но, может быть, если копнуть глубже — в поэме «У самого моря» или около нее, в ее ближайших окрестностях, и фактических, и психологических, — есть и еще что-то? Но что?

В рецензии на монографию Н. Котляревского о Лермонтове Блок писал: «Когда роют клад, прежде разбирают смысл *шифра*, который укажет место клада, потом „семь раз отмеривают” — и уж зато раз навсегда безошибочно „отрезают” кусок земли, в которой покоится клад. Лермонтовский клад стоит упорных трудов». Переадресуя это высказывание Ахматовой, можно, наверное, сказать, что и в ее случае, прежде чем рыться в завещанной нам «укладке», следует попытаться разобрать *смысл шифра*. По моему предположению, ключ к шифру надо искать в сплетении обстоятельств, спровоцировавших Анну Андреевну на второе возвращение в языческое детство. Забегая вперед, скажу, что главным в цепи этих обстоятельств, на мой взгляд, является тот диалог, что произошел между Анной Ахматовой и Александром Блоком в день их первого и последнего тет-а-тет — 15 декабря 1913 года. Однако прежде обратимся к истории херсонесской поэмы.

Перечисляя крымские свои адреса, Ахматова чаще всего называет ближайшие окрестности Севастополя: Стрелецкая бухта, дача Шмидта, — то есть места, куда в те годы перемещался на лето севастопольский бомонд. Дачи здесь были дорогие. Семье Андрея Антоновича Горенко нанимать что-нибудь подешевле было не по чину и не по положению. Как-никак, а был он в ту пору морским чиновником очень высокого ранга — членом Государственного Совета по управлению торговым мореходством, и некоторое время в его веденье находились все южные порты России. Особенно популярной среди людей с *положением* эта часть севастопольской дачной окраины стала после того, как было построено Владимирский собор, заложенный еще в начале 60-х на месте крещения князя Владимира.

Но есть ли у нас доказательства, что кроме неоднократно упоминаемых престижных загородных адресов в ее биографии имелись и другие? Есть! Во-первых, все вышеуказанные местожительства были летом, меж тем как в поэме «У самого моря» описывается и поздняя осень («Дули с востока сухие ветры, / Падали с неба крупные звезды»), когда, по окончании дачно-виноградного сезона, в Крыму начиналась зимне-осенняя рыболовецкая страда. За осенью в поэме следует зима, причем зимнее бытование героини изображается с подробностями, придумать которые или записать с чужих слов невозможно: «Осень сменилась зимой дождливой, / В комнате белой от окон дуло, / И плющ мотался по стенке сада. / Приходили на двор чужие собаки, / Под окошком моим до рассвета выли». Явно с натуры написана и приморская весна: «Вдруг подобрело темное море, / Ласточки в гнезда свои вернулись, / И сделалась красной земля от маков...» Наблюдать ряд мгновенных изменений в окрестностях Севастополя Ахматова могла два раза в жизни: в 1897-м, восьми лет, до гимназии, когда ее отослали к севастопольским тетушкам (их там было

несколько, в том числе и двоюродная, *греческая*⁶). Если эти женщины и снимали дачные помещения, то наверняка не у Стрелецкой бухты, а подальше, в Балаклаве или под Балаклавой⁷, что было дешево и удобно: в Балаклаву из Севастополя регулярно ходил мальпост (цена проезда, 50 коп., — десять чашечек турецкого кофе в рыбацких тавернах этого городка). Второй раз, и тоже почти целый год, Аня Горенко прожила в Севастополе, городе, где родился и вырос ее отец, уже после гимназии, снимая комнату на Екатерининской улице. Сюда к ней и приезжал Гумилев. Естественно, что и в это время никаких семейных, снимаемых на полное лето, дач не было, но были, и наверняка, многодневные вылазки за город — в ту же Балаклаву, к примеру. След от одной такой поездки остался в первой ЗКА (стр. 15):

Улыбнулся, вставши на пороге,
Умерло мерцание свечи,
Сквозь него я вижу пыль дороги
И косые лунные лучи...

<10-ые годы (или раньше), Балаклава>

Балаклава не могла не вытягивать Ахматову из гражданского, с сильным имперским акцентом Севастополя, ведь она была убеждена, что род ее по отцу восходит к грекам — морским разбойникам⁸, в незапамятные времена поселившимся в благословенной Тавриде. К началу XX века это был последний «оригинальнейший уголок пестрой русской империи», населенный «исконным древнегреческим населением». Здесь, и только здесь, как пишет Куприн в очерке «Листригоны» (1911), у каменных древних колодцев еще можно было встретить «худых, темнолицых, длинноносых гречанок, так странно и трогательно похожих на изображение Богородицы на старинных византийских иконах». Балаклава, как и вольные друзья «дикой девочки», жила рыбой, «листригоны» кормили дарами моря всю округу; в октябре, к началу Большого лова, сюда первыми приезжали и скупщики рыбы из Севастополя. И тогда все, как один, «паруса улегали в море», а в нижней церкви Балаклавского Георгиевского монастыря, в нескольких верстах от Балаклавского расположенного, «служили молебны» за их счастливое возвращение.

Георгий для балаклавских мореходов был не только своим монастырем, то есть морским и греческим, он еще служил своеобразным навигационным ориентиром. Вот что пишет Куприн (в «Листригонах»): «У каждого атамана (капитана рыбацкого баркаса. — А. М.) есть свои излюбленные счастливые пункты, и он их находит в открытом море, за десятки верст от берега так же легко, как мы находим коробку с перьями на своем письменном столе. Надо только стать таким образом, чтобы Полярная звезда очутилась как раз над колокольной монастыря св. Георгия, и двигаться; не нарушая этого направления, на восток до тех пор, пока не откроется Форосский маяк». «Маяк с востока» в качестве той же самой путеводительной приметы назван и в морской поэме Ахматовой: «А я уплывала далеко в море, / На темных, теплых волнах лежала. / Когда возвращалась, маяк с востока / Уже сиял переменным светом, / И мне монах у ворот Херсонеса / Говорил: „Что ты бродишь ночью?“» Последняя подробность — у *ворот Херсонеса* — вроде бы перемещает место действия на несколько верст восточнее, туда, где в древности стоял славный град Херсонес и где во времена Ахматовой также был действующий монастырь, не такой знаменитый, как Георгиевский, но тоже достаточно известный. Подобного рода сдвиги характерны для Ахматовой; сама она называла это так: *сделать несколько снимков на одну пластинку*. Гумилев странное сие свойство жены тоже отметил:

⁶ «Папина двоюродная сестра... была гречанка и водила меня в греческую церковь в Севастополе (на Слободке). Там пели Кириэлэйсон (Господи, помилуй)» (ЗКА, стр. 298).

⁷ В Балаклаве, после развода с мужем, один год снимала дачу и мать Ахматовой Инна Эразмовна.

⁸ «Предки — греки, всего вернее морские разбойники» (ЗКА, стр. 81).

«Нет тебя тревожней и капризней, / Но тебе предался я давно, / Оттого что много-много жизней / Ты умеешь волей *слить в одно*». Несколько разных своих *жизней у самого Черного моря* А. А. слила в одно и в приморской поэме; в результате на одной пластинке оказались и чернорабочие паруса рыбаков Балаклавы, и белые яхты присевастопольских дачников («Белых бездельниц скопилось много / У Константиновской батарее»); «слились в одно» и два приморских монастыря — собственно Херсонесский и св. Георгия. Правдоподобия обстоятельств — как они изображены в поэме: дикое языческое детство последней херсонидки — топографическое обобщение ничуть не нарушало, наоборот! Свято-Георгиевский монастырь, хотя официально и назывался Балаклавским, в народе слыл Херсонесским. По преданию, это изумительное по дикой красоте место открыли аж в 891 году греческие мореплаватели. Страшная буря — *норд-ост-бора*, бич здешних морских промыслов, — понесла их на прибрежные скалы... Спас моряков святой Георгий, Великомученик и Победоносец, явившись на плоском камне в десяти сажнях от берега, утихомирил *бору*, буря кончилась, мореходы, отдохнув на камне Георгия, вплавь добрались до берега, где и устроили в честь своего спасителя пещерный храм. В начале XIX века на месте древнего пещерного храма построили новую, *нижнюю*, церковь, а старую разобрали; в 1891-м, к празднованию тысячелетия, ее как бы восстановили — но уже в другом месте. Что касается монастыря, то в ахматовские времена и знатоки крымских древностей были убеждены, что монастырь основан в незапамятные времена «усердием кого-либо из последних живших в городе иерархов Херсонесской епархии или жителей Херсонеса» (Бертъе-Делагард А. Л. К истории христианства в Крыму. Одесса, 1910). Особенно почитали монастырь крымские греки, видя в нем «уголок общения греков-христиан». В день св. Георгия — он праздновался в апреле — они съезжались сюда со всего полуострова; традиция эта, возникшая в глубокой христианской древности, сохранилась и в начале XX века.

Трудно допустить, чтобы набожная двоюродная тетка Ани Горенко, регулярно посещавшая греческую церковь в Севастополе и всегда бравшая с собой племянницу, этой традицией пренебрегла. К тому же у нее, как и у многих урожденных севастопольцев, проблем с гостиницей не было. Дело в том, что монастырь св. Георгия еще со времен адмирала М. Лазарева находился как бы под покровительством военно-морского севастопольского ведомства. Монастырская братия пополнялась уходящими на покой корабельными священниками, здесь же, у Георгия, жили они и «между походами». Стараниями Лазарева было произведено обустройство обители, включая строительство монастырской гостиницы. Знаменитый адмирал так полюбил это место, что выстроил здесь два каменных двухэтажных дома, что-то вроде семейного пансионата для летнего отдыха офицеров Черноморского флота. Построил также небольшой — крошечку — домик и для себя.

Короче: если в день весеннего Георгия мест в монастырской гостинице не оказывалось, в этом как бы пансионате всегда можно было к кому-нибудь «присоседиться», а то и подкинуть племянниц кому-нибудь из стародавних знакомых, чтобы подышали целебным воздухом. В 1896 году в семье Горенко случились два события: умерла младшая сестра Анны четырехлетняя Ирина (Рика) и родился «последыш» — Виктор, так что Инна Эразмовна никак не могла с грудным младенцем и двухлетней Ией ехать в 1897 году на юг, но, видимо, и оставлять старших девочек — тринадцатилетнюю Инну и восьмилетнюю Аню — без южного солнца и моря не хотела (врачи находили у них предрасположенность к туберкулезу). Во всяком случае, в утлом домишке, где живут девочки — героиня поэмы с сестрой, — взрослых членов семьи не видно, и вряд ли это поэтическая условность, скорее все-таки воспоминание о почти безнадзорном лете 1897 года, когда она, восьмилетняя, не вызывая ни удивления, ни нареканий, могла зарывать в песок пестро-желтое платье и купаться голышом. Не похож изображенный в поэме домик и на комфортабельные дачи в ближайших окрестностях Севастополя; еще труднее представить его

стоящим на Екатерининской улице города (адрес М. А. Горенко, у которой Аня жила зимой в 1897 году). Екатерининской в Севастополе, как и в Кронштадте, и вообще во многих провинциальных городах России, традиционно называлась вторая по главности и престижности улица; на первой, Николаевской, жила знать, на Екатерининской — приличная публика, средний класс. Воющих ночь напролет бесхозных собак здесь бы не потерпели. Не совпадает с конфигурацией собственно херсонесского — музейного — побережья и топография поэмы: берег в районе херсонесских раскопок ровно-плоский, поэтому и вызывают некоторое недоумение слова *дикой девочки*:

«Леночка, — я сестре сказала, —
Я уйду сейчас на берег.
Если царевич за мной приедет,
Ты объясни ему дорогу.
Пусть он меня в степи нагонит:
Хочется на море мне сегодня».

Не правда ли, странно? Героиня просит остающуюся дома, во внутреннем дворике, сестру не пропустить царевича? Сама уходит к морю, а боится, что прозевает тот момент, когда к берегу причалит белая яхта и тот, кто ею правит, придет за ней? Топография окрестностей Георгиевского монастыря эту странность разъясняет: и монастырь, и жилые домики были расположены здесь на горе, а значит, из них хорошо видна та самая круглая бухта, куда, по местному преданию, тысячу лет назад буря загнала греческих мореходов и куда (в поэме) должна причалить долгожданная царская яхта. Бухта на редкость живописна, здесь и знаменитые пещеры (они упомянуты в поэме: «...вышла цыганка из пещеры...»), освободившиеся для жилья после того, как древний пещерный храм перенесли в другое место. Однако ни рыбачить, ни купаться у *пещер* было не принято из-за скалистого дна, купались в другом месте — там, где не было скал и где волны разливались далеко по низкому песчаному берегу. На расстоянии около километра от этого дикого пляжа находилась подводная скала, которая поднималась над поверхностью воды приблизительно метра на два. Среди местных пловцов считалось спортивным шиком достигнуть *камня*, вскарабкаться на него и, отдохнув, быстро плыть к берегу. Точно на таком же расстоянии от низкого берега сушит намокшие волосы и героиня поэмы («А я сушила соленую косу / *За версту* от земли на плоском камне»). Кстати, именно здесь, на диком георгиевском пляже, и именно летом 1897 года чуть было не утонул некий молодой человек. Случилось это после сильного летнего шторма, на море стояла «мертвая зыбь», местные рыбаки — а они, несмотря на опытность и бесстрашие, никогда не выходили в море, если «погода не пускает», — еще с вечера вытянули свои большие лодки на берег и, пользуясь передышкой, занялись починкой сетей. Но неведомый пловец, видимо, был пришлецом — вошел в море и поплыл к камню, не сообразив, что при сильной послештормовой зыби на нем не только невозможно удержаться, приближаться и то опасно. Более часа сражался безрассудный молодой человек с коварным морем и, обессилев, стал тонуть уже на обратном пути, почти у самого берега. Утонуть рыбаки не дали. Один из них, самый сильный, тяжелый и огромный, опоясавшись веревкой, пошел на выручку... Кончилось, по счастью, благополучно: балаклавские рыбаки вытянули и захлебнувшегося утопающего, и оглушенного ударом волны спасителя на безопасное место, а потом вынесли обоих из воды на руках.

Согласитесь, что эпизод, взятый мной из надежного мемуарного источника, с чуть было не утонувшим отважным пловцом, особенно огромный рыбак, старающийся ухватить утопающего почти у самого берега, слишком уж похож на аналогичную сцену в поэме:

...Передо мною,
По пояс стоя в воде прозрачной,
Шарит руками старик огромный

В щелях глубоких скал прибрежных,
Голосом громким зовет на помощь...
.....

И далее:

Вижу — в руках старика белеет
Что-то, и сердце мое застыло...
Вынес моряк того, кто правил
Самой веселой, крылатой яхтой,
И положил на черные камни.

И пусть вас не смущает финал: царевич гибнет только во сне. Сначала героиня засыпает: «Как я легла у воды — не помню, / Как задремала тогда — не знаю», потом, как это часто бывает у Ахматовой, во сне девочка просыпается и видит еще один сон: «Парус / Близко полощется» (разбирая стихи Н. Гумилева, А. А. определила этот прием так: «*Но все это не названо и как бы увидено автором во сне*»). Что же касается смерти — гибели, увиденной как бы во сне, — то это знак долгой жизни. Тут надо добавить еще вот что: во-первых, Анна Андреевна верила в сны совершенно всерьез. С наивностью пушкинской Татьяны Лариной⁹. Во-вторых, в детстве страдала странным видом лунатизма. Как вспоминает одна из ее родственниц, из Смольного ее пришлось забрать после того, как классная дама нашла воспитанницу Горенко лежащей на полу в институтской церкви в состоянии то ли глубокого обморока, то ли какого-то странного сна.

Разумеется, и подобных скал, и подобных случаев в Крыму не счесть. Однако у нас есть и еще одно доказательство того, что первый снимок на ту пластинку, с которой в 1914 году Анна Ахматова «отпечатала» таврическую поэму, был сделан в окрестностях Георгиевского монастыря и именно в лето 1897-го.

Я имею в виду следующий фрагмент поэмы «У самого моря»:

И говорила сестре сердито:
«Когда я стану царицей,
Выстрою шесть броненосцев
И шесть канонерских лодок,
Чтоб бухты мои охраняли
До самого Фиолента».

Загадочный сей пассаж давно дразнил мое исследовательское любопытство: ну при чем тут броненосцы? И от кого намеревается, став царицей, охранять свои бухты *дикая девочка*? Времена вроде мирные?.. И почему именно шесть, а, скажем, не семь? Сказке приличнее число семь: семеро козлят, семь гномов. И на что намекала Ахматова, когда предлагала искать в ее херсонесской поэме следы «железного шага войны»? Нет этих следов в тексте!

Чудится-брезжит отдаленная связь со знаменитым стихотворением Блока «Ты помнишь? В нашей бухте сонной...», но столь далековатая, что вроде и зацепиться не за что. Известно, что последняя строфа стихотворения («Случайно на ноже карманном...») была набросана летом 1911 года в Абервраке (французский порт на Бретонском побережье Атлантического океана) и по комментаторской традиции связывается со следующим эпизодом. В начале августа 1911 года в мирно-сонный курортный Аберврак вошла французская военная эскадра, и Блок (в письме к матери от 12 августа) истолковал этот случай как предзнаменование близящейся мировой войны. Однако в стихотворе-

⁹ См. у П. Н. Лукницкого: «АА рассказывает кошмар, который преследовал ее сегодня ночью. Сон. Она видела комнату, в которой она сейчас живет, и видела себя спящей. Вся обстановка, все было реальным, конкретно, как в действительности. АА сказала, что странно видеть себя самое спящей — и так, как происходит в действительности. Я рассказывала свой сон — сон, в котором сильно участвовала лошадь. АА (раздумчиво): „Лошадь — это нехорошо, ко лжи“» (ПНЛ, т. 1, стр. 118).

нии, написанном, с использованием единственной черновой строфы, 6 февраля 1914 года, подобных предчувствий нет, хотя в эти месяцы предзнаменованний было куда больше. Нет их, по сути, и в письме: «На днях вошли в порт большой миноносец и четыре миноноски... кильватерной колонной — все как следует. Так как я в этот день скучал особенно и так как, как раз в этот день, газеты держали в секрете совещание французского посла в Берлине... то я решил, что пахнет войной, что миноносцы спрятаны в нашу бухту для того, чтобы выследить немецкую эскадру... Сейчас же стал думать о том, что немцы победят французов... жалеть жен французских матросов и с уважением смотреть на довольно корявого командира миноноски... Думаю, что все абервраковские чеховцы были одних мыслей со мной, так что, когда миноносцы через несколько часов снялись с якоря и отправились к Шербургу, наступило всеобщее разочарование. Всем, собственно, скучно до последней степени, и все втайне хотят, чтобы что-нибудь стряслось».

Согласитесь, что процитированный текст ничуть не напоминает *предчувствие гораздо больших бед!* Наоборот, над подобными предчувствиями как раз и иронизирует! Впечатление, как оно зафиксировано в письме, настолько прозаично, что невольно начинаешь искать дополнительный источник поэтической энергии, позволивший поэту преобразить бытовой факт в стихотворение редкостного даже для Блока таинственного очарования:

Ты помнишь? В нашей бухте сонной
Спала зеленая вода,
Когда кильватерной колонной
Вошли военные суда.

Четыре — серых. И вопросы
Нас волновали битый час,
И загорелые матросы
Ходили важно мимо нас.

Мир стал заманчивей и шире,
И вдруг суда уплыли прочь.
Нам было видно: все четыре
Зарылись в океан и в ночь.

И вновь обычным стало море,
Маяк уныло замигал,
Когда на низком семафоре
Последний отдала сигнал...

Как мало в этой жизни надо
Нам, детям, — и тебе и мне.
Ведь сердце радоваться радо
И самой малой новизне.

Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран —
И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман!

Шесть броненосцев (у Ахматовой) — четыре миноносца (у Блока). Вроде бы и близко, и далеко — и уж так легкокасательно, что словом и не зацепишь. К счастью, ключ к смыслу этого *шифра* по невероятной случайности не утонул в *реке времен*, а чудом вынырнул, и в таком месте, где никто из искателей ахматовского клада, и я в их числе, не искал и искать не собирался.

В лето 1897-го, за семь лет до трагической гибели, из Москвы в сторону крымскую двинулся с женой и двумя детьми знаменитый художник В. В. Верещагин, и по той же самой причине, по какой Горенки старались вывозить детей в Крым, — они только что потеряли дочь, умершую от туберкулеза мозга. Старший мальчик, Василий, хотя в 1897 году ему было всего пять лет, до глубокой старости не забыл южного того лета. (Мемуары В. В. Верещагина-младшего изданы: Л., «Художник РСФСР», 1982.) Вот что пишет Верещагин-

сын (глава «В Крыму. У Георгиевского монастыря»): «Отец уже давно собирался отдохнуть с семьей где-нибудь на южном побережье Крыма. Как всегда, он искал для отдыха спокойное уединенное место, которое было бы достаточно удалено от переполненных крымских курортов... Этим условиям вполне удовлетворяла в то время местность вокруг Георгиевского монастыря, расположенного недалеко от Севастополя, между мысом Фиолент и Балаклавой. Монастырь был расположен на горе, высоко над уровнем моря. Дорога от него к берегу спускалась по склону горы многочисленными серпантинами. В половине пути на небольшой естественной террасе стоял принадлежавший монастырю одноэтажный домик, имевший три комнаты, кухню с чуланом и окруженный кипарисами и кустами роз. В этом-то домике и поселилась на полтора летних месяца наша семья».

В один из дней сезона 1897-го произошло чрезвычайное происшествие, всполошившее все население уединенного поселка. «Со стороны Севастополя, — вспоминает Верещагин, — показалось судно, очертания которого сливались с цветом морской воды... Отец, который был очень дальнзорок, простым глазом сразу определил, что это — миноносец. За первым показался второй, потом третий, четвертый... *всего шесть*. Миноносцы шли в кильватерной колонне, выравненной как по линейке, что нам с высоты хорошо было видно. От быстрого хода перед их носами поднимались белые пенистые буруны, а из труб валил густой дым, лентой тянувшийся над колонной и далеко назад. Зрелище было очень красивое». Налюбовавшись красивым зрелищем, знаменитые дачники хотели было вернуться к прерванным делам, но тут флотилия вдруг остановилась как раз напротив монастыря, затем «развернулась так, что каждый из миноносцев описал дугу в четверть круга, и все, сохраняя боковое равнение, пошли в направлении к берегу. В расстоянии около километра от берега машины были застопорены, через несколько минут со всех миноносцев были спущены лодки, и по трапам в них спустились восемь офицеров: с головного три, а с остальных — по одному. Матросы подняли весла и по команде, как один, опустили их в воду. Лодки рванулись... понеслись стрелой, так что мы вскорости потеряли их из виду...».

Кипарисы и высокий кустарник по склону горы заслоняли как раз то место, куда спущенные с миноносцев лодки направлялись, чтобы высадить на берег великолепную, в ярко-белой с золотом летней форме, офицерскую восьмерку, словом, туда, куда, по расчетам героини ахматовской поэмы, только и могла причалить крылатая яхта Царевича. В монастыре, расположенном много выше верещагинской дачи, на самой вершине горы, эскадру также заметили и переполошились: от самого основания обители не случилось здесь ничего подобного. Решив, что в Севастополе произошло какое-то бедствие, «скорее всего пожар», настоятель приказал колокольным набатом созвать всех монахов, а нескольких, помоложе, послал навстречу высадившейся и теперь взбиравшейся по георгиевским серпантинам офицерской группе. Каково же было их, монахов, удивление, когда адмирал, возглавлявший восьмерку — шесть командиров миноносцев плюс его собственный адъютант, — «попросил указать дорогу к живущему где-то около монастыря художнику Верещагину». Дело меж тем выяснилось — и нельзя проще. Контрадмирал А. К. Сиденер, потомственный флотоводец и весьма образованный человек, узнав из газет, что на даче возле Свято-Георгиевского монастыря отдыхает его однокашник по Морскому кадетскому корпусу, решил нанести визит дружбы, обставив его по-царски — так, как приветствовали императорское семейство, когда Николай II с чадами и домочадцами прибывал в Севастополь, чтобы уже морем добираться до южнокрымской своей резиденции¹⁰.

¹⁰ На будущий год, кстати, по пути в Ливадию, императорская чета побывает и в Георгиевском монастыре, дабы поклониться раннехристианской твердыне. В последний раз Николай II был здесь в 1916 году, причем, согласно легенде, императора встретили низким по-

Можно представить себе, как все это, вместе взятое, должно было подействовать на восьмилетнюю Анну Горенко! При ее-то страсти к «великолепному»! Во всяком случае, ни того великолепного адмирала, карабкавшего в почти тропическую жару при полном параде по Георгиевской горе, дабы лично засвидетельствовать уважение русскому художнику, первым добившемуся воистину мировой известности, ни эскадры, исполнившей в его честь отменно красивую, царских кондиций, военно-морскую парадировку, она не забыла и на склоне дней. Вот что записал В. Берестов, навестив Ахматову 19 апреля 1964 года: «С Павлом Нилиным у Ахматовой. Она располнела, но по-прежнему красива. Нилин вспоминает ее прежние стихи. Ахматова восклицает: „Мне тогда было 24 года!“ Подпись под письмом читателя: „Ваш вице-адмирал“. Ее реакция: „У меня свой флот!“» Еще более многозначительна редакция того же факта (письмо вице-адмирала) в передаче М. Ардова: «Одним из ее почитателей оказался некий адмирал. Письмо его было подписано: „Ваш адмирал N. N.“. Прочитав это, Анна Андреевна произнесла: „Я чувствую себя королевой. У меня уже есть флот“».

А теперь прикиньте, как этот эпизод должен был резонировать, переполняясь мистическими сближениями, когда весной 1904 года все до единой столичные газеты крупным шрифтом на первой полосе опубликовали следующее сообщение: «31 марта броненосец „Петропавловск“ наткнулся на японскую мину и в полторы минуты затонул. Находившиеся на борту адмирал С. О. Макаров и знаменитый художник В. В. Верещагин вместе с семьями офицерами и матросами погибли». Не по ассоциации ли с этим событием, может быть, и не осознанной, в морской поэме Ахматовой дикая девочка мечтает не о своих миноносцах, а о собственных броненосцах («выстрою шесть броненосцев»), хотя слово *миноносец* в семейном кругу Горенок было более обиходным: на миноносце проходил гардемаринскую практику младший из ее братьев, Виктор, на миноносце служил он и во время войны (см.: ПНЛ, т. 1, стр. 208).

И вот что еще надо принять во внимание. Перечисляя гимназические интересы, очерчивая круг общения с миром искусств и развлечений, Ахматова после катка и Мариинского театра называет: «Музеи. Выставки». В Мариинке она бывала с отцом; А. А. Горенко был театралом; вряд ли с кем-нибудь другим посещала и выставки, невозможно допустить, чтобы А. А. Горенко не повел дочь на посмертную выставку Верещагина, окончившего тот же Морской корпус, где Андрей Антонович работал корпусным инспектором в лучшие свои годы, тем более что на ней побывал *весь Петербург*. Помимо шока, какой вызвала гибель «Петропавловска» и всей командной верхушки русского флота (выставка открылась в ноябре 1904 года, через восемь месяцев после смерти художника), публику привлекала необычность экспозиционного декора. По желанию вдовы посмертная выставка оформлялась так, как это делал сам художник, выставляя картины за рубежом: стены залов задрапированы бархатом темного бордо — чтобы лучше смотрелись и холсты в золотых рамах, и предметы этнографических коллекций, которые Верещагин привозил из путешествий: восточные ковры, оружие, украшения, ткани, утварь и т. д. Кроме того, была воспроизведена обстановка московской мастерской художника в усадьбе за Серпуховской заставой, о которой ходило столько слухов, поскольку при жизни Верещагина вход туда посторонним, даже великому князю Владимиру Александровичу, президенту Академии художеств, был строго воспре-

клоном «пещерные старцы», что впоследствии было истолковано как предсказание мученической его гибели. С Георгиевским монастырем связано и еще одно царское предание: 27 октября 1825 года Александр I выехал из Балаклавы, без провожатых, верхом, легко одетый, без бурки и отправился в монастырь. Погода выдалась ненастная, не по крымскому октябрю: холод, туман, сырость, особенно промозгло в ущельях, а их между Балаклавой и Георгием несколько, и все достаточно глубокие. Именно в этой поездке, утверждает предание, Александр Благословенный и заболел той странной простудой, которая менее чем через месяц (19 ноября 1825 года) свела его в могилу. Легенда связывает поездку в Свято-Георгиевский монастырь с намерением царя оставить престол...

щен. (Крайне удивившись отказу, сиятельный президент заявил: «А я все же приеду!» И получил в ответ: «А ко мне не попадете! У меня собаки злые».) Интерес петербургской публики сильно подогревался еще и ажиотажем, какой вызвала выставка у зарубежных коллекционеров: экспонировались 426 работ, аукцион обещал миллионы, но вдова, помня, как огорчался муж, когда лучшие вещи уходили за границу, продала их за гроши Приворному ведомству; денег от этой продажи еле-еле хватило на покрытие выставочных расходов. И еще раз — в промежуток от 1904 до 1914 года — внимание Петербурга сосредоточилось на имени Верещагина. В феврале 1911-го покончила с собой его вдова. Официальная версия утверждала, что причина — рак печени, но всем было известно другое: Лидия Васильевна наложила на себя руки в припадке отчаяния — она отказалась от аукциона (лишив семью средств к существованию, а детей возможности получить хорошее образование) в полной уверенности, что будет создан, как было договорено при продаже «в казну» всех экспонатов посмертной выставки, мемориально-экспозиционный комплекс, и не где-нибудь, а в Эрмитаже. Увы, ни общественное мнение, ни «честное слово императора» не помогли художественному наследию Верещагина. Его работы, как неугодные идеологически — Верещагин был убежденный пацифист, — так и остались в запаснике Русского музея...

Вообще, дальневосточная война, хотя в год Цусимы Анне Горенко было всего пятнадцать лет, и в поэме «Путем всея земли», и в автобиографической прозе пульсирует куда более недужно, горячечно, нежели катастрофа четырнадцатого года. П. Лукницкий отмечает в дневниковой записи от 15 октября 1927 года, что А. А. очень хотелось показать ему церковь, воздвигнутую в память о жертвах Цусимы (ПНЛ, т. 2, стр. 296). Четырнадцатый год аукнулся в ее поэзии неким подобием имперского энтузиазма, что ужаснуло даже Цветаеву: «Отыми и ребенка и друга» — как вы могли? Анна Андреевна объясняла свою раненость Цусимой тем, что это была первая трагедия ее поколения¹¹. Но, может быть, та, первая, война еще и потому так резонировала, что у нее было два прекрасных человеческих лика: лицо художника Верещагина и лицо адмирала Макарова...

По моему предположению, именно этот случай (военно-морская парадировка в честь Верещагина) из херсонесского детства *дикой приморской девчонки* — не сам по себе, конечно, а тем, что в нем для ее сердца *слилось* и благодаря ему *отозвалось*, — и является сознательно утаенным звеном в цепи событий, которые навсегда слили в одно поэму «У самого моря» и Блока. Но для того чтобы это предположение приобрело выразительность вероятного, придется вернуться к обстоятельствам 1911 — 1913 — 1914 годов, то есть к приведенным нами в самом начале выдержкам из дневниковых заметок Блока и «Записных книжек» Ахматовой.

Об этом пойдет речь в следующей части нашего расследования. А здесь, в заключение, позволю себе задать вот какой вопрос.

А что бы случилось с поэмой, если б Анна Ахматова открыто обозначила на карте своего Херсонесского царства Георгиевский монастырь, а не объединила, точнее, не присоединила царским указом к Балаклаве, что, кстати, вовсе

¹¹ Когда Ахматова говорила, что японская война — «потрясение на всю жизнь», она была, как всегда, предельно «точна». Ее жизнь на до и после надколола именно Цусима, «*слив в одно*» ужас войны с ужасом революции, которая для Ахматовой началась не в октябре и не в феврале 1917-го, а в кровавое воскресенье 9 января 1905-го. В 1921-м трещина, прошедшая через сердце (по Гейне), стала бездной, краем... На краю, над «очастью» (*очасть* — провал в никуда, а может, и преисподнюю, — слово из стихов Н. Гумилева к Ахматовой: «Над очастью, Богом заклятою...»), «лунатически ступая», собирая «черепки» и закладывая их, как запасы впрок, в «подвал памяти», Ахматова продержалась еще несколько лет, до 1925-го. Тогда еще можно было сказать паникующим современникам: «Чем хуже этот век предшествующих?» И оглянуться на Шекспира. Или Данте. Или на Великую французскую... Новая, вторая, Византия затонула, как Китеж-град? Так ведь Византия затонула, а не Россия! А Россия и кровью умытая жива и помирять не собирается. Но потом, после 1925-го, все поползло в *очасть*...

не было такой уж значительной — ни географической, ни административной — ошибкой? Увы, ей бы пришлось уступить и «корону» последней херсонесской владычицы, и все прочие царские регалии тому самому «смуглому отроку». Ибо первооткрывателем ахматовского Херсонеса был не кто иной, как Пушкин, и первую поэтическую высадку на мыс Фиолент сделал он, обесмертив местность около Георгиевского монастыря и в стихах, и в прозе!

Пушкин — Дельвигу (1824):

«Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне сильное впечатление. Тут же (то есть на мысе Фиолент, в трех верстах от Свято-Георгиевского монастыря. — А. М.) видел я и баснословные развалины храма Дианы».

Пушкин — Чаадаеву:

К чему холодные сомненья?
Я верю: здесь был грозный храм,
Где крови жаждущим богам
Дымились жертвоприношенья...

В 1820 году, в первых числах сентября, Пушкин в компании с генералом Раевским и его сыном верхами, через Байдарские ворота, добрались до Георгиевского монастыря — он был первой и главной целью путешествия. Оттуда, переночевав у монахов, но не заезжая в Севастополь и, следовательно, миновав собственно херсонесские древности, отправились в Бахчисарай.

Все это Ахматова, разумеется, знала как дважды два, оттого-то и отодвинула границу поближе к тем местам, где еще никто не наследил. А кроме того, проговорилась она, что дикой девочкой, приморской босоножкой сушила соленую косу на Георгиевском Камне, ее тут же обвинили бы в плагиате: «...жил я сиднем, купался в море... тотчас привык к полуденной природе и наслаждался ею со всем равнодушием и беспечностью неаполитанского Lazzarone» (Пушкин — Дельвигу). И в результате вместо красивой биографической двойчатки: два детства — царскоесельское и херсонесское — получилось бы одно — пушкинское. Но, утаив имя, присутствия в поэме отсутствующего Пушкина Ахматова не утаила: это пушкинской волей заслана в сны «наследницы» Херсонесского престола девушка в коротком платье, «с дудочкой белой в руках прохладных».

Смысл вещего сна будет, конечно, раскрыт позднее, в «Путем всея земли» (1940): «И вот уже Крыма / Темнеет гряда. / Я плакальщиц стаю / Веду за собой. / О, тихого края / Плащ голубой!.. / Над мертвой медузой / Смущенно стою; / Здесь встретила с Музой, / Ей клятву даю...»

Словом, «симпатические чернила» Анна Андреевна стала применять задолго до того, как появились на то соответствующие — не литературные — причины. Тайнопись морской поэмы — не изыски поэтической дипломатии. И здесь разделением и размежеванием литературных пространств и владений — кто первый ступил-наследил, тот и владетель — распоряжаются не технологический расчет и не боязнь «огласки», а высший такт, то, что в эссе «Лермонтов» Ахматова определила актерским термином «сотая интонация».

(Окончание следует.)



О П Ы Т Ы

МИХАИЛ ГОРЕЛИК



ИСТОРИЯ ОДНОГО ГРЕХОПАДЕНИЯ

Я хочу малость освежить в памяти читателей знаменитую зощенковскую «Елку», стократ прославленную Игорем Ильинским.

Итак, дети, воспользовавшись тем, что «мама ушла на кухню», идут поглядеть на елку.

«Очень красивая елка. А под елкой лежат подарки. А на елке разноцветные бусы, флаги, фонарики, золотые орехи, пастилки и крымские яблочки».

Леля предлагает полакомиться и соблазняет брата. Следует обедание елки.

«Тут раздались мамины шаги, и мы с Лелей убежали в другую комнату».

Опрометчивые действия Миньки и Лели приводят к ужасным последствиям. Гостей, разоблачение и скандал я опускаю и сразу перехожу к пейзажу после битвы.

«Но вдруг в комнату вошел наш папа».

До этого в высшей степени драматического момента о папе не было ни слуху ни духу, так что вполне можно было предположить, что его и вовсе не существует.

Елкин современник Гайдар (Аркадий) обыкновенно объясняет папино отсутствие войной, экспедицией или лагерем (что-то клеветническое и уголовное). Но эти объяснения здесь не подходят. Во-первых, в отличие от тоскующих без отца героев Гайдара зощенковские дети не чувствуют от его отсутствия никакого дискомфорта — более того, жизнь именно и хороша, покуда этот ужасный (как выяснится) персонаж гуляет где-то в другом месте. Во-вторых, в нем и с точки зрения функциональной нет решительно никакой надобности: до сих пор мама хорошо справлялась одна.

Ни приход гостей, ни громогласный скандал не способствовали материализации виртуального папы — он прилетает только на пепелище (где труп, там соберутся орлы), «вдруг», как *deus ex machina*, для изречения страшного приговора. Создается впечатление, что он все наперед знал и нарочно не вмешивался и даже был как бы и доволен, что исполнение идет точно по партитуре и грозная кода прозвучит во всю силу. В нужный момент он выскакивает как бы из ниоткуда, из метафизической засады, где до поры до времени притаился (ср. у Рильке: «Но тут укрытые покидает Бог»).

Забавно, что явление папы приводит к моментальному исчезновению мамы, которая более себя в рассказе никак не обнаруживает (а ведь как была деятельна!). Родители вообще не взаимодействуют и сменяют друг друга, как времена года.

Слова и действия папы замечательны:

«Такое воспитание губит моих детей. Я не хочу, чтобы они дрались, ссорились и выгоняли гостей. Им будет трудно жить на свете, и они умрут в одиночестве».

Настоящий папа! За воспитание детей он ответственности не несет — во всем виновата срочно аннигилировавшаяся мама. Теперь, когда он прилетел с луны, он возьмется за дело сам.

«И папа подошел к елке и потушил все свечи. Потом сказал:

— Моментально ложитесь спать. А завтра все игрушки я отдам гостям».

Совпадение зощенковской «елки» с историей, рассказанной во второй и третьей главе первой книги Библии, бросается в глаза, в его непреднамеренность трудно поверить.

«И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно... и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел».

«Хорошо для пищи», «приятно для глаз и вожделенно» — полностью соответствует описанию елки (см. выше), которая, по существу, является мировым деревом.

Райские дети скрываются от голоса Господа Бога, расхаживающего по саду, точь-в-точь как зощенковские дети от шагов матери: «...тут раздались мамины шаги, и мы... убежали...»

Забавно, что Минька ест именно яблоко, хотя и отсутствующее в библейском тексте, но усвоенное традицией как самоочевидное.

Дознание изображено в обоих текстах едва ли не идентично.

Библия:

«И сказал [Бог]:

...Не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть?

Адам сказал:

— Жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел.

И сказал Господь Бог жене:

— Что ты это сделала?

Жена сказала:

— Змей обольстил меня, и я ела».

Подельники из зощенковской версии сдают друг друга тем же манером:

«— Кто из вас двоих откусил это яблоко?

Леля сказала:

— Это Минькина работа.

Я дернул Лелю за косичку и сказал:

— Это меня Лелька научила».

Все-таки кое-какая разница есть: Миньке (в отличие от Адама) не приходится в голову возлагать вину на родителей.

В истории, рассказанной Зощенко, отсутствует змей — его роль успешно играет Лелька («змея»). В связи с этим стоит вспомнить, что в западной иконографии змей порой изображается с лицом Евы.

У Зощенко дети поторопились: в конце концов, сладости предназначались для них — надо было лишь чуток подождать. В Библии ничего такого не сказано, но предание (как еврейское, так и христианское) говорит ровно то же самое: плоды Древа в конечном итоге были предназначены для людей — запрет был временным, педагогическим, только до грядущего праздника: следовало потерпеть, причем не слишком долго.

В пророчестве «папы» возникает ужасное слово «умрут»; он отправляет спать (сон — внятная метафора смерти), отбирает игрушки и символически тушит «все свечи»: конец праздника, конец рая, конец всего.

«А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». «И выслал его Господь Бог из сада Едемского... И поставил... у сада Едемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни».

В истории Зощенко «папа» — Господь Бог и херувим с огненным мечом вместе. Подарок для психоаналитиков. (Великая битва с Фрейдом еще впереди.)

Грехопадение случилось с протагонистом в возрасте пяти лет, а до той поры он «не понимал, что такое елка», и «без интереса смотрел на разукрашенное дерево» — иными словами, вовсе не различал добра и зла. Опыт различения тяжело сказался на его биографии.

Зощенко завершает свою историю пассажем в высшей степени назидательным:

«И вот, ребята, прошло с тех пор тридцать пять лет, и я до сих пор хорошо помню эту елку. И за все эти тридцать пять лет я, дети, ни разу больше не съел чужого яблока и ни разу не ударил того, кто слабее меня. И теперь доктора говорят, что я поэтому такой сравнительно веселый и добродушный».

Иными словами: нравственность полезна для здоровья — доктор подтвердит. Точка зрения, вообще говоря, имеющая опору в библейских текстах.

Жаль, что не добавил: поэтому я такой богатый (протестантская этика). Но это было бы тогда совершенно не в духе времени, хотя вполне в духе наидания.

«Не съел», «не ударил» — житие раскаявшегося разбойника явственно приобретает ореол святости. Только вот где Зоценко нашел докторов, поставивших ему столь оптимистический диагноз? Какой он был «веселый и добродушный» — это всем интересовавшимся хорошо известно: «сравнительно».

Отличное и даже в высшей степени добродетельное поведение не смогло, однако, отменить ужасного и вполне сбывшегося пророчества:

«Им будет трудно жить на свете, и они умрут в одиночестве».

Игрушки отобрали.

Свечи погашены.

Цена райского (крымского) яблочка.

НИКИТА ЕЛИСЕЕВ

*

ОЛЕША И НАСЛЕДНИК

Мы почти ничего не знаем о писателях той поры. Ничего — кроме текстов.

Я, польский мальчик, «стал писать на языке... на котором царь поздоровался со мной, сидя на лошади».

Что такое? Что за история? Это — из «Ни дня без строчки».

Олеша жил в детстве в Одессе. Русский царь посетил Одессу не один, а со своим сыном.

Мальчика нес на руках матрос. Мальчика было жалко. Он был слабый и маленький.

Мальчик был обречен пулям.

Спустя несколько лет семейство царя спускалось в подвал для расстрела, прихватив с собой подушки.

Семейство царя не знало, что в подвал ведут для пуль и штыков. Думали, для переезда. Поэтому прихватили с собой подушки.

В «Зависти», самой великой книге Юрия Карловича, описан Иван Бабичев — организатор «Заговора чувств». Контрреволюционер чувств. Поэт мешанского семейного счастья.

Иван Бабичев повсюду ходит с подушкой.

Иван Бабичев кричит своему брату, революционеру и коммунисту, человеку нового мира: «Пули застревают в подушке».

(Известно, что горничная девушка царицы Демидова инстинктивно заслонилась *подушками*, когда начался расстрел.

Известно, что каким-то чудом (неужели пули застряли в *подушках*?) она уцелела во время расстрела, так что добивать горничную пришлось штыками.

Неизвестно только, знал ли об обстоятельствах расстрела Олеша, когда писал свою «Зависть».

Чтобы об этом можно было сказать со стопроцентной уверенностью, нужно знать биографию Юрия Карловича Олеша. В противном случае остаются совпадения, догадки...)

Иван Бабичев называет себя «королем подушек»...

Писатель Борис Ямпольский вспоминает: однажды к Олеше в ресторане подошел человек. «Я вижу, у вас интересная компания. Я ведь тоже могу кое-что рассказать. Я участвовал в расстреле Николая II». Олеша вскочил: «Хам, да как вы смели, Помазанника Божьего!»

Что у пьяного на языке...

Дело происходило в годы «оттепели»...

Вспыливший Олеша выкрикнул свою тайну, вы-о-рал ее. Эту тайну никто не заметил. Эту «травму» никто не увидел.

Олеше было (мягко говоря) не по себе от расстрела царской семьи.

Почему?

Ведь он был влюблен во Французскую революцию и ее вождей. Он жалел Робеспьера, раненного в челюсть и вытирающего кровь кобурой пистолета, хотя Робеспьер был — цареубийца.

Олеша восторгался Наполеоном. Тем самым императором-якобинцем, что отрезал себе все пути общения с монархами, приказав расстрелять одного из возможных претендентов на королевский трон — герцога Энгийенского.

Значит, не цареубийство само по себе откинуло Олешу прочь от исполнителя приговора: «Как вы смели!»

Но Робеспьер — смел. И Наполеон — смел. Что-то другое. Что?

Подушки, которыми закрывались от пуль женщина, расстрелянный мальчик? Так?

Семен Липкин замечательно описал царя и наследника, приехавших в Одессу.

Наследник был слабый, маленький, хилый.

Его нес на руках ма... (см. выше).

Отец Семена Липкина (социал-демократ, рабочий и еврей) пожалел наследника. «Несчастный ребенок», — сказал тогда Израиль Липкинд, а Семен Израилевич это запомнил.

Вопрос заключается вот в чем: запомнил ли Юрий Карлович Олеша августейшее посещение его родного города?

Может, и запомнил. А может, и нет. Мы плохо знаем биографию Юрия Карловича.

Он был ненамного старше наследника. Об этом рассказано в его книге «Ни дня без строчки»: «О, какая сцена была в моем детстве!.. День обычный, не праздник. Почему же горит иллюминация? И тогда я, маленький мальчик, подхожу к городовому. Услышав мой вопрос, почему, собственно, иллюминация, городской прикладывает руку в белой перчатке к козырьку и говорит: „Наследник родился“. Парикмахерская на Успенской улице. Здесь как-то захолустно. Даже идешь к порогу по бульжникам, между которыми трава. Отец говорит парикмахеру, с которым у него какие-то неизвестные, но короткие отношения: „Подстригите наследника!“ Мне это тягостно слушать».

Он беседовал с царем России. И об этом рассказано в этой книге: «Я стал писать на языке, на котором писал Пушкин, на котором царь поздоровался со мной, сидя на лошади».

Но вот о том, видел ли Олеша здорового матроса, несшего маленького мальчика, и о том, знал ли он, как расстреливали этого мальчика и как горничная матери этого мальчика заслоняла себя от пуль подушками, — об этом мы не знаем и знать не можем.

И уж, конечно, мы не можем знать, как воспринял сообщение о казни царя молодой Олеша.

(Как воспринял это сообщение пожилой Олеша, мы знаем: «Хам! Помазанника Божьего!»)

Между прочим, кто главный герой «Трех толстяков»?

Гимнаст Тибул? Оружейник Просперо?

Нет, это идеологемы книги, не менее, но и не более. С тем же основанием в главные герои могут быть зачислены и сами три толстяка.

Доктор Гаспар Арнери? В большей степени, но не он.

Позвольте, с кем связана «интрига» авантюрного романа? Чья тайна раскрывается в конце романа?

Наследник Тутти!

Наследник Тутти и маленькая цирковая артистка Суок — вот главные герои авантюрного романа «Три толстяка»: тайна связана с ними.

Наследник Тутти — единственный из богачей, кого пощадил восставший народ.

Правда, в конце романа выясняется: он вовсе не «наследник». Три толстяка украли мальчика у бедной женщины, чтобы воспитать себе «достойную смену». (Олеша «переворачивает», изменяет давнюю, старую схему бульварных романов. В прежних книжках в бедной семье рос красивый и добрый мальчик, который оказывался наследником богатого и знатного рода. У Олеша наследник богатого и знатного рода оказывается плоть от плоти простого бедного народа. Революция! Переворот!)

Суок и Тутти — брат и сестра.

Почему Олеша не решился придумать такой вариант: Тутти и в самом деле наследник? Суок уводит его из мира «ликующих, праздну болтающих» в «стан погибающих за великое дело любви»? Когда Тутти и Суок вырастают, они становятся мужем и женой.

Почему Олеша отбросил такую возможность?

Причин много.

Одна из них — литературно-техническое идеологическое задание: написать советский авантюрный роман. В прежних романах главный интерес, заставка, тайна — происхождение главного героя. И в новом советском романе происхождение героя будет главной тайной. Но если в прежних романах счастьем было узнать, что ты на самом деле богат и знатен, то в новом романе — счастье узнать, что ты из бедных и незнатных.

Между прочим, вполне реалистическая ситуация. Сколько «наследников Тутти» било себя в грудь, объясняя и доказывая свое рабоче-крестьянское происхождение, в годы создания «Трех толстяков»? Если в прежние времена оказаться среди бедных было просто... ну... неприятно, то в новое время быть из знатных и богатых было смертельно опасно.

И это, кажется, главная причина.

Наследник Тутти не может быть наследником, потому что его в этом случае расстреляют.

Но это же... нельзя. Это — бесчеловечно. Он ведь маленький. Слабый. Он — мальчик... Отец был злодей, а дети — невинные.

Ему просто не повезло, что он — наследник. Если бы он не был наследником...

Вот то темное неосознанное, не осознаваемое, что заставило Олешу сделать главным героем своего романа о революции — наследника, который (слава Богу!) оказался вовсе не наследником, поэтому его не потребовалось убивать. Вот то неосознанное, невыговариваемое, что заставило Ивана Бабичева выкрикнуть: «Пули застревают в подушке».

С.-Петербург.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ТАТЬЯНА КАСАТКИНА



СВЕРСТНИКИ НОЯ

Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери,
Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они
красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал.
И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым
человеками; потому что они плоть; пусть будут дни их
сто двадцать лет.
И в то время были на земле исполины, особенно же с того
времени, как сыны Божии стали входить к дочерям челове-
ческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле
славные люди.
И увидел Господь, что велико развращение человеков на
земле... и восскорбел в сердце Своем.
И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, кото-
рых Я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц не-
бесных истреблю; ибо Я раскаялся, что создал их.

Быт. 6: 1 — 7.

Однажды в разговоре Юрий Малецкий произнес потрясшие меня слова: «Я иногда думаю: а что, если да, Христос приходил в мир и принес спасение всем и вся *там*, но я-то нахожусь совсем в другом мире, в котором я *знаю* о пришествии в мир Христа, но это не имеет ко мне никакого отношения».

Это предположение существования некоего «параллельного» мира, которому не дано было ничего, кроме знания о главном в мире событии, не уделено было ни капли милости и благодати — лишь знание, способное при определенных обстоятельствах скорее привести к отчаянию, было так очевидно ложно и вместе так болезненно искренно, что мимо всяких доводов убеждало в некой истине, скрывающейся за ним. И я стала искать его, этот мир.

А он не заставил себя долго звать, заклинать и упрасивать. Он хлынул на меня из стихотворения Лады Викторовой.

Скатерть

«Или, Или! Лама савахвани?»

Мф. 27: 46.

Из-под воды смотрю на солнце.
Прошли седые сорок дней —
И не колеблется оконце
Под молоточками дождей.

Покой лазурный, праздник неги —
Ни белой тучки, ни слезы.
К чему? Спасенные — в ковчеге.
Поверхность сгладила низы.

Чуть дрогнет кромка водяная,
Скребнет по яблокам глазным —
То Ной далекий, проплывая,
Мой взгляд последний занозил...

.....
 Земля — как будто стол накрыли:
 Для званных, избранных места...
 ...А нам, стоящим в донном иле, —
 Ждать воскресенья. И Христа.

И сразу стало ясно, что это он. Сохранивший надежду — у Лады Викторовой. С каким-то болезненным вывертом, в котором, как ни странно, звучали ноты отчаянного мужества, признававшийся себе, что надежды нет, — у Юрия Малецкого. Мир сверстников Ноя, глядящих на нас из-за кромки вечных вод.

А мы, его потомки, склоняясь над водами, видим лишь собственное отражение на их великолепной глади. «Зеркало вод» — кажется, самая расхожая метафора. Для нас — прозрачное зеркало, для них — мутное окно. Их мир скрыт от нас нашими же отражениями. Его как бы нет. Он выпал из истории, из поступательного хода человечества, из череды предков и потомков. Из череды тех, чьи кости покоились в земле (даже если — в земле рек или моря). Христос не нашел их в аду. Вечные воды замкнули их, ибо Господь захотел их уничтожить, и слеза Господня почилла на них. Слеза Мертвого моря, сокрывшего Содом и Гоморру. Слеза гнева и отречения от замкнувшихся в своей гордости и возгордившихся в своем разврате, не желавших обернуться на Божий призыв. Отвернувшись от Господа слеза подтвердила, запечатлела и запечатала их отврат (отворот).

Но сквозь мутное окно они видели Пришествие Христа.

«Потомки Каина» Николая Гумилева — это, может, уже мир, запечатанный Божией слезой.

Он не солгал нам, дух печально-строгий,
 Принявший имя утренней звезды,
 Когда сказал: «Не бойтесь вышней мзды,
 Вкусите плод и будете как боги».

Для юношей открылись все дороги,
 Для старцев — все запретные труды,
 Для девушек — янтарные плоды
 И белые, как снег, единороги.

Но почему мы клонимся без сил,
 Нам кажется, что кто-то нас забыл,
 Нам ясен ужас древнего соблазна,

Когда случайно чья-нибудь рука
 Две жердочки, две травки, два дровца
 Соединит на миг крестообразно?

Наши небесные окна для них недоступны. Лишь тени нашего мира сквозь муть, искаженные, иногда сказочно прекрасные, часто чудовишно смешные, видятся им за положенными им пределами и границами. Но они видят нас всех, предков и потомков, невидимые для нас. Мы обступаем их свернутый мир, в котором они знают о нас так же, как знают и о Христе, — без ожидания благодати, без ощущения милости. У них есть лишь знание — без причастности. Образы толпятся вокруг них, встречаясь вопреки нашим времени и пространству. Наш мир — их калейдоскоп. Детская игрушка. Нам смутно и глухо было сказано о них, и мы беспечно забыли и не вспоминали. Для нас нет их мира, закрытого (сокрытого) нашим отражением. Почему же мы тогда вдруг начали вспоминать о нем все чаще и чаще? Откуда нам знать о нем, замкнутом в себе? Замкнутом отражением?

И тут возникает неверная, невероятная, невозможная догадка. А что, если они — это мы?

Скажу осторожнее — для тех, кто сразу смело захочет отмежеваться: некоторые из нас. Знающие все образы, нас обступившие, знающие смысл каждо-

го из них — и не видящие в них смысла. Знающие до подробностей ход всех таинств и посвящений — и не видящие таинства и святости ни одной из подробностей. Слушающие, вслушивающиеся — иногда равнодушно, иногда страстно и отчаянно — и не желающие слышать. С «занозой во взгляде». С тысячью заноз в душе — иногда до степени запредельного торможения, амнезии и анестезии, то есть здоровым здоровьем проглотившего одно из нынешних обезболивающих. «Живите без боли».

Последний случай — очень распространенный, но не слишком-то интересный. О нем ясное представление могла бы дать разгоревшаяся пару лет назад полемика, суть которой сводилась к тому, могут ли произведения православного писателя анализироваться и интерпретироваться исследователем-атеистом. Спор шел, как некоторые наверняка помнят, о творчестве Гоголя.

Что говорить — конечно, могут. Могут анализироваться подробно, вьедливо и досконально. Но вряд ли могут адекватно интерпретироваться. Ибо сами точки, на которые устремлен взгляд писателя и читателя, в этом случае будут не просто различны, но взгляд и мысль писателя будут начинаться там, где взгляд исследователя обретет уже свое завершение, смысл и цель. На танец жрицы можно взглянуть и с эстетической точки зрения. И тогда можно будет похвалить плавность и соразмерность некоторых движений, удивиться странности и несоразмерности композиции, в ужасе и отвращении отвернуться от иных фигур (или найти и в них известную экспрессию — смотря какой эстетической системы будет придерживаться зритель). Но от такого наблюдателя ускользнет самое главное — точность и адекватность всякого движения как слова к богу (богине), — ускользнет не просто смысл речи, но самое понимание того, что это была речь — и речь не самодостаточная, но рассчитанная на ответ и отклик.

Можно очень подробно, точно и остроумно описать таинство как театральное действие. Можно даже приписать ему (или отыскать в нем) эстетические цель и смысл. Но речь уже будет идти о совсем другой вещи. Это будет взгляд инопланетянина — или современника Ноя, успокоенного в своем созерцании театра теней на воде. Но, повторяю, это не слишком интересный случай.

Есть тоскующие. Неведомо отчего, или — от странной вязкости среды, в которой приходится произносить слова, не слышные никому, кроме самого говорящего, как бы он ни надрывался. От странной замедленности жеста, вечно не поспевающего за желанием, от охватывающего спокойствия, которое впору перепутать с отчаянием. От сонной невозможности бежать на ватных ногах, от всегда слишком поздно приходящей догадки, что все опять упущено невосвратно. От непреодолимости чего-то, что нигде не обнаруживается, как реально противостоящее. От неосознаваемой памяти о том, что человеку свойственно жить в другой среде.

Рассказ Ларса Густафссона «Искусство пережить ноябрь»¹ дает точное представление об этом способе существования, об этом типе ощущения мира. Мира, лишённого сердцевины, лишённого души и загадки, чего-то самого главного, в чем и состояла суть, но что, определенно, мешало его эстетической «сохранности» и неуязвимости. То, как мир приводится в такое состояние, описывается автором в изящнейшей и кратчайшей притче, преподнесенной в качестве бытовой подробности:

«Она же (девушка, нигде не названная по имени. — Т. К.), во всяком случае во время отлива, станет бродить вдоль берега, отыскивая по дыхательным отверстиям в песке моллюска с изысканно-розовой изнутри раковинной, который называется *Concha purpuræa*.

Моллюска можно удалить из раковины, прокипятив ее в кастрюльке с водой.

¹ «Иностранная литература», 1995, № 9, стр. 159 — 167.

Она питала отвращение к этой процедуре и перепоручала ее ему; на кухонном столике уже лежало несколько раковин.

Их пурпурное нутро было похоже на ничего уже не стоящую, выданную тайну».

Это мир, «свободный» от жизни; оставшаяся от мира безопасная и стерильная форма, безликая и неагрессивная, типовая, не сулящая никаких неожиданностей, никаких тревог, успокоительная в своей безымянности и все же самой своей успокоительностью навевающая глухое беспокойство. Форма, на месте вываренного нутра которой образовалось затемнение — имитация индивидуальности, общая всем. Форма, будто воплощенная безымянной девушкой — героиней «романа» героя; «романа» так и не состоявшегося, несмотря на то что все необходимые внешние действия были совершены.

«Девушка без диалекта, без родины, и нет такой тропинки или такой горной гряды, которая была бы знакома ей лучше, чем другим. Она — порождение мира с перемешанной средой обитания, где один мотель похож на другой, а контора одного агентства неотличима от всех остальных.

Сколько таких контор она, наверное, успела сменить после колледжа!

Ему нравились такие девушки: когда сквозь всю эту безликость, сквозь запах „Нивей“, заменяющий диалект, сквозь знание правил поведения и равнодушное знание собственной роли — сквозь все эти знания, которые для человека прежних дней заменяло знание своего ландшафта, его хитросплетений и тайных свойств, когда сквозь все это тебе в них явится вдруг *темнота* — то единственное, что есть индивидуального в человеке, ты поразись тому несказанному теплу, той мудрости чувства, той глубокой интуиции в наслаждении, которой наделены такие девушки».

Смешно и страшно: *индивидуальность*, которой наделены *такие* девушки. Будто у героя уже и памяти нет, что внутри раковины было что-то живое — каждый раз особенное (эта особость — она удостоверяется смертью: черную темноту не убьешь, а лишь дышащую влажную плоть.. или душу?), — что-то присущее лишь одному-единственному, что и делало его (ее) незаменимым, ни с кем не смешиваемым, твоим единственным в мире. Что-то непроницаемое ни для чего, кроме любви.

Выхолощена, лишена сердцевины оказывается и общественная жизнь, а не только личная, интимная. «Швеция, — твердят некоторые его приятели, — Швеция сделалась страной, невыносимой для всякого, кто хоть что-нибудь может или хочет... Вся экономика и управление переходят в руки людей посредственных, серости. Те, что в пору нашей юности вполне довольствовались должностью на железной дороге, или заведовали детским садом, или пописывали стишки, сегодня возглавляют министерства или руководят целыми отраслями промышленности, убыточными и живущими на дотации. Таким образом, истинно интеллектуальная элита Швеции остается не у дел».

Но до тех пор, пока разложение не коснулось чего-то неопределимого, что может быть приблизительно названо возможностью контакта, герой все еще надеется на обновление и воскресение ядра мироздания, смысла мира, надеется как «сильный и славный» человек, смогуший восстановить этот смысл своими силами. «Мы превратимся в класс странствующих монахов, мыслителей, философов. Понимаете? У нас появятся сверхвозможности в области трансцендентного. И мы *выстроим храмы*, уж вы мне поверьте!»

Это «выстроим храмы» звучит угрожающе, почти как обещание новой Вавилонской башни, и недаром сразу вслед за процитированным «манифестом» следуют слова: «В те годы он мог показаться несколько чудным. Прошлой осенью с ним случилось то, что сам он называл „мой крах“». Как и в случае древнего Вавилона, «крах» оказывается «смешением языков» — то есть роковой невозможностью общения, внезапно почувствованной героем неодолимой преградой, разъединившей его даже с теми, с кем соединяют его теснейшие объятия.

И одиноким, неприкаянным курсивом, будто шальным ветром занесенным в этот текст «потока сознания», курсивом авторским, объективным, сообщается: *«Покуда стоял единственный в городе храм, вокруг которого осенние чайки рассеянно кружили перед отлетом».*

Заброшенный, одинокий храм, из которого ушли люди, чтобы строить с вои храмы, которые заведомо лишены тайны, как вываренная скорлупа моллюска; храм, хранящий душу вселенной и составляющий средоточие рассказа. Но так же, как рассказ описывает широкий круг, нигде не приближаясь к своему средоточию, так и вселенная, созданная в нем, заворачивается кольцом, никогда не возвращаясь к собственной душе.

О том, каким образом это возможно, автор сообщает во второй притче, включенной в маленький рассказ, — притче, содержащей жизнеописание короля Людвига II Баварского.

«— Год тысяча восемьсот шестьдесят шестой, — сказал профессор, несколько эксцентричный специалист в области общественных наук, приглашенный на эту осень читать курс лекций в Гарвард. — Год тысяча восемьсот шестьдесят шестой — это тяжелый и мрачный год в баварской истории. Проиграв войну Пруссии, Бавария утрачивает свое явное первенство среди германских государств.

Король Людвиг II, полностью утратив иллюзии насчет своей грядущей исторической миссии, лишенный дружбы Рихарда Вагнера, выдворенного из Мюнхена после скандальной истории с Козимой, женой капельмейстера фон Бюлова, полностью потеряв надежду на мало-мальски нормальную жизнь после того, как его помолвка была расторгнута, — король Людвиг II Баварский покидает свою столицу и заточает себя сперва в своем роскошном альпийском замке Линденхоф, а спустя несколько лет — в еще большем, еще пышнее и респектабельнее убранном Нойшванштайне.

Оба дворца примечательны, знаете ли, в том смысле, что они и не дома вовсе, в обычном понимании. Это *образы* домов, трехмерные фантазии на тему жизни, никогда и нигде не прожитой.

— Вроде Диснейленда?

— Да. Только всерьез. В этих замках не найдешь ни одной нормальной ванной, ни гардеробной, ни единого пригодного для топки камина.

Королевская спальня — парадная, отчасти в стиле Версаля, отчасти в духе испанских образцов романского стиля.

Вся нормальная жизнь, кухни, туалеты — все *закулисное* удалено в подвалы.

Со временем он заставил даже слуг ходить в масках; в Линденхофе его обеденный стол утапливается в пол кабинета при помощи специального устройства, едва трапеза окончена.

Остаются только зеркала, слоновая кость. Китайские вазы, взбирающиеся, словно альпинисты, по причудливым барочным полочкам под самый потолок, на котором ангелочки и putti неорафаэлитов гоняются друг за дружкой под сумрачным облаком.

Но главное, конечно, зеркала — зеркала, эти серебряные шедевры, зеркала, бесконечно продолжающие каждый покой, повторяющие и повторяющие лепнину и позолоту, и так до головокружения.

— Значит, у этого Людвига так никогда и не было шансов вернуться в собственную жизнь?..

— Да, он был заточен в *изображение* своего обихода, заточен внутри абстрактной идеи королевского замка, эдакого Версаля, эдакого двора короля Артура, и заточен навечно, без малейшего шанса стать когда-нибудь снова королем Людвигом.

Можно сказать, это король, вошедший в легенду лишь тем, что пытался стать кем-то другим, не собой.

— За одним исключением, если угодно: той темной и бурной ночи на берегу Штарнбергского озера, когда он, задушив своего лечащего психиатра, сам исчезает в волнах».

Здесь все связалось наконец: принесенная в жертву эстетике и стабильности формы живая жизнь, нутро, внутренность; попытка обрести личность путем раздувания затемнения, оставшегося на месте вытравленной жизни; бесконечное умножение кружного пути к себе посредством зеркал, лишающих последней возможности отыскать и обнаружить хоть какой-нибудь путь. И неизбежная, как рок, смерть в волнах — все в тех же волнах Вечных вод.

Король Людвиг — лишь зеркало для героев рассказа, каждый из которых попросту забыл, что человеку свойственно жить.

Жить, а не забываться в бумажных, без запаха, цветах чужих жизней, никогда никем не прожитых, эфемерных, но агрессивных; не зарываться в любовные романы в бумажной обложке, вампирически лишающие крови и плоти, а главное — чувства и подлинности настоящие романы своих читателей.

«В Джексоввилле он спокойно попрощался с американской девушкой, как только объявили ее самолет, и она весело помахала ему своей косметичкой и еще недочитанным романом в бумажной обложке *про страсть*.

Не удержавшись, он расхохотался — от некоей радости, что вот бывает же такое, — и легким шагом направился в бар заказать большую чашку кофе.

Еще осталось время позвонить домой и сказать, что, по его расчетам, он прилетит часов через восемнадцать.

Было ощущение, будто он пережил один из тех романов, что не смогли осуществиться просто потому, что, хотя имелись все необходимые ингредиенты, никто не посмел привести их в более тесное взаимодействие».

Однако некоторые ингредиенты просто не могут смешаться. Нет, это не тот случай, когда на память приходит расхожее сравнение с маслом и водой. Очень вероятно, что предназначенное для смешивания весьма однородно. Но содержимое как минимум одной стороны заключено в нерастворимую стеклянную капсулу, непроницаемую оболочку, только представляющуюся прозрачной. На самом деле она активна и избирательна. Укрупняя все т и п и ч е с к и е черты, она полностью стирает черты личностные. А возникающее на заднем плане затемнение герой и вовсе склонен отнестись на счет общечеловеческих свойств, смешивая здесь индивидуальное с чем-то вроде коллективного бессознательного: «Никто толком не знает, что такое человек... За спиной человека всегда остается сгусток темноты, настойчиво испускающий свои собственные сигналы, не адекватные ничему, чего можно было бы ожидать от самого человека». И рядом: «...*темнота* — то единственное, что есть индивидуального в человеке»². Итак, в качестве индивидуального в мире рассказа нам дано лишь то, что на деле является родовым и типическим.

Круг замкнулся. Вернее — замкнулась оболочка. Личность стала недостижима, подмененная индивидуальностью, которая ведь и есть не что иное, как набор ярких т и п и ч е с к и х свойств. Недаром у девушки нет имени. Она *девушка*, и везде называется именно так — в силу своей невыделенности из п о д о б н ы х. Она не просто включена в круг «таких девушек» (что было бы в то же время и формой «представительства» и в силу этого — некоторой исключительности среди других персонажей рассказа), но на заднем плане сознания героя, извлеченная из Аида запахом «Нивеи», мелькает другая тень («Много лет назад, помнится, одна девушка в Греции объясняла...»), и этого легчайшего намека на ряд и хоровод достаточно, чтобы перед нами предстал именно и только т и п.

² Для прояснения характера этой темноты хочется привести высказывание человека, глядящего на нее из того мира, которому были дарованы милость спасения, Воскресение и Жизнь: «Святость человека есть обнаружение в нем образа Божия. Из темноты психофизической личности человека начинает проступать светоносный образ Христов. Темнота даже у святейших людей не может до их смерти совершенно исчезнуть, но чем святее человек, тем ее меньше» (Фудель С. И. Наследство Достоевского. М., 1998, стр. 101 — 102). Вместо слова «личность» здесь лучше было бы — в соответствии с внутренним смыслом слова — употребить «индивидуальность», потому что лик, создающий личность, и есть отблеск образа Христова. Личность — то, что заслоняется от не имеющего любви *другого* темнотой психофизической индивидуальности.

Явленному нам Густафссоном «эстетическому» состоянию мира оказывается свойственна полная замкнутость отдельных форм, их полная взаимонепроницаемость. Их агрессивность направлена внутрь — на истребление личного, всегда стремящегося открыться навстречу другому личному, и на подстановку на место личного — индивидуального, успешно создающего имитацию загадки и тайны, только тайна здесь — средство утаить. Эстетика ведь и есть красота завершенности, красота холода и границы, красота типа, безличная красота. Бесчувственная красота — так сказала бы я, противореча, на первый взгляд, внутреннему смыслу и этимологии слова (греч. *aisthetikós* значит «способный чувствовать», «одаренный чувством», «чувствующий»); но ведь когда чувство, ощущение не ведет дальше — вглубь личности, к преодолению границ, но остается самодостаточным и самоценным, некоторым образом впервые эти границы и создавая, — именно тогда мы и говорим об «эстетизме» восприятия.

Но эстетизм, как было разъяснено Киркегором, — последняя ступень лестницы, ведущей к отчаянию, и отчаяние здесь — именно следствие того одиночества, которое создается непроницаемостью форм.

Человеку же свойственно жить в опасном и непредсказуемом мире, но при этом — именно в силу своей непредсказуемости — не лишаящем свободы, не заключающем в рамки предначертанной роли, функции, социальной ячейки, в рамки, делающие мир безопасным до стерильности, до стертости, до забвения имен, растворяющихся в социальных ролях; безопасным до бессилия, до дряхлости, до потери возможности не осуществить желаемое, но просто — пожелать. Жить в мире, где еще возможна встреча. Ведь в мире сверстников Ноя встреча невозможна.

Там каждый запутался и заблудился в кругах — узких, но отразившихся в бесконечных зеркалах и потому бесконечных, — кругах своей жизни, которая благодаря бесконечным отражениям уже перестала быть своей, но и не стала при этом ничьей иной, не получила возможности ни совпасть, ни даже хоть немного пройти рядом с чьей-нибудь еще жизнью. Только пересечешься на краткий миг — а за него даже имени не узнаешь, и послан он как будто лишь для того, чтобы вновь ошутить стекло, которое невозможно преодолеть.

Стекло, о которое уже не бьешься, как когда-то (смутно помнится, как бился, пытаюсь преодолеть, прорваться, — и отходил избитый и растерзанный — своим отражением), — нет, уже не бьешься, но лишь осторожно ощупываешь рукой, почти привыкнув, почти поверив, что так и надо, и только память о том, как пытался его пробить (или это был не ты?), приводит в смущение.

Но ты уже научился, и когда вокруг сгущается звенящий сухой холод или вязкая морось, ты думаешь, что это просто ноябрь, еще один ноябрь, который тоже нужно пережить, а это ведь целое искусство, и ты можешь гордиться, ведь ты уже скоро в совершенстве его освоишь. И мысль о том, что еще один человек прошел мимо тебя за толстым стеклом, уже не приводит в отчаяние, но приносит почти облегчение. Как облегчение приносит и мысль, что тебе уже совсем не хочется хоть чуть-чуть поколебать разделившую вас преграду.

Герой рассказа Ларса Густафссона «Искусство пережить ноябрь» точно знает, кто виноват в его тягучем одиночестве, таком тягостном и почти отчаянно легком — как бег ранним утром после измучившей бессонницей ночи.

«Всему виной была его жена, то и дело обезоруживавшая его своим ироническим отношением. Светловолосая, бледная, решительная, всегда бесстрастно занятая чем-то другим. Превосходная наездница; ее каскетки, отделанные черным бархатом, таким нежным на ощупь, лежат высоко на полке в передней. В спальне в шкафу висят диковинного покроя брюки для верховой езды, от них сладковато пахнет опилками и лошадью. Сам он вообще-то заслуживает, чтобы к нему относились без иронии».

Ирония — все та же темнота, образовавшаяся на месте тепла и жизни, темнота, заполняющая разрыв; пластырь на рану, облегчающий боль и в то же время не дающий ране затянуться; способ избежать прикосновения, которое

все еще жжет. «Дома никого; он уселся у кухонного окна, чтобы быть как можно заметнее с дороги: если жена вернется не одна, у нее будет возможность сразу же увидеть его и избежать неудобных неожиданностей».

Ирония — заслон от банальности, а банально на свете только одно: жизнь в процессе ее умерщвления — или эстетизации; просто жизнь с точки зрения эстетизма; жизнь, когда исчезает любовь и надо «держаться лицо», когда выварено нутро и осталась одна раковина, форма: правила поведения, знание роли, приличий, нравственность. Твердая форма, за которую нужно держаться изо всех сил, чтобы не упасть, — потому что сил, чтобы подняться, взять неоткуда. «Заснуть было абсолютно невозможно. Что-то ныло в области диафрагмы, не обычное голодное подсасывание, а нечто другое, нет, не плач, плакать было бы ребячеством, скорее плач в его твердой, кристаллической форме. Чувства имеют свойство становиться банальными, едва прорвавшись наружу».

Исчезнувшая любовь и сохраненная форма — это и есть одиночество.

И в это тягостное и непереносимое, тысячу раз клятое тобой одиночество ты заворачиваешься, как в плащ, ставший от долгой носки почти продолжением тебя самого, потому что ты хочешь укрыться, что-то в тебе хочет укрыться, затвориться, остаться лишь для себя, урвать хоть малый кусочек из разбазариваемой при других («на других», «для других» — это ведь лишь себялюбивое заблуждение) жизни, прожить ее во тьме и укромности, и этой маленькой, лелеемой тобой же самим тьмы хватает с избытком, чтобы залить, затопить все вокруг и уже не позволить тебе вырваться за ее пределы, ни отдать, ни преломить, ни поделиться. Ибо что стоит «последний» преломленный хлеб, если, прежде чем его преломить, ты спрятал другой кусок у себя на груди? Если это милостыня — незачем прятать: подай и пройди мимо. И волны не всколыхнутся между вами, и не поколеблется стекло вод. Но ты разломил братскую трапезу пополам, ты принял встречно протянутую тебе половину. Какой же ложью полны ваши сердца и как ядовит ваш хлеб, когда ты хочешь купить брата дешево, не заплатив всем собою? Сокрытое и неразделенное встанет между вами стеной, утаенное броней оденет твое сердце. О, ты не просто сохранишь свою тьму — она покроет тебя и завладеет тобой. Ты хотел лишь нырнуть, чтобы скрыться на миг, и вот ты уже заложник Вечных Вод.

Там, там, в сером тягучем мареве, не понимая еще до конца, что случилось (только чувствуя, что вместо любви придется отыскать что-то другое, а что можно отыскать вместо любви?), и бродят безымянные герои рассказа.

Безымянность — вот имя вод, укрывающих от Бога сверстников Ноя. Незнаванность лиц и вещей, поступков и грехов. Незнаванность — почти несуществование. Ибо Словом творился мир, и забвение имен, неназывание слов застилает реальность пеленой, укрывает их от света, но укрыться от Света можно только в небытии. Каждое «смягчение» именованья — попытка укрыться и медленное погружение в небытие. Кажется, именно здесь лучше всего видно, что религия есть принципиально иное, чем нравственность. Нравственность предписывает не падать. Религия, зная, что падают все, что все уже пали в начале времен, учит, как вставать. Как вставать, называя врага — грех — по имени. Точно назвав грех, посмотрев ему в лицо, человек обретает силу быть собой. Нравственность, уча падшего, как не пасть, не может учить ничему иному, как неименованию или переименованию греха³. Основываясь лишь на себе самой, нравственность начинает называть предательство нерешительностью и непоследовательностью, двоедушие — сложностью и неоднозначностью характера, лживость — осмотрительностью, блуд — любовью. И как только такая подмена произошла, дешевые романы в бумажной обложке неизбежно сделаются привлекательнее

³ Можно сказать, что это уже область «приличий», «манер», но сами «приличия» — это все та же увядающая нравственность.

жизни, как скоро — это лишь вопрос времени. Мы сейчас стремительно приближаемся к тому состоянию мира, которое с такой выношенной болью описано Густафссоном.

Нравственность гуманистична⁴, то есть гомоцентрична, ибо она — секуляризованные следствия, выводимые из посылок религиозного мирозерцания (она и умирает — медленно, и все же быстро; незаметно — и поражающе внезапно: как любой срезанный цветок). Для нее человек — мера всех вещей, а значит, для человека нет меры и все «человеческое» получает равное оправдание. Сначала — равное, а потом потакание себе, своей слабости, своей самости, и становится тем, что имеется в виду, когда говорят: «Это так по-человечески понятно...» А преодоление своей слабости и самости становится уже чем-то пугающе «нечеловеческим». И даже понимание слабости как слабости вызывает протест — ибо называние греха начинает восприниматься как осуждение. Ведь нравственность — предполагая, что падать неприлично и не принято, — может лишь осудить упавшего или, лучше, «гуманно» не заметить его падения. Осуждать кого-то ведь тоже безнравственно... И грех становится «должным», и слабостью начинают называть преодоление себя, а силой — присвоение себе, и человек становится настолько велик, насколько он смог захватить и присвоить. «И в то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди».

Если мы опираемся на гуманность и нравственность, мы можем только отрешенно знать о существовании мира, где упавшие встают, опираясь друг на друга, и поддерживают друг друга, чтобы не упасть вновь, где называют свое падение падением и льют светлые слезы радости, называя свой грех по имени («грубо» — сказали бы гуманные люди).

Мы можем только знать, что за тяжестью серых вод, за вечной моросью суеты, за волнами отупляющей музыки, ругани, лести, привычной неискренности, пошлости, мелочности, маленьких предательств и робких измен — за всем, что делает человека одним в этом мире, разливаясь между ним и другими неодолимой преградой лжи, вязкой и засасывающей, за всей этой болотной грязью и тиной есть воздух, и свет, и радость, и преданность, и честь, и любовь, и Любовь, и Свет... Бог. Есть. Но только это не имеет к нам никакого отношения.

⁴ Слово это — производное не от «гуманность» (которое можно было бы считать синонимом русского «человечность»), но от «гуманизм». А гуманизм — это в самом лучшем случае выдвигание на первый план *второй* заповеди христианства. (То есть «возлюби ближнего твоего как самого себя», забыв о том, что раньше — «возлюби Бога твоего *больше* самого себя».) Вторая заповедь хороша на своем месте и, естественно, на своем месте — необходима.



РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

ПОЧТАЛЬОН, ИЛИ ПЕССИМИЗМ

Анатолий Гаврилов. К приезду Н. Рассказы. М., Библиотека журнала «Соло»; «Аюрведа», 1997, 148 стр.

Все, кто пишут о нем, непременно пишут, что он почтальон. «Анатолий Гаврилов живет во Владимире. Служит доставщиком телеграмм. В столице бывает редко, в литературной жизни практически никак не участвует»¹. Ну да, почтальон. Редко. Не участвует. Дебютировал в саратовском журнале «Волга» в 1989 году со срока двух лет. Первая книга — «В преддверии новой жизни» (М., 1990); вторая — «Старуха и дурачок» (Владимир, 1992), третья лежит передо мной.

О первой писал Владимир Потапов в «Новом мире» (1991, № 7), вторая, владимирская, прошла как-то по касательной, третья вызвала обвал откликов². Но, собственно, все существенное — *провинциальная безнадега и художественная аскеза* — было схвачено и сформулировано уже Владимиром Потаповым. А именно: что ни герой, то неудачник, и неудачник безнадежный. Персонажи не просто периферийные, но, по сути, *обочинные* жители. Сегодня уже трудно было бы удержаться от расхожего «маргиналы», но лучше удержаться, поскольку героев этих, как выразился критик, не то что легион, а — *регион*.

Место действия — «города не города, поселки не поселки (но уж точно не деревня), какое-то выморочное пространство, какая-то бесконечная полоса отчуждения при металлургическом комбинате, известковом ли карьере...». К тому же: *географический фатализм*, безвыездность, безвыходность. Лежал, стонал, накрылся одеялом с головой, уснул. Завтра снова белая пыль, соседи, ржавые камыши, мальчик с палкой в руках преследует облезлую кошку. Сейчас здесь не осталось никого, к кому можно пойти, я и не хожу. В тумбочке пистолет, черный, пластмассовый. Убейте меня. У-у-у...

Да, провинция, но само по себе это слово ничего не объясняет. Как будто в столицах *они* жили бы иначе. Они — это те, кому нельзя помочь. Нельзя — и почему-то не хочется. («Единственные их враги, объект лютой ненависти — те, кто выдергивает из болотной тьмы провинциальной жизни: единственные враги», — считает рецензент Аркадий Котылев.)

Хрестоматийное блоковское «над всем, чему нельзя помочь», я поставил бы общим эпиграфом сразу к трем почти совпадающим по составу книгам. Вот характерная гавриловская фраза: «От случайной связи с запойным скотником у нее родилась немая девочка» («Над обрывом»), которую автор мог бы печатать как самостоятельный рассказ, ибо тут квинтэссенция его прозы. В одной фразе — весь мир. Противостоящий не только советскому, если кто еще помнит, плакату с тем же, допустим, трезвым скотником и поющей от счастья девочкой, но и любому *прогрессивному* прожекту переустройства жизни.

И странное дело: тоскливо, а никого не жаль. Почему? Вместо *оброка нормативной гуманности* Гаврилов принимает *обет лаконизма*, объяснял Владимир Потапов. Допустим. И, таким образом, «книга о всеобъемлющем жизненном поражении становится книгой о столь же полной победе творческого начала. Этот момент трансформации энергии, это парадоксальное состояние и есть то, что вот уже две с лишком тысячи лет с легкой руки Аристотеля именуется катарсисом. И там, где

¹ Котылев Аркадий. Борис Виан звонит дважды. — «Ex libris НГ», 1997, № 18, ноябрь, стр. 2.

² Даже лирических: «При чтении отрывками можно найти много забавного, при чтении подряд над душой собираются тучи. Да, человек безнадежно несчастен в круглейшем из миров, но сколько в клубящемся мраке любопытных подробностей!» (Вячеслав Курицын — «Русский Телеграф», 1998, № 29, 20 февраля, стр. 10).

Гаврилову удастся загнать свое ритмическое „камлание” в конструкцию, композиционно разыграть, возникают маленькие по размеру шедевры» (Игорь Клех)³.

Маленькие, да. В последней, самой представительной, книге их 52 (пятьдесят две) штуки на 141 (ста сорока одной) странице, то есть в среднем по 2,7 (две и семь десятых) страницы.

Вот как начинается рассказ «Капуста» (из книги «Старуха и дурачок»):

«— Подъем! — крикнул старик. — Arbeiten! Arbeiten, Schwein!

(Плен в четырнадцатом, оккупация в сорок первом.)

Быстро оделся, вышел.

В черном небе догорали осенние звезды, а в черном огороде стояла крупная и крепкая в этом году капуста.

„Мировой товар, с таким на базаре не застоишься!” — подумал старик, помогился в хризантемы и крикнул в дверь:

— Шевелись! Выходи! Schnell!..»

Что это? То ли Василий Шукшин, то ли Василь Быков, но в конспекте. Кстати, процитировал я чуть ли не половину рассказа. Анатолий Гаврилов — тот редкий случай, когда для не читавших можно процитировать и целый рассказ. Скажем, такой — с сакраментальным названием «Что делать?»:

«Да, скоро все кончится: и диван, и газеты, и телевизор, и часы, и телефон, и потолок, и стены, и окно... Ничего не попишешь — пора. Закон отрицания отрицания, закон перехода количества в качество...

Свезут на кладбище, где завод и свинарник, и все, конец.

А все друзья, жена, родственники — на старом кладбище, где благородство вековой зелени, мрамора, тишины...

Не успел на старое, опоздал...

Конечно, там еще хоронят, но кто походатайствует за одинокого старика?

Ни особых заслуг, ни блата...

Придется тащиться на новое...

Телефона там, конечно, нет... в гости никто не придет...

Дым завода и рев голодных свиней...

И этот Иисус, если он существует, вряд ли туда придет... не захочет тащиться...

Все встанут, а мы будем заседать в каком-нибудь могилкоме...

Пусть себе заседают, скажет он, не буду отрывать их от важных дел.

А вдруг он придет и спросит с усмешкой: ну, как вы тут заседаете? По какому принципу определяете праведных и грешных? Как тут у вас относительно законов отрицания, перехода количества в качество, борьбы и единства противоположностей?

Может, отказаться от всех этих законов?

Может, еще не поздно?

Но что в них плохого, несправедливого?

А вдруг ему эти законы не нравятся? А вдруг он спросит: зачем не отрекся от того, в чем сам ничего не смыслил да еще и другим навязывал?

Да я и не навязывал их никому... Только однажды в споре с Пашпадуровым на философские темы я прибегнул к помощи этих законов и выиграл спор...

А вдруг он спросит: зачем же было отрекаться уже в конце?

А вдруг его нет? А вдруг он есть?

Нет доказательств, что он есть, но и доказательств, что его нет, тоже нет...

Поголок...

Мухи...

Что делать?»

Вот и всё, рассказ окончен, le roman est mort. Поясню. У Толстого — «Война и мир» и «Кавказский пленник», у Солженицына — «Архипелаг ГУЛАГ» и «Крохотки», у Астафьева — «Прокляты и убиты» и «Затеси», у Бондарева не только романы, но и «Мгновения», у Шукшина не только рассказы про чудиков, но и роман про Степана Разина — словом, малая форма дополняет большую.

³ Клех Игорь. Чистый бриллиант «мутной воды». — «Знамя», 1998, № 2, стр. 219.

Даже у Добычина (сравнение с Добычиным тут неизбежно, и не только потому, что название рецензируемой книги рифмуется с добычинским «Городом Эн»), — так вот, даже у Добычина кроме ма-а-аленьких рассказов есть свой ма-а-аленький, но — роман. А у Гаврилова нет и не предвидится. Даже когда в выходных данных одной из его книг вдруг мелькает слово «повесть» («рассказы и повесть»), это воспринимается как недоразумение, а когда появляется сама, нет, не повесть, а нечто вроде (скажем, «Элегия»), ничего, кроме разочарования, это не приносит.

Лаконичная проза Анатолия Гаврилова жива внутренней полемикой с самой возможностью романа, но не только. «На мой взгляд, правомерно лишь деление на прозу большую и прозу малую», — считает букеровский лауреат Андрей Сергеев, объясняя присуждение ему специфически романной премии за мемуарный *не* роман «Альбом для марок»: не роман, зато большой. Так вот, у Анатолия Гаврилова малая форма не дополняет, а полемически отрицает *всякую* большую форму (поэтому он никогда не получил Большого Букера, разве что Малого).

Представим себе: обычный лист бумаги, начинаем складывать его — сначала вдвое, потом еще вдвое. Бумага у нас в руках делается все меньше, но не исчезает, а сворачивается. Еще — вдвое. И — с усилием — еще раз. И вот мы держим совсем небольшой комочек, но в нем содержится весь большой лист, его можно опять развернуть. И кажется, но только кажется, что свои *крохотулечки* Гаврилов мог бы, приди ему в голову такая дикая блажь, развернуть обратно — сначала до большого рассказа, потом до повести, до романа... Нет, не получается.

Для Гаврилова роман не *умер*, он еще и не появлялся на свет, и проза пишется как стихи — центростремительно, не оборачиваясь при этом пресловутым «стихотворением в прозе». Все лишнее, необязательное отсечено беспощадно, настолько беспощадно, что наводит на мысль не о светлой аскезе, а о мрачном садизме. (Ну почему, почему фигура *почтальона* ассоциируется у меня не с почтальоном Печкиным из деревни Простоквашино, а с одержимыми персонажами американского жанрового кино про серийных убийц?!) Многие гавриловские миниатюры кажутся совершенными, но совершенство их иллюзорно, поскольку в них, выражаясь высоким штилем, попораны имманентные законы художественного повествования, попораны мастерски и неизвестно зачем. (Скаламбурю: *из любви к искусству*.)

Поэтому «маленькие шедевры» Анатолия Гаврилова никогда не станут, так сказать, народным чтением, как стали, хотя бы на время, рассказы Шукшина и как *не* стали отличные толстовские рассказы для народной азбуки, — простору нет, размаху... Так что Игорь Клех напрасно поминал Аристотеля: катарсису в рассказах Гаврилова буквально нет места.

Мораль: в прозе «лишнее» — обязательно, «необязательное» — необходимо.

«Воды, — кричу я вечным зовом, — воды!..»

«Русский лес», где же ты?..

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ.

*

БЕЛЫЙ ГАЙДАР

Игорь Гергенредер. Комбинации против Хода Истории. Повести. Berlin — Brandenburg, Verl. Thomas Beckmann, 1997, 286 стр.

— **П**апка, — усаживаясь мне на живот, попросила Светлана, — расскажи что-нибудь про маму. Ну, например, как все было, когда меня еще не было...

— Было тогда нашей Марусе семнадцать лет. Напали на их городок белые, схватили они Марусиною отца и посадили его в тюрьму. А матери у ней давно уже не было, и осталась наша Маруся совсем одна.

— Что-то ее жалко становится, — подвигаясь поближе, вставила Светлана. — Ну, рассказывай дальше.

— *Накинула Маруся платок и выбежала на улицу. А на улице белые солдаты ведут в тюрьму и рабочих и работниц. А буржуи, конечно, белым рады, и всюду в ихних домах горят огни, играет музыка. И некуда нашей Марусе пойти, и некому рассказать ей...*

— *Что-то уже совсем жалко, — нетерпеливо перебила Светлана. — Ты, папка, до красных скорее рассказывай...*

Аркадий Гайдар, «Голубая Чашка».

Перед воротами купца Ваксова волновалась толпа. Из дома донесся выстрел, теперь долетали женские крики. Дюжина красногвардейцев с винтовками в руках топталась у приоткрытых ворот. Здесь же стояла бурая лошадь Пудовочкина.

Он вышел на крыльцо; фуражка набекрень на белокурых кудрях. Застегнул казак на крючки, подтянул пояс, поправил винтовку за спиной. Балетной побежкой пронесся к воротам. Сидя в седле, помахал толпе рукой, дурашливо крикнул:

— Поздравляю с громом «Грозы»! — простецки рассмеялся. — «Гроза» — мой отряд! — И ускакал.

Красногвардейцы пошли в дом купца грабить. А люди узнали, что Пудовочкин изнасиловал дочку Ваксова, гимназистку пятнадцати лет, а защищавшего ее отца застрелил...

Игорь Гергенредер, «Комбинации против Хода Истории».

Но что самое поразительное — оба отрывка абсолютно правдивы. Правдивы не оттого, что в точности передают исторические факты (кто их сейчас проверит на уровне малых российских городков, с их рабочими и работницами, купцами и мещанами, попавшими в водоворот Гражданской войны?), но прежде всего оттого, что оба талантливо написаны.

Манеры разные. Гайдаровская — приподнятая, романтическая, с легкой поволокой в глазах. Гергенредеровская — сухая, жестковатая, с едва заметной иронией. Балетная походочка красного главаря, как и его опереточная фамилия, выдают влияние позднейших прочтений. Ну, хотя бы бунинских «Окаянных дней», которые истинный рассказчик, отец Игоря Гергенредера, бывший гимназист из города Кузнецка, доброволец антибольшевистской Народной Армии Комуча (Комитета членов Учредительного собрания), прошедший «грустный путь отступления от Волги до Ангары», затем отработавший несколько лет в одном из самых первых советских концлагерей и позже «в так называемой Трудармии», а затем до конца дней проживший в роли «незаметного советского обывателя» (из послесловия автора), разумеется, едва ли читал.

Но что еще поразительней — и факты меж собой не спорят. Огни и музыка в домах буржуев? Будьте любезны! Шагают из Оренбурга в заснеженные степи отряды наспех одетых и вооруженных юнцов... В прошлом мальчишки стреляли разве что из детских монтекристо да тайком из отцовских охотничьих ружей. Шагают, чтоб сгинуть за свою «белую Россию».

«Проходим Неплюевской улицей. Горят окна ресторана гостиницы „Биржевая“, доносятся звуки оркестра. Из распахнутых дверей вываливаются господа в одних сюртуках, хватают пригоршнями снег с сугробов, прикладывают к багровым лицам. От съеденного и выпитого им так жарко, что надобно взбодриться... Один из гуляк кричит нам: — Ребятюшки-земляки, самарские есть? Какой полк? Победа будет?»

И это не красный Гайдар пишет. Это отец Игоря Гергенредера вспоминает о своей обиде. О том, что, когда он со своими сверстниками замерзал насмерть в снежном окопе под непрерывным артобстрелом, какая-то сволочь пила и жрала за их спинами и хотя и не насиловала, но таскала-таки гимназисточек в номера. И во всем этом было не меньше препохабнейших оперы и балета, чем в «геройстве» красного атамана Пудовочкина. Кому война, а кому мать родна...

Вот странно: я читал прекрасно и благородно написанные повести Игоря Гергенредера, много раз восхищался его способностью «держат» интонацию, схватывать и передавать через зримые жесты и детали мгновенные изменения души и психики (честно сказать, давно не читал такой вкусной и «вещной» прозы!) — и все-таки мне постоянно чего-то недоставало... Уж слишком банальна главная идея.

Уж слишком она на поверхности! «Береги честь смолоду!» Это «переходящее знамя» русской прозы от Пушкина через Булгакова берется здесь чистыми и крепкими руками. И бесконечно жалко белых юношей-добровольцев, лезущих в самое пекло страшной гражданской бойни, да еще и вполне по-гайдаровски переживающих, что этого самого пекла на их долю мало достанется! И гордо за этот цвет русской нации, который хотя и осыпается на страницах книги столь катастрофически, но — каким пышным и красивым дождем! И охотно забываешь о том, что все это, в сущности, было не так... Что вовсе не гордость и благородство определяли это время, но смерть, голод и паника, справиться с которыми может только *Его Величество Террор*, по крайней мере вгоняющий абсурд в видимые и всем понятные логические перспективы. Что в результате той кровавой и ничем не оправдываемой бойни не белое и не красное солнце взошли над Россией, но черное, которое и видел донской казак Мелехов...

Однако искусство имеет право на идеализацию любого, даже *такого*, исторического материала. И это вовсе не говорит о его вневременной природе, но только о том, что искусство не равно жизни. Оно лишь наше представление о ней. И если представление о ней чище, благородней и нравственной самой жизни, значит, человечество еще не до конца пало. Здесь, и только здесь, точка примирения Гайдара и Гергенредера. Хотя отец второго был жертвой красного террора, а первый сам расстреливал безвинных хакасов, о чем не так давно и без пощады к имени любимого мной писателя рассказал (или напомнил!) покойный Солоухин.

Понимая все это, я все-таки чувствовал в книге Игоря Гергенредера какую-то «недостаточность»: эпоха Гражданской слишком испахана нашей литературой вдоль и поперек, чтобы сказать о ней свое слово. И вот это слово неожиданно само и, быть может, без ведома автора сказало в послесловии. В вышецитированной строке о поздней судьбе отца. После лагеря стал *незаметным советским обывателем*.

Стоп! Так вот куда, в частности, опадал цвет русской нации! Что мы знаем об этом? Мы знаем о судьбе «корня» (крестьянство). Об этом есть целая прекрасная литература («деревенщики»). Мы теперь знаем и о судьбе «цвета», но только о самых ярких и заметных его бутонах. Мы примерно знаем, как пропадала (и как благоустраивалась) русская интеллигенция в парижках и нью-йорках. Мы кое-что знаем, как погибала (и как приспособливалась) она дома в тяжелые времена. Но все это имена «штучные», выборочные. А вот что было с теми, кто не попал в калашный ряд? И опять же — о том, что было с теми за рубежом, мы знаем хотя бы по биографии Гайто Газданова, чуть не оставленного судьбой навеки в ночных таксистах. Но — что знаем о жизни *незаметного советского обывателя из белых добровольцев*?

А ведь едва ли пример отца Игоря Гергенредера единичный. Не на всех хватило крымских пароходов до Константинополя, не все оказались по ту сторону трапа во Владивостоке, чтоб проснуться в Китае или Америке. И — что самое важное! — не все они хотели оставить Родину. Гергенредер так и пишет об отце: «Судьба послала ему возможность уехать в Америку. Но он ею не воспользовался». Воевал дальше, с последними остатками разгромленных белых. Честно отработал свое в Трудармии (так или иначе, но для взявшей верх советской системы он был политическим врагом). Честно работал (служил?) в Брянске, тщательно скрывая свое прошлое и тайно рассказывая сыну, советскому школьнику, свое «непридуманное». Я намеренно акцентирую слово «честно», вполне понимая, как странно оно звучит в некоторых контекстах. Потому что, на мой взгляд, именно оно определяет главный вектор этой судьбы, которую Игорь Гергенредер лишь обозначает и не развивает.

Мне же важно развитие. Ибо о доблести белых воинов из вчерашних кадетов и гимназистов я кое-что читывал. Слеза на этой могиле проронена. Но кто проронит слезу на могиле *незаметного советского обывателя* с дооктябрьским детством, ставшего — вольно или против воли — сперва плотью, а затем почвой Советской России — вовсе не сочиненной страны, о которой мы, дети ее, оказывается, ни черта не знаем!

Павел БАСИНСКИЙ.



«И СМЕРТЬ, И ЖИЗНЬ, И ПРАВДА БЕЗ ПОКРОВА...»

Летопись жизни и творчества Е. А. Боратынского. Составитель А. М. Песков. М., «Новое литературное обозрение», 1998, 496 стр.

С обложки смотрят всегда, кажется, грустные и задумчивые глаза Евгения Абрамовича Боратынского: на сероватом коленкоре Боратынский в детстве, в 1820-е годы, в начале 1830-х, вот его дом в Муранове, а вот памятник на могиле на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге...

В последние годы наше внимание во многом было занято открытием тех пластов культуры, которые прежде по различным причинам были достоянием спецхрана, сам- и тамиздата и частных потаенных архивов. Это коснулось в первую очередь истории и словесности XX века, но не только: история православной церкви, история русского масонства XVIII — XIX веков и многое, многое другое стало приковывать наши интересы, до сей поры сильно обезвоженные идеологическими запретами. При этом из прежней, «классической» модели культуры выпали те ее представители, те имена, которых принято относить ко «второму ряду». Не то чтоб они совсем забыты, но все же издателем и, по всей видимости, исследователям и читателям не до них. Потому непросто выпустить в свет даже книгу стихотворений Боратынского, не говоря уже о сочинениях Василия Львовича Пушкина. Летопись, составленная А. М. Песковым, доказывает, что забвению этого рода можно и нужно противостоять.

Его предыдущий труд, посвященный Боратынскому, вышел в 1990 году в издательстве «Книга», в серии «Писатели о писателях». Сочинение «Боратынский. Истинная повесть» охватывало первую часть жизни поэта — двадцать шесть лет из сорока четырех, — и, что весьма примечательно, в нем научное исследование соседствовало с литературной игрой, стилизацией и вымыслом. Вымышленные сцены — а что они таковы, автор «истинной повести» ни в коей мере не скрывал — вкраплялись в книгу там, где действительная жизнь героев не оставила о себе свидетельств и документов.

Книга, появившаяся через восемь лет, принадлежит к совершенно иному жанру. Здесь невозможно восполнение отсутствующих фактов выдуманными. Как жанр научно-литературный, летопись требует фиксации с максимально возможной полнотой всех данных биографии писателя, иначе говоря, в ней должен быть отражен перечень его произведений и переписки, события жизни, публикации и издания его сочинений, прижизненная критика, отзывы о нем и его трудах в печати, письмах и воспоминаниях современников.

В летописи, составленной А. М. Песковым, 1400 дат. При этом если по сложившейся традиции в «летописи жизни и творчества» какого-либо литератора дается лишь краткий пересказ содержания его писем, то здесь все письма Боратынского напечатаны полностью¹. Некоторые из них (25 из 307) не были известны ранее, текст других проверен по автографам. Те, что написаны по-французски (а таковых, естественно, немало), даются только в русском переводе; однако письма, вводимые впервые в научный оборот, публикуются полностью на языке оригинала — по-французски, — с приложением перевода.

Сами переводы выполнены очень хорошо (составителем летописи и его сотрудниками Е. Э. Ляминой, В. А. Мильчиной и Ю. А. Песковой), стилистически они, насколько это возможно, приближены к русскому эпистолярному Боратынского. Среди писем, адресованных поэту, также есть печатающиеся впервые. В обширном приложении к книге (здесь и родословная Боратынского, и заметка «О правописании фамилии поэта», и многое подобное) помещен перечень публикуемых писем как самого Боратынского, так и к нему. Так что летопись представляет собой

¹ Существенно также, что в летопись не вошли шесть писем, прежде считавшихся текстами Боратынского. Аргументы составителя заставляют усомниться в их авторстве (среди них — записка к А. С. Пушкину, 1822 (1823?) года и письмо 1825 года к И. И. Козлову).

не только путеводитель по трудам и дням писателя, но и самое на сегодняшний день полное и авторитетное издание его эпистолярного наследия. Добавим, что Боратынский обычно не ставил на письмах дат; составителю зачастую приходилось датировать их по содержанию, и многие датировки, принятые в прежних эпистолярных подборках, им пересмотрены. Понятно, что подобная работа с письмами, как и вся кропотливая реконструкция биографии главного героя, была возможна только при свободном владении материалами первой половины XIX века, источниками самого различного свойства — от устава Пажеского корпуса или истории лейб-гвардии Егерского полка до бесчисленных архивных документов. Более половины дат, составивших летопись, — либо уточненные (включая время написания произведений Боратынского), либо впервые введенные в научный оборот.

Письма, пространные пояснения составителя и предваряющая книгу статья «Взгляд на жизнь и сочинения Боратынского» позволяют видеть в ней нечто большее, чем собственно летопись: благодаря этому наполнению она становится интересным чтением не только для специалистов-филологов, но и для всех, любящих русскую культуру золотого века. Жизнь Боратынского была связана со многими значительными фигурами современной ему эпохи — с П. А. Вяземским, А. А. Дельвигом, В. А. Жуковским, И. В. Киреевским, А. С. Пушкиным, К. Ф. Рылеевым, Н. М. Языковым и другими. Все документально подтверждаемые случаи общения с ними нашли отражение в книге, при необходимости объясняется характер их отношений, причины размолвок.

С другой стороны, летопись весьма любопытна в качестве материала для психологических наблюдений. Это открытая книга жизни, повествующая о том, как человек, проходя испытания, не раз отказываясь от самого дорогого, становится самим собой — великим поэтом.

Мальчик, родившийся 19 февраля 1800 года, первенец в семье, рос окруженный лаской и вниманием, как «нежная веточка» любви (по выражению одного из его ближайших родственников) своих родителей — Абрама Андреевича и Александры Федоровны Боратынских. В четыре года Евгений, по-домашнему Бубинька, уже читал по-французски, через год умел писать и по-русски, и по-французски. Ранними успехами в учении он был обязан матери, с которой с детских лет привык общаться как с близким, душевным собеседником. Кроме скоропостижной смерти отца, ничто не омрачало детства Боратынского. Все обещало в нем счастливого баловня судьбы...

Но с 1812 года на страницах летописи появляются слова «Пажеский корпус», которые становятся для главного героя все менее и менее радостными. А в 1816 году значит: «кража 500 рублей и табакерки», «исключение из Пажеского корпуса без права вступать в какую-либо службу, кроме солдатской», — отныне паж, ученик аристократического придворного пансиона превращается в лицо, которое, не будучи формально лишено дворянства, не сможет официально подтвердить свои дворянские права и будет полностью зависеть от монаршего прощения. Рядовой гвардии с 1818 года, он только через семь лет получит офицерское звание, и лишь случившаяся вскоре смерть Александра I откроет ему путь к отставке.

А дальше... За исключением нервного расстройства маменьки («мать полоумная», — пишет Д. В. Давыдов), будущее, кажется, сулит только хорошее: женитьба по любви, семейная идиллия, разнообразные литературные связи, публикации, книги стихотворений 1827, 1835 годов... Однако читатель летописи не станет обольщаться, он уже знает Боратынского, каковой определил в начале 1830-х годов свое понимание рока: «Чужд он долгого пристрастья / ...И веселью, и печали / На изменчивой земле / Боги праведные дали / Одинакие криле». Под 1834 годом в книге значит рассказ о странном разрыве отношений между Боратынским и И. В. Киреевским из-за каких-то вздорных слухов, в распространении которых, как показалось Боратынскому, участвовал его задушевный друг. Постепенно в летописи все реже встречаются названия стихов Боратынского, все уже круг его знакомств, стягивающийся год от года к семейному, наподобие стены вокруг осажденной крепости. Писательские заботы уступают место хозяйственным хлопотам.

В 1842 году он издал книгу стихотворений «Сумерки», в которой собрал то не-много, что было написано за годы уединения в семье. Возвращение к поэзии?..

Нет, из жизни, быта Боратынского, представленных в летописи, этого не следует. Осенью того же года из-под его пера выходит стихотворение «На посев леса» — «новый отказ от поэзии», как отмечает А. М. Песков. Вскоре следует путешествие за границу, о котором давно велись разговоры, давно мечталось. Все свидетельствует о том, что поэт должен вернуться из поездки обновленным и ободренным. «Но как только душа его разжалась и он стал жить без оглядки и остороженности, первая же невзгода оказалась роковой», — читаем в предисловии к летописи. Боратынский умер в Неаполе 29 июня 1844 года от «лихорадочного» приступа, который был вызван тревогой за здоровье жены, занемогшей накануне.

Что же готовила судьба некогда прилежному мальчику? Ощущение «напрасных» мечтаний, «дух болезненный», нелепую смерть в сорок четыре года? Или бессмертные стихи и исполненные тонкой рефлексии письма?

Как сказал Ю. Айхенвальд, «от присутствия Боратынского в нашей словесности стало как-то умнее, чище и серьезнее». С появлением книги А. М. Пескова это, пожалуй, окажется еще очевидней.

Елизавета РУДНЕВА.



ПОРЫВ К ТРАНСЦЕНДЕНТНОМУ

П. П. Г а й д е н к о. Прорыв к трансцендентному. Новая онтология XX века. М., «Республика», 1997, 496 стр.

Книга известного отечественного историка философии Пиамы Павловны Гайденко появилась в серии «Философия на пороге нового тысячелетия». Такие работы принято называть «итогами». К подобному определению подталкивает и сам автор, настраивая читателя на сугубо серьезный лад предупреждением: «Над темами, которым посвящена эта книга, я размышляла на протяжении более 30 лет, начиная еще с работы над кандидатской диссертацией о философии истории М. Хайдеггера». Есть в этом настрое «итоговости», конечно, что-то заранее утомительное, но одновременно — и предустановленный довольно точный выбор читателя.

«Итог» представлен суммарно. Первую часть книги составила работа Гайденко «Трагедия эстетизма», увидевшая свет в 1970 году. Ее читала тогда вся интеллигентская Москва... Далее — работы о Ясперсе, Хайдеггере, Гадамере, Бердяеве, также уже публиковавшиеся. Обещание смыслового единства — в предисловии и послесловии. Объединено это выполненное в строгой академической стилистике прочтение — сверхзадачей: «...разобраться в том, что представляет собой та пестрая картина сегодняшних философских „дискурсов“, которая носит название „постмодерна“ и претендует определить собой дух грядущего XXI в.».

Средоточием духа века двадцатого Гайденко считает экзистенциальную философию. Именно здесь, на этой «территории культуры», пытается заявить о себе единичный субъект, то самое единичное существование, которому всякий раз угрожает всеобщий субъект мирового исторического процесса. Но пафос позиции Пиамы Гайденко при ближайшем рассмотрении — осторожный и этический. Исследование глубин (бездн) индивидуального существования должно пройти благополучно и послужить осознанию перспективной (на перспективу XXI века) задачи: «возвратить бытию его центральное место в философии... чтобы полностью освободиться от той тираннии субъективности, которая характерна для новоевропейской философии, особенно для последних столетий». Задача эта вменяется автором «будущим поколениям философов». Иначе говоря, перспектива исследования экзистенциальной философии XX века обещает быть критической. И еще один важный момент — рационально-ясной. Гайденко придерживается рационально-понятийного способа изложения и аргументации, жестко расчлняя мыслительные построения анализируемых ею философов.

Я с удовольствием перечитала работу о Киркегоре. В ней продолжает жить и как-то сказываться искреннее и открытое любопытство исследователя к сложнейшему и противоречивому мыслительному опыту своего героя. «Загадка» Серена Киркегора на протяжении двухсот страниц ведет исследователя и читателя. Фигура Киркегора все время раздваивается, и напряжение исследования сосредоточено на том, чтобы устойчиво («понятно») выразить эту раздвоенность. Тем самым — справиться с нею? Как известно, Киркегору это не удалось. Исследователям обычно везет больше... Тогда, в семидесятом, вывод Пиамы Гайденок был такой: «Киркегор — писатель-псевдоним, вот почему парадокс — последнее слово его учения». Псевдонимность, трагическая раздвоенность, попытка удержаться в иронической позиции... И — гибель. Ибо «человек, по Киркегору, несет ответственность и за свое бессознательное, а потому не может установить границ своей вины и должен отвечать... за все зло мира».

Однако академическая традиция обладает неисчислимыми ресурсами оптимизма. Из трагического опыта она неустанно надеется извлечь действенный урок. Направить ход вещей по пути ясному и рациональному. А для этого в том числе нужна, конечно, грамотная философская пропедевтика. Задачу эту работы Пиамы Павловны Гайденок всегда исполняли с великолепной отчетливостью. Она пишет о парадоксах свободы в романтической философии, подробно анализирует хайдеггеровскую интерпретацию философии Канта, представляет аргументацию философских позиций Дильтея, Шелера, Кассирера, Ясперса, Гадамера, Хабермаса... При этом всякий раз — стягивая философский дискурс и приуготовляя нас к своему выводу о необходимости «всерьез преодолеть то господство деонтологизированного субъективизма, продуктом которого является утопический активизм нового и новейшего времени в двух его вариантах: социального революционаризма и технократической воли к полному переустройству, к „новому сотворению“ Земли и всего космоса руками человека».

Наиболее эмоциональна последняя часть книги — глава «Проблема свободы в экзистенциальной философии Н. А. Бердяева». В философии Бердяева Пиамы Гайденок усматривает тот исток, который рождает органически для нее неприемлемый «социальный революционаризм». Именно в этой части своих размышлений, напряженно споря с Бердяевым, она далее всего отступает от вмененного себе канона академизма. «Что касается Бердяева, то его произведения больше напоминают проповедь, нежели исповедь. Для последней, видимо, мыслителю не хватает сознания греховности и конечности человека...» Едкое и высокомерное замечание. Однако Гайденок старается «в целом» остаться на «высоте объективности», признавая, что Бердяев, выступая против всеобщего, тем самым затрагивает одну из самых острых и болезненных проблем нашего века — века тоталитарных режимов, массовых типов общностей, деспотических и нетерпимых к свободе отдельного человека. Проясняя онтологическую позицию Бердяева, Гайденок называет и то последнее «слово», в коем она «вкоренена», — конечно, это «ничто», неизменный исток ереси и беззакония... В случае же Бердяева этот грех отягощен... верой в божественность человека (христологическое откровение — антропологическое откровение). «Творчество у Бердяева становится теургическим актом... Увы, в наши дни... человек, благодаря своему „творчеству“, уже почти приблизился к концу мира, оказавшись на грани ядерной и экологической катастрофы. Однако такой конец как-то никого не вдохновляет, не вызывает религиозного подъема». Подобный переход от анализа философии Бердяева к общеидеологическим сентенциям тоже, конечно, уже мало вдохновляет. Все больше хочется развернутой (а не вписанной в безопасно-академическую, в советское время вырожденную до полного исследовательского обезличивания форму) и персональной аргументации, демонстрации основ собственной позиции. Пока же — имеем призывы: «Читать Бердяева мы *должны* (курсив мой. — Е. О.) трезво и реалистически, не поддаваясь искушению утопизма, максимализма и экстремизма, не впадая в соблазн обожествления человека, не забывая, что хотя человек создан по образу и подобию Бога, но он все же не Бог, а существо конечное. И бытие — как мира, так и самого человека — даровано ему, а не создано им самим. Дурной путь отрицания и разрушения бытия как такового, грозящий ядерной и экологической катастрофой, должен быть

сегодня отвергнут. Гордо-романтическая позиция „неприятя Божьего мира” должна уступить место сознанию того, что не природа, не Бог, а именно человек — источник зла и греха в мире. Это сознание — не унижающее, а отрезвляющее и смиряющее человека, и оно в конечном счете — источник подлинной, созидательной, а не мнимой, разрушительной, его силы». Боюсь, что столь суровая императивность выводов заранее рождает сопротивление. В книге о Киркегоре двигаться было легче, при всей дисциплинарной выдержке языка и строя теоретической аргументации...

Впрочем, на последних страницах «Прорыва к трансцендентному» я нашла (в сноске) вполне вольное замечание, меня развеселившее: «В своей автобиографической книге „Самопознание” Бердяев, кстати, отмечает интересную деталь, далеко не безразличную содержанию его учения о свободе: ему всегда была свойственна необычайная брезгливость, которую усиливало обостренное чувство обоняния». Кстати, именно обоняние другой великий философ, Иммануил Кант, почитал за наиболее «противоречащее свободе» чувство. Дурной запах мы вбираем в себя непроизвольно, не имеем возможности противостоять ему, он завладевает нами помимо нашей воли. Для природы Канта это было отвратительно... Кант спасался строгостью мыслительной и физической диеты. Но есть и другие пути.

Елена ОЗНОБКИНА.



ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ГЛЕБ ШУЛЬПЯКОВ ПРОТИВ ИЛЬИ ЭРЕНБУРГА

С удивлением прочитал я рецензию Глеба Шульпякова на составленную мною книгу «Илья Эренбург. В смертный час. Статьи 1918 — 1919 гг.» («Новый мир», 1998, № 2). Книжка действительно оказалась «тоненькой» — могла быть потолще: ряд статей, в нее не включенных («Тихое семейство», «Лужи крови и капли росы», «С тяжелой ношей» и др.), я опубликовал недавно в «Литературной газете» и «Неве». Но, полагаю, расширение состава сборника не изменило бы оценок рецензента. Он ведь не о книге пишет — об Эренбурге, чьим сомнениям, порывам — не верит, чью жизнь судит размашисто, не видя, сколь важными были для писателя революционные годы. Осенью 1918-го тот фактически бежал из Москвы, где автору «Молитвы о России» грозила гибель. Больше года (при разных властях) прожил в Киеве, летом 1919-го служил там в Наробразе, потом «белых встретил с надеждой». В «Киевской жизни» и в «Донской речи» (Ростов) вновь, как и в начале 1918-го в московских газетах, высказал свое неприятие нового режима. И не только это. Он размышлял об искусстве, о взаимоотношениях художника и власти.

Рецензент усвоил иронический тон, начиная с немотивированного названия «Лазик Ройтшванец в жанре эссе». Семь с лишним десятилетий антибольшевистские статьи и фельетоны писателя были неупоминаемы. В своей монографии «Илья Эренбург. Путь писателя» (1990) я о них написать еще не мог. Не оказалось этих статей и в последнем собрании сочинений Эренбурга. Теперь же вместо внимательного их прочтения идет странный разговор о любви Эренбурга «к пафосным знакам препинания... к вопросительным и восклицательным знакам».

Не удержался автор рецензии и от подозрительного вопроса после цитации высказывания публициста о «революционных истуканах» — как это «с такими строчками „за спиной“ прожил Илья Григорьевич еще сорок девять лет». Нужно ли объяснять критику, что в годы «культы» устранить человека, да еще заметного, можно было без каких-либо «причин». Все решали прихоть и воля диктатора, а не политическая лояльность (вспомним судьбу М. Кольцова). Против Эренбурга выбивали показания (и выбили!) у Бабеля, Мейерхольда, однако хода им не дали. Эти и другие улики (например, те же статьи) Сталин мог держать про запас.

Судьба Эренбурга в сталинскую пору висела на волоске, особенно накануне процесса над его другом юности Н. Бухариным (1938), потом в конце сороковых, наконец, в начале 1953-го. Сложный путь писателя рассмотрен во многих серьезных работах и на его родине, и в Англии, Франции, Америке (монографии А. Гольдберга, Е. Берар, Дж. Рубинстайна). Исследователи не выпрямляют этот путь. Интерес к жизни Эренбурга и его малоизвестным произведениям немал. Писатель заслуживает по крайней мере серьезного разговора. В этом убеждают такие весьма злободневные строки из статьи «В защиту идеи», мимо которой рецензент прошел: «Против большевистских идей нельзя выставить лозунг былой дореволюционной России, ибо большевизм и был ответом на идиллию прежнего строя. С чекистами и китайцами надо бороться штыками, с голодом — булками, против знамени надо поднять знамя, с идеей бороться идеей».

Тут дело не в «литературном приеме». И вовсе не худо («косноязычно»?) справляется писатель со словом, безразличен к сути явлений, будто бы (по Шульпякову) для него несущественных. Эренбург задумывался о будущем России, не приемля «большевистский рай», но и отвергая реставрацию прежнего строя. Это была независимая мысль.

Ее-то рецензент и не заметил.

Александр РУБАШКИН.

БИБЛИОГРАФИЯ

КНИЖНАЯ ПОЛКА



Анна Ахматова. Собрание сочинений в шести томах. Том 1. Стихотворения 1904 — 1941 годов. Составление, подготовка текста, комментарии, статья Н. В. Колевой. М., «Эллис Лак», 1998, 968 стр., 15 000 экз.

Попытка первого полного научного издания текстов Ахматовой — в частности, «все известные в настоящее время стихотворения поэта расположены по хронологическому принципу: от немногих ранних сохранившихся стихотворений гимназических лет — до предсмертных, 1966 г.» (из предисловия). Примерно половину первого тома составили стихи Ахматовой 1904 — 1941 годов, затем следует статья составителя «Анна Ахматова. Жизнь поэта», по замыслу (и объему) имеющая характер монографии и охватывающая жизнь поэта от рождения до 1940 года. Далее — комментарии.

Андрей Битов. Дерево. 1971 — 1997. СПб., «Пушкинский фонд», 166 стр., 1000 экз.

Собрание стихотворений Андрея Битова.

Валерий Брюсов. Голос часов. Стихотворения 1892 — 1923 годов. Редактор-составитель И. А. Курамжина. М., «Центр-100», 1997, 382 стр., 55 000 экз.

Андрей Вознесенский. На виртуальном ветру. М., «Вагриус», 1998, 476 стр., 25 000 экз.

Мемуары, написанные «прозой поэта». Автопортрет на фоне Боба Дилана, Солженицына, Высоцкого, Пастернака, Рейгана, Лимонова, Раушенберга, Хрущева, Лихачева, Синявского, Окуджавы и т. д., и т. д., всех тех, кто отразился «в виртуальном зазеркалье „Озы“ и прочих стихах.

Сергей Гандлевский. Поэтическая кухня. СПб., «Пушкинский фонд», 1998, 112 стр., 1000 экз.

«Предлагаемая вниманию читателей книжка составлена по преимуществу из очерков, написанных за последние годы... при составлении... я руководствовался не столько значимостью темы, сколько стилистическими соображениями. ...главная забота — точная передача своего взгляда на вещи» (из авторского предисловия). О Сопровском, Кибирове, Айзенберге, Бродском, Набокове, Вайле, Генисе, о Москве, о методе «критического сентиментализма», о чтении в детстве и т. д.

Василий Гроссман. Собрание сочинений. В 4-х томах. Составитель С. И. Липкин. М., «Вагриус», «Аграф», 1998, 5000 экз. Том 1. За правое дело. Роман. 622 стр. Том 2. Жизнь и судьба. Роман. 652 стр. Том 3. Рассказы, повести. 430 стр. Том 4. Повести, рассказы, очерки. 430 стр.

И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев. Первый полный вариант романа с комментариями М. Одесского, Д. Фельдмана. М., «Вагриус», 1998, 543 стр., 20 000 экз.

Николай Рубцов. Стихотворения. Составление, вступительная статья, примечания В. В. Кожина. М., «Профиздат», 1998, 350 стр., 10 000 экз.

Русская стихотворная эпитафия. Вступительная статья, составление, подготовка текста, примечания С. И. Николаева, Т. С. Царьковой. Редколлегия: А. С. Кушнер и другие. СПб., «Академический проект», 1998, 716 стр., 2000 экз. (В серии «Новая библиотека поэта».)

Давид Самойлов. За третьим перевалом. Составитель Г. И. Медведева. СПб., «Журнал „Нева“», 1998, 548 стр., 3000 экз.

По-видимому, самое полное собрание стихотворений поэта в одном томе. Избранные стихи из одиннадцати прижизненных и посмертных сборников.

Луи-Фернандес Селин. Из замка в замок. Перевод с французского, комментарии, примечания Маруси Климовой и Вячеслава Кондратьева. СПб., «Евразия», 1998, 440 стр., 4000 экз.

Первые на русском языке — роман, опубликованный уже скандально известным своими расистскими памфлетами и сотрудничеством с нацистами Селином в 1957 году и являющийся первой частью его автобиографической трилогии.

Велимир Хлебников. Избранное. Составитель Г. С. Выдревич. СПб., «Диамант», 1998, 446 стр., 10 000 экз.

Г. Чулков. Валтасарово царство. Составление, вступительная статья, комментарии М. В. Михайлова. М., «Республика», 1998, 608 стр., 3000 экз.

И. Шмелев. Собрание сочинений. В 5-ти томах. Том 1. «Солнце мертвых». Повести. Рассказы. Эпопея. Составление Е. А. Осьминина. М., «Русская книга», 1998, 638 стр., 5000 экз.



В. М. Алексеев. Варшавского гетто больше не существует. М., «Звенья», 1998, 159 стр., 1000 экз.

Историческая монография о Варшавском гетто: история создания гетто как составной части гитлеровского плана уничтожения евреев; сведения о проявлениях антисемитизма в оккупированной Польше; образ жизни в гетто, возникновение подпольных еврейских антифашистских организаций. Основная часть монографии посвящена ходу восстания 1943 года. Названием книги стала фраза из победного доклада немецких властей Варшавы. Монография написана в конце 60-х годов, публикация ее была невозможна в условиях идейной «борьбы с сионизмом». Автор — современный русский историк Валентин Михайлович Алексеев (умер в 1995 г.), занимавшийся в советское время исследованием закрытых цензурой тем истории восточноевропейских стран: «Пражская весна» 1968 года, восстание в Венгрии 1956 года (см.: «Книжная полка» — «Новый мир», 1997, № 3) и др.

М. М. Бахтин. Тетралогия. Составление, текстологическая подготовка, научный аппарат И. В. Пешкова. Комментарии В. Л. Махлина, Н. Б. Бонецкой, В. М. Алпатовой, Н. Л. Васильева, И. В. Пешкова. М., «Лабиринт», 1998, 608 стр., 2000 экз.

Книгу составили работы Бахтина, изданные под разными именами: В. Н. Волошинов, «Фрейдизм»; В. Н. Волошинов, «Марксизм и философия языка»; Г. Н. Медведев, «Формальный метод в литературоведении»; М. М. Бахтин, «Проблемы творчества Достоевского». Спорный вопрос об участии В. Н. Волошинова и Г. Н. Медведева в создании первых двух трудов составителями не ставится.

Герцен и Огарев в кругу родных и друзей. Ответственный редактор Л. Р. Ланский, С. А. Макашин. М., «Наука», 1997. («Литературное наследство». Том 99. В 2-х книгах.) Книга 1 — 682 стр. Книга 2 — 814 стр.

Жиль Делёз. Различие и повторение. Перевод с французского Н. Б. Маньковской, Э. П. Юровской. СПб., «Петрополис», 1998, 384 стр., 5000 экз.

Одна из лучших, по мнению Ж. Дерриды, работ философа Жили Делёза (1926 — 1995). Опубликованная впервые в 1969 году, считается одним из первых трактатов складывающегося постмодернизма.

Е. И. Кириченко. Русский стиль. Поиски выражения национальной самобытности. Народность и национальность. Традиции древнерусского и народного искусства в русском искусстве XVIII — начала XX века. М., «Галарт», «АСТ», 1997, 432 стр., 5000 экз.

Тони Лейн. Христианские мыслители. Перевод с английского. СПб., «Мирт», 1997, 352 стр., 10 000 экз.

Автор — лектор Лондонского библейского колледжа. Издание содержит более ста статей, представляющих выдающихся христианских мыслителей, описывающих различные вероучения и материалы основных церковных соборов — от статей «Иустин Мученик», «Тертуллиан» до «Джон Мбити» и «Лозаннский конгресс (1974)».

Мишель Монтень. Опыты. В 3-х книгах. Калининград, «Янтарный сказ», 1997, 5000 экз. Книга 1 — 304 стр., Книга 2 — 480 стр., Книга 3 — 396 стр.

Фридрих Ницше. Сочинения. В 2-х томах. М., «РИПОЛ КЛАССИК», 1997. Том 1 — 832 стр., Том 2 — 864 стр.

Давид Ортенберг. Фронтвые дни и ночи. М., Объединенная редакция МВД России, 1997, 288 стр., 5000 экз.

Мемуары бывшего редактора газеты «Красная звезда».

Преодоление рабства. Фольклор и язык остарбайтеров. 1942 — 1944 гг. Составление Б. Е. Чистовой и К. В. Чистова. М., «Звенья», 1998, 198 стр., 1000 экз.

Основу этой книги составила так называемая «фрейбургская коллекция», обнаруженная в 1991 году при ремонте здания фольклорного центра «Немецкий архив народной песни» (Фрейбург). Она представляет собой более чем 1300 карточек, составленных безвестным немецким военным цензором, читавшим письма остарбайтеров на русском, украинском и белорусском языках в 1942 — 1944 годах. Неизвестный цензор, оказавшийся профессиональным фольклористом, выписывал из писем песни, стихи, поговорки, молитвы и т. д., он же проделал работу по научной систематизации материала. Публикация коллекции предваряется вступительной статьей К. Чистова, предисловиями Даниила Гранина и представителя фонда Генриха Бёлля в Москве Йенса Зингерта. Книга подготовлена к изданию в рамках издательской программы общества «Мемориал».

Платон. Государство. Законы. Политик. Предисловие Е. И. Темнова. М., «Мысль», 1998, 798 стр., 5000 экз.

Бертран Рассел. Мудрость Запада. Историческое исследование западной философии в связи с общественными и политическими обстоятельствами. М., «Республика», 1998, 479 стр., 7500 экз.

Гай Транквилл Светоний. О жизни цезарей. О знаменитых людях (фрагменты). Перевод с латинского, предисловие, примечания М. Л. Гаспарова. СПб., «Алетейя», 1998, 436 стр., 2000 экз.

Тайна великой княжны. Полуденный альманах. Составитель и редактор Н. Николаенко. М. — Симферополь, Библиотека журнала «Крымский контекст», 1998, 292 стр., 5000 экз.

Историко-культурный альманах, основу которого составили очерки о предреволюционных и революционных годах в Крыму, Гражданской войне, бегстве из Крыма белого офицерства, дворянства и старой русской интеллигенции; рассказ об истории крымских поместий семей Романовых и Гагариных. Среди героев альманаха — великая княжна Ольга Николаевна, вице-адмирал М. П. Саблин, вице-адмирал М. А. Кедров, которому в 1920 году Врангель поручил командование Черноморским флотом (и вывод флота из Крыма), В. Д. Набоков и другие. Обильный иконографический материал дополнен серией фотографий 1920 года, представляющих эпизоды эвакуации из Крыма. Художественную часть альманаха составили крымские стихи О. Мандельштама, И. Бунина, В. В. Набокова, живопись и графика Э. Штейнберга. Среди авторов альманаха — историки и краеведы Марина Земляниченко, Николай Калинин, Александр Люсый, Светлана Белова, В. В. Берг и другие.

Доменик Фернандес. Древо до корней. Психологический анализ творчества. Эссе. Перевод с французского Д. Соловьева. СПб., «ИНАПРЕСС», 1998, 240 стр.

Французский эссеист и романист исследует творческие биографии Марселя Пруста, Микеланджело и Моцарта. При анализе психических мотиваций их творчества особое внимание обращается на «семейные травмы, родительскую тиранию, трагические коллизии личной жизни».

Ганс Эгон Хольтхаузен. Райнер Мария Рильке, сам свидетельствующий о себе и своей жизни (с приложением фотодокументов и иллюстраций). Перевод с немецкого, составление приложения и послесловие Николая Болдырева. Челябинск, «Урал LTD», 1998, 398 стр., 10 000 экз.

Первая биография поэта на русском языке. Подзаголовок («...сам свидетельствующий...») обозначает только обилие цитат автобиографического характера из сочинений Рильке, не более. Основа текста принадлежит исследователю. Достаточно выразительным и хорошо поданным выглядит визуальный ряд — фотографии поэта, его окружения, старые фотографии мест, связанных с жизнью поэта. Биография снабжена «Хроникой жизни и творчества», подборкой «Высказывания и свидетельства» (цитируются высказывания о поэте Поля Валери, Феликса Брауна, Роберта Музиля, Готфрида Бена и других) и библиографией. В приложении: «Завещание» Р.-М. Рильке и переписка Рильке и Цветаевой за 1926 год. В качестве послесловия переводчика — эссе Н. Болдырева «От тени яблока — к тени розы».

Энциклопедический словарь юного литературоведа. Составители В. И. Новиков, Е. А. Шкловский. 2-е издание, дополненное и переработанное. М., «Педагогика-Пресс», 1998, 424 стр., 15 000 экз.

Основные литературоведческие понятия и термины. Более четырехсот статей — от «Авангард» до «Ямб». Второе издание отличается от первого (М., «Педагогика», 1988) новым составом статей и расширением круга авторов, среди которых А. Н. Архангельский, А. Г. Битов, А. В. Василевский, М. Л. Гаспаров, Б. В. Дубин, А. М. Зверев, А. Л. Зорин, Ю. М. Лотман, Ю. В. Манн, Д. Н. Медриш, А. С. Немзер, И. Б. Роднянская, Д. С. Самойлов, Р. Д. Тименчик, А. П. Чудаков, М. О. Чудакова, С. И. Чупринин, М. Н. Эпштейн и другие (к сожалению, издатели не смогли указать авторство каждой статьи — только приведен список авторов, — хотя уровень большинства статей этого требовал). Отдельным блоком даны статьи о русских литературоведах и критиках — от М. В. Ломоносова и братьев Киреевских до В. Я. Проппа, Ю. М. Лотмана и Д. С. Лихачева.

Составитель **Сергей Костырко.**

ПЕРИОДИКА



«Вышгород», «Другие берега», «Дружба народов», «Ex libris НГ», «Звезда», «Знамя», «Знание — сила», «Иностранная литература», «Книжное обозрение», «Коммерсант-Daily», «Кулиса НГ», «Литературная газета», «Литературная учеба», «Литературное обозрение», «Москва», «Московские новости», «На посту», «НГ-Наука», «Независимая газета», «Новое литературное обозрение», «Новый журнал», «Общая газета», «Октябрь», «Россия», «Русский Телеграф», «Экран и сцена»

Николай Александров. Синдромы. Некоторые литературные приметы 1997 года. — «Литературное обозрение», 1998, № 1.

Синдромы: премиальный, мемуарный и др. Тут же — содержательные статьи Дмитрия Бавильского «Одинокое плавание методом погружения. Семь романов одного года» и Ильи Кукулина «Литературные журналы в 1997. Опыт путеводителя». Ура! «Литературное обозрение» при новом главном редакторе В. Куллэ начало *обозревать!*

Кирилл Анкудинов. Тот, кто родился ушедшим. — «Литературная учеба», 1998, № 1 (январь — февраль).

Нетривиальные размышления о поэзии Юрия Кузнецова. Автор (род. в 1970), кандидат филологических наук, живет в Майкопе. См. также его уже отмеченную в «Периодике» статью о поэзии Багрицкого и Мандельштама («Октябрь», 1997, № 12).

Людмила Бакши. Хочу, чтобы звук выражал... Современная культурная ситуация глазами музыканта. — «Знамя», 1998, № 2.

«Около двух десятков лет музыка подает странные сигналы, которые слабо воспринимаются», а именно — эра композитора как автономного музыкального сознания подходит или уже подошла к концу. «Эта эра связана с традициями музыкальной классики, отразившей *модель европейского мышления*. Конец этой эры означает и *крушение опор*, на которых несколько столетий держалась европейская культура».

Вадим Баранов. 93-й не должен повториться. Литературоведческие мечтания: возвращение Максима Горького обязательно состоится. — «Независимая газета», 1998, № 37, 4 марта.

О 130-летию со дня рождения М. Горького. Всем заинтересованным лицам загрузиться на теплоход «Максим Горький» — и вниз по Волге! Создать «Горьковское общество». Искать спонсоров. Страшное название статьи объясняется просто: в 1993-м юбилей Горького прошел, мягко говоря... *Да никак он не прошел.*

Павел Басинский. Опасные связи. Нижегородский ужас Максима Горького. — «Литературная газета», 1998, № 12, 25 марта.

Сто лет назад, в марте 1898 года, вышел из печати первый выпуск «Очерков и рассказов» — книжный дебют Горького. Горький и его киевский приятель Николай Заха-

рович Васильев, учивший его «философии». Горький и Ницше. Их портретное сходство.

Павел Белицкий. Вялотекущая поэзия. — «Независимая газета», 1998, № 54, 28 марта.

О том, что современный толстый «журнал-учреждение» литературных движений не только не создает, но и саму возможность их проявления и борьбы нивелирует. Среди прочего: «Оглядывая поэтические подборки, опубликованные в одном из безусловно лучших и самых уважаемых наших журналов — „Новом мире” — за весь 1997 год, можно получить полное представление о том, что такое холод мертвецкой. Русская поэзия в том виде, как она представлена в „Новом мире”, жива еще только стихами нескольких „старых” мастеров — Евгений Рейн, Инна Лиснянская, Семен Липкин, Дмитрий Сухарев... Из „молодых” жизнерадостно на общем заупокойном фоне звучит своеобразный, но несильный пока голос Максима Амелина, чей пятистопный ямб „Графу Хвостову” много живее, честнее и потому лучше всего того, что собрал он под обложкой своей первой книги „Холодные оды”. В основном же поэтический 1997 год в „Новом мире” интересен тем, что может служить иллюстрацией двух характерных тенденций. Первая: значительное количество „стихотворений в прозе”, скорее и чаще напоминающих планы и дневниковые заготовки, по лени или, что то же самое, по несостоятельности авторов так и не написанной прозы и, видимо, стихами названной потому, что вроде не проза, а вот за поэзию сойдет та туманная многозначительность, секрет которой хорошо известен оракулам, гадалкам, целителям, а также морским свинкам, вытягивающим билетки с предсказаниями судьбы. Сюда же можно бы отнести и опыты в области ритмизованной прозы, украшенной периодической рифмой или более или менее частыми и как бы случайными созвучиями, которые, пользуясь терминологией Сергея Аверинцева, точнее было бы назвать не рифмой, а гомеотелевтами... Тенденция вторая: „Бога”, „ангелов” и всего того, чего „не упоминай все”, в этой упражняющейся в дыхании на ладан поэзии — больше, чем высыпает морошки на финском болоте, а это все же вселяет надежду: те, кто свое уже отпричитал и лоб скоро залечит, заметят наконец подлинное и естественное присутствие божественного, например, в предсмертном и тем более простом и незатейливом „морошки хочется” Пушкина.

Дмитрий Бобышев. Встречи и разговоры с Игорем Чинновым. — «Новый журнал». Главный редактор Вадим Крейд. Нью-Йорк, № 206 (1997).

Встречи и разговоры 80 — 90-х годов с последним поэтом первой волны русской эмиграции.

Н. А. Богомолов. Anna-Rudolf. — «Новое литературное обозрение», № 29 (1998, № 1).

Окультистка начала века А. Р. Минцлова. Шарлатанство. В то же время, по мнению исследователя, «сама ее личность порождала события, мифы, образы, тексты, ставшие во многом жидительными для русской литературы».

Священник Константин Буфеев. О целесообразности перехода России на старый календарный стиль. — «Москва», 1998, № 3.

Не Православная Церковь должна переходить на светский, григорианский стиль, а общество и государство — на юлианский. Атеистам это будет «практически безразлично» (ой ли?), православным и старообрядцам — весьма желательно, а мусульманам и иудеям можно предоставить право жить «своим календарем».

Алексей Варламов. Платонов и Шукшин. Геополитические оси русской литературы. — «Москва», 1998, № 2.

Герцен: на явление Петра Россия ответила явлением Пушкина. Варламов: на явление Ленина Россия ответила Платоновым. Шукшин — самая загадочная личность послевоенной советской литературы.

Инна Вишневская. Апология масскульта. — «Кулиса НГ». Приложение к «Независимой газете», 1998, № 4, февраль.

«Я люблю детектив страстно...» Романы Александры Мариной стали почти национальным чтением. Подробно, доброжелательно. С наблюдениями: раньше считалось, что расколоть бандитское сообщество ничего не стоит (на этом стоял советский милицкий роман), а в новом русском детективе раскол проходит как раз через органы правоохранения.

Одновременно в газете «Русский Телеграф» (1998, № 35, 28 февраля) напечатаны заметки Ольги Кабановой в защиту «низких жанров». «Современная высокая культура, отделившись не только от церкви, но и от христианской культуры, высокомерно отказалась не только от проповедей и морализаторства, но и от собственных родовых черт. Где прячется красота форм, выброшенная из живописи во времена Дюшана? В дизай-

не. Куда ушли после позднего Чехова занимательные сюжеты? В бульварное чтиво. Кто внимателен к человеческому телу? Порнография. Где проклятый архитектором начала века орнамент? На оберточной бумаге. Где симфонизм готического собора? В последней марке автомобиля, — ответит читатель Ролана Барта».

См. на эту же тему мою статью «„Макулатура“ как литература» («Новый мир», 1997, № 6).

Александр Вяльцев. Незамысловатые жития современных святых. Людмила Улицкая и ее критики. — «Литературная газета», 1998, № 9, 4 марта.

О романе «Медея и ее дети» (букеровский «шорт-лист») и повести «Сонечка» (французская премия Медичи). «Эрос у Улицкой всегда стремится к Танатосу... зато ее добродетельным и однолюбвым героиням даровано долголетие. Не очень счастливое, но мудрое. Далее оптимизм Улицкой не простирается».

Георгий Гачев. Гуманитарный комментарий к физике. Предисловие Андрея Ваганова. — «НГ-Наука». Ежемесячное приложение к «Независимой газете». 1998, № 3 (март).

Летом и осенью 1971 года Георгий Гачев «проходил физику» по книге Джея Орира «Популярная физика» (М., «Мир», 1969). Плодом его гуманитарных медитаций стала пятисотстраничная рукопись, до сих пор не опубликованная. В газете дается выборка, сделанная с разрешения автора.

Эмма Герштейн. Надежда Яковлевна. — «Знамя», 1998, № 2.

Глава из мемуарной книги. «Она (Н. Я. Мандельштам. — А. В.) была бисексуальна». Об ахматовских «Листках из дневника»: «...было заранее условлено, что литературный портрет Осипа Мандельштама должен строиться на утаивании целых пластов его пестрой и бурной жизни... В „Листках“ встречаются эпизоды, в которых пресловутый „нас возвышающий обман“ превращается в самую вульгарную неправду. Настало время, когда все эти темные места можно и нужно высветить». У мемуаристики в данном случае большое преимущество: она всех пережила.

См. также воспоминания Эммы Герштейн «Лишняя любовь. Сцены из московской жизни» («Новый мир», 1993, № 11, 12).

Гр. Гуковский. К вопросу о стиле советского романа. Публикация, вступительная статья и примечания Д. В. Устинова. — «Новое литературное обозрение», № 29 (№ 1, 1998).

Статья 1947 года, имеющая не только мемориальное значение.

Владимир Гусев. Будь это сегодня. — «Литературная учеба», 1998, № 1 (январь — февраль).

Пушкинская речь Достоевского (1880). Россия все кается и кается, потрафляя «всечеловечеству», а когда ж Америка будет каяться? Следом идет беседа Владимира Славецкого с членом-корреспондентом РАН, директором Пушкинского дома Н. Н. Скатовым, который убежден, что «интернационализм — это национальная особенность русского народа». *Против природы не попрешь.*

Юрий Дружников. Развод Татьяны, в девичестве Лариной. — «Новый журнал», Нью-Йорк, № 206 (1997).

О том, чего в «Евгений Онегин» нет. Почему там *нет* развода и мог ли он быть? Отношение Пушкина к браку и адюльтеру в разные годы жизни. Мнение критика, живущего ныне в Калифорнии: проживи Пушкин подольше, и Лев Николаевич не написал бы «Анну Каренину», поскольку она уже была бы написана Александром Сергеевичем в стихах.

Олег Ермаков. Единорог. Роман. — «Знамя», 1998, № 2.

Вторая часть книги «Свирель вселенной». Первая часть — в № 8 «Знамени» за прошлый год. См. также рецензию Дмитрия Бавильского («Новый мир», 1998, № 5).

Венедикт Ерофеев. Дневник 1973 года. Публикация и предисловие Игоря Авдиева. — «Новое литературное обозрение», № 29 (1998, № 1).

«Не вино и не бабы сгубили молодость мою. Но подмосковные электропоезда ее сгубили. И телефонные будки».

Иван Есаулов. Христианское основание русской литературы: соборность. — «Литературная учеба», 1998, № 1 (январь — февраль).

Необходима *новая концепция* русской литературы. Статья на основе докторской диссертации по филологии (апрель 1996).

А. К. Жолковский. К переосмыслению канона: советские классики-нонконформисты в постсоветской перспективе. — «Новое литературное обозрение», № 29 (1998, № 1).

Доклад на второй невадской конференции по русской культуре (Лас-Вегас, ноябрь 1997). Проблема *реинтерпретации* на примере Зошенко, Пастернака, Ахматовой, которые предстают ныне «великими советскими писателями, поистине глубоко отразившими свою эпоху».

Оксана Забужко. Полевые исследования украинского секса. Роман. Перевод Ю. Ильиной-Король. — «Дружба народов», 1998, № 3.

В конце читаем: «Питсбург, сентябрь — декабрь 1994 года». Новая украинская проза.

Илья Замешаев. Туман, реклама, ангелы и сны. — «Другие берега», № 11-12 (1997).

Сумбурный дебют двадцатичетырехлетнего прозаика. В следующем номере «Других берегов» напечатано его интервью («...думаю, что все, что я знаю о шестидесятниках, это миф»).

Этот следующий (№ 13-14) выпуск журнала посвящен реализации проекта Андрея Битова: собрать под одной обложкой писателей, родившихся, как и он сам, в 1937-м — в год Огненного Быка. Собраны: Владимир Маканин, Валентин Распутин, Белла Ахмадулина, Сергей Аверинцев, Владимир Высоцкий и другие. Увы, это перепечатки давно известного.

Владимир Иваницкий. Из «Фундаментального лексикона». — «Знание — сила», 1998, № 2.

Что такое «халява», «халтура», «чернуха»? Избранные места из «Словаря российских ментальностей и реальностей». См. также «Знание — сила», 1994, № 1, 3, 4, 5, 6 и 1998, № 1. Продолжение следует (не в алфавитном порядке, но по мере готовности).

Татьяна Иванова. Бесконечный Галковский — отныне и навсегда. — «Книжное обозрение», 1998, № 11, 17 марта.

Галковский — великий писатель. Сначала Т. Иванова этого не понимала, но позже — убедилась.

И. А. Ильин. Александр Пушкин как человек и характер. Публикация и примечания Ю. Т. Лисицы. Перевод с немецкого О. В. Колтыпиной. Текстологическая работа З. Г. Антипенко. — «Москва», 1998, № 2.

Одна из немецких лекций 40-х годов. С небольшими сокращениями. Автограф лекции находится в Архиве И. А. Ильина (Библиотека Мичиганского университета).

Генрих Иоффе. Выстрел в голову. (Великий Князь Михаил Александрович). — «Новый журнал», Нью-Йорк, № 206 (1997):

Почему Михаил II царствовал всего несколько часов? Рядом — исторический очерк Г. Иоффе о Василии Алексеевиче Маклакове.

См. также в № 208 «Нового журнала» статью того же автора, живущего в Канаде, «Кремль и Ипатьевский дом» — об убийстве царской семьи.

Владимир Карпец. Путь блудного сына. — «Кулиса НГ». Приложение к «Независимой газете», 1998, № 4, февраль.

Памяти прозаика Петра Паламарчука (1955 — 1998). Редкий жанр нелицеприятного некролога. Владимир Карпец убежден, что путь истинного художника — это путь *аномии*, беззакония, противоположный христианскому пути инока-аскета или мирянина-труженика. Цитата: «Не мудрствующий лукаво Петр хотел быть и христианином, и художником, писать, как он сам говорил, „на темы Солженицына языком Набокова“. Но этого не дано». Некоторые обстоятельства биографии. Вино. Православие и «православная идеология». Еще цитата: «Петр Паламарчук уж точно был не еретик. Когда с ним случилось заговаривать о „четвертой ипостаси“, или о герметизме, или о чем-то подобном, он однозначно отвечал „тьфу!“».

О. Л. Керенская. Мертвые молчат. Победителей не судят. Публикация С. Г. Керенского. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 2.

Жена А. Ф. Керенского — о первых пореволюционных годах. С отвращением и выстраданной ненавистью.

Тимур Кибиров. Рождество. — «Литературное обозрение», 1998, № 1.

Первая (1985 года) поэма Тимура Кибирова открывает большую подборку, посвященную творчеству этого автора. В нее входят: беседа поэта с Виктором Куллэ; эссе Дмитрия Бавильского «Заземление»; статья Людмилы Зубовой «Прошлое, настоящее и будущее в поэтике Тимура Кибирова»; статья Олега Лекманова «Саша vs. Маша. 20 со-

нетов Тимура Кибирова и Иосифа Бродского»; статья Вячеслава Курицына «Три дебюта Тимура Кибирова в 1997 году»; а также обзор критики, избранная библиография (составленная В. Куллэ и Е. Натаровым) и некоторые другие материалы.

Дуглас Коупленд. Поколение Икс. Сказка для ускоренного времени. Роман. Перевод с английского В. Ярцева под редакцией С. Силаковой. — «Иностранная литература», 1998, № 3.

Заслуженно популярная книга канадского прозаика Дугласа Коупленда (Douglas Coupland; род. в 1961) «Generation X» (1991), с легкой руки которого выражение «поколение Икс» вошло в массовый обиход, сопровождается статьями Сергея Кузнецова «Певцы неизвестного поколения» и Светланы Силаковой «Поколение дворников и(кс) сторожей».

Анна Эйдис в рецензии «Поколение „не по лжи“» («Русский Телеграф», 1998, № 54, 28 марта) выражает сожаление, что молодежная субкультура по старой привычке считается в толстых журналах второсортной и предпочтение отдается «проверенным» авторам. *Что есть, то есть.*

Григорий Кружков. Шекспир без покрывала, или Шахматы, плавно переходящие в шашки. — «Литературная газета», 1998, № 10, 11 марта.

Язытельная полемика с нашумевшей книгой Ильи Гилилова «Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна Великого Феникса».

См. на ту же тему резко критические заметки историка Ольги Дмитриевой («Знание — сила», 1998, № 2). Она считает, что хотя белые пятна в шекспировской биографии и существуют, но, прислушиваясь к словам английского философа Уильяма Оккама, «не следует без нужды плодить новые сущности».

О книге И. Гилилова см. также критическую рецензию Алены Злобиной в «Новом мире» (1998, № 6).

Михаил Кураев. Шведский сувенир. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 2.

Короткий автобиографический рассказ: как писатель ездил в Швецию в 1989 году.

Вячеслав Курицын. Критики поднимают престиж поэзии. — «Русский Телеграф», 1998, № 35, 28 февраля.

Поэту Ивану Жданову вручена премия имени Аполлона Григорьева, учрежденная новообразованной Академией русской современной словесности и ОНЭКСИМбанком. Действительный член АРС'С Алла Латынина («Литературная газета», 1998, № 9, 4 марта) считает, что премия, возможно, займет место главной литературной награды страны, которое до сих пор оставалось вакантным. А действительный член АРС'С Вячеслав Курицын считает, что решение жюри знаменует перспективный поворот в поэтической моде: концептуалистская линия (Пригов, Рубинштейн, Кибиров) выдохлась, и ей будет полезно «хотя бы временно переместиться с освещенной сцены в задумчивую сень».

О премированной книге Ивана Жданова см. также статью действительного члена АРС'С Натальи Ивановой «Кафка, пишущий стихом Фета» («Общая газета», 1998, № 9, 5 — 11 марта).

Критические заметки Николая Славянского о поэтике Ивана Жданова см. в «Новом мире» (1997, № 6).

Юлия Латынина. Как генерал Джексон с американским Центробанком воевал. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 2.

Эндрю Джексон (седьмой президент США) и финансы. Познавательльно.

Андрей Левкин. Русские ресурсы Интернета: философия. — «На посту. Культура/искусство». Главный редактор Валерий Анашвили. 1998, № 1, май.

Содержательный обзор с адресами. «Если я вас и не обрадовал по поводу богатства философских текстов в русском Интернете, то уж ваше время на поиски в любом случае сэкономил».

В первом номере «На посту» обращают на себя внимание многочисленные статьи и рецензии Вадима Руднева, он же является ответственным секретарем этого нового интеллектуально-глянцевого журнала, не имеющего ничего общего со своим большевистским однофамильцем.

«Что такое „на посту“? — спрашивает Николай Малинин („Русский Телеграф“, 1998, № 94, 30 мая), обозревая номер. — Окликнуть, одернуть, выстрелить в воздух. Опустили всех: Лосева и Пригова, Левина и Пелевина, Барта и Эткинда, Гениеву и Парамонову, даже баскетболисту Джордану досталось: за его малый рост. Аргументы порой малоубедительны, но неизменно эффектны. В качестве недостатка выбирается какая-нибудь характерная опечатка, а поскольку об остальном умалчивается, читатель делает вывод, что внимания предмет попросту недостойн, *sapienti sat...* *Короче, отслонявили чуваки угарный журналчик...* (курсив мой. — А. В.)».

Но полиграфия и макет выше всяческих похвал.

Юрий Лотман. Из «Не-мемуаров». — «Вышгород». Литературно-художественный и общественно-публицистический журнал. Таллинн, 1998, № 3.

Весь номер «Вышгорода» — о знаменитой кафедре русской литературы Тартуского университета («кафедра Лотмана»), о самом Юрии Лотмане, Заре Минц и других.

Луиджи Малерба. Итака навсегда. Роман. Перевод с итальянского Э. Двин. — «Иностранная литература», 1998, № 3.

Пенелопа — Одиссею: «ты не Одиссей». Хватит странствовать. Одиссей — автор «Одиссеи»? Новый (1997 года) роман известного итальянского прозаика.

Владислав Матусевич. Записки советского редактора. — «Новое литературное обозрение», № 29 (1998, № 1).

Фрагмент книги. Работа в журнале «Наш современник» при С. Викулове в 1978 — 1981 годах. Сценки. Очень живо.

Павел Мейлахс. Израильская фантазия. Повесть. — «Вышгород». Литературно-художественный и общественно-публицистический журнал. Таллинн, 1998, № 1-2.

См. также повесть Павла Мейлахса (род. в 1967) «Придунок» («Новый мир», 1996, № 3) и короткую рецензию Сергея Костырко («Новый мир», 1998, № 5) на повесть П. Мейлахса «Беглец» («Зеркало», Тель-Авив, 1997, № 5-6).

Дмитрий Мережковский. Тайна русской революции. Опыт социальной демонологии. Публикация и послесловие А. Н. Богословского. — «Вышгород». Литературно-художественный и общественно-публицистический журнал. Таллинн, 1998, № 1-2.

Достоевский и «царство русских коммунистов». Фрагменты сохранившейся в парижском архиве одной из последних работ Мережковского.

«Ну, так о странниках и об Эйнштейне...». Письма А. А. Ухтомского к Ф. Г. Гинзбург. Публикация, вступительная статья и примечания Л. В. Соколовой и И. С. Кузьмичева. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 2.

Несколько писем (философских монологов) известного ученого, относящихся к 1927 — 1937 годам.

Андрей Окара. Запах мертвого слова. Русскоязычная литература на Украине. — «Ex libris НГ», 1998, № 7, февраль.

Ситуация своеобразной «диглоссии»: «художественно ценные тексты в современной Украине могут возникнуть только по-украински, а коммерчески перспективная литература — лишь на русском языке».

Борис Парамонов. Прекрасный гусь и паршивая овца, или Сергей Гандлевский как зеркало русской контрреволюции. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 2.

Гандлевский (будто бы) выступает ныне «в неприличествующей русскому поэту роли серьезного и умного человека». Следом напечатано полемическое «Письмо Борису Парамонову» Алексея Цветкова: «...идея поэта как немытого скандалиста и пьяного недоумка — порождение романтизма, превращенное русской реальностью и русским сознанием практически в карикатуру».

См. также рецензию Евгения Ермолина «Paranov: глазами клоуна» («Новый мир», 1998, № 6).

Людмила Петрушевская. Маленькая Грозная. Повесть. — «Знамя», 1998, № 2.

Это вам не «дикие сказки», это реализм: «...а оттуда прямой путь лежал ей уже в психушку, так как больная в общей палате, среди смрада, стона и подвешенных ног стала качать права и требовать медперсонал, чтобы убрали черных котят».

Поэт в прошедшем времени. Алексей Цветков наблюдает за историей из Праги. Беседу вел Глеб Шульпяков. — «Ex libris НГ», 1998, № 8, март.

Поэт, эссеист и критик Алексей Цветков живет в Праге, работает на радио «Свобода» и давно не пишет стихов. О позднем Бродском: «Оболочки слов без содержимого». О состоянии поэзии: «Кривляться... глупо, но и торжественности неуместна. Верлибр западных поэтов набил оскомину, а наши ямбы там воспринимает как раешник, как частушки. Что, кстати, касалось и попыток Бродского писать по-английски... Дело в том, что на Западе поэзия уже давно выглядит смешновато. Считается, что это — „для дам“; при всем том, что люди понимают: великая поэзия была. И Россия несколько за-

дета этим кризисом, который накладывается на ее собственный...» О себе: «Все, что я пишу сейчас, я пишу так же, как я писал стихи. То есть — грубо говоря — я по-прежнему продолжаю составлять мысли из слов, а не подбираю к мыслям слова».

Алексей Ремизов. Россия в письменах. Предисловие, публикация и примечания Ст. Никоненко. — «Литературная учеба», 1998, № 1 (январь — февраль).

Фрагменты незавершенной книги Ремизова о старых русских надписях печатаются по берлинскому изданию 1922 года. Тут же — несколько текстов Константина Мочульского о творчестве Ремизова (предисловие и публикация С. Р. Федякина).

Л. С. Салямон. Пушкин: «...Эпиграмму припишут мне». — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 2.

Пушкин об Александре I. Исследователь уверен, что эпиграмму «Воспитанный под барабаном...», так же как послание «Ты и я», в пушкинских изданиях следует помещать (если в силу традиции это вообще следует делать) в разделе «DUBIA».

Давид Самойлов. Ранние стихи. Вступление и публикация Александра Давыдова. — «Знамя», 1998, № 2.

«Стихи о Богородице и русских солдатах», «Стихи о солдатской любви», «В шесть часов вечера после войны», «Марине Цветаевой» и другие стихотворения 40-х годов, некогда собранные Давидом Самойловым в рукописный сборник.

Александр Соколянский. Очертя голову. От Пушкина до Киркорова: судьба поэтической темы. — «Русский Телеграф», 1998, № 35, 28 февраля.

«Все, все, что гибелью грозит, / Для сердца смертного таит / Неизъяснимы наслаждения...» Неожиданные наблюдения над трансформациями темы. Высоцкий. Русский рок 80-х. Сегодняшняя «попса».

Вячеслав Сукачев. В мертвом городе. Роман. — «Москва», 1998, № 2, 3. Россия, 1996 год: душераздирающие сцены классового расслоения.

Олжас Сулейменов. Человек — это женщина. — «Независимая газета», 1998, № 34, 27 февраля.

В 1998 году в Риме вышла по-русски книга Олжаса Сулейменова «Язык письма. Взгляд в доисторию — о происхождении письменности и языка малого человечества, генетически связанная с нашумевшей в свое время книгой того же автора «А3 и Я» (Алма-Ата, 1975). Почему в Риме? Олжас Сулейменов — посол Казахстана в Италии. Статья в «Независимой газете» дает представление о своеобразном исследовательском методе, примененном в «Языке письма».

Ольга Тимофеева. Азарт непохожести. — «Общая газета», 1998, № 9, 5 — 11 марта.

Сочувственный отклик на второе, дополненное издание книги Виктора Ерофеева «Мужчины» (М., «Подкова», 1998). Рецензент призывает коллег судить писателя «цивилизованно», то есть по законам жанра, им избранного, а также обсуждать тексты писателя, а не его репутацию. Ха-ха... Книга составлена из эссе Ерофеева, печатавшихся в журнале «Плейбой».

Татьяна Толстая. Анастасия, или Жизнь после смерти. — «Русский Телеграф», 1998, № 49, 21 марта.

Очерк. О том, что великая княжна Анастасия спаслась от расстрела и умерла в США в 1984 году. Эмоционально убедительно. *Я почти поверил.* Тут же — ее оперативный отклик на американский мультфильм «Анастасия»: «...Гришка Распутин, возвращающийся из ссылки подобно Ильичу; Распутин, пышущий ненавистью к царскому семейству не хуже товарища Свердлова; Распутин со своим помощником — „комической летучей мышью-альбиносом по имени Барток” — причина русской революции?.. А как со Сталиным — его тоже белая мышь под руку толкала?..»

Андрей Урицкий. Скромные тени. — «Независимая газета», 1998, № 35, 28 февраля.

Обзор прозы «Нового мира» (1997, с № 4 по 12). *Спасибо.*

Григорий Файман. Первый биограф Михаила Булгакова и его «дело». Павел Попов в О.Г.П.У. — «Независимая газета», 1998, № 42, 12 марта.

В 1940 году, в год смерти Булгакова, его многолетний друг Павел Сергеевич Попов написал первую биографию писателя.

Илья Фаликов. Ивиков петух. — «Литературная газета», 1998, № 9, 4 марта.

О поэтической книге Олега Чухонцева «Пробегающий пейзаж» (СПб., «ИНА-ПРЕСС», 1997). Элегия, временно подавившая оду и неожиданно сама обретающая одический пафос. Афоризм: «Чухонцев — личное дело каждого из его читателей».

Павел Флоренский. Письма. Публикация П. В. Флоренского. — «Новый журнал», Нью-Йорк, № 208 (1997).

Письма 1933 года из неволи. Им предшествует статья публикатора «Третий арест П. А. Флоренского».

Формула успеха. Понятный непонятный Уткин. Интервью взяла Ольга Славникова. — «Книжное обозрение», 1998, № 12, 24 марта.

Интервью с прозаиком Антоном Уткиным, автором романа «Хоровод» и повести «Свадьба за Бугом». О себе, о творчестве, о Боге. В обозримом будущем «Новый мир» предполагает напечатать новый роман Антона Уткина «Самоучки». Автор о своем втором романе: «...со вторым труднее, и главное, чего опасаясь, не уменьшить бы масштаб задачи».

Хармс: стенограмма скандала. Подготовка текста и публикация Валерия Сажина. — «Московские новости», 1998, № 8, 1 — 8 марта.

Фрагменты записных книжек Даниила Хармса 1926 — 1929 годов. Отношения с Эстер Русаковой (Иоселевич), его женой. «Любви — нет. Это понятно» (из записи от 31 марта 1928 года).

Художник из эпохи Возрождения. Из переписки М. В. Юдиной. Публикация и примечания А. М. Кузнецова. — «Экран и сцена». Еженедельная газета. 1998, № 6, 9.

Переписка выдающейся пианистки с ее знаменитыми современниками. См. также воспоминания Екатерины Крашенинниковой «Этюд о Юдиной» («Новый мир», 1998, № 4), там же — письмо М. В. Юдиной к Е. А. Крашенинниковой (публикация и послесловие А. М. Кузнецова).

Сергей Чупринин. Расколоте зеркало. — «Россия». Ежемесячный общественно-политический и литературно-художественный иллюстрированный журнал. 1998, № 3.

Единая по видимости русская словесность расколота и вдоль и поперек: на «демократов» и «патриотов», одновременно — на литературу «серьезную» и «коммерческую».

Эдуард Штейн. Поэты русского Китая. (Иконография). — «Новый журнал», Нью-Йорк, № 206 (1997).

38 фотографий Л. Андерсен, А. Несмелова, В. Перелешина, А. Вертинского и других представителей русской колонии в Китае. Со справками. Из уникальной коллекции, собранной Э. Штейном.

Ольга Эйхенбаум. Я вспоминаю. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 2.

Дочь Бориса Эйхенбаума — о ленинградской блокаде.

Михаил Эпштейн. Синявский как мыслитель. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 2.

«Пожалуй, самое опасное и рискованное в работе Синявского — не то, что он „клеветал“ на Пушкина и Россию, присвоил себе бандитские замашки и „жидовскую“ кличку, а в том, что он был мыслителем, т. е. неизвестно кем и неизвестно для чего».



Новый мир искусства. Журнал культурной столицы. Главный редактор Вера Бибинова. Тираж 10 000 экз. Санкт-Петербург, 1998, № 1.

Это, конечно, не «Новый мир искусства», а «Новый мир искусства». Выход нового петербургского литературно-художественного журнала приурочен к юбилею знаменитой группы «Мир искусства», объединившейся сто лет назад.

По заявлению редакции, журнал посвящен «русской художественной жизни в прошлом и настоящем». Вот что мы находим в первом номере. Рубрика «Истоки». Воспоминания Владимира Левитского «Ранние годы графики „Мира искусства“» (публикация Ивана Коновалова) печатаются по белой рукописи, хранящейся в частном собрании, с редакционными сокращениями. Очерк Александра Бенуа о художнике Дмитрие Семеновиче Стеллецком (1875 — 1947) печатается по авторизованной машинописи,

хранящейся в рукописном отделе Государственного Русского музея (публикация Кати фон Кнорринг). Владимир Купченко пишет о Максимилиане Волошине как художественном критике.

В рубрике «Взгляды» — ряд статей о русском модерне: писатель Игорь Шнуренко, архитектор Виталий Антипин, ювелир Андрей Ананов, редактор журнала о рекламе «Yes!» Андрей Надеин и поэт Виктор Кривулин.

В рубрике «Тысяча приглашений на чашку чая» — статья Екатерины Андреевой о современном художнике Тимуре Новикове.

Рубрика «Красный день»: статьи Ильмиры Степановой «Розовые шары 1913-го, или Эстетика русского Рождества» и Михаила Золотоносова «Гербарий праздников советских. Семиотика поздравительной открытки конца 1950-х — начала 1960-х годов».

В рубрике «Уголок культурного сепаратиста» — размышления Даниила Коцюбинского «Утопия петербургского культуртрегерства». Цитата: «Коллапс, переживаемый сегодня петербургской культурой, абсолютно коррелирует с тем небывалым взлетом московско-златоглавой духовности, апофеозом которой стало бессмысленное и беспощадное в своей неодолимости празднование 850-летия столицы всероссийского Поля чудес... Сегодняшний Петербург... напоминает собой уходящий под воду „Титаник“, с кормы которого продолжают доноситься прощальные звуки духового оркестра... Может ли Петербург спасти себя и свою культуру и всплыть, подобно непотопляемому Тритону, на поверхность исторического бытия? Что ж, если и может, то лишь при одном условии — при условии окончательного развода с Московской Русью, которая в противном случае не даст ему жизни до тех пор, пока жива сама...»

А также — «In memoiam», художественная хроника, обзор питерских галерей, стихи, заметки, рецензии. Много замечательных иллюстраций. Журнал печатается в Финляндии.

«Два комплекса определяют психологическое самочувствие петербургской культуры, — замечает Михаил Берг в рецензии „Новый мир искусства“ как диагноз» („Русский Телеграф“, 1998, № 12, 28 января), — комплекс неполноценности и комплекс превосходства... Сможет ли „Новый мир искусства“ преодолеть детскую болезнь провинциального сепаратизма, продемонстрируют следующие номера».

Составитель **Андрей Василевский.**

ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Август

5 лет назад — в № 8 за 1993 год напечатана повесть В. Богомолова «В кригере».

10 лет назад — в № 8 за 1988 год началась публикация романа Юрия Домбровского «Факультет ненужных вещей».

15 лет назад — в № 8 за 1983 год напечатана повесть Георгия Семенова «Городской пейзаж».

35 лет назад — в № 8 за 1963 год напечатана поэма А. Твардовского «Теркин на том свете».

THE NEW REVIEW Новый Журнал

«Новый Журнал» был основан в Нью-Йорке в 1942 году как продолжение парижских «Современных Записок» и с тех пор выходит без перерыва четыре раза в год. Средний объем номера — 336 страниц. Журнал распространяется в 32 странах. Основатели журнала — писатель М. Алданов и поэт, критик, писатель и меценат М. Цетлин. В 1945 — 1959 годах редактором журнала был известный историк проф. М. Карпович, в 1959 — 1986 годах — писатель и общественный деятель Р. Гуль. До 1994 года журнал редактировал писатель Ю. Кашкаров. С 1995 года главный редактор — поэт, историк литературы и поэзии Серебряного века проф. В. Крейд.

В «Новом Журнале» были впервые напечатаны многие произведения И. Бунина, Б. Зайцева, В. Набокова, Г. Газданова, М. Осоргина, А. Ремизова, В. Яновского и других писателей первой эмиграции. Из представителей второй волны, а также диссидентского движения в СССР в «Новом Журнале» были опубликованы произведения Л. Ржевского, Н. Ульянова, А. Солженицына, А. Белинкова, Л. Чуковской, В. Шаламова.

В журнале печатались стихи Г. Иванова, З. Гиппиус, М. Цветаевой, И. Северянина, М. Волошина, Вл. Ходасевича, И. Чиннова, Ю. Иваска, Н. Моршена, И. Елагина, О. Анстей, И. Бродского.

«Новый Журнал» уделяет много места публикации воспоминаний и документов. Среди них — воспоминания выдающегося актера М. Чехова, художника М. Добужинского (журнал выходит в обложке его исполнения), композитора А. Гречанинова, З. Гиппиус, Ф. Степуна, Ю. Анненкова, Н. Евреинова, П. Милюкова, Е. Кусковой.

В недавних номерах журнала были опубликованы дневники писателя В. Яновского, письма П. Флоренского, Г. Иванова, Б. Пастернака, З. Гиппиус, Д. Кленовского, воспоминания В. Розанова, Э. Голлербаха, М. Волина, А. Даманской, В. Лурье.

Исторические материалы, опубликованные в «Новом Журнале», представляют большую ценность для всех интересующихся историей России, русской революции, сталинизма и послесталинского периода. Среди историков, писавших для журнала, можно назвать М. Карповича, Н. Тимашева, Б. Николаевского, А. Авторханова.

В критическом разделе журнала печатались статьи П. Милюкова, П. Сорокина, А. Керенского, В. Чернова, Ю. Денике, Д. Чижевского, Н. Бердяева, Н. Лосского, Л. Шестова, Г. Федотова, В. Вейдле, В. Ильина.

«Новый Журнал» продолжает оставаться ценным источником информации для всех, кто изучает Россию или интересуется прошлым и настоящим русской культуры.

Подписная цена в год на 4 книги — \$40.00

(пересылка в США — \$7.00, за границу — \$14.00)

В 1998 г. выйдут номера 210, 211, 212, 213

Заказы адресовать в редакцию «Нового Журнала»:

The New Review, 611 Broadway, Room 842, New York, NY 10012

Phone/Fax: (212) 353-1478;

e-mail: nreview@idt.net

ПУШКИН

103009, Россия, Москва,
Малый Гнездниковский переулок, д. 9, стр. 3Б
тел. (095) 236-2802, 236-2844, 236-2678
факс (095) 232-1431
e-mail: pushkin@russ.ru
russ@russ.ru

Журнал «ПУШКИН» можно заказать в следующих оптовых фирмах:

— для регионов — ТОО «Фирма „ОДА”», тел. (095) 974-21-32;

— для Москвы — в оптовых магазинах ТОО «Логос-М», тел. (095) 974-21-31.

По вопросам распространения и подписки обращаться — gaspros@russ.ru

ЭТО
МЕСТО
ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ
(095) 209-57-02

Московский новый хор — совершенно новое явление, он оказывает большое влияние на развитие современной хоровой культуры.

Георгий Свиридов.

МОСКОВСКИЙ НОВЫЙ ХОР был создан в 1991 году и за семь лет своей деятельности занял заметное место в музыкальной жизни России, стал известен за рубежом. Коллектив тесно сотрудничал с такими крупными деятелями культуры, как Г. Свиридов, Э. Денисов, Ю. Любимов, постоянно ведет совместную работу с Союзом композиторов Москвы. Высоко оценивают профессиональный уровень хора в Европе, о чем свидетельствуют творческие связи с руководством Мюнхенской и Люцернской консерваторий, Швейцарским (DRS-II) и Баварским радио. В течение сезона 1998/99 годов Московский новый хор планирует премьеры сочинений российских композиторов, мировую премьеру сочинения Г. Свиридова «Песни безвременья».

Все эти годы коллектив работал без финансовой помощи государства и других располагающих средствами структур и существовал только за счет гонораров за исполнение новейших сочинений, записей, гастролей за рубежом. Поэтому его работа носит эпизодический характер, а это ставит под угрозу реализацию многих интересных проектов. Московский новый хор нуждается в поддержке и гарантирует при осуществлении всех творческих планов учитывать рекламные и иные интересы финансирующих сторон.

Московский новый хор р/с 40702810500000016981 в КБ «Российский кредит» ВИК 044541103, корр. счет 30101810700000000103, ИНН 7731215734, код ОКПО 42450772, ОКОНХ 93613. Адрес: 121614, Москва, ул. Осенняя, д. 26, стр. 1. Тел/факс (095) 442-05-73.

Руководитель
Московского нового хора

Елена РАСТВОРОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ «НОВОГО МИРА»!

Наш индекс 70636 в Объединенном каталоге «Подписка-99» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы также можете оформить *льготную* подписку на 1999 год непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 17 часов. *Особые льготы* предусмотрены для ветеранов Великой Отечественной войны. Здесь же можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 18 часов, в последнюю субботу месяца — с 10 до 13 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:

германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner, D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в АО «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);

американская фирма «Ист Вью Паббликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Novu Mir»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.

SUMMARY



The poetry section of the issue presents new poems by Alexander Mezhirov, Alexei Alekhin and Mikhail Sinelnikov.

We are publishing the novel «The Simpleton» by Anatoly Azolsky, 1996 Booker Prize winner, existentialist prose work «Requiem» by Yevgeny Yelizarov, as well as the short story «The March of Epigones» by Armen Asriyan which gives an account of the war events in Nagorny Karabakh.

The section «From the Heritage» presents the notes «Darya's Apophthegms» by priest Pavel Florensky.

In the section «Essays of Nowadays» we are publishing the essay «Life on the Karmyanaya» by Mark Kostrov.

Publicistics of the issue is presented by the historical analytical articles «1941: The Secret of Defeat» by Vasily Popov and «By Free Touches» by Sergei Lominadze.

In the section «Far Nearness» we are publishing the first part of the work by Alla Marchenko dealing with the private relations between Russian poets Alexander Blok and Anna Akhmatova.

The section «Les Essais» contains the articles «The Story of One Fall» by Alexander Gorelik presenting a new interpretation of the short story «The Fir-Tree» by Mikhail Zoshchenko, and «Olesha and the Heir» by Nikita Yeliseyev.

The section «Literary Criticism» is presented by the article «People of Noah's Age» by Tatyana Kasatkina.

In the section «Editor's Mail» we are publishing the letter «Gleb Shulpyakov v. Ilya Erenburg» by Alexander Rubashkin.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности многочисленных одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, М. О. Чудакова

И. о. главного редактора А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. Е. Борщевская, М. В. Бутов (ответственный секретарь), Р. Т. Киреев, С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев (зам. главного редактора)

Корректоры **Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова**

Редактор-библиограф **А. И. Фрумкина**

Компьютерная верстка — **И. Н. Колесникова**

Компьютерный набор — **Т. В. Дорофеева**

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88, отдел публицистики — 229-25-83, для справок — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@deol.ru

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.

Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.04.98 г. Подписано к печати 25.06.98 г. Формат бумаги 70x108¹/₁₆. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 16 п. л., 22,4 усл. печ. л., 28 уч.-изд. л.

Тираж 14 430 экз. Зак. 4361. Цена договорная.

Отпечатано в Полиграфическом производственном объединении «Известия»

Управления делами Президента Российской Федерации.

103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

Доступ к Internet и Электронной почте предоставлен фирмой
Data Express Corporation, тел. (095) 932-76-47, WWW: <http://www.deol.ru>

**ДО КОНЦА 1998 И В 1999 ГОДУ
«НОВЫЙ МИР»
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

- АНДРЕЙ БИТОВ. **Общество охраны героев** (повесть);
 МИХАИЛ БУТОВ. **Свобода** (роман);
 РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. **Гость случайный** (роман-эссе);
 СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. **Мария из Магдалы** (повесть);
 АНДРЕЙ ВОЛОС. **Первый из пяти** (маленькая повесть);
 ЯН ГОЛЬЦМАН. **Пустынные песни** (повесть);
 ДАНИИЛ ГРАНИН. **Вечера с Петром Великим** (роман);
 МАРИНА ДУРНОВО, с участием ВЛАДИМИРА ГЛОЦЕРА.
Мой муж Даниил Хармс (воспоминания);
 БОРИС ЕКИМОВ. **Пиночет** (повесть);
«ЖМУ ВАШУ РУКУ, ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ». Переписка
 Максима Горького и Иосифа Сталина, 1932 — 1933 годы;
 НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ. **Письма**;
 АНАТОЛИЙ КИМ. **Стена** (повесть невидимок);
 ОЛЕГ ЛАРИН. **Блудное лето** (сцены из захолустной жизни);
 ВЛАДИМИР МАКАНИН. **Новая повесть**;
 АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. **Нам целый мир чужбина** (роман);
 ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. **Чернильный ангел** (повесть);
 МАРК РОЗОВСКИЙ. **Театральный человек** (документальное
 повествование);
 ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. **Один в зеркале** (роман);
 А. СОЛЖЕНИЦЫН. **Главы из книги «Угодило зернышко про-
 меж двух жерновов. (Очерки изгнания)»**;
 ВЛАДИМИР ТУЧКОВ. **Русская книга военных**;
 АНТОН УТКИН. **Самоучки** (роман);
 СВЯЩЕННИК ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ. **Изречения Дарьи**
(записки, 1908 — 1911 гг.);
 ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. **Актриса и милиционер** (повесть);
- а также романы, повести, рассказы АНАТОЛИЯ АЗОЛЬСКО-
 ГО, ВИКТОРА АСТАФЬЕВА, АЛЕКСЕЯ ВАРЛАМОВА, ФАЗИ-
 ЛЯ ИСКАНДЕРА, МАРКА КОСТРОВА, МИХАИЛА КУРАЕВА,
 ИРИНЫ ПОЛЯНСКОЙ, ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА, стихи АЛЕК-
 САНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯН-
 СКОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, ЕВГЕНИЯ РЕЙНА, статьи,
 эссе СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, АЛЕКСАНДРА АРХАНГЕЛЬСКО-
 ГО, СЕРГЕЯ БОЧАРОВА, РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, НИКИТЫ
 ЕЛИСЕЕВА, АЛЕНА ЗЛОБИНОЙ, ЮРИЯ КАГРАМАНОВА,
 АНДРЕЯ НЕМЗЕРА, ВЛАДИМИРА НОВИКОВА, ИРИНЫ СУ-
 РАТ и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ
ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!**